

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

1993

НОВЫЙ
МИР

1993

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11 (823)

Ноябрь, 1993 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК
„САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА — Анна Наль, Игорь Селезнев, Алек- сандр Сорокин, Ренат Харис (перевел с татарского Вадим Кузнецов)	3
МАРК ХАРИТОНОВ — Провинциальная философия, повесть	7
СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА — Леонид Завальнюк, Галина Гампер, Михаил Ярмуш, Марк Лисянский	87

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС САДОВСКОЙ — Пшеница и плевелы, роман. Публикация и вступительная статья Сергея Шумихина. Послесловие В. Э. Вацуро	92
--	----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭММА ГЕРШТЕЙН — Лишняя любовь. Сцены из московской жизни	151
--	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — А ну как останемся с носом?..	186
А. В. — Толстовцы как интеллигенция	189
А. МЕЛИХОВ — Зачарованные обидой	191

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ПУБЛИЦИСТИКА

- АЛЛА ЛАТЫНИНА — «Патент на благородство»: выдаст ли его литература капиталу? 195

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА — «А власть эта не от бога». «Соавторская» обработка художественного текста в «Тихом Доне» 206

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Возвращение. Полемиические заметки о реализме и модернизме 230

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 239

Игорь Клех. О «Кафках» польских, чешских и русских.
Юрий Кублановский. «С того берега» о Солженицыне.
Сергей Аверинцев. Верность здравомыслию.

Политика и наука 248

И. Созин. Провал революции извне

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 252

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 254

SUMMARY 256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



АННА НАЛЬ

ВЫБОР



Тяга к газетному тексту,
к факту и комментарию
подтверждает истину, как мир, старую:
в историческом действии
каждый способен к жесту
по отношению к времени своему и месту
В один и тот же поток информации,
не утоливший жажды,
можно войти дважды.
Гераклиты мудрее своих сограждан:
легче с якоря сняться им.
Читатель, купаясь в чужих несчастьях,
подобно спящему,
привыкает к сочувствию без соучастия.
Значит, реальность происходящего
сохраняется лишь отчасти.
В этом странном
двойственном измерении,
пребывая в текущем времени,
мы поставлены перед выбором:
или вместе на берег выгребем,
или, став историческим фактом,
канем в Лету в момент инфаркта.
Будет белая зыбь
по бездонному воздуху
перемещаться,
создавая иллюзию мирного отдыха,
полного счастья.
Никакого числа в ноль часов мартабря
на забытой газете
лунный луч приземлится,
освещая страницы,
где «на круги своя возвращается ветер»

Символ веры

Одушевленная природа,
квадрат Малевича у входа
в ее владенья.

Здесь содержанием безраздельно
владеет форма.
Для архетипа это норма.

Одушевленные создания,
картина счастья и страдания,
души разомкнутые дали,
превозмогающие тело.
Уже совсем другое дело.

Светясь в воздушном океане,
жираф горящий на поляне
парит, как вывеска в тумане,
украсив сюр существованья
мечтой взаимопониманья.

Полотна старых живописцев,
неподражаемые лица.

Гробницы, ставшие грибницей
новейшей темы.
Но вавилонские блудницы,
тире «культурные обмены»,
полны амбиций.

Решись двадцатое столетье,
наклеив марку на конверте,
себя оставить после смерти
как символ веры —
я посоветую в печали
изобразить первоначальный
творенья замысел, ручаюсь,
что есть примеры:

не воды бурные и сушу,
а лишь невидимую душу,
которой машет от порога
рука невидимого Бога.

Девятнадцатое августа

Дождь, сгустивший туман,
затянувший канун
Преображенья.
Эта оторопь, вязкий обман,
упыриный трясун,
выдвиженье
бронетанковых войск,
лиц оплавленный воск,
раскалившийся мозг
групп особого назначенья.
Оцепленье на Пресне,
Садовом кольце.
Белый дом в баррикадном
терновом венце,
и накатом
в предместьях
поверх головы
катакомбное «Эхо Москвы».
Вижу город распятый
в разъятой стране.
Щель Арбата,
где детство прошло в стороне
от вселенских раздоров.
На Проточный летальный
причаливал день.
В коммуналке металась
безумная тень
по стене коридора.

Все, что лавой развала
в подкорке спеклось,
поднялось, прорвалось,
понеслось на авось,
одичалою болью кричало.
Дыры окон без штор,
близость штурма и шторм,
долетающий снизу.
Сквозь российскую призму
девятой волны —
захлебнувшийся призрак
гражданской войны,
общей крови начало.
Десять суток вослед
поминальный пикет
из туннеля — на свет
как преграда убийцам.
И Давида звезда —
словно в пепле гнезда
шестикрылая птица.
Мир, единый в любви.
Новый Спас на крови.
Свет Фавора на лицах.
Что ж в огне муравьи,
Отче; — дети Твои?
Ночью колокол снится.
Прочерк.
Август. Столица.

ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ

Последняя сила

* *
*

За счастье державы родной,
за правое дело
танцует начальник отдела
с твоею женой.

В надежных сдержалась руках
и все понимает,
глаза на него поднимает,
не смотрит никак.

И смехом исходит, звонка,
житейское дело,
будь ласков, краснеть не посмела,
бледнеет пока.

Начальник отдела живой
и жизнелюбивый;
сидишь ты над мясом с подливой,
скорей бы домой.

Тебе же свою приберег,
ты видишь с испугу,
начальник отдела супругу.
Тебе ж невдомек!

Держась на последнем болте,
встаешь и взыскуешь
его половины такую ж
нужду в темноте.

Не смотрит она никуда,
вести помогая
себя, и ее дорогая
улыбка туга.

Свободна в ладонях спина,
ведь Первое мая,
на ошупь за платьем любая
прокладка ясна.

* *
*

Мне поставили мат —
до локтей закатал рукава.
Может, силой померимся, брат?
Локоть к локтю прижат.
К голове прилегла голова.
Что ж, поехали.

Больше надежд у меня.

Силу правую знает обида.
И, башку накрена,
белобрый мой брат, он смеется для вида.
Будь скромней.

Но хорошая злоба
руку давит мою, распаясь.
То-то вспомнилась мельком зазноба.
То-то в небо мольба понеслась.
Разъезжаются локти.

Об стол.

Вдруг я свежую жилу
вслепую нашел!

Жму живой.

(Все я делал не так!

Обнимал я подружку халатно...)
Красным сделался враг.
Ходят руки туда и обратно.
Мы стола охватили края,
каблуками линолеум роем,
безобразно мой брат, с перебоем
дышит исподволь собственным зноем...
И последняя сила сочится моя...
Нам Господь помогает обоим.

АЛЕКСАНДР СОРОКИН

Лес и дача

* *
*

Не выношу я шумных сборищ
и убедительных речей,
когда послушной массе вторись,
а сам как будто бы — ничей.

Но здесь вращается иначе
обычный круг земных орбит.
Раскачивает лес и дачу
все тот же ветер злых обид.

На шаткой палубе фрегата,
где никому в ночной глуши
о нас докладывать не надо, —
на миг столкнулись две души.

И мир преобразился, вписан
в полуокружие террас
случайным вечности капризом,
касающимся только нас.

* *
*

Ничего мы не знаем и все-таки верим в слова,
в звуки, полные скорби, отрады, любви и печали.
Не пустой разговор — если кругом идет голова
и значительны паузы, сколько бы мы ни молчали.

Неуступчивы, в судьбах не схожи, наивны, и все ж
об одном говорим мы, но каждый по-своему мучась:
о несчастной, прекрасной земле, где, куда ни пойдешь,
кружит ворон с жар-птицей и гибельна светлая участь.

И так тягостно думать — пустыня еще велика,
и так радостно помнить, что нам суждено возродиться;
читан Вертер, а Фауст... еще и не листан пока;
и так медленно солнце за темные сосны садится.

РЕНАТ ХАРИС

На теплоходе «Дмитрий Донской»

Тучи хмуро зависли
на откосе крутом.
Но светлы мои мысли,
как вода за бортом.

Там меж тьмою и светом,
что пробрызнула высь,
Челубей с Пересветом
в поединке сошлись...

Минет доля холопья
их, polegших в стерне.
Дико хрястнули копыта,
да сломались во мне.

Мир вам, внук Пересвета,
челубеевский внук!
Дар любви и привета —
жар раскрывшихся рук.

Пусть из разного теста
мы печем свой пирог,
нет в сердцах наших места
для обид и тревог.

Но порой, как ни странно,
если в дружбе разлад,
богатырские раны
к непогоде болят...

МАРК ХАРИТОНОВ



ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Повесть

Глава первая

1

Очередная поездка в Нечайск совпала для Антона Лизавина с днем рождения. Ему сравнялось тридцать лет — возраст вполне достаточный и даже несколько запоздалый, чтобы осознать себя, определиться в жизни — оформиться, так сказать. По отношению к Лизавину удачейшим словом будет именно «оформиться» — в нем есть намек на этакую скульптурную завершенность облика. В самом деле, даже внешность Антона Андреевича по-настоящему установилась именно к этому сроку: ровная темно-русовая бородка, недлинно стриженные мягкие волосы, выпуклый лоб — сюда бы еще очки, чтоб получилось лицо из числа типично интеллигентных, таких, знаете, чеховско-провинциальных. Но очков он не носил, и голубовато-серые умные глаза его лишь казались близорукими. Да и не так много добавили бы очки. А вот бородка, отпущенная им недавно, с тех пор как это и в провинции стала позволять мода, оказалась на редкость уместной, она прикрыла и выровняла несколько уменьшенный подбородок, доставлявший в свое время Антону Андреевичу немало переживаний. Собственные фотографии трехлетней давности вызывали у него смутное любопытство: неужто я? — худенький молодой человек с мягкими чертами, с маленьким ртом, не созданным для внятной дикции, с зачесанным хохолком или зализанным пробором — каждый новый парикмахер заново творил ему прическу и внешность, пока не обнаружилось, что никакого пробора и вообще зачеса ему не требуется, волосы лучше всего лежали сами по себе, как им определено природой. Точно так же он понял, что ему лучше не носить рубашек с распахнутым воротом, пиджаков и шляп; принадлежностью его облика стали галстуки, мягкая куртка, шапочка с маленьким козырьком. Одновременно установилась и походка, легкая, неспешная. Смешно говорить, но даже почерк у него окончательно выработался к той поре: некрупные, почти без наклона буквы; а то, бывало, он на одной странице мог гулять и так и этак: то с изящными загогулинами, то просто тят-ляп, то почти чертежным уставом. Да что там — он заимел наконец свою подпись: одинаково выведенные *А* и *Л* с абсолютно параллельными росчерками, затем, тесно и прямо, следующие четыре буквы, а вместо последних — расслабленная закорючка хвостиком вниз и влево, как бы говорящая: ну, тут умному человеку все ясно, можно и повольничать. Мелочь, разумеется, но в ней было свое значение. А то, скажем, в сберкассе (с тех пор как у него завелась там книжица) кассирша то и дело требовала, чтобы он расписался на ордере заново. Нет, не так, а как в первый раз. А он уже и не помнил, как было в первый раз.

«Провинциальная философия» — центральная, и заглавная, часть цикла, в который входят также повесть «Прохор Меньшутин» (1971, опубликована в 1988 г.) и роман «Линии судьбы, или Сундук Милашевича» (1985, опубликован в 1992 г.). Все они объединены местом действия и общими персонажами.

Как-то в тетради студенческих времен Лизавин нашел листки с хохмами факультетского остряка Эдика Огурцова, характеристики знакомых в виде заглавий их книг: «Жанна Цыганкова. Опыт выращивания румяных щечек», «Клара Ступак. Мечты без звуков» — и тому подобные пузыри капустнического остроумия. Так вот, о себе он прочел: «Антон Лизавин. Рецепт приготовления консервов ни рыба ни мясо». И, усмехнувшись, признал: так его, пожалуй, и воспринимали. Сейчас-то он был кандидат филологических наук, и. о. доцента в областном пединституте, но долго не умел себя подать, выразить. Как собака в присказке: глаза умные, а сказать не могу. С тех пор как пришлось читать лекции, у него откуда-то и голос прорезался, и разговор полегчал; приезжая в Нечайск, он, сверх собственных ожиданий, выходил даже рассказчиком, душой общества. Ведь земляки-соседи, да и родители, ждали от него, первого и единственного пока своего кандидата наук (и даже и. о. доцента), отчета и особой осведомленности обо всем на свете: от новостей политики и науки до исторических подробностей и... ну, хоть поведения новой загадочной кометы. Между тем ум Лизавина как раз был мало настроен на запоминание сведений, цифр и анекдотов — скорей на узнавание, он больше воспринимал обобщенную переливчатость жизни. Однако, к чести Антона Андреевича, он сразу понял, что уклоняться от запроса не вправе, и отвечал без запинки, экспромтом уверенным и даже вдохновенным, услаждая романтические (при всей недоверчивости) соседские души. Истина ли была им нужна? действительно ли так опасались они столкновения с кометой? Если уж на то пошло, они теперь обо всем на свете осведомлены были через телевизор и прочие общедоступные источники ничуть не хуже столичных жителей. Но они жаждали причаститься еще и к доверительному подтексту этого великого мира — не как-нибудь, а через своего личного, авторитетного представителя.

Вот так к тридцати годам почти ненамеренно, само собой, путем проб и ошибок все подогналось одно к одному, приладилось, обтесалось — одно удовольствие представлять столь определенного человека. За день до поездки Антон полушутя попробовал набросать свой портрет-анкету — и ему как раз пришло на ум то самое словечко о «скульптурности» (что, кстати, заставляет отдать должное еще одному несомненному его свойству — чувству юмора). Никакой расплывчатости, едва ли не на всякий вопрос высказывал недвусмысленный ответ. Любимое увлечение? — кулинария; он знал толк в поваренных книгах и сам при случае готовил. Любимый цвет? — синий, точнее, голубовато-серый, под цвет глаз (тоже мелочь, но до недавнего времени ему все цвета нравились одинаково). Любимые предметы — всевозможные письменные принадлежности: хорошие папки, тетради, бьюары, хорошая бумага, хорошие авторучки. Между прочим, авторучку свою, которой писалась анкета, паркеровскую, с поистине вечным золотым пером, Антон получил в подарок на втором курсе и с тех пор — за десять лет! — ухитрился не только не потерять ее, но ни разу не повредить, чем в душе гордился. Мог он, в конце концов, позволить себе и слабость? Слабость — тоже штришок, определяющий личность.

Так подмигивал себе перед собственным зеркалом Антон Лизавин накануне дня рождения, и сама эта способность к взгляду ироническому могла бы навести, пожалуй, на мысль: так ли в нем все сполна закончено и обтесано? Ирония подразумевает ведь некую открытость, незамкнутость для перемен. К тому же и в анкете Антона Андрееча мерцали кое-какие неясности. Любимый цвет и прочее — все это мило; ну а пунктики существования? Служебное положение, скажем? Разве не торчала перед доцентским его титулом сомнительная прибавка на манер ослиного междометия? Да, мог ответить Антон Андрееч, для полного звания ему чуть не хватало педагогического стажа — но к этому шло своим чередом. Хорошо, а положение семейное?

Увы, пока не женат. К тридцати годам у него, конечно, за плечами несколько несложных романов; последний из них вроде бы приближался своим путем к женитьбе. Возраст поспел, что говорить. Словом, ближайшее будущее сулило еще перемены, но казалось, и они приближались по четкому надежному графику. Это все были те перемены, что даются временем, работой, накоплением свойств, без вмешательства стихийных сил или событий, которые хватают тебя за шиворот и волокут в черт знает какую неизвестность. Нет, чего спорить, Антон Андреич имел заслуженное право на уверенность, и чем устойчивей он становился в жизни, тем явственней крепла его всегдашняя усмешливая доброжелательность к миру.

2

В Нечайск Лизавин ездил раз в две недели по пятницам; он на общественных началах руководил местным литобъединением. Полчаса на электричке да еще полсотни далеко не гладких автобусных километров были ему не в тягость, он любил эти поездки — и не только потому, что они избавляли его от других общественных нагрузок, даже не только из-за возможности повидаться с родителями, пороскошествовать на маминих разносолах, всех этих наливках, вареньях и грибах. Было у него влечение к самому городку, фатально не попадавшему в ритм прогресса. Году в девяносто шестом, говорят, нечайская городская управа посылала делегацию в железнодорожное ведомство, надеясь подтянуть к себе проектировавшийся тогда путь. Но то ли поспешили послы, то ли незавидным показалось направление — магистраль просвистела стороной. Взаялись было строить тут фаянсовый завод, да занимались этим так неспешно, что нынешнее поколение дожидаться его не особо надеялось. Для вывоза будущей продукции проложили тем временем новое шоссе к станции, и пока дотягивали последние километры, первые успели прийти в негодность, каждый год очередной участок пути закрывался на ремонт, а транспорт пускали в объезд, по тракту, мощенному еще при Екатерине, — словно на экскурсию, демонстрируя, как ездили прежде, и наводя на мысль, что, может, для фаянсовой продукции и лучше оставаться пока нерожденной.

Конечно, Нечайск менялся с годами. На главной улице и возле стройки уже стояли пятиэтажные дома, кинотеатр «Спутник» был вполне современной бетонной архитектуры, здесь одевались, кто умел, почти по московской моде, смотрели телевизор, гоняли на мотоциклах по улицам, где единственным дорожным знаком была табличка против райсовета: «Проезд на тракторе воспрещен». Но многие и рвались отсюда в мир более наполненный, энергичный, если даже угодно — серьезный, каким он все очевидней мерещился в инопланетном сиянии телеэкрана. Потому что в Нечайске и жители пятиэтажек ходили, как все прочие, с ведрами к колонке (водокачка до верха не дотягивала), вскапывали у леска огорода, ухитрялись держать скотину; вообще горожанами никто себя как-то не чувствовал. «Поехать в город» значило здесь отправиться в областную столицу.

Лизавину казалось, что именно с телевизором в нечайскую жизнь вошла неизвестная прежде нервность. Каждодневные наглядные картинки иного, несравненного существования многих расстраивали и бередили, вызывая чувство ущемленности, которое проявлялось в болезненной гордыне, в пьяном самоутверждении, пристрастии к заемным словам и велеречивым объяснениям. Антона Андреевича это скорей забавляло. Он-то знал, что и в областной столице, и в самой Москве людей точно так же зудит беспокойство и ущемленность; даже в своей нервности Нечайск повторял этот большой мир, не всегда умея ценить собственные счастливые свойства. К тому же у нас здесь невольной сбивалось на пародию. Лизавину были чем-то милы даже несуразицы этой жизни, он любил ее тепло, уют, юмор, наивность, любил этот воздух — ни деревенский, ни городской, и если посмеивался порой над Нечайском, то как над самим собой, ибо был плоть от его плоти. Тут дело было не в

одних сентиментальных детских воспоминаниях, понятных, наверно, каждому, кто вырос в таком вот городке, и именно до телевизора — с лаптой на травяной улице, с запахом ленивой пыли, разогретой крапивы и лопухов, с утренними школьными сумерками (они пульсируют от биения колокола, что издали подгоняет опаздывающих, и эта сладкая дрожь до сих пор отдается в теле), с благодарной жадностью до зрелищ, когда на детскую самостоятельность тащили из домов стулья, а первый настоящий спектакль, поставленный в клубе бывшим артистом Прохором Ильичом Меньшутиним, остался событием, не превзойденным никакими позднейшими эффектами и чудесами. Все это само собой; но душевному устройству Антона было близко здесь вообще какое-то особое качество жизни — вроде бы и проходившей с утра до вечера в работе, однако в работе не такой целеустремленной, как на большом производстве, и в то же время не крестьянской. Может быть, потому у людей здесь оставался простор для своеобразной работы мысли? — в стороне от быстрины всегда образуются завихрения. Между прочим, почва в Нечайске непонятным образом благоприятствовала причудам и странностям; например, огурцы здесь часто вырастали похожими на человечков, а на огороде Лизавиных уродился однажды помидор вовсе необычайный: внутри некоторых плодов оказались не семечки, а целые помидорные растеньица с крохотными корешками, листьями и зачатками новых плодов.

Лизавин хорошо знал в городке многих, как знал пассажиров привычного автобуса, что всегда в один день недели, в один час и даже на одних местах ехали с ним в Нечайск от станции; тут был уже как бы островок родной территории. Сиденье рядом уплотняла весьма громоздкая дама, инспекторша района Лариса Васильевна Панкова. Когда-то она была секретаршей у Лизавина в школе, до сих пор подчеркнуто обращалась к кандидату наук на «ты» и не упускала случая показать, как мало значат для нее все эти ученые титулы. От нее пахло запаренными духами «Юбилейные», ватинным потным теплом и нафталином куньего воротника. Едва разместившись, она заговорила с Антоном про какую-то историю с его отцом, учителем географии Андреем Поликарпычем (как, неужели ты еще не слышал?), — у него украли в очереди перчатки, вор был тут же пойман, оказался не местный, а какой-то проезжий художник, ни в чем, правда, не пожелавший признаться, вышел скандал. Начальственно-неодобрительный тон Панковой переносился все больше на самого Андрея Поликарпыча, допустившего над собой такую нелепость и вообще позволившего себе слишком вольные отступления от учебной программы; с педагогических проблем разговор соскользнул на воспитательные задачи литобъединения, Антон постепенно остановил попытки вникнуть в смысл этой речи, полной мнимозначительных намеков (что за перчатки? надо будет спросить отца). Панкова обладала удобной способностью говорить, не нуждаясь в отклике, даже на свои вопросы отвечала сама. Лизавин мог иногда поддакивать ей вслепую, одновременно прислушиваясь к беседе на заднем сиденье. Там развивал очередной проект экономии и обогащения бывший скорняк Раф Рафыч Бабаев, в кепке леопардового меха, такой широкой, что она задевала при входе за дверцы автобуса. Антон с детства знал его и его черную дворнягу Дамку, приносившую каждую осень по шесть щенят, всегда с таким же безупречным, как у нее, лоснящимся мехом под крота. Бабаев допускал их пожить до годовалого возраста, потом вешал у себя в подвальчике, из шкурок делал шикарные воротники и шапки, а собачьим салом снабжал в качестве лекарства туберкулезных больных, в том числе и эту вот Панкову (смешно сказать, Антон помнил ее тощей дегизей с кирпичным румянцем на чахоточных щеках). Но Дамка попала под грузовик, скорняк забросил свои огромные ножницы, ржавчина на которых напоминала пятна крови, подался искать свое Эльдorado в областную столицу, торговал в ларьке, изворачивался в усилиях оставить за собой и городскую прописку, и дом в Нечайске, который на лето сдавал как дачу. В местной газете его помянули однажды как «не-

безызвестного Бабаева»; этот эпитет стал звучать как часть фамилии, через черточку: Небезызвестный-Бабаев. В пятницу вечером он вез в Нечайск на два базарных дня новую установку для добывания денег (под вывеской «Заправка авторучек пастой из ФРГ»), а также резиновую клизмочку, с помощью которой за дополнительные десять копеек тут же продувал желающим засорившиеся стержни. Увы, желающих опробовать клизмочку вторично становилось все меньше, Бабаев кривил губы в предчувствии очередного обмана судьбы. Непреходящая забота отравляла его кровь, как пожизненная зубная боль, и восточные глаза его были темны от оскомины неудач. Сейчас в автобусе он философствовал с бухгалтером райфо Бидюком на тему пустых бутылок. На Севере, объяснял он, бутылки из-под вино-водочных изделий почти ничего не стоят. Везти их оттуда государству убыточно. В Ханты-Мансийске, например, бутылка стоит всего две копейки, никто их не собирает. То есть хозяйственный человек мог бы проездом на каждой бутылке иметь десять копеек, на десять тысячач — тыщу рублей. А никому это и в голову не приходит. Да что там, американцы и те поражали Раф Рафыча. Он вычитал в газете, как один шутник миллионер завещал свой миллион дому престарелых — но с условием, чтоб деньги потрачены были только на спиртное. Как пишут, эти американцы не смогли придумать приступа к дареным, можно сказать, деньгам. Хотя, говорил Бабаев, накупили бы на тот миллион самого дешевого какого-нибудь портвейна или даже кагора, а там хоть спустили бы их в реку, если престарелые в Америке не пьют; зато потом бутылок сдать — ведь тысяч на сто, не меньше...

Слушая привычные эти разговоры, перебиваемые тряской да натужным взревом мотора, Антон Лизавин думал, что, в сущности, на маленьком пространстве Нечайска модель жизни та же, что и на просторах всемирно-исторических, со своей экономикой, политикой, философией. Но даже политика здесь имела дух домашний, обозримый. На таком пространстве укрупняются масштабы обыденного и жизнь видится наглядней. Разговор же об уровне всегда относителен и имеет смысл лишь в сравнении.

Мысли на эту тему были связаны для Антона с именем малоизвестного писателя двадцатых годов Симеона Милашевича, которого он поминал в своей диссертации. Этот безвременно погибший провинциальный бытописатель, философ, садовод и вегетарианец жил в городке недалеко от Нечайска. Лизавин обнаружил в областном архиве целый сундук с его бумагами, разбором которых был обеспечен на много лет вперед. Милашевич был не просто певцом провинции, но и своеобразным ее философом. Провинция, говорил он, есть не географическое понятие, а категория духовная, способ существования и отношения к жизни, основанной на равновесии, гармонии и повседневных простых заботах, — жизни, где знают цену благополучию и покою. Это как бы женственная основа бытия, залог ее теплой устойчивости: дом, очаг, семья, детская колыбель, добыча хлеба насущного — место, куда возвращаются после поисков, потрясений и жестокого к себе и другим героизма, как возвращаются после дождя и бури в натопленную сухую комнату, стыдясь признаться, точно в слабости, в естественной тяге к доброму и мягкому уюту. О, как возносил Милашевич этот мещанский уют, его удобные, сподручные, по человеческой мерке сработанные предметы и сооружения, эти стулья с наспинными подушечками, вышивки, цветы на окнах и в палисадниках! В какую музыку превращались под его пером семейные трапезы, летние чаепития с земляничкой и сливками! «Мы так не умеем подойти к этой жизненной сфере без высокомерия и предвзятости, — писал он, — что возникает подозрение, действительно ли так хотим мы счастья, которое должно означать венец и предел истории?» А между тем он почти предчувствовал, что, несмотря на негромкость своих пристрастий (а может, как раз из-за них), сам угодит между спиц своей напряженной эпохи, но заранее предупреждал, что это вовсе не опровергнет его, а лишь подтвердит основу его правоты.

Так говорил Милашевич.

Никакие внешние перемены жизни или новейшие изобретения, замечал он, не отменяют сокровенной сути провинции, хотя могут сказаться на поверхностных ее чертах. Провинция есть и в многомиллионных городах, и в душе каждого человека; провинциальным может быть скромное государство, и многие даже великие умы в разгар эпохальных страстей недаром радовались своему непритязательному, без надрыва, подданству. Она всегда будет представлять большинство людей, поскольку большинство людей всегда будут не великими и предпочтут не чувствовать себя несчастными оттого, что они не великие; в любой стране она захватывает массовую муравейную среду, где творится, может, самая широчайшая философия жизни. Он предвидел, что эта среднегородская, называемая по привычке обывательской среда будет все больше воплощать собой народ, сменяя прежний, отождествлявшийся с крестьянством, который творил когда-то духовные формы, язык, фольклор. Этот народ уже имеет свою систему ценностей, житейские понятия, обычное право, свою эстетику, этику, свой язык, наконец, который может порой ужасать, коробить вкус, но от которого нельзя просто отмахнуться. Даже заборный фольклор, утверждал Милашевич, достоин изучения. Один герой у него собирает коллекцию разнообразных специфических речений; как знать, замечает он, пусть не сейчас, но, может, когда-нибудь, в стерильном и безнавозном будущем, эту его тетрадку будут изучать, как изучают сейчас систему древних проклятий и ритуальной похабщины.

Так говорил Милашевич.

И хотя у Лизавина хватало иронии вносить необходимые поправки в эту провинциальную поэзию (ибо вся философия Милашевича была именно поэзией, главное доказательство которой — во внутренней убежденности и способности наделять чувством счастья), она вызывала в нем особый отзвук. Об этом еще будет речь погодя, когда придет пора выдать последний секрет Антона Андреевича. Дело в том, что кандидат филологических наук, и. о. доцента и в перспективе полный доцент, а может, и профессор, руководитель Нечайского литобъединения в душе сам примеривался к изящной словесности, пока еще неуверенно, более в воображении, но иногда и с золотым паркеровским пером в руке. И почему это писатели так любят повествовать о людях пишущих? — спросят однажды на занятиях у самого Антона Андреевича. — Материал, что ли, наиболее знакомый? — А потому, — ответит он студентам, — что нам с вами самим это как-то по-родственному интересно. Потому, что людей пишущих куда больше, чем можно предположить; вообще каждый, кто пытается воспринимать свою жизнь на пересечении со смыслом и красотой, уже приобщен душой к странному бытию художника — мы узнаем в нем свое, знакомое нам по особым, свободным от службы минутам. Занятно и поучительно видеть человека, который пробует найти для всего этого слово, в котором наглядно демонстрируется, так сказать, взаимопроникновение жизни и духа. Ну и так далее...

Секрет, впрочем, уже выдан, а остальное потом. Возможно, на такие вот отвлеченные темы Антон Лизавин и размышлял в тот апрельский вечер по пути в Нечайск, накануне своего тридцатилетия, не подозревая, какой поворот его жизни и его мыслям сулит эта поездка. За автобусным окном давно было темно, Лизавин смотрел на свое отражение и сквозь него. Иногда проплывавшие огоньки освещались с отражением зрачков, тогда глаза светились жутковатым светом. Даже в этой темени Антон отчетливо представлял, где они едут; он и с закрытыми веками в любой момент взялся бы определить, какой сейчас миновали поворот, какую просеку в лесу, даже какой придорожный столб, — и, вспыхни сию секунду свет, он мог бы подтвердить верность нутряного своего чутья... Вот наконец Нечайск, Базарная площадь, одинокий яркий фонарь, высокие окна пятиэтажек, дорога вдоль озера, по которой он

мог спускаться на ощупь, вот школа, родительский дом — он предвкушал заранее каждый шаг, движение, которым повернет щеколду калитки, хруст подмерзлого снега на дорожке перед крыльцом и как откроет дверь в освещенную комнату — все было повторением привычного, кроме одного: за столом, уже накрытым к праздничному ужину, сидел непредвиденный гость, случайный знакомый Антона, москвич Максим Сиверс.

3

С Сиверсом Антон Лизавин познакомился прошлой осенью в Москве при обстоятельствах забавных. Он только что получил наконец долгожданный кандидатский диплом и по сему поводу выпил у своего московского коллеги и официального оппонента Никольского. Этот спокойный умник с мучнистым лицом, которое перестало стареть после сорока лет, сугубо заботился о своем здоровье, был, подобно Милашевичу, вегетарианцем, но при этом горазд выпить — сочетание своеобразное, однако обоснованное не менее своеобразной теорией о том, что алкоголь совместно с травками, грибочками, огурчиками и прочим для вегетарианского здоровья не только не вреден, но даже полезен, чего не скажешь о том же алкоголе, заедаемом колбасой или тем более копченым окороком. Такая здоровая выпивка разнообразит мироощущение человека, достигшего определенной стадии совершенства, дарит новыми чувствами и переживаниями, яркими, но безопасными в силу своей временности. Никольский вообще основывал свою жизнь на множестве сподручных теорий, в себе самом видел как бы инструмент для познания закономерностей, в литературе же — прежде всего материал, красивую, но сырую породу, в недрах которой скрыты крупницы золота, — писатели в грубой своей простоте по-настоящему не способны извлечь все эти структуры, соответствия, мифы. Распознав склонность Лизавина к сочинительству, он иногда иронически прохаживался на сей счет — с сожалением к человеку, способному даже в мыслях променять высокое интеллектуальное служение на темную заготовку сырья. Теоретический склад натуры был связан у Никольского с также весьма благодатной для здоровья способностью ничем не проникаться чрезмерно: он мог за обедом читать в журнале просветительскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Наверно, Антону действительно не хватало такой отстраненности — водка под травяную закуску подействовала на него коварно. По-настоящему он оценил свое состояние, когда за полночь очутился на пустынных московских улицах с портфелем в руке и билетом на трехчасовой ночной поезд. Он вышел в сквер перед домом Никольского, как в свой нечаянский садик, и сдвиг хмельного воображения, усугубленный сентябрьской свежестью, еще долго держал его в убеждении, что он движется по Нечайску. Но с этим Нечайском что-то произошло. Он разбух, поднялся вокруг, как на опаре, затвердел, вытеснив зелень. Окаменели деревянные мостки. Там, где только что, казалось, тянулись теплые, живые заборы, сады и палисадники, все залубенело, сама земля покрылась коростой или коркой. Внутри эта земля пронизана была жесткими сосудами — Лизавин видел их сквозь толщу, как на цветной схеме, горячие, холодные, разноцветные, толстые каналы для отработанных веществ, светящиеся жилы электрических нервов в ореоле искр; из-под земли они поднимались в дома, сраставшиеся в вышине с электрической призрачной твердью. Редкие светящиеся окна были пробиты в ней высоко над головой. Это был другой возраст земли и другой возраст неба, прежний Нечайск с его незатверделыми хрящиками остался далеко в прошлом, и сам Антон казался себе перенесенным в какое-то непомерное, захватывающее дух будущее.

Будущее это было пустынным. Редкие фигуры появлялись откуда-то из складок, из наростов улицы, из-под мышек, из перевернутых дыр ужасно неудобным способом и тотчас исчезали бесследно — очень вовремя, потому

что Лизавин не знал, как их обойти. Одна фигура все же не избежала столкновения, она материализовалась непонятно откуда, перекувыркнувшись в воздухе, и загородила Лизавину путь, переливаясь и изворачиваясь вместе с улицей.

— Я голубь мира, — сообщила наконец фигура; туманные крылья трепыхнулись за ее плечами.

— Ну и что? — не проявил удивления Лизавин; он словно в душе всегда предполагал, что голубь мира выглядит именно так.

— Я тебя сейчас уклону, — сказал голубь мира.

Тут кандидат наук не нашелся с ответом, и ему стало стыдно.

— Ты что, иностранец? — спросил голубь мира.

Антон оглядел себя посторонним взглядом и пожал плечами: в легком плаще-болонье, с портфелем в руке, при галстукке, но в то же время бородатый, на этой фантастической улице — видимо, иностранец.

— Мир, дружба, — сказал голубь мира почему-то с акцентом. Подумал, потом снял с себя значок и нацепил Лизавину на отворот пиджака — с внутренней стороны, как потайной знак. — Ну? — добавил он требовательно.

— Не понимай, — попробовал вывернуться Антон, тоже с неожиданным для себя акцентом.

— Теперь ты давай сувенир.

— У меня нет, — растерялся кандидат наук, чего нельзя было сказать о голубе мира. Он деловито залез к Антону в брючный карман, выгреб оттуда мелочь вместе с носовым платком, платок вернул Лизавину. Тот не сопротивлялся, он не хотел нарушать обычаев города будущего. Удовлетворившись, голубь мира повел его на скамеечку в сквер, где объявил, что он вдобавок — тенор, какого нет в прославленном миланском театре Ла Скала. В подтверждение набрал полную грудь воздуха и вывел такую чистую, высокую, такую ангельскую руладу, что кандидат наук икнул. Не от удивления, ибо в этих фантастических дебрях неудивительно было сидеть среди ночи с пьяным тенором, какого нет в опере Ла Скала, — а от восторга. Дальше первых нот, однако, миланского голубя не хватило. Он закашлялся, отер слезу. Потом отцепил с Антонова лацкана свой значок и, не оглядываясь, растворился в мутном электрическом мареве. А кандидат наук уже не мог оторваться от уютной, приладившейся к телу скамейки. Потом он смутно вспоминал, как еще двое пьяных весьма шумно и агрессивно возмущались его расслабленной позой, его бородой и почему-то упирали тоже на иностранцев: «В Москве форум идет, иностранцы ходят, а он тут разлегся»; как он увидел вдруг милиционера и, прикрывая рот ладонью, чтоб дышать в сторону, подступил искать у него защиты; как милиционер вел всех троих в отделение — бесконечно долго, а пьяные все шумели оскорбленно про форум в Москве, про бороду и про иностранцев — пока они не натолкнулись еще на одного красавца. Этот восседал прямо на краю тротуара, поджав подбородок кулаком, как знаменитая скульптура. Он даже не повернул головы, когда старшина хлопал его по плечу, только пробормотал что-то не на русском языке; перевести удалось одно слово: «Метропол». Величественная невозмутимость пьяного подтверждала, что вот это иностранец так иностранец и что надо проводить человека в «Метрополь». Двое пьяных тем временем куда-то исчезли. Старшина предложил Лизавину самому добраться до отделения («для вашей же безопасности»), и Антон в восторге стал объяснять, что он бы от души, но у него в три часа поезд, в доказательство полез за билетами — и тут-то обнаружил, что билеты исчезли. Паспорт был на месте, новенький кандидатский диплом на месте, а билетов не было. Милиционер уже удалялся по нереально гладкой улице, пошатываясь и подпирая плечом громадного Мыслителя, а он еще шарил у себя в карманах и портфеле — билетов не было, равно как ни копейки денег: последнюю мелочь выгреб шаромыжник из Ла Скала. Не на что было даже отправить телеграмму домой, чтоб выслали десятку на билет, не было двух копеек, чтоб позвонить кому-нибудь. И кому

было звонить в этом дремучем, окаменелом городе, где у него не было современников? Что было этому городу до человека, который хотел и не мог вернуться в свой соразмерный, доступный мир, где ноги послушны и согласны идти прямо, где в комнате с запахом клеенки, за чаем с бубликами щурится сквозь пенсне Милашевич? О! здесь все тянулось к грандиозности: мысли, дела, дома, здесь полагалось жить целеустремленной деятельностью, петь голосами миланских теноров, думать о космосе, открытиях и свершениях, здесь даже пьянчуг заботят проблемы международные. Шел второй час бог знает какого года. Луна выволакивала на небо облачный ореол. Было все равно куда идти, поэтому Антон сел на парапет какой-то ограды, закинул ногу на ногу, оперся локтями о портфель и засмеялся над собой, над своим идиотским положением. Он сидел так, ни на что не надеясь, когда у него и попросил прикурить вот этот самый Максим Сиверс.

Лизавин потом не взялся бы судить, был ли москвич пьян, как все прочие, встреченные им в ту ночь, включая милиционера. Поначалу он показался ему просто алкашом — должно быть, из-за ночного, болезненного вида его худого лица с глубоко затененными глазами. В свете голубых фонарей все лицо как бы строилось вокруг этих огромных глаз. Но, конечно, алкашом не простым, а из этого мира и города, под стать им, — как ни смешно, это пьяное и заведомое представление о незаурядности москвича так и отложилось в душе.

Антон Андреич сам не курил, но спички при себе держал специально для таких случаев: ему приятно было удружить встречному, а там и словом перекинуться. На сей раз он коробок почти швырнул с неприязнью, так чужды ему были здешние обитатели, на разговор откликнулся, прямо скажем, саркастически (алкаша, видать, потянуло перемолвиться с живой душой, но о чем им было говорить — межпланетным гигантам с заблудившимся простаком, который потерял билет в родные места?) и не сразу понял, когда тот стал совать ему десятку. «Зачем? — забормотал. — Не надо мне. Не возьму...» Потом как бы очнулся, спохватившись, стал благодарить — наверно, даже более пылко, чем того требовал случай (может, для московских пьянчуг это обычное дело, может, для них десятка — не деньги). Чтоб скрыть смущение, он стал, переигрывая, валять ваньку-провинциала, записывать адрес, дабы завтра же, немедленно выслать долг, совать паспорт в доказательство, что не обманывает, чуть разве что не раскрыл портфель и не предложил в залог какой-нибудь из подарков, которые вез родителям. Москвич, терпеливо переживавший эту комедию, его опередил:

— Вы еще пиджак с себя снимите в заклад.

Антон осекся; хмель опал с него внезапно, как опадает туман; мир вокруг стал вещественней. Он качнул головой и рассмеялся. Он показался вдруг сам себе похожим на инвалида-пьянчужку — знаете, подступает иногда такой на улице с церемоннейшими предисловиями: только что вышел из больницы, извините великодушно, не на что до дому добраться — не одолжите ли двадцать копеек? И еще кепку подымет, покажет стриженую голову в пятнах зелени. А дашь ему эти два гривенника — еще пять минут будет благодарить в таких восторженных выражениях, что почувствуешь себя скрягой: почему не дал рубль. Только ведь за рубль он начнет биографию рассказывать. А это не всегда хочется — тем более что за рубль... Он поделился с собеседником таким впечатлением о себе, и, наверно, не без остроумия, потому что москвич заинтересованно взглянул на него и предложил проводить до вокзала.

— Надо ведь еще купить билет? — сказал он.

— Да. Конечно. С удовольствием. Если вам некуда спешить... то есть вас нигде не ждут.

— Именно потому что ждут, — неопределенно хмыкнул тот и выпустил из нервных ноздрей дым.

Здесь надо упомянуть одну особенность его лица, которую сам Антон оценил не сразу. У Сиверса был занятный разрез рта: большие, но тонкие, очень красивого рисунка губы от природы чуть подгибались кверху и яркая, цвета губ, овальная родинка в левом уголке как бы продолжала, оттягивала их в неровной иронической усмешке. Если на него не смотреть, голос и тон казались вполне серьезными, а глянешь — черт его знает...

— А-а... понятно, — подумав, кивнул Антон Лизавин.

— Что понятно? — вскинул брови москвич, но Антон ответа не дал.

Они шли по ночному городу. Где-то на отдаленных трассах проплывали огоньки машин. Пожалуй, считать себя протрезвевшим Антону было еще рано; хмель все больше переходил в странное возбуждение, близкое тому, какое возникает в присутствии привлекательной женщины или просто иных людей, способных даже молча создавать вокруг себя силовое поле, когда невольно и бескорыстно показываешь себя на вершине возможностей. Выровнялась только походка, разговор же вихлялся неуправляемо и был этим по-своему прекрасен; он вспоминался потом Антону не сплошь и не подряд — обрывками, зацепившимися за выступы домов, перекрестки, вокзальные переходы. Это был обычный треп обо всем на свете, какой возникает именно с первым встречным, в поезде, на вокзале, в условном пространстве, где все отношения временны и самая рискованная откровенность ни к чему не обязывает: распахнешься или, наоборот, влезешь в душу, а потом расстанешься навсегда — образчик славного отношения к самому этому временному миру как к череде преходящих мимолетных встреч. Антон, помнится, даже порассуждал на эту тему вслух. «Впрочем, кому как, — возбужденно посмеивался он. — Все-таки хоть мимолетно, да открываешься, выпускаешь другого в себя, внутрь, можно сказать, в свой мир и душу — есть в этом свое таинство, что-то из другой сферы. Не перед каждым же распаиваешься — если ты не из таких, что за рупь... ха-ха-ха. Или сам очаровываешь кого-то, неизвестного прежде, соблазняешь, чтобы впустил, и так далее. Меня, кажется, занесло, да? Вдруг такой образ».

— Нет, почему же, — хмыкнул интеллигентный знакомец; он, казалось, все присматривался к своему говорливому спутнику. — Но как и в той самой и н о й сфере, ошибка думать, что другой этого не желает...

Учетверенная тень Антона Лизавина восхищенно размахивала на перекрестке четырьмя портфелями... Но, пожалуй, о сфере и мимолетности было сказано потом (впереди оказались башенки вокзала, и Антон, помнится, удивился, как быстро они дошли). До этого он ненароком успел оседлать своего конька и, помянув Нечайск, на протяжении довольно долгого квартала излагал про Милашевича, про философию провинциального равновесия и счастья. К слову, оказалось, что про Нечайск Сиверс не только слышал (редкий, надо сказать, случай), у него был там даже армейский приятель, Андронов, Константин, не знаете? — имя показалось Антону вроде знакомым, и это подкрепило иллюзию близости и замечательного совпадения, но слишком напрягать память он не стал, увлеченный таким откликом и собственным токованием. Москвич шел рядом в легкой куртке с откинутым капюшоном, в профиль его лицо, без клоунской родинки у губы, казалось нормальным, даже грустным, он кивал, как будто со всем соглашаясь, только при имени Милашевича наморщил с глубокими залысинами лоб: дескать, кто такой? Этот момент стоит отметить особо, потому что именно с него разговор пошел вдруг черт знает какой интеллектуальный. Просто от такой высокомерной гримасы Лизавину захотелось показать и Милашевича и себя; он так распелся на известную нам тему, что Сиверс качнул головой, произнеся что-то вроде: «Ого, великий философ!» А уж этой иронии кандидат наук только и ждал, сам Симеон Кондратьич ухватился бы за нее. От величия он первым делом и отталкивался. Он, если угодно, хотел представлять именно людей, которым

так называемые великие предлагают считать свою жизнь, по сути, бессмысленной. Устройство для переработки пищи в дерьмо, как выражается один его герой, — вот кто они по сравнению с теми, кто оставляет после себя дерьмо окаменевшее, мраморное или еще какое-то особенное: в виде памятников и тому подобного. Милашевич больше всего хотел избавить обычного человека от зависти и тоски. Он остерегался от претензий на бессмертие и смеялся над тщеславной потребностью удостовериться факт своего существования на земле. Он считал, что выбирать приходится между величием и счастьем. Истинное величие, говорил он, неизбежно трагично — хотя бы потому, что оно не совпадает с окружением, вырывается из него. Да и неумеренный ум слишком напоминает о трагичности самой жизни, обреченной на смерть. Если человеку удастся быть нетрагичным — значит, он в чем-то поступился своей незаурядностью. Может быть, даже истиной. Мы это делаем каждый день, заминая мысль о смерти. Жизнь, говорил Милашевич, есть компромисс по самой временной природе своей. Все или ничего — лозунг самоубийц.

Вот такую примерно исполнил арию. (Светофор перед ними для собственного удовольствия сменил зеленый свет на красный.) Голова Антона была далека от кристальной ясности, но получалось на удивление складно. Впрочем, при кристальной-то ясности он, может, и придержал бы слишком рискованные парадоксы; это уж именно от распахнутости чувств: так сказать, выкладывал, чем был богат, демонстрировал интеллектуальные достопримечательности. Но сам уже готов был соскользнуть на другую тему (возможно, как раз о мимолетности и прочем), когда москвич без явного повода вернул к Милашевичу: это что ж, значит, стоит иногда окорачивать свои мысли, чувства и желания? Видите ли, отвечал Антон все еще легкомысленно (однако довольный: ага, зацепило!), у Симеона Кондратьича есть одно размышление о вздорной человеческой природе. Не в пример животным, говорит он, человек тянется, например, есть, даже когда не голоден. Даже когда это вредно ему для здоровья. Не говоря уже о фигуре...

— А... — быстро перехватил москвич, — умерять аппетит ради собственной пользы? А в остальном — тоже себя обкорнать?

— Ну... — не дал себя сбить Антон, — в некоторых философиях (Милашевич их вспоминает) умерщвляют плоть, истязают себя самым жестоким образом, подвергают испытаниям тело и дух — ради мудрой бесстрастности, покоя и блаженства. Это для них, по сути, синонимы: покой, бесстрастие и блаженство. Но если и истязать себя не надо?..

— Подозреваю, что это будет другого рода блаженство, — опять не дал закончить Максим. В голосе и дыхании его появился беспокойный клекот, астматическое присвистывание; на слух можно было подумать, что он нервничает, — Антону занятно было угадывать при этом родинку на невидимой стороне лица. — Бесстрастие вообще равноценно счастью в философиях, где небытие желаннее бытия...

Вот ведь — и про философии знал! Этаких собеседников подсовывала Москва среди ночи прямо на улицах!.. Да, перед этим (а может, позже) был еще эпизод — москвич вдруг оборотил к кандидату наук полную фазу своей запечатленной усмешки.

— Знаете, — сказал, — иногда хочется дернуть вас за бороду: настоящая ли?

— В каком смысле? — не понял тот, однако потянулся к подбородку

— Такая от вас исходит голубизна... неправдоподобная.

— То есть вы хотите сказать, что я...

— Ну не то чтобы...

— А что?

— Да так...

Безотказный, между прочим, прием: пожать плечами и не снисходить далее многозначительных междометий — в собеседнике само собой заерзает беспокойство и желание защищаться. Но Антон для этого был в слишком пенистом настроении, к тому же москвич поперхнулся, видимо куревом, и закашлялся так надолго, что кандидат наук успел забыть, на чем, собственно, они столкнулись и столкнулись ли вообще... Еще хуже Сиверс раскашлялся, когда упомянул свою тетку, у которой воспитывался. По какому поводу эта замечательная тетка возникла в разговоре и почему так разволновался Максим, вылетело из памяти начисто, хотя именно в этом месте, от чужого кашля, Антон почти окончательно протрезвел. Он был человек весьма способный к сочувствию и сопереживанию, и пока москвич выбирался на ровный берег, чтобы подхватить качавшуюся все это время на весу фразу (они ужасно долго напропалую пересекали пустынную площадь), Антон устал, точно его самого потрясло. Так что дальше он слушал поскучевев, все меньше понимая, при чем тут эта действительно замечательная тетка. Она училась, рассказывал Максим, в Сорбонне, в революцию вернулась, порвала с отцом-профессором, а заодно и с сестрой, Максимовой матерью, вообще жизнь прожила бурную, всякого натерпелась — но не о том речь, а о странностях ее памяти. Какие-то времена и события она просто неспособна была вспомнить; когда ее невзначай подводили к ним, она с непонятным затруднением прикладывала палец к переносице, точно пересиливала тяжкую головную боль. Максим лишь потом понял, что это была действительно боль, и некоторые вопросы усугубляли ее до такой степени, что зрачки покрывались мутной страдальческой пленкой, а голос менялся от напряжения. Когда она умерла, выяснилось, что на огромном участке мозга сосуды у нее были обызвествлены, как кораллы; никто не знал, какую она терпела долгие годы муку, не позволяя себе даже малой жалобы. Но эта боль — вот что еще понял Максим — была платой за некое примирение с памятью, может быть, с совестью; она помогала старухе задним числом перестраивать прожитую жизнь, избирательно отключая какие-то центры и точки, засвечивая своим сиянием, как на пленке, дни, месяцы и целые годы, невыносимые для прикосновения. В этом преобразованном прошлом она неизменно любила отца, не расставалась с сестрой, могла гордиться своей всегдашней правотой и не поступаться ни граном прирожденной, ригорической честности...

Он псих, — вдруг впервые отчетливо мелькнуло у Лизавина. — И тетка была того, и сам явный псих. С чего он стал мне все это выкладывать?.. Вообще Антон уже подозревал мораль этой нервной, торчком вставленной в разговор новеллы, вносившей в него посторонний, зачем-то драматический диссонанс.

— Ну, это конечно, — промямлил он. — Самосохранение... Природа по-разному заботится.

— Я хочу сказать, есть разные способы прятаться от беспокойства, от томления духа, тоски, тягостей... от сомнений, — с тяжелым дыханием продолжал москвич. Похоже было, что он и впрямь разволновался; в какое-то живое место попал невзначай Лизавин. — Все прячутся от жизни по-своему. Куда-нибудь. В семью, в конуру, в кабинет. В одиночество. В болезнь, в глухоту, в запой. В работу, когда приходишь домой и валишься не раздеваясь, бессильный даже любить женщину. В развлечения, в чудачества. Возможно, люди различаются по способу выискивать цель.

— Еще можно прятаться в поиски смысла жизни, — подхватил Антон, готовый вернуть разговор в прежнюю беспечную тональность. — О, это увлекательное занятие. Так погрузишься в извлечение жизненного корня, что жить почти перестаешь.

— А отказаться от поиска смысла — тоже спрятаться? — усмехнулся Максим. То есть он усмехался все время, но Лизавин не всегда про это вспоминал.

— Верно, все верно, — согласился он. — Щадить себя естественно, это инстинкт. Ребенок переиначивает страшную сказку, обходит, пропускает опасные места. А как же! Совсем без укрытия, голеньким, так сказать, под небесами — холодно, бр-р!

— Я только хочу сказать, это не так бесплатно дается. Все требует цены.

— Ну-у... тут кому как повезет. Кто как устроится. При чем здесь непременно — расплачиваться?

— Черт его знает, — качнул головой Сиверс. — Наверно, кому как. У дворян когда-то было понятие о чести. Подступит, и неизвестно, зачем нужно, — а не увильнешь.

Они уже прогуливались по перрону, билет был куплен, поезд стоял на пути. От локомотива пахло теплой смазкой. Электрическая ночь жила рабочей жизнью. Издалека слышались гудки, змеились по рельсам разноцветные огни фонарей и светофоров. Здесь словно открывалась отдушина в мир больших пространств, и ночной ветер, врываясь сквозь нее, приносил тревожные смутные запахи, подхватывая обрывки странного, случайного разговора — сразу ни более ни менее как о смысле жизни, истине и бессмертии — вот уж верно, давно было замечено: о чем еще начинают толковать, едва сойдясь, два российских умника? Антона самого озадачивало, что всплеск получался чуть не всерьез. Он все-таки псих, — подумалось уже определенной. — Зануда, способный среди ночи таскаться по улицам с первым встречным (которому, допустим, и дал десятку — но ведь не более того) и, задыхаясь, оспаривать его необязательные экспромты, объяснять про своих родственников. Как все же было кстати, что сейчас они расстанутся и отлетит это славное, но уже утомительное напряжение. Может, истина вообще не в доводах, а в состоянии души, — примирительно заметил он. — Если человеку хорошо, зачем его опровергать? Наша мерка и вкус только кажутся нам объективными и годными для всех. И тут, под самый конец, уже опавший было огонек спора лизнул еще одну пятаковую шепочку — перекинулся на искусство. Если неприятельная мелодрама или душещипательный романс у кого-то вызывают искренние слезы, пробуждают сострадание, жалость, добрые чувства? — говорил Лизавин. — Какая-нибудь высокая философия или симфония не пробуждают, проходят мимо, а это — говорит сердцу? Что еще нужно?.. Поезд вот-вот должен был уже тронуться, разговор убыстрялся в аллегро, виво, затем престо, Сиверс спешил возразить, что слезы тоже бывают разные, как и чувства, как и глубина жизни, иные трогательные слезы ничуть не мешают тут же пойти и перерезать чью-нибудь глотку, — однако и Лизавин успел ответить: любовь к высокой музыке тоже не гарантирует и не мешает... читали мы про некоторых ценителей Баха. Признавать только высокое — может, и правильно, с точки зрения вечности... — А есть ли другая правота? — усмехался Максим. — Есть, — уверил его Лизавин... — тут вагон мягко двинулся, Антон вскочил на ступеньку, очень довольный, что последнее слово осталось за ним; он махал рукой и опять кричал про десятку, которую завтра же вышлет...

Но странное дело, едва он устроился на своей полке, не сомневаясь, что от усталости тотчас заснет, как ему стало казаться, что самого убедительного он выговорить не успел, и вместо сна стали приходиться все новые мысли и доводы. Досадней всего было само это чувство беспокойства: о чем и с кем спор? Вместо всех объяснений стоило бы напоследок рассказать ему один сюжет из Милашевича — жаль, не вспомнил его к месту.

Это был забавный рассказ (возможно, не лишенный автобиографической подкладки) про некоего провинциального стихотворца. Зато в городке этом, у себя, он не просто почитался — он был выразителем и символом его души, летописцем его событий. Его стихи печатались в уездном альманахе, переписывались в альбомы, изучались на школьных уроках. А главное, его ду-

шевый настрой, тип мышления, система образов сказывались на окраске жизни и характере городка, где даже в очереди за керосином ссорились с тем же комичным пафосом, где даже в любви объяснялись словами его стихов. Трудно сказать, говорил рассказчик, повлиял ли так поэт на сограждан или в нем воплотился и выявился некий дух городка. А может, произошло просто совпадение этого самого душевного настроения, определяемое географическими условиями, климатом, историческими традициями — чем угодно, но только город нашел своего поэта, а поэт — свой город. И если бы такого города не существовало, следовало бы его создать для близких по духу людей, — так восклицал рассказчик, позволяя себе по этому поводу вольную фантазию на тему соответствия и гармонии. Если бы читающие граждане, фантазировал он, могли расселяться повсеместно вот так, по принципу своих литературных вкусов и склонностей — а значит, в какой-то мере согласно своим представлениям о прекрасном, об истине и счастье, — как безболезненно и гармонично устроилась бы жизнь! В каждом маленьком населенном пункте почитался бы удовлетворяющий всех гений, лауреат местных премий — как некий предокотом. И это обеспечивало бы взаимопонимание, единство культуры, при котором вопросы житейские и хозяйственные разрешались бы куда безболезненней, почти между прочим.

А что? — усмехался иногда Антон этой благодушной юмористической утопии. — Смех смехом, но в этом, может, одна из проблем человеческого общежития. Можно же стать первым писателем народца в две-три сотни человек? основателем письменности и литературы? Для них ты будешь родоначальным и высшим талантом. Все, что ты напишешь о них и для них, будет им по-своему ближе, чем любые мировые шедевры...

Антон улыбался; на верхней баюкающей полке эти мысли действовали особенно благотворно; наконец он готов был заснуть.

Увы, как раз во сне к нему вновь вернулось напряжение. Он все продолжал с кем-то спорить, размахивая портфелем, и ходы его мысли были блистательны. Размахавшись, он едва не натворил беды, проснулся от чувства, что вот-вот полетит, — и уже перевешивался с края полки; разумеется, все блистательные аргументы испарились безвозвратно. Осталось только чувство невнятной со-сущей тревоги. Приехав домой, он вечером взял в руки свое золотое паркер-овское перо, а также тетрадь, куда с некоторых пор вносились заметки, наброски и размышления. Эту роскошную тетрадь с золотым тиснением «Machineport» на пластиковом переплете ему подарили к прошлому дню рождения. Великолепная бумага ее располагала писать для вечности, только самое существенное, а иностранные рубрики и календари соблазняли примерять, как прозвучала бы нечаянная тематика в масштабе международном. В таком соблазне мысли Антон Андреич, впрочем, сейчас уловил противоречие.

«Представьте себе человека (не меня), — осторожно приступил он, — которого природа наделила характером не слишком ярким, далеким от крайностей темпераментом, здоровым рассудком и тягой к золотой середине. (То есть как бы ты ни иронизировал над идеей середины, в душе ты считаешь ее золотой.) Так что ж, если вдобавок у него достаточно ума, чтобы осознать и оценить свою ограниченность, — посмеяться над собой? попытаться выпрыгнуть из себя, из кожи? погнаться за чьей-то иной истиной? за чьей-то головной болью? Или, осознав, стать выразителем той силы, среды, уровня, которые произвели его на свет? Может, он для того поставлен в это назначенное ему место, чтобы осмыслить его изнутри, как никому другому не дано. У каждого свое, и счастлив тот, кто умеет не стыдиться этого и не гордиться».

Зачем я должен сбривать бороду, — подумал он вдруг, отвлекаясь от темы, — если мне не нравится мой подбородок? При чем тут прятаться или придуряться? Опять же зимой греет. Пусть, если желает, сам отрастит хоть

усы, чтоб не дурить мозги своим видом... Но записывать этого, конечно, не стал, а продолжил литературную мысль: «Если же ты сумел через свое крохотное зернышко мироздания уловить что-то в самом мироздании, ты станешь кем-то и для других — так гений национальный, чей-то особо, становится гением мировым».

У тебя все же не сходятся концы с концами, — остановила разбег его золотого пера внутренняя честность. — На такой скромной канве — и вдруг мировая гениальность! — А что? — сказал Лизавин. — Да ничего. Со скромностью, видать, не так просто. Одно дело скромность перед людьми. Или перед Господом Богом. А другое дело перед самим собой. Перед собой мы в иных случаях не имеем права быть скромными. Робеющий считать значительными свои мысли рискует остаться при робких мыслях. — Ну, это как сказать: робких! — раззадорился Лизавин и продолжал: — Порой мне кажется, я смог бы осилить все, что захочу. Вопрос только в том, что я способен захотеть.

Вот эти слова подчеркни жирной чертой и поставь восклицание на полях, — ухмыльнулась внутренняя честность. — И еще какое-нибудь нотабене. Ты сам не представляешь, что написал. — Как знать, может, и представляю, — съязвил Антон Андреич. — А, то есть все-таки претендуешь? Уточним, о чем тогда твоя забота? О высоком искусстве? О совершенствовании души? Или, прошу прощения, о счастье? — Обо всем вместе, — подумав, ответил своей внутренней честности Лизавин. — Может, как раз искусство способно дать одной жизни и полноту и счастье. Может, в этом его важная суть. — Ах вот оно что, — догадалась внутренняя честность, и голос ее показался Антону похожим на хмыканье занудливого москвича. — Ты не так, оказывается, прост. Ты хочешь устроиться хитрее всех? одновременно в разных измерениях? избежать напряжения, страха, зависти, даже тяги к приключениям — и вместе с тем равнодушия, скуки? ускользнуть от извечных человеческих противоречий? Хочешь быть одновременно и художником и бюргером. — А почему бы нет? — усмехнулся он — и внутренняя честность сконфуженно примолкла перед такой простотой.

«В конце концов, где происходит действие «Братьев Карамазовых»? — осмелев, приписал Лизавин. — В каком-то Скотопригоньевске. И о чем, казалось бы, этот роман? О любовном соперничестве отца и сына, еще о нескольких привходящих интригах. Но при этом о жизни, о смерти и бессмертии, о свободе и судьбе»...

Тут ему послышалось, будто кто-то фыркает в ладошку: внутренняя честность оправлялась от конфуза. И Достоевского сюда же, — послышался знакомый кашелек. — А что? — Нет, это опять к теме скромности. То есть ты надеешься что-то понять в современной и вечной жизни со своего пяточка, со своих, можно сказать, задворков? — Допустим, с пяточка, допустим, с задворков, — решил не сдаваться Лизавин. — Если уж на то пошло, каждый знает лишь крошечный уголок этого самого мироздания. Одни навидались и испытали больше, другие меньше. Но в сравнении с тем, чего они не видели и не испытали, разница микроскопически, бесконечно мала. Дело не в месте, не в количестве, не в пространстве познанного.

А в чем же? — заинтересовалась внутренняя честность. Антон Лизавин помедлил с ответом. Он хотел было пояснить сколько — рассказом про читанный где-то научный опыт. Опыт этот доказывал, что полноценный живой организм, лягушку например, можно вырастить из клетки, взятой с любого участка тела. С любого, даже с кожи; все равно там содержится вся информация о целом. Почему-то его радовала мысль об этом открытии ученых, казалось, что оно имеет отношение к нему. Но, возможно, он тут что-то неточно понял...

Вот, — пришло ему взамен другое, — каждый строит свой мир со своей точки отсчета — как любую мелодию можно выстроить, начав с любой ноты

Разными будут лишь тональности, но внутренние, относительные соответствия звуков внутри каждой — равноценны. Если угодно, счастливая взаимосвязь людей — нечто вроде хорошо темперированного клавира...

Однако в строгости своих музыкальных познаний кандидат наук опять же не был убежден и этой дерзкой гармонической формулы записывать также не стал.

Золотое паркеровское перо застыло над бумагой, как курица перед клевком, потеряв из виду зернышко. Все дело в сравнении, думал Антон Андреич. Мальчишкой он тренировался в беге на футбольном поле в Нечайске. Он приходил туда один и бегал от ворот — сто метров, расстояние он знал. Но вот секундомера у него не было, и он по домашним ходикам приучил себя точно отсчитывать секунды в уме. Ему казалось, что очень точно. Он бежал от ворот до ворот и считал про себя секунды, с каждым днем преодолевая свою стометровку все быстрее: за тринадцать секунд, двенадцать, одиннадцать. И вот однажды он уложился в десять секунд — выше мирового рекорда, и, счастливый, повалился на траву за футбольными воротами без сетки, глядел, как над его лицом поворачивается небо вместе с облаками. Ему было десять лет. Кто мог его опровергнуть? Кто мог назвать истинными другие секунды? Кто-то, смотревший на него с высот, отмеривавший время по своему секундомеру? Ему представился этот абсолютный судья, вообразивший себя объективным. Антон показал ему язык и повернулся лицом в траву, в резные листья клевера и пахучей ромашки, в зеленовато-желтые пупочки, без белых лепестков для гаданья, в душистые величавые заросли, где ползали насекомые, исполненные сознания значительности своей жизни...

Всего этого он, впрочем, тоже не записал, о чем будущие его читатели могут, если угодно, пожалеть. Подслушай кто-нибудь со стороны все странные мысли, которые возбудила в Антоне Лизавине та случайная встреча, он мог бы вообразить, что она смутила его всегдашнюю простую ясность. Может, не в самой встрече было дело, даже не в разговоре — подумаешь, вцепился на улице умник! — а вот пошли пузыри, как от камня, упавшего в ил. Несмотря на возраст, Лизавину все еще по-юношески казалось: ему недостает только времени и уединения, чтобы схватить какую-то главную суть. Ему еще только предстояло понять, что одинокое размышление может быть плодотворно лишь для ума установившегося, сильного, способного вести диалог уже с безликим, высшим собеседником — но непременно диалог, ибо напряжение возникает только между полюсами и искры высекаются камнем о камень. Понадобился некоторый срок, чтобы заглушить это беспокойство, с чем Антон Андреевич при своем уме и счастливом характере, как мы уже могли судить, справился. И способствовала тому еще одна московская встреча.

Дело в том, что сразу по возвращении у Лизавина снова наметилась командировка в столицу. Он даже денег сперва решил не отсылать, чтобы оставить удобный повод для встречи с московским умником, и заготовлял впрок ответы ему, как пацаны заготовляют перед сражением снежки. Поездка, однако, откладывалась с недели на неделю, Антон с несвойственной ему нервностью юмористически воображал, как поминает его Сиверс (подозревая, впрочем, что тот и думать о нем забыл); во всем этом было что-то от вздернутости влюбленного с первого взгляда. Наконец он все-таки отослал злополучную десятку, и тут же, как в насмешку, решил вопрос с командировкой.

В Москве дела опять закрутили Антона, и лишь в вечер перед самым отъездом он сумел разыскать дом Сиверса — старый дом недалеко от центра, из двух случайных половин: кентавр с неприглядным кирпичным крупом и благородным, но, впрочем, тоже не слишком приглядным лицом. Фасад когда-то гордился дворянской охрой, белизной пилястров между окон, вызывавших мысль о воротничках или манжетах у пожилого, но не забывающего следить за собой человека. Теперь все обшарпалось без ремонта, дом словно бы потерял поверхностное тщеславие, замер в тесноте асфальтового переулка, среди воз-

несшихся галантерейно-хамоватых недорослей, точно философ, застигнутый среди уличной толчеи внезапной, ни с чем не сравнимой мыслью — нахотлившись и приподняв потертый, в перхоти, воротник. Потом Антону казалось, что уже при виде этого жилища он что-то понял наперед — например, догадался, что Максима дома не застанет. Дверь открыла женщина с миловидным, заострявшимся к подбородку лицом; светлая челка спускалась на лоб. У ног ее увивались, постанывая от нежности, две бестолковые дворняжки, черная и белая. Услышав имя Лизавина, она улыбнулась, пригласила подождать — как будто знала о нем что-то близкое. Звали ее Аня, обручального кольца на пальце у нее не было. Антон просидел с ней на кухне добрый час, сразу расположил ее советом сбрызнуть треску лимонным соком — кулинария была его всегдашним козырем в разговорах с женщинами; здесь приоткрывалась некая женственность его собственной природы, и это вызывало доверие, порой до обидного бескорыстное, какое бывает с подружками. Аня посетовала гостю на собак, которые путались под ногами, мешая ей своей нежностью: «Вот Максим то и дело приводит каких-нибудь бездомных псов. А кормить и обихаживать их должна я. Он, видите ли, все гуляет. У него удивительная способность любую встречу превращать в отношения... — И тут же, видно спохватываясь, что может обидеть гостя намеком, поспешила добавить: — Только вы не думайте, я не имею в виду... Меня ведь тоже... Я ведь сама сюда попала так...»

А, вот оно что!.. Как понятен был кандидату наук этот усмехающийся над собой голосок! Как просто мог сопоставить его быстрый ум поздние приходы Сиверса и оброненные им слова: если б меня никто не ждал! эту грустную, исполненную жалостливого превосходства уверенность женщины, что он все равно вернется, это жилье, где полотенца пахли гостиницей, где потеки и трещины замазаны были неубедительно, а то и просто завешаны картинами (очень женские пейзажи и натюрморты, писанные маслом); на каждой, в глубине, в уголке, в зеркале, в настенном портрете, один раз даже на отражении в вазе присутствовало тонкое лицо с преувеличенными глазами и знакомым изгибом рта... Все-таки хорошо, что Лизавина опять ждал поезд и можно было предупредить уже набухавшую, ненужную, нервную откровенность. Антон по природе предпочитал кое-что довообразить. Весь ночной разговор с Максимом высветился вдруг в житейской полноте и конкретности. В доводах москвича услышалась теперь не ирония, не наступательная уверенность, а вопрос. Потому что этот человек с недостоверной усмешкой и печальным, как у клоуна, взглядом был явно не так уж тверд в жизни, повседневная опора его была скудна, он не умел с ней ничего поделать, не умел даже убежать, как это бывает с людьми, запутавшимися в высоких отвлеченностях. Да, может, он не просто с интересом, а с сомнением, даже надеждой вслушивался в разглагольствования простака провинциала...

Возможно, Антон Андреевич слишком увлекся своими домыслами, но что-то в них было достоверное. Вернувшись домой, Лизавин не просто записал их в свою тетрадь с золотым тиснением, но впервые попробовал набросать нечто даже вроде сюжета о случайной встрече, о столкновении самочувствий, об усмешке, от которой рад бы избавиться, да не тобой она запечатлена, о томлении духа, тоске и бегстве. Из литературного озорства — и чтоб зря не тратиться на выдумку — он дал одному герою собственное имя, а другому — имя москвича. Развивая сюжет, он слегка пофантазировал о том, как этот чудак с преждевременными залысынами потянулся от собственных проблем и неприкаянности к заинтересовавшему его провинциалу, к его рецептам доступного счастья и приезжает к нему. Дальше фантазия застопорилась, варианты разыгрывались то неправдоподобные, то с опасной оскоминой. А потом взяла свое нагрузка, трудный учебный год — дел хватало. Заветная тетрадь мирно зимовала в ящике, Антон о ней не вспоминал.

Однако теперь можно себе представить не просто удивление, но некоторый суеверный трепет; этакий, скажем, холодок по спине, который почувствовал Антон Лизавин, увидев наяву в своем доме этого самого гостя, назвать которого совсем уж непредвиденным было с нашей стороны, пожалуй, неточно.

4

Все мы нередко предпочитаем довообразить человека, нежели проникнуть достоверно в его жизнь и судьбу. В этом есть нечто от склонности шадить себя. Воображение ведь часто пускается в ход от робости перед реальной жизнью; оно к меньшему обязывает. Но впечатление о любом человеке вообще строится на перекрестке узанного и домысла, меняются со временем лишь соотношения, и, как в поэзии, тут многое зависит от способности, если угодно, таланта.

Замечательней всего, что Антон Андреевич не ошибся даже в некоторых подробностях относительно Максима Сиверса, и тот, кто слишком поддался его иронической самооценке, пусть возьмет себе это на заметку. Потом он сам удивлялся верности иных своих догадок. Но попроси его кто-нибудь описать этого человека по четким пунктам анкеты наподобие собственной, он бы стал спотыкаться едва ли не в каждой графе — начиная с рода занятий. На исходе третьего десятка Сиверс выглядел межеумком — недоучившийся студент какого-то (и не важно какого) факультета, ни в чем не определившийся, не осуществившийся, нигде не свой: вроде бы интеллигент по образованности и по сути, но и образование и интеллигентность были какими-то несерьезными, не подтвержденными ни профессией, ни дипломом, ни результатом труда; вроде бы с многообразным опытом, даже с мозолями, но и мозоли и опыт были тоже какими-то неосновательными. Не дурак, что говорить, не дурак. Антон сгоряча, за неимением более определенного слова, даже чуть не назвал его мыслителем; но термин этот, по нашим временам, не обозначая профессии, звучит скорей комично. (Бродячий мыслитель! Бездельник с претензиями!) В другой раз тот же Антон и тоже сгоряча назвал его нелепым несчастным клоуном — но это и вовсе оставим на его совести. Насчет «психа» было произнесено раньше, и при более близком знакомстве это впечатление совсем не исчезло; однако интеллигентность не позволяла Антону Андреичу отделяться и этим словом от всякой странности и непонятности. Каждый может считать за норму именно себя — но каковы мы с чьей-то иной точки отсчета? Ну вот... Если можно так выразиться, в сегодняшнем пространстве Лизавин был куда устойчивей и определенной, хотя за спиной у него не было ничего, что можно бы назвать историей, — кроме обиходных строк автобиографии. Вот тут про москвича можно бы рассказать побольше — да тоже не бог весть что.

Отец Максима Сиверса был фигурой одиозной среди московских книжников. Никто достоверно не знал цены сокровищ, хранившихся на полках и в запертых шкафах его комнаты с зарешеченным, точно в тюрьме, окном. Как всегда бывает в таких случаях, предположения ходили самые фантастические, но он не давал возможности ни подтвердить их, ни опровергнуть, поддерживая при надобности отношения с собратьями по страсти (или по сумасшествию) лишь, так сказать, на их территории. Жил он после войны одиноко, жена его, мать Максима, умерла в самом начале эвакуации, оставив на чужих руках новорожденного сына, и ригористка Ариадна Захаровна, известная нам Максимова тетка, никогда не могла простить старику, что он отпустил в такой путь ее беременную сестру одну, без поддержки и опеки, а сам неведомыми средствами зацепился в Москве, чтобы стеречь от войны свою библиотеку. Тетка вообще считала, что он сгубил жизнь жены, но в ее неприязни к нему странно сочеталась насмешливая брезгливость с каким-то почтительным чувством дистанции: так можно было относиться к дракону или колдуну, похитившему принцессу, — ибо сестра Ариадны Захаровны

поистине была принцесса и околдовать или, если угодно, охмурить, погубить ее мог тоже лишь кто-то незаурядный в своем роде.

Максим впервые увидел отца после войны, лет в пять или шесть. Это уже тогда был совсем старый человек, никак не отождествлявшийся со словом «отец»: маленький, тщедушный, с прозрачной седой бородкой. Вначале он пробовал оставить сына при себе, даже нанял женщину помогать по хозяйству. Но ничего не вышло из этой попытки запоздалой и неумелой нежности. Максим сразу стал отчаянно хворать — с удушливым кашлем, жаром, сыпью до волдырей. Врачи нескоро догадались об аллергии — тогда в ней меньше разбирались. Болезнь быстро проходила за пределами отцовской комнаты; было решено, что ее вызывает книжная пыль, и Ариадна Захаровна, с неожиданным терпением следившая за этим обреченным опытом семейной жизни, окончательно взяла мальчика к себе.

Став постарше, Максим иногда сам навещался к отцу, в комнату-камеру, где пахло кислым стариковским уксусом, одиночеством и тоской. Во всяком случае, считалось, что он часто к нему ездит. Жизнь между двумя домами давала возможность безнадзорно слоняться по городу с приятелями. К двенадцати годам он умел курить, не испытывая головокружения, и устранять табачный дух мятными леденцами, прорываться без билета в кино, недурно играть в расшибец и чеканку и дважды, не назвав своего имени, удирал из детской комнаты милиции, куда его приводили после неудачных уличных столкновений. При этом он без особых усилий ухитрялся успевать в школе, а дома тетка учила его вдобавок сразу двум языкам.

— Я, знаешь, из породы невольных отличников, — заметил он как-то Антону. — Таких в компании часто бьют. Хотя я никогда не выставлялся. Меня даже ценили как энциклопедию.

Драться ему приходилось действительно часто, но неизвестно даже из-за чего. Какое-то он распространял вокруг себя напряжение, утомительное для других беспокойство (сам не видя в зеркало своей невольной гримасы) и в любом дурацком споре не упускал случая остаться в меньшинстве или одиночестве. Меньше всего имел значение повод. Считалось, что он вызывает раздражение своими слишком яркими для мальчишки, будто крашеными губами, и за недостатком аргументов его язвили кличкой Красногубый.

Эта вольная жизнь пришла к концу, когда открылось, что Максим тащит и продает книги с отцовских полок. Тот вряд ли когда-нибудь сам заметил бы ущерб: книги брались наугад из второго ряда, оставшиеся тотчас на глазах размножались почкованием, восстанавливая число и заполняя щель. Но случилось так, что одна из них кружным путем вернулась к отцу. Заглавия ее Максим даже не осознал, продавая, но навсегда запомнил четкую гравюру на белой бумажной обложке, изображавшую череп в нимбе, — и взгляд отца; он стоял перед ним с книгой в руке, маленький, в детских сандалиях, смотрел на него уже снизу вверх ясными нестарческими глазами и не говорил ничего, как будто приготовленные праведные слова заклинило в горле. Увидел ли он что-то вдруг в лице сынка с немальчишескими, порочными на остром лице губами, с руками, которые по локоть обметала жестокая сыпь, точно улика воровства? Не страх, а тоскливую дурноту зарождал в Максиме этот взгляд, этот запах прокисшего уксуса, запах старости и одиночества. С тех пор навсегда для него тоска будет пахнуть уксусом (хотя случалось и ошибаться и запах обычного уксуса он принимал за тоску). Больше Максим в этой комнате не появлялся. Он знал отца меньше, чем иных посторонних, не мог вспомнить ни одного существенного разговора с ним, но очень скоро начал подозревать, что связан с ним глубже, нежели казалось. Этот человек все же передал ему что-то: ответ ли тоски во взгляде? догадку ли, что эта тоска и страсть, пусть даже нелепая и безнадежная, — быть может, лучшее и главное, что есть в нас: отними их — что останется? Или, может, какую-то поправку к теткин

представлениям о чести, которая требует жить, трепыхаться, проталкиваться куда-то дальше, даже когда не видишь в этом ни радости, ни смысла, — раз уж подписан от рождения некий договор? И еще — странную, словно в насмешку обращенную аллергию...

Это было действительно черт знает что! Проклятая болезнь, видно, прицепилась к нему на всю жизнь, она становилась все причудливей и неуловимей. Причина ускользала из рук. Установить то, что медики называют аллергеном, так и не удалось — эти аллергены казались многоликими и, похоже, разнообразились со временем. Он не знал, с какой стороны ему ждать опасности. К старшим классам школы у него выявилась, например, совсем фантастическая аллергия на некоторые слова. Это были слова безобиднейшие, заурядные, из тех, что звучат на собраниях, — вроде «повестки дня» или «слово предоставляется». Но стоило им возникнуть в воздухе, как у него открывался полный набор симптомов: от кашля и насморка до зуда и сыпи. Если б еще порознь, иной разговор: сыпь, скажем, дело личное и можно ее втихомолку терпеть; с другой стороны, отдельно кашель или чих, неуместно будоражившие зал, можно бы счесть за подозрительную симуляцию. (Да учтите неудачный покррой рта да проклятую родинку. Кстати — и к сведению Антона, — он усы пробовал отрастить, но даже этому воспрепятствовал насморк.) Когда по состоянию здоровья Максим, к зависти иных, от посещения собраний был освобожден, кое-кто, говорят, даже пытался эти отдельные признаки симулировать. Да ведь понарошке такое не выйдет — и не выдержать.

Смех смехом, но Максиму бывало не до веселья. Его природа играла с ним какую-то игру, направления и смысла которой он еще не улавливал, — да, может, эти направления и смысл пока уточнялись самой природой? Болезнь обострялась внезапно, без явного повода, все заметней вмешивалась в его жизнь, делала невозможными иные занятия, разговоры, поздней даже учебу на биологическом факультете университета (вот, впрочем, биологическом). Когда, казалось, все было в полном порядке, ему становилось вдруг трудно дышать, и наоборот, запах напряжения, дрожь опасности приносили ему облегчение. Но почему ему становилось не по себе от уклончивой теткиной памяти? и почему ему дышалось сполна, когда он навещал ее, умирающую, в больнице? Почему одолевал его насморк, когда он возвращался к Ане, к ее пейзажам и натюрмортам, полезным для здоровья, как салат, и безобидным, как рыбная ловля, к холстам, грунтованным с расчетом на вечность, и краскам, сочетания которых не меркли от времени?..

Да, вот еще Аня. Тут кандидат наук и впрямь многое угадал. Сиверс был из числа людей, в жизни которых несоразмерную роль играют всяческие абстракции. Когда появился, например, транспорт без кондуктора, ему, для которого всегда делом школярской и студенческой чести было проскакать куда угодно зайцем, оказалось невозможно ездить без билета, обманывая чье-то безликое доверие. Если случалось оставаться без копейки (а еще как случалось!), он предпочитал идти пешком, чтобы не чувствовать себя подлецом. У подобных людей (и кто бы предположил при такой усмешке?) пустяковому шагу аккомпанирует порой внутренний гром и молния; возможно, это придает жизни своеобразный интерес, но никак ее не облегчает. Впрочем, у всех нас множество драм разыгрывается не в реальных отношениях, а в мнительных наших душах — но разве это не самые подлинные драмы? У Сиверса же кашель и сыпь подтверждали их куда как вещественно.

Аню он встретил как-то летом на улице, она приехала откуда-то с Алтая поступать в художественное училище — налегке, с единственным сиротским чемоданчиком, где едва уместились несколько альбомов с рисунками для показа да набор фотографических видов Москвы: она собирала их влюбленно много лет, как другие покупают открытки с киноактрисами. Возвращаться ей было не к кому и не на что, и никого не было в Москве. От голода она была

такой невесомой, что не ходила, а парила над разогретыми тротуарами, принимая головокружение за счастье и удерживаясь на земле только тяжестью своих альбомов. Тогда еще была жива Ариадна Захаровна, началось все с простого порыва приютить... Ну что говорить, был порыв, вполне благородный, взаимный, искренний, потом остались совесть, вина, долг — когда она шла с ним рядом, держа под локоть обеими руками и заглядывая в глаза, так что трудно было не спотыкаться... Любой справился бы с этим проще, тем более что детей у них не было. Но Аня держала его в плену своей самоотверженности, заранее ни на что не претендуя, ни на что не жалуясь, все прощая, заменив зеркала в доме его портретами. И может, зачем-то ему это было нужно — не нам судить. Лизавин был прав: Максим пробовал убежать. Когда-то, поторопившись уйти из университета, он обосновывал это необходимостью зарабатывать на двоих. Его тут же призвали в армию — и не мог же он от всей души сказать, что забыл про такую возможность? Перед самым отъездом он расписался с Аней, чтобы узаконить ее права на жилье. Однако трехлетняя эта отлучка была уже подозрительно схожа с побегом. И сколько их было потом! Подобно многим, он мог бы сказать, от чего бежит, но что ищет — вряд ли.

Он служил санитаром в «Скорой помощи», подрабатывал переводами, ходил рабочим с геологами и археологами, несколько раз подряжался тянуть линии электропередач, и заработанного за лето хватало потом едва ли не на весь остальной год. Несмотря на болезнь, он не был физически слаб и в отъездах чувствовал себя лучше, чем дома. Одно время казалось, что помогает перемена климата, но стоило ему задержаться где-то подольше, как возвращалось то же. Порой он напоминал того беднягу, что, пробуя утихомирить колики, ищет безболезненной позы — хоть на четвереньках; но долго ли так выдержишь? Он напоминал всех тех, что ищут внешней свободы, опутанные миллионом зависимостей внутренних. Легче всего ему было в дороге, между небом и землей. Э, что говорить, это многим ведомо: страсть к отрыву, к преодолению земной тяги — может, чем-то родственная мечте о бессмертии...

Да, вот еще вопрос: не пробовал ли он писать, подобно Лизавину? Это сразу многое бы объяснило, поставило бы на места: и профессии не надо, и уже не простой бездельник с претензиями, а собиратель жизненного материала. Впоследствии у Антона возник повод подумать о нем именно так, во всяком случае, заподозрить литературные способности — но не более того. Чего-либо положительного Сиверс и тут предложить не мог. Какие-то зубчики колес не зацеплялись, понимание не соответствовало умению.

Зачем он тогда прикатил в Нечайск? Без определенных планов. Попутно, что ли, на пробу; на огонек двух знакомых адресов — бродячий извлекатель жизненного корня с фатальной аллергией и вздорной родинкой, к которой никто не успевал привыкнуть и которую каждый толковал на свой лад, чужак, ненадолго врывающийся в жизнь встречающих, но всюду временный (а может, слава богу, что временный). Как ни посмеивайся над ним, он вносит в наше ироническое повествование неуместную напряженную нотку. Ни к чему бы это пока; хватает о нем. Да и негоже нам знать о нем сразу больше Лизавина — иначе нам не оценить того чувства неясной, беспричинной тревоги, овладевшей Антоном, когда этот человек материализовался, можно сказать, в вечер его рождения за праздничным столом.

5

Откуда тревога эта взялась? Она гудела почти физически, как фон застойного, уже хмельного разговора. До приезда виновника торжества было, видно, порядком выпито, и Антону пришлось догонять, пока он перестал воспринимать все неуместно трезвым, каким-то не своим взглядом. Может, дело было просто в этом, да в суеверном пустом совпадении, да в путаном воспоминании. Запах ветреных холодных пространств, прорвавшийся однажды

в вокзальную отдушину, вновь беспокойно коснулся ноздрей. Он присутствовал в доме, не смешиваясь с привычными запахами кухонного керосина, клеенки, сырости, как, не смешиваясь, плавали в воздухе прожилки сладкого печного тепла. Он этого дыхания потускнело зеленоватое старое зеркало, в никелированном отблеске кроватных шпичек проступило что-то от трогательной пенсионерской бодрости. Сами запахи в доме как будто бы постарели. И что-то щемящее, незащищенное виделось в шуплой фигурке отца. Он сидел за столом в своей неизменной полосатой рубашке при черном галстуке, лизавинские черты, у Антона прикрытые бородой, здесь были выставлены со всем простодушием, обостренные и отчеканенные возрастом: маленькое морщинистое лицо, уменьшенный подбородок, красный от выпивки носик, милый, в петушиной коже кадык с порезами от бритья.

— Все, — объяснял он сыну, ладонью категорически пристукивая по столу, — Максим Владимыч будет жить у нас. Мы договорились. Все! И работать устроится здесь в школе, преподавать английский. Или французский? Да, Максим? Решено, у все устрою. Диплом — ерунда, у нас второй год хоть какого ищут. А тут — свободно владеет. Решено!

И подливал москвичу из оплетенной бутылки фирменной домашней вишневки — тот опрокидывал ее, увы, разом, не вникая. Он кивал, соглашаясь, как будто застенчивый перед стариками; любопытно его было видеть таким. Мама, прихрамывая, хлопотала вокруг гостя, тронутая его худобой, подносила из кухни ржаных шанежек с картошкой — в Москве небось таких не делают, да и картошка не та.

— Вы расчувствуйте нюанс нашей картошки, — вдохновлялся отец. — Если картошка, я вам скажу, растет в жирной земле, она сама выходит жирная. Это, конечно, грубо говоря, я не химик. Это химик или биолог может объяснить, какой процесс происходит в картошке, что она становится именно такой. Есть один ученый, я его читал, крупнейший специалист по картошке. Не помню фамилию. Ну, в общем, Циолковский по картошке, он это все описал. А у нас картошка водянистая, и в этой воде самый нюанс, самая сладость...

Поближе к Максиму был пододвинут магазинный, местного производства торт с надписью брусничным вареньем по крему: «Восход — Мир — Москва», и Антон с той же дурацкой мнительностью ловил на губах москвича уголок усмешки; понять ли ему, какая это гордость — в кои веки торт в нечаяском магазине? На стене, против Сиверса, между ходиками, по которым Антон когда-то учился считать секунды, и крымской подушечкой для иголок (голубое бархатное сердечко, окаймленное ракушечным узором), висела в застекленной рамке вырезка из областной газеты — первая публикация Антона: отец специально выставил ее как в музее, чтобы продемонстрировать гостям. Наверняка уже и москвичу похвастался. И, конечно, рассказал про каменную бабу — знаменитую находку своего краеведческого музея. Эту грубо тесанную фигуру серого камня наподобие скифских Андрей Поликарпыч обнаружил в размытом овраге прямо за своим огородом и считал ее доказательством собственной теории о том, что жившие когда-то здесь языческие племена имели не только деревянную скульптуру, как принято было считать до сих пор. Уже приезжали смотреть эту бабу специалисты из Москвы, промямлили что-то неопределенное, обещали вернуться для более тщательного обследования. Кто-то в Нечайске пошутил, что Поликарпыч из патриотизма сам изготовил для города достопримечательность; шутка была беззлая, но Антона каждое новое упоминание о бабе тревожно задевало. Он слишком знал увлекательный характер отца, который даже уроки свои превращал в рассказы о собственных приключениях. Казалось, он всю жизнь воспринимал сквозь радужную дымку своих историй. Во многих он вселил тоску по странам, где нас нет, но сам не тосковал — ему с избытком хватало того, что он имел при себе. Что ему еще было нужно, если в шестьдесят лет ему снились пальмы, попугаи и джунгли, сочащиеся оранжевым светом, и щеки его были опалены дыханием

прекрасных высот? Он больше чем верил, что сам бывал в местах, о которых рассказывал, — хотя успел забыть с годами, как туда попал, в страде странствий равномерно растекаясь душой по всему шару Земли и нигде не задерживаясь особо. Весь житейский опыт, все позднейшие сведения не отменяли этой юношеской основы, а накладывались на нее. Он предпочитал нынешним книгам о путешествиях старые — не с фотографиями, а с добросовестными рисунками натуралистов, где сочетались правда жизни, искусство и поэтическое мастерство знатока. Люди порой не любят фотографий мест, где им было хорошо. Он и телевизора не завел, но географические передачи смотрел иногда в школе, с ревнивым чувством очевидца проверяя их на истинность, безусловно чувствуя инсценировку, монтаж и комбинированную подделку. Потому что ни телевидение, ни даже цветное кино не могли подтвердить того, что знал он, — подлинных запахов этих мест, желтого духа тропиков, ароматов дегтя на просоленных пристанях, душной листвы и оскомины мороза: подделка пахла не тем, и наостренный нюх старика улавливал несоответствие. Хотя, насколько Антон знал, единственное дальше путешествие — через всю Европу — отец совершил в войну, но именно о своих военных странствиях почему-то избегал распространяться и даже в праздники не надевал медалей. Ах, Антон знал прекрасно своего отца — но как поймет его иначе настроенный слух, взгляд?

В детстве Антон Андреич любил забавляться цветными стеклами. У него был целый набор — красных, зеленых, синих, бутылочных. Мир сквозь них открывал особые, затаенные свойства: облака с огненных небес выпирали выпукло, тяжело, грозно, в черной листве прятались от солнца ночные страхи, новым смыслом дышали тени и лица светились неведомой прежде красотой. Когда Антон, насытаясь, обезоруживал услажденный зрачок, первое время все представляло удручающе бесцветным, пресным, будто на него смотрели без юмора и фантазии. Это было уже непривычно, неестественно, как если бы сама роговица глаза от природы была подцвечена, а теперь болезнь или операция обезоружили ее. Попробуй объясни больным с такой поврежденной, неестественной роговицей, как выглядит все на самом деле. Вы станете посмеиваться друг над другом, и души вашей коснется вот та самая необязательная тревога...

Она почему-то не оставляла и вспоминалась Антону, когда на другое утро они отправились разыскивать армейского приятеля Сиверса. Было солнечно. С высоких мест снег давно облупился, чернота расплзлась все просторнее. Но внизу он лежал свежий и яркий, местами в желтых солнышках проступавших навозных подтеков. Некогда втоптаные в него тропинки и лыжни рельефно возвышались над оголяющейся землей, как белые вздутые рубцы на темном теле. Кочки мокрой нежной земли высывались погреться; было в их наслаждении что-то щенячье, ласковое. Вода прикрывала ледок на лужах, он был не толще яичной скорлупы, от прикосновения ногой под ним волновались белые шарики воздуха, как на плотницком ватерпасе. Подтаявшее озеро ослепительно сияло внизу, и черные вороны вышагивали прямо по водной глади.

Путь их лежал вверх от озера мимо базара. Лизавин зачем-то ревниво огибал стороной всегда такие привлекательные для него ряды, толкучку, где продавалось не только тряпье, но и старые инструменты, иголки, даже ржавые шурупы — как ни странно, все-таки находившие своего покупателя. Совсем уж безнадежные вещи держались в комиссионном магазине, тут же, при базаре; за копейки желающие могли здесь освободить полки от фотопластинок еще довоенного производства, иголок к несуществующим примусам, деталей к никогда не существовавшим приборам; все это лежало под стеклом и на полках, дожидаясь человека, у которого дрогнет сердце при виде такой обреченной стойкости.

На самом краю базара, в фанерном павильончике, за своим агрегатом с пастой из ФРГ и клизмочкой для продувания стержней сидел Раф Рафыч Нечайский-Бабаев, восточный человек. Он сидел, дожидаясь клиентов, в некогда роскошном резном кресле с обивкой красного бархата, и птица заботы раскинула над ним свои тяжелые, ватные, свои одеяльные крылья. Хотите новеллу про это кресло — трофейное антикварное кресло, которое Бабаев сдуру успел прихватить из разрушенного немецкого дома перед самой посадкой в теплушку? Ни на что большее ему уже не осталось рук, и когда другие везли из-за границы кто аккордеон, кто швейную машинку, он от Берлина до Москвы прокатил, как король, в этом мягком неудобном кресле, а потом кое-как дотащил его до Нечайска и, застав дом запертым, на нем же присел во дворе дожидаться жены, да так и заснул на своем нелепом трофее с вещмешком на коленях, с медалями и гвардейским значком на груди — вечный неудачник, — пока его не разбудили набежавшие соседи... Ах, в Нечайске на каждом шагу новелла или, если угодно, поэма; но станешь так отвлекаться по сторонам — не скоро доберешься до цели. Хотя есть ли цель у рассказа больше сладости самого повествования? Это пусть спортсмен без оглядки спешит к своей ленточке, не замечая лиц вокруг, — его дело. Пусть алкоголик, если хочет, опрокидывает стаканчики, пренебрегая подробностями, вкусом и самим временем ради того, что кажется ему конечной и единственной целью. Пусть достойный лишь детектива читатель рвется от затянувшейся экспозиции к сюжету — с интригой, выстрелами и любовной развязкой. А может, главный-то сюжет уже вот он, весь тут, в том, что лишь кажется нам экспозицией? Может, он весь в капле, уже подточившей глыбу, в попутной болтовне, в трепетанье ресницы, в перемене теней, в перескоке зеркального зайчика — а мы не заметили. Вот так и живем, торопя Богом данные дни, будто впереди где-то ждет нас более существенный итог, а сюжет — вот он был, проморгали, и не перечитать второй раз. Ладно, до встречи пока, Раф Рафыч. Поболтали по пути вместе с Антоном о том о сем — надо все ж и до Кости Андропова добраться.

Имя это на первый слух показалось Антону смутно знакомым; услышав же его второй раз, да еще с адресом, Лизавин, что называется, хлопнул себя по лбу. Как же ему было не знать Костю! и кто в Нечайске его не знал. Сбила с толку фамилия, Андронов известен был больше по прозвищу: Костя Трубач. Он был когда-то лучшим трубачом здешнего духового оркестра и после армии имел некоторое время привычку дудеть по утрам со своего крыльца, давая побудку. Никого это не возмущало — даже нравилось, ибо вставляли в Нечайске по-деревенски рано — по привычке с времен, когда городок дружно выгонял в стадо коров. Женившись, Костя свою трубу забросил вместе со многими холостыми привычками, а прозвище осталось.

Женитьба его позапрошлой осенью вызвала в городке много толков. Во-первых, потому, что женился он не на ком-нибудь, а на дочери покойного Прохора Меньшутина, директора местного Дворца культуры, человека для Нечайска незаурядного. Это был пьянчужка и талантливый, может быть, гениальный сумасброд, всю жизнь носивший в себе какие-то смутные, фантастические идеи. Среди рутинных клубных будней с танцами под радиолу, заезжими лекторами и кино он вдруг в самом деле раздражался каким-нибудь невозможным по замаху мероприятием вроде общегородского гуляния с праздником Нептуна на еще мерзлом озере или бала-маскарада с фейерверком. Труднее всего было объяснить, каким образом в эти затеи втягивался чуть не весь Нечайск (включая даже вполне ответственное начальство) — с легким головокружением отдуваясь потом и удивляясь сам себе. Весь облик Меньшутина — облик сизоносого шута с артистической шевелюрой, выбивающейся на затылке из-под фетровой шляпы без полей, его припадающая быстрая походка, его плотная фигура с заложенными за спину руками, в пиджак

засаленным воротником — распространял вокруг себя электричество этой заразительной нелепости; он создавал Нечайску особую атмосферу, дух, и после внезапной смерти завклубом (его хватил удар под фейерверк бала-маскарада, последнего и самого безумного из его мероприятий) городок почувствовал, что утратил нечто существенное. Это была его легенда, какими бывают местные юродивые, святые или шуты. Отец Лизавина даже хранил в запасниках своего краеведческого музея некоторые из личных вещей Меньшутина: ту самую фетровую шляпу без полей, напоминавшую клобук, трубку в виде головы Мефистофеля и авторучку величиной с сосиску, набирающую чернил сразу на полгода. Андрей Поликарпыч был убежден, что со временем эти экспонаты перейдут из запасников на самое гордое место в экспозиции, рядом с костями доисторического человека, черепками из неолитических раскопок и уже известной нам каменной бабой. О Меньшутине рассказывали множество историй и анекдотов — для них потребовалась бы особая книга, тем более что рассказы эти множились даже после смерти Прохора Ильича: например, за счет баек о происшествиях, которые случались с приезжими, посидевшими за обычным столиком Меньшутина в здешнем кафе «Озерное». Местные завсегдатаи за этот угловой столик, над которым до сих пор держался запах меньшутинского «Золотого руна», не садились, как не садятся за музейный экспонат, только оглядывались на него, пропуская лишнюю рюмочку за упокой грешной души Прохора Ильича. А вот проезжие шоферы или командированные, случалось, саживались — и хорошо, если после этого просто нарывались на штраф или полчаса не могли завести мотор (что, впрочем, в других местах объяснялось действием летающих тарелочек). Муж Панковой, например, товаровед местного потребсоюза и известный в городе голубятник, которого, несмотря на солидный возраст, звали, как мальчишку, Гена и которому высившаяся до района супруга наконец запретила это неавторитетное баловство, однажды ради куражу нарочно распил сто пятьдесят грамм за угловым столиком — всего сто пятьдесят, но до того докуражился, что поднял бунт против жениного запрета, полез на крышу чинить порванную голубятню да с крыши этой свалился, сломав ребра. Относительно сломанных ребер кое-кто намекал, правда, на тяжелую руку Ларисы Васильевны. Но не о том речь.

Дело было не только в отце невесты. Сама женитьба Кости поразила воображение нечайцев своей неожиданностью и оказалась связана с обстоятельствами отчасти скандальными. Зоя Меньшутина работала в библиотеке, была девицей тихой, малоприметной, слегка не от мира сего; некоторые считали ее просто чокнутой (что и неудивительно при таком родителе). Видели ее только дома да в библиотеке, никто не заметил, когда Костя начал за ней ухаживать и ухаживал ли вообще, — а уж такой видный парень был у всех на примете. Все произошло как-то сразу, на том же пресловутом бале-маскараде. Представьте себе девушку, которая является в это скопище картонных масок, бумажных колпаков и бесхитростных, самодельной роскоши нарядов — является, как принцесса, в настоящем длинном белом платье, концертном наследстве покойной матери-актрисы; представьте себе занюханый городок, по которому проходит такая принцесса в таком платье, не подозревая о чокнутости своей, какое производит впечатление. Все, раскрыв глаза (да и рты), обнаружили, что проглядели превращение недавней дурнушки в очень даже прелестную девицу. Остальное разыгралось на виду всего Нечайска. Не успел Костя толком потанцевать с новоявленной звездой бала, как у него объявился соперник, известный в городе забияка Юрка Бешеный; многие были свидетелями их стычки, хотя, оглушенные оркестром, духотой и танцами, не могли ни понять, ни объяснить толком, что произошло. А объяснить потом пришлось следствию, ибо обычная драка, без каких не обходится, как известно, ни одна городская танцулька, имела на сей раз финал трагический: несчастный Костин соперник свалился той туманной ночью в озеро с коварного обрыва, на который местного жителя могло занести только спяну или слепоту. Хотя

выяснилось, что паренек пьян не был, а ослеплен разве что душевными переживаниями, следствие констатировало несчастный случай, и Юру похоронили в один день с Прохором Ильичом Меньшутиним, мозг которого не выдержал переживаний и перенапряжения сумасшедшего праздника.

Словом, целый ворох событий, для Нечайска чрезвычайных; поговорить было о чем. Беднягу Трубача после всего этого будто подменили, он даже улыбаться перестал — от любви или от угрызений совести; во всяком случае, теперь-то его постоянно видели с библиотекаршей. Свадьбу справили, едва выждав приличный срок, невеста была на ней в том же белом концертном платье и материнских туфлях-лодочках. С работы она скоро ушла — Костя вполне мог прокормить жену; жили они, должно быть, счастливо и скоро отодвинулись в тень общего внимания, пока не разнеслась о них по городку новая странная молва.

Если дочка Меньшутина всегда была девицей тихой и молчаливой, то про Костю Трубача, активного общественника, правого края городской футбольной команды и любимца девчат, этого сказать прежде никак было нельзя. Перемену в нем стали замечать не сразу, вначале только зубоскалили при встрече с ним за кружкой пива, верно ли, что он за целый день не слышит от жены ни слова? — это ж надо, как ему повезло! Он отшучивался в том же тоне. Может, им не о чем было говорить; но ведь и говорить не обязательно, если они понимали друг друга без слов, если она угадывала и предупреждала его желания и вопросы. Может, он сам не выдерживал такого молчания, был безответно говорлив, особенно в приливы любви к ней, и сам стыдился своей потребности облекать все в слова, неизбежно неточные и пустые, — так ведь кому это не знакомо? — бормотание взахлеб, не для слуха, слова-пена, слова-пение; его дело говорить, ее — молчать.

Толковали потом, что, когда врач Лев Александрович Дягиль, румянощекий нечайский Айболит, навестил Зою по поводу обыкновенного гриппа и обнаружил, что она не может ответить ему ни слова, то есть попросту потеряла голос, Костя, к стыду своему, затруднился точно вспомнить, когда слышал ее последний раз. Вроде бы дня за три до того, в самом начале болезни, она неизвестно к чему сказала: «Сегодня понедельник», а через полчаса он спросил у нее, какой нынче день, и сообразил, что она уже ответила. (Когда-то Трубач шутя рассказывал подобные случаи — точно они жили в разном времени.) А больше, убей бог, ни слова не мог назвать с уверенностью. Толковали, что внезапную немоту дало осложнение после гриппа, но мнение это было ненаучным. Лев Александрович определил якобы обыкновенную истерическую немоту, *mutismus istericus*, как следствие какого-то нервного потрясения, может, смерти отца (правда, со значительной оттяжкой во времени, но ничего другого он не сумел явно констатировать). Лев Александрович, как всем было известно, вообще придерживался устарелого и немодного нынче взгляда, что все болезни в конечном счете зависят от нервов. От аптекарши знали, что прописаны больной настойка валерианы, триоксазин и элениум, да толку от этого, как говорили, не было.

Во всех этих пересудах с самого начала вообще было что-то непроясненное. Казалось бы, чего проще проверить: зайти по соседству поболтать. И заходили и проверяли, это уж будьте спокойны. Да вот странное дело, удостовериться так чтоб совсем уже единодушно и на сто процентов — не успевали. То ли дом у Трубача был такой увлекательный, что гость забывал о главной цели и сам становился словоохотлив, то ли Костя умело перехватывал разговор, — Зоя при этом и присутствовала, и кивала, и улыбалась — но не более, а выходило достаточно, и гость, уже на улице, спохватывался в прежнем сомнении: вроде бы все так, а с другой стороны — черт его знает. На базар и в магазины Трубач ходил сам, принцесса его разве что копалась иногда в огороде (да что у них был за огород! — травка одна). Его голоса, по видимости, хватало на двоих. Никто не ожидал, что с этим современным малым, спор-

тивным, целеустремленным, с этим парнем-жеребцом может такое произойти, никто не ждал от него такого чувства долга и верности — может, потому что пренебрегали объяснением самым простым, как в романсе: он действительно ее любил.

Говорили, что Костя попивает втихомолку, но вряд ли он пил больше, чем требуется человеку, душой углубленному в работу. Служил он техником в телеателье. Прозвище выделяло самое приметное, но далеко не главное из его достоинств. Это был прирожденный мастер, изобретатель, можно сказать, Эдисон Нечайска. При техникумовском образовании он до многого дошел своим умом и, как бывает у таких людей, сочетая черты современного мастера и кустаря-самоучки, нацеливался на замыслы дерзкие, которые отпугнули бы других. Он был из тех, кто при нужде может диод заменить простой шпилькой для волос — и она у него будет не только работать, но и даст эффекты, поучительные для теоретиков. За неимением более просторного поля деятельности главную энергию и изобретательность Костя перенес на свой с Зоей дом. Любопытные знакомые не случайно как на экскурсию тянулись туда поглазеть на самооткрывающиеся двери, говорящие часы, способные приветствовать гостя, кухню, где машина сама стряпала пельмени, и городской туалет, в котором вода спускалась сама, едва человек поднимался с сиденья. Костя мечтал создать комплекс приборов, которые бы в конце концов взяли на себя всю рутину каждодневных ритуалов, приветствий, расхожих слов, той автоматической части жизни, от которой можно и нужно освободить человека, — и одновременно уже нацеливался на большее: он испытывал цветозвуковой аппарат на тиристорных вариаторах, способный улавливать не только оттенки разговора, но и произнесенные вздохи, даже перемены настроения, усиливая их в сполохи электронного сияния и преобразуя в явственную музыку.

Над этим прибором он, возможно, и сидел лицом к окну, когда в комнату, обкуренную, как ладаном, канифолью, вошли Антон с Максимом. Перед тем они миновали распахнувшуюся им навстречу калитку; над крыльцом с облупленной краской зажглась электрическая надпись: «17 сентября», и радиоголос произнес: «Хозяева дома приветствуют вас с супругой», и открылась сама собой входная дверь, включился свет на застекленной веранде, загорелись стрелки-указатели: «В чулан», «В дом» — Костя ничего этого не заметил. Гостеприимный механизм, подключенный к календарю торжественных дат, давно прозябал без дела и, отпущенный на волю, далеко забежал в будущее; иногда его приводили в действие бродячие собаки, поэтому хозяин спокойствия ради отключил его от внутренней сигнализации. Собственно, он выключил его совсем, но жена иногда трогала кнопки невпопад, — так объяснил он, поднявшись наконец навстречу гостям — ничуть не смущенный, белозубый, в трепаных, когда-то роскошных тренировочных брюках с лампасами и синей футболке. После долгого сидения над схемами у него отекали мышцы лица, кожа набухала, и трудно было улыбаться. Антон не видел его с прошлого года и удивился перемене: Трубач отяжелел, как спортсмен, переставший тренироваться, в нем появилась мужская, не юношеская основательность, матерость; никто бы не сказал, что он лет на пять моложе Лизавина и Максима.

А вот Зою, пожалуй, он и вовсе бы не узнал, встретив на улице. И дело не только в том, что это была теперь не знакомая девчонка-библиотекарша, а расцветшая молодая женщина, с той повадкой взрослого достоинства, которая делает девушек более взрослыми, чем даже старшие по возрасту мужчины. Что-то во всем ее облике трудно поддавалось определению и запоминанию. Платье из простенькой вискозы с каким-то переливчатым, а верней, перетекающим узором, казалось, не облегало, а обтекало фигуру, не давая твердо судить о ее полноте или, скажем, худобе. Волосы, в тени темные, в каком-то повороте вдруг высветлялись. Вообще Антон не встречал лица, которое ме

нялось бы так неуловимо, на глазах, от поворота, освещения, от каких-то внутренних причин. В то же время оно кого-то напоминало кандидату наук, он даже попытался вспомнить кого, но оставил эту заботу, когда из кухни сам собой въехал столик на колесиках; бутылка шампанского, едва поставленная среди посуды, также сама собой выстрелила, и пришлось срочно разливать вино в бокалы. Выпили за встречу, кстати и за именинника. Антон благодушно размягчился, готовый видеть во всем фокус или возможность фокуса. Костя, не выходя из-за стола, с дистанционным переключателем в руках, демонстрировал гостям на экране свою «хату»: кухню, комнату, веранду («Вся стеклянная, как троллейбус, — улыбался он. — Сам пристраивал»), даже сад, где камера стояла специально, чтобы смотреть, когда пацаны лазают за яблоками. Не потому что жалко, наоборот, интересно. Да только уж и не лазит никто, яблони старые, ничего не дают, сливы тоже. Так, мелочишка от матери осталась, сама собой растет. Малина там, крыжовник, смородина... Он говорил охотно, даже, может, слишком охотно, как будто не желая допустить паузы, перескакивая с темы на тему, и совместные с Максимом воспоминания пояснял сам.

Речь шла, как постепенно вырисовывалось из рассказа, об армейской стычке или драке, положившей начало их с Сиверсом знакомству. Изложение Трубача по ходу выпивки все больше напоминало мальчишеские пересказы фильмов, где жесты и междометия опережают слабый смысл слов. Антон не сразу взял в толк, что в стычке этой москвич заступился за Костю, а не наоборот, как естественно казалось решить по виду обоих. Пришлось Трубачу объяснять, что он был тогда первогодком-салагой, а Максим дослуживал срок; между салажатами и стариками существует, как известно, непростая система субординации. «Вы в армии не служили? — уточнил он у кандидата наук. — Ну, тогда вам всего не понять...» Эту фразу он повторил еще разок с туманной улыбкой, припомнив злостного старшину (колхозник безграмотный, отрекомендовал его Костя), из тех, что особенно любят поставить на место студентов-интеллигентов. («„Ах, студент! Это тебе не книжки читать. Иди-ка почисть очко”. И сам нарочно еще на доски наложит, простите за выражение».) К салагам он цеплялся вообще для собственного удовольствия и к Косте прицепился не по делу, все видели, что не по делу. А Максим ему с верхних нар: не лезь... Тут Трубач счел нужным пояснить, что вообще старики занимали в казарме привилегированные места внизу, с тумбочкой; Сиверс единственный этим правом не пользовался, будем считать, пренебрегал. Так вот колхозник полез к нему наверх, а москвич вдруг ногой — р-раз! прижал его за горло к стояку и не отпускает. Что было!.. «Вы не служили, вам не понять», — все с той же туманной улыбкой твердил Костя...

Между тем обращался он все время исключительно к кандидату наук, который сидел за квадратным столом против него; разговор шел только по этой прямой, другие двое присутствовали по его обочинам, и порой чудилось, на языке своего молчания вели вперекрест иной диалог. Ишь, умный, умный, а на кого смотреть, знает. Эффект производит. Вдруг Лизавин догадался, кого ему напомнили эти большие, затененные верхним светом глаза с темным обводом радужины, эта мягкая вогнутость щек, — они с Сиверсом были похожи, особенно вот так, в профиль. Максим курил, глубоко и вольно затягиваясь, табачный дым набухал у лампы; Антон готов был понять нечайские пересуды и сомнения, в немоте Зои не было ничего болезненного — и о чем ей говорить? Костя не допускал пауз, как природа пустоты. Теперь он вспоминал, какое роскошное электронное табло видел на Новом Арбате.

— А, я тоже видал, — дернуло встрять Антона Андреича. Почему-то хотелось ему и свое слово вставить. — Громадный такой экран, как футбольное поле, лампочки перемигивают — и цветное кино движется, да? Про консервы рыбные. Глупо так и забавно.

— Почему глупо? — сказал Трубач; вместе с нитью ровного монолога он вдруг утерял и улыбку.

— Ну, я не знаю: сложнейшая работа, уйма труда, таланта, средств, а результат — про консервы, которых и так не купить.

— Ну и что? — упрямо не понимал Костя.

— Что значит «ну и что»?.. — Кандидат наук уже чувствовал, что его голос здесь был явно излишен. Он, видите ли, в армии не служил. (Мало ли почему не служил!) У них, видите ли, есть жизненный опыт, а у него нет. И эффектных драк нет. Возможно, от шампанского узор на Зоинном платье рябил в глазах, вызывая чувство близорукости, даже как бы головокружения. Запрещать надо такие узоры. Просто замолчать казалось, однако, обидно, и он стал толковать про давнюю детскую фантазию, про сон о книге с движущимися картинками — насколько это было чудесней душе, чем реально осуществившийся телевизор. Для души важно не столько чудо, сколько способность им восхищаться... Он нес явно ненужную чушь. А главное, любые слова точно скисали в дыму этого дурацкого молчания — вот лишь сыворотка вокруг лампы и нечто вроде белесых простоквашных облаков на небосводе несуразной беседы. Усмешка москвича подразумевалась — ее уголок Трубачу был видней. Зато Лизавин чувствовал на себе взгляд Зои.

— Конечно, сделанная вещь восхищает умением, — несло его. — Есть даже какой-то парадокс в том, что человека можно сделать и без умения, а простенький механизм — нет. Это принижает цену человека.

Хохма повисла в воздухе и некоторое время держалась там не растворяясь, даже, наоборот, затвердев. Во даю! — вдруг, изумившись, осознал собственную бестактность Антон. — Что со мной сегодня? Он заторопился уходить: на вечер у него было назначено литобъединение и сегодня же он собирался вернуться в город. Да-да, на воскресенье он дома не оставался, в городе тоже кое-кто хотел отметить его юбилей, и молчите вы тут все как хотите. Максим поднялся с ним. Из динамика над крыльцом включился им вслед марш «Прощание славянки», и Антон шел по уже черной, без снега, дорожке, потом по деревянным мосткам, пританцовывая под этот марш. Серебристые поздние сумерки пахли крошоном талой воды, клетушки домов держали каждая свой кубик света, леденцово-затверделый, так что на улицу не выплескивалось ничего.

6

— Ну как тебе?.. — не удержался Антон Лизавин. Что подразумевалось под этим «как тебе?», он уточнять, однако, не стал. Сиверс не ответил. Ледяная крошка то и дело похрустывала под ногами.

— Конечно, когда молчишь, меньше шансов сказать глупость. А также пошлость. И вообще что-нибудь сказать. Биотоки носятся в воздухе сами по себе, аж потрескивает. И можно читать в них подтекст, как у айсберга. Она подвигает тебе хлебницу, а это следует читать: я вами восхищена. Беспроигрышно.

Отзвуки их шагов взметались и лопались невысоко в легком звонком воздухе. Дневная слякоть подмерзла. Прекрасна была эта хрустальная пора суток, когда все встречные трепетны и хрупки, а до девушек просто боязно дотронуться: разобьются.

— Я смотрю, ты заразился от нее инфекцией, — сказал кандидат наук; какой-то зуд мешал ему замолкнуть. Он вдруг прыснул: ему вспомнился анекдот про немого ребенка, который почти взрослым впервые вымолвил слово — потому что чай впервые оказался без сахара... Нет, все же ты пошляк, напомнил ему легко узнаваемый голос, и он поперхнулся. Просто ему отчего-то было не по себе. Ладонь все еще помнила прощальное касание сухих теплых пальцев, их хотелось задержать в рукопожатии, таким особым и легким было это тепло.

— Ты давно ее знаешь? — спросил вдруг москвич.

— Зою-то? Не помню. Наверно, с таких вот пор. — Он показал рукой.

— И не влюбился в нее?

— Ты это серьезно? — оторопел Антон. — Во-первых, когда я ее знал, она была совсем малышка, а во-вторых...

Он не закончил, затрудняясь сформулировать это «во-вторых». Просился на язык ответный вопрос, но был проглочен вместе со слоной, оставив оскомину скорей безвкусицы, чем ехидства. Сиверс тоже не стал продолжать.

— Знаешь, мне почему-то вспоминалась сегодня сказка про чудовище, — все же не выдержал молчания Лизавин. — Помнишь, которое обхаживает красавицу разными чудесами, а само от нее тает? «Аленький цветочек»?

Ответа не прозвучало и на сей раз. Так молча они и дошли до старой монастырской церкви, где помещался клуб, или, как называли его со времен Прохора Меньшутина, дворец. Непонятная заноза в душе становилась все ощутимее, и настроение у Антона Андреевича было достаточно дурное еще до того, как он увидел среди собравшихся на занятия Ларису Васильевну Панкову.

Вот те и на! Пришла все-таки... Лизавин смутно уловил: в автобусном монологе она поминала литобъединение и, кажется, грозилась прийти, — но сейчас явление ее совсем выбило его из колеи. Года три назад, еще будучи простой школьной секретаршей, Панкова как-то пожаловала к ним со своими стихами — робкая, как и подобает начинающему автору; она даже (хоть и не без труда) говорила Лизавину «вы». Стихи были о войне, о врагах и жертвах, о защите мира — с обычным набором претенциозных и уродливых общих мест. Лизавин призвал на помощь всю свою доброжелательность и, грозя взглядом юным остроумцам, готовым уже прыснуть от смеха, стал толковать про неточность рифм, ритма, отдельных выражений. У него был опыт обезвреживания графоманов. Панкова скорбно кивала, соглашаясь с замечаниями, потом вздохнула:

— Да, вы правы. Но если б вы знали, как они зверствовали!

И Антон Андрееч осекся. Осекся, представьте себе. Он знал, что Панкова пережила оккупацию. Она появилась в Нечайске после войны, здесь вышла замуж, излечила свою чахотку собачьим салом, и отчасти из-за этого сала, которое вошло в состав ее существа, Антон с детства ее побаивался, она это чувствовала. Этот вполне суеверный страх подкрепляла теперь еще одна, не менее глупая причина: Лариса Васильевна как две капли воды походила на его соседку по городской квартире, капитанскую жену и сплетницу Эльфриду Потаповну Титько. Представьте себе это чувство, когда, едва расставшись с одной Панковой, он за десятки километров от нее встречал другую — точно она невидимкой или мухой пересекала вместе с ним пространство. Совсем уж мистический трепет испытал он, услышав однажды из уст Эльфриды Потаповны фразу, которой одарила его за день до того нечайская Панкова: «А вообще больше всего белка в желтке». (Обе они с годами становились дамами все более интеллектуальными, совершенно синхронно подписываясь на одни и те же собрания сочинений.) Предрассудки предрассудками, но прежде чем иронизировать над кандидатом наук, посмотрели бы сами на Ларису Васильевну, на ее могучие плечи в монументальном, мужского покроя жакете. Не он один перед ней робел. Возвысившись до секретарши района, она на этой же бог весть какой должности сумела приобрести несбыскиваемую власть над учителями, даже над родителями учеников, усвоив выражение той идиотской неприступности, что подменяет чувство достоинства у иных маленьких начальников, от которых зависит хоть бумажка. Литобъединение она теперь навещала как некая самозванная инспекция, ухитряясь обращаться к Лизавину не на «вы» и не на «ты», а как бы вовсе не обращаясь и строка что-то в толстый блокнот округлым безликим почерком.

Словом, занятие Антон Андреич начал не без нервности и, более того, — неожиданно для самого себя.

— Сегодня у нас присутствует товарищ из Москвы, — зачем-то показал он на Сиверса. — Максим Сиверс, журналист и... так сказать, литератор, — добавил он, уклоняясь от удивленного взгляда москвича. «А, вот тебе», — усмехнулся почему-то злорадно. Да и не так уж он сочинял. Все взгляды обратились к Максиму. Даже среди современно одетых нечаяских юнцов он в своей вельветовой куртке и простой рубашке выглядел птицей другого полета. Как-то сидело на нем все по-дворянски. Сойдет за журналиста, подумал Антон. Даже за иностранца бы сошел, так при нем все поджимается. Он, собственно, сорвался на этот экспромт с единственной надеждой, что Панкова будет сидеть и молчать, — но просчитался. Ах, как просчитался на этот раз глубоко симпатичный нам Антон Андреич! Разве могла при столичном представителе Лариса Васильевна пустить дело на самотек? Она уже доставала из сумки листочки, уже просила первого слова, уже предупреждала, что стихи прочтет старые, написанные для стенгазеты к Восьмому марта:

Женщина, у нас ты наравне с мужчиной
В труде и государственных делах.
Этому является причиной
Твой ум и деловой размах.

Пузырь тоски поднялся откуда-то из пищевода и надолго застрял в горле Антона Андреича, пока не лопнул, оставив кислый привкус отрыжки. Перепил я, пожалуй, шампанского, отметил Лизавин, косясь на москвича. Тот сидел в углу под самодельным плакатом. Наглая свинья развалилась в кресле, заложив копытке на копытке, и держала в пяточке сигару; над ушами ее нимбом светилась надпись: «У нас не курят, а я курю». Хоть бы не раскашлялся, подумал почему-то Антон. Или, наоборот, раскашлялся бы. Как ему теперь объяснить про действительно талантливых ребятишек? И почему в его присутствии все так глупо оборачивается? Хотя при чем тут он? Появилась такая — где их нет? — и что с ней делать? Взаправду выделить с подходящей компанией на какой-нибудь особый остров? Она сама тебя выделит. Это все равно что собрать на одном острове особо вулканы или землетрясения. Стихийное бедствие, право, стихийное бедствие. Тут он вспомнил, что так и не спросил отца про какую-то историю с перчатками. Ладно...

Но есть еще сестры, живущие в ярме, —

возвысился голос Панковой.

— В чем, в чем? — вздрогнул Антон Андреич.

— В ярме, — проверила она, приблизив бумажку.

Лизавин впервые видел ее в очках без оправы — постарела все-таки.

— «Но есть еще сестры, живущие в ярме, без прав и с клеймом рабынь. Жизнь у них как у узника в тюрьме...» Тут рифма: в ярме — в тюрьме. Что-нибудь неправильно?

— Нет, нет, пожалуйста, — пробормотал Лизавин. Господи, думал он, зачем обязательно стихи? Пусть каждый человек написал бы историю своей жизни, попробовал бы извлечь на свет божий все трогательное, нелепое, страшное, жалкое, прекрасное, что было же и есть у каждого. Он вспомнил, как подглядел однажды Панкову в затененном фойе клуба. Уединясь за колонной, она слушала песню из репродуктора и лузгала семечки, сплевывая в кулак. В своем жакете-пиджаке, с белым батистовым воротничком, укрытая, как ей казалось, от взглядов, она не замечала окружающего, за приоткрытыми крашеными губами светились влажные зубы, сквозь пласты жира пробивалось что-то молодое и женственное — так легкой тенью угадывается давняя тропка под слоем напавшего снега...

Женщины, познавшие свободу жизни,
Единством в борьбе им протянут руку,
Ибо каждая угнетенная — их товарищ ближний.
Они победят, пройдя идеологическую науку...

Как довел до конца это занятие кандидат наук — не будем рассказывать. Позорно довел. Скомкал, попросту говоря, замямлил, ни с того ни с сего сослался на головную боль и уж совсем без надобности — на день рождения, на уходящий автобус.

— Может, товарищ из Москвы хочет что-то сказать? — намекнула с недоброй улыбкой Панкова. (Ох, мало хорошего предвещала эта улыбка!)

Максим сумел увернуться. Зато уже у дверей Лариса Васильевна придержала его под локоть:

— Можно вас на парочку слов?

Ага, вновь попробовал усмехнуться Антон, но угрызения совести уже пересиливали злорадство. Сиверс все же марки не уронил, очень серьезным голосом попросил отложить беседу до завтра: он еще остается в Нечайске, а с Антоном Андреевичем, с товарищем Лизавиным, ему надо на прощанье переговорить.

— От нее не спрячешься, — шутливо предупредил Антон, когда они вышли на улицу. Шутка прозвучала опять не ахти как ловко. Лизавин поспешил заговорить о другом: — Теперь заезжай ко мне в город, а? что, если отец действительно устроит с работой? он ведь, не думай, человек обязательный, и ты моих стариков явно очаровал. Было бы славно, а?.. — Сиверс кивал неопределенно — Антон угадывал не глядя; кивки эти не подтверждали ничего, кроме грустной готовности пропустить, не осуждая, благодушный, лишенный понимания треп. Щемящее, похожее на жалость чувство беспричинно кольнуло Лизавина.

— Хорошо ты устроился, — сказал он поспешно. — Когда хочешь трогаться с места, едешь куда хочешь. Свободный человек...

Он вдруг отчетливо понял, что ни в какой город Сиверс к нему не приедет — и, может, вообще они больше не увидятся; но только при чем тут была жалость?..

7

Свободный человек, — покачивал головой Лизавин, возвращаясь на станцию в позднем автобусе. — Казалось бы, вот крайняя степень: свобода от зависимости, службы, начальства. Даже денег. От забот о семье, карьере. Чего ему не хватает? Действительно: вздумал — сел, прикатил в Нечайск. Другие, привязанные к своим галерам, об этом мечтают. Чего ему надо от жизни — от своей, от чужой?.. Свобода от привязанностей, от ответственности, если уж на то пошло. В конце концов, вся его забота — об одном себе. Да. О том, как самому устроиться, от чего-то уйти, чего-то добиться, что-то понять — но для себя. Он на меня плохо действует. Да, все-таки именно он. Почему именно при нем я говорю бестактности и взгляд мой становится не расположен? Подумаешь, экран! Чего я прицепился? Мало ли что доставляет людям удовольствие. Пусть себе паяют. Можно пошутить — но не цепляться. Я ведь все могу понять, даже графоманов. Пусть живут. А этот... Ногой сдавить горло... ишь! Нервный! И какое презрение к колхозникам! Пускай за дело, пускай мерзавец попался, но ведь человеческое же горло. Все эти одержимые страстями из разных лагерей, в сущности, похожи. Максим... именно. Существует странное родство между максимализмом и жестокостью. Да, кстати, и безразличием. Если рваться только к чему-то такому особенному, а остальным пренебрегать... чтоб уж говорить, так не о пустяках, чтоб уж если с женщинами — так я не знаю как... а в результате живешь среди потоков и неустроенности, между небом и землей, отплеываешь повседневность, как семечную лужу...

Мысль эта показалась почему-то фальшивой, с трещинкой. Он обрадовался очередному дорожному ухабу, который сбил ее. Пустой автобус мчался со скоростью почти рискованной, Антон, мотаясь, прижимал портфель, отягощенный банкой малинового варенья; казалось, он едет очень давно. Но когда

на остановке он очнулся, думая, что уже станция, это оказалась всего лишь промежуточная деревня Пашутино. В автобус влезли баба, которая, видно, везла на завтрашний городской базар ведро соленых грибов, обтянутое поверху чистой белой тряпицей, да небритый пьянчуга в железнодорожной шинели и ушанке с оборванным козырьком. Он отдал водителю деньги, сам остался стоять, с трудом соблюдая равновесие в кувырках и тряске.

— Садись, — окликнула его баба. — Чего стоишь? В ногах правды нет.

— А в ж... есть? — философски, хотя и грубо ответил мужичонка, но тут ухаб сам мотнул его и силой шлепнул на сиденье, словно убеждая, что не в правде суть. — Ну, давай, — покорно согласился философ. — Я ничего. Пожалуйста. Что я, Хамлет какой?..

В незахлопнутую створку двери влетали запахи навоза, подснежной воды. Весна распускалась в ночи, словно темный цветок, и тайна ее смущала душу.

Откуда эта неспособность к счастью? — возвращался к своей мысли Антон Лизавин. — Это романтическое презрение к нему? Это нежелание принять мир и людей просто, как они есть? — А ты принимаешь? — спросил его дежурный голосок. — Я? А я принимаю. — Возможно, даже любишь? — Странный вопрос. — Нет, серьезно? Или просто доволен, если никто не вмешивается в твое существование? Не путаешь ли ты — именно ты — отсутствие ненависти с бесстрашием и равнодушием? Тебя смущают одержимые страстями. А любовь, по-твоему, страсть?..

Тут Антона подкинуло так, что он едва не стукнулся верхом шапки о потолок, а портфель с трудом удержался в руках. Пожалуй, и этот ухаб подвернулся кстати, лучше было отложить ответ на потом. Как ни странно, про любовь кандидат наук наверняка еще не знал. Он еще многого не знал, скажем уж наперед. Он даже не мог понять, почему не хотелось думать сейчас ни о москвиче, ни о Косте, ни, представьте, о Зое и что значила эта фальшивая трещинка в мыслях. Словно дрогнуло отчего-то безусловное расположение к миру. Он не хотел вникать в это беспокойство. Его дело! Пожалуй, главное у Лизавина было впереди, а это, что ни говори, признак молодости, не определяемой возрастом.

Глава вторая

1

В городе, где, как пишут на мемориальных досках, жил и работал Антон Лизавин, не было особо знаменитых памятников — разве что две церкви семнадцатого века, одна из которых лишь недавно перестала нести общественно полезную службу по хранению стройматериалов и готовилась возобновить нечто вроде службы духовной, приобретая вид, привлекательный для туристов. Зато здесь была представлена славная коллекция архитектурных стилей последних трех столетий: миниатюрные, как макеты, дворянские особняки с колоннами, фронтонами и портиками; губернское барокко времен расцвета железной дороги, в том числе Госбанк (бывшее страховое общество «Россия»), гостиница и ресторан, сохранивший среди всех перипетий эпохи гордое название «Европа»; деревянно-каменный модерн начала века с вычурными силуэтами крыш и овальными окнами на чердаках; предвоенный ампир местных государственных центров с простенками для четного числа барельефов и нишами для двух скульптур, но, увы, теперь с нарушенной симметрией. Из достопримечательностей же уникальных Антон Андреевич назвал бы загадочного происхождения колонну вблизи вокзала, в безлюдной улочке у тупиковых путей — огромную, словно кость от скелета мамонта, уже в трещинах. Из трещин росла трава, а у основания пустило даже побег деревце. Весной, начиная зеленеть, колонна сама казалась как бы явлением природы, возможно, она даже пустила корни в скудную шлаковую почву. Никто из старожилов не знал, существовало ли в каком-нибудь веке здание, которому принадлежало

это коринфское диво, или, скорей, тут начинали что-то строить, да, размахнувшись почему-то именно на колонну, остальное бросили. На более заметном месте к ней давно приделали бы остальное либо ее снесли; верный своим пристрастиям, Антон Андреевич почему-то каждый раз, подъезжая к станции, рад был убедиться, что она еще цела в своем глупом тупике. Странные пристрастия, — может наконец заметить кто-нибудь, — странные вкусы; и такое замечание будет не лишено справедливости. Но кандидату наук казалось, что этакий нечаянский штришок в городе, который все больше подравнивался своими типовыми кварталами под мерку гигантских столиц будущего, по-своему нужен для душевного равновесия. Такие штришки остерегают человека от крайностей пафоса и одновременно меланхолии, иронически напоминая, что порывы и дела его не всегда так уж осмысленны; для беглого глаза колонна просто наглядней, чем тот же электронный экран с рекламой консервов, восхищавший нечаянского Эдисона.

Дом Антона Андреевича стоял в месте незаурядном: на углу Кооперативной и Кампанеллы — той самой улицы Кампанеллы, где, как известно, построили первую здешнюю девятиэтажку с лифтом. Одно время туда со всего города заходили прокатиться вверх-вниз не только мальчишки, но и некоторые романтические взрослые, не растратившие еще способности наслаждаться свежими детскими чудесами: может, влюбленные, чтоб поцеловаться минуту-другую при samozакрывающихся створках, может, пьянчужки, чтобы хлебнуть из горла в особо приподнятой обстановке. Для пресечения соблазнов в будние дни лифт теперь отключался до вечера, в выходные же не работал совсем.

Таблички при въезде с Кооперативной и Некрасовской возвещали, что Кампанелла объявлена улицей образцового быта. Это была инициатива группы активистов-пенсионеров, которую возглавляла когда-то Вера Емельянова, ближайшая соседка и, между прочим, дальняя родственница Антона Лизавина. Ее все величали тетя Вера, даже старики и старухи на вид не младше ее. Антона поначалу особенно удивляло, почему она в ответ зовет их по именам, как детей. Объяснялось все тем, что эти старики и старушки, не говоря уже о множестве пожилых, были тети Верины воспитанники по детскому ли саду или приюту, чуть ли не яслям, или, может, по школе; за свою долгую жизнь она успела поработать во всех воспитательных и образовательных учреждениях города, включая детскую комнату милиции. Несколько поколений здешних жителей прошло через ее руки. Давно, видно привыкнув быть старше всех, она относилась к окружающим, как к детям, с непостижимой в ее возрасте энергией вытягивая, подталкивая, требуя, заставляя их быть счастливыми, чего по слабой запутанной своей природе никто по-настоящему не умел, — и хотя бы на одной улице надеялась устроить жизнь, как она всем желала. Ей было мало того, что здесь стали самые чистые тротуары и самые вежливые продавцы в магазинах, что здесь был сведен почти к нулю процент дорожных аварий (для посторонних машин въезд на улицу закрывал самодельный знак, именуемый шоферами «кирпич»). Возможно, вдохновленная именем великого итальянского утописта, она стремилась осуществить в этих тесных, зато доступных пределах его и свои светлые видения о жизни без хулиганства, без семейных несчастий, без сквернословия, водопроводных аварий и душевных неудач. Разгара ее деятельности Антон не застал, при нем это была грузная обезножившая старуха, но в расплывшемся лице ее угадывалась костистая основа Дон Кихота с вытянутым подбородком, седыми усиками и даже словно бы эспаньолкой. Болезнь застигла ее на взлете надежд. Она и сейчас продолжала числиться в почетном руководстве уличного комитета. Иногда ее, как некий сидячий памятник, перевозили вместе с креслом в президиумы, а также на свадьбы, крестины и похороны. Тетя Вера восседала во главе стола, как некая родоначальница; в разросшемся городе она давно видела нечто вроде разросшейся семьи, где всех не упомнишь по имени, хотя

все имеют к тебе отношение; иногда спрашивала соседа за столом: ты чей? — и, услышав имя, пыталась поставить его в связь с другими воспоминаниями. С новой расслабленной меланхолией следила теперь она за историями, семейными делами своих питомцев и их детей, все еще воспринимая их чудачества, переживания, страсти, их соперничества, погони, драки, пакости, вражду как опасные забавы не совсем разумных детей. Эта облила соперницу кислотой, та сама отравилась. Этот ранил кого-то ножом — хорошо, что не до смерти; и как ему в руки дали такую пакость? Этот хулиган снова пить начал, а та все с собачкой играет. Тот возится с ракетами, звезды, вишь, нацепил на плечи. И она безнадежно покачивала почти облысевшей головой: дети, истинно дети! Взять бы в руку ремень! Их и оставить одних без присмотра нельзя.

Теперь делами улицы Кампанеллы руководил некто Титько, муж помянутой уже Эльфриды Потаповны. Этот крепкошей толстячок, отставной капитан неизвестных войск, год назад взволновал общественность, поступив на шестом десятке лет в институт культуры. Ему специально было выхлопотано исключение, о нем написали в газете под заголовком «Учиться всю жизнь»; это было эффектное мероприятие.

Романтическим замахам тети Веры именно Титько придал вид реальный. Взять хотя бы тот же «кирпич» — чистейшее самоуправство, не утвержденное милицией; но даже милиция его стерпела. Сложность была в том, что при самых благих замыслах улице Кампанеллы приходилось считаться с реальностью остального, неустроенного, мира — не говоря уже о незрелости материальной базы и несовершенстве человеческого материала, с которым приходилось иметь дело за неимением другого. Чужаки могли бы попросту затопить улицу Кампанеллы, то есть прежде всего ее магазины с образцово-вежливыми продавцами, и свести на нет лучшие начинания. Пешеходам «кирпич» не вывесишь и даже шлагбаум, увы, не поставишь. Правда, под взглядами дежурных активистов с нарукавными повязками не всякому пешеходу бывало здесь уютно. Лизавин испытал это на себе. Но главное, для своих здесь было налажено особое снабжение, помимо прилавка. Посторонние могли ходить сюда, как иностранцы, разве что из любознательности или для обмена опытом.

Возможно, Антон Андреевич смотрел на дела улицы Кампанеллы так иронически и, более того, насмешливо потому, что сам принадлежал к числу посторонних. Кое-кто, знаете, любит похмыкивать над виноградом, который не им предназначен. Лизавин жил в угловом деревянном доме, имевшем вид буквы Г, причем как раз в той короткой части ее о два окна, которые выходили не на саму Кампанеллу, а на Кооперативную: Так что дежурные в нарукавных повязках имели полное право коситься с некоторым подозрением на него и особенно на его бороду, чуждую в заповеднике образцового быта. Он обладал, однако, славной способностью без нужды не попадаться им на глаза, относился ко всем этим хлопотам с любопытством незаинтересованного наблюдателя. А в самое последнее время почувствовал себя здесь даже почти своим, поскольку стало весьма вероятным, что скоро и он полноценно переселится на улицу Кампанеллы, причем не куда-нибудь, а именно в девятиэтажный дом с лифтом.

2

Но каким это образом, — уже звучит в воздухе нетерпеливый и вполне законный вопрос, — каким это образом кандидат наук и пока всего лишь, напомним, и. о. доцента надеялся проникнуть в дом, где жильцы с самого начала подбирались, прямо скажем, не первые попавшиеся? Вопрос во всех отношениях уместный, ибо после череды намеков и отступлений он подводит наконец к давно обещанной теме. В этом доме, на восьмом этаже, в прекрасной однокомнатной квартире, жила женщина, с которой Антон Андреич предпо-

лагал сочетаться браком. Звали ее Тоня, она работала инженером, была чуть старше Лизавина, умна, тонка тонкостью упругого стебля и не то чтобы красива, но привлекательна тем особым обаянием, которым обладают энергичные, самостоятельные, знающие себе цену женщины. Антон попал к ней однажды на вечеринку; верней сказать, то было нечто вроде светского приема, какие иногда устраивала Тоня. Лизавин уже потом оценил, что само приглашение подтверждало уровень и престиж, дававший право на доступ в некий выделенный городской круг. По дурной привычке он тогда чуть ли не от порога потянулся к просторным книжным стеллажам и среди униформ подписных изданий выделил вдруг знакомую серенькую обложку. Это была старая поваренная книга — первая после войны; Антон помнил с детства славные ее рецепты, каких не встречал больше ни в одном кулинарном пособии: печенка из гематогена, суп из сныти с пшеном, блюда из отрубей, крапивы и клевера. И под той же обложкой — заливные поросята с хреном, закуски с черной икрой и реклама лучшего в мире советского шампанского: документ многослойного времени и воспоминание детства, пахнущее ароматными, таинственными, как анчоус, словами, которые перебирались ради одного мысленного наслаждения и слюны. Это оказалось не единственное воспоминание, общее для них с Тоней и неожиданно сблизившее их в первом же разговоре. Живя в разных местах, они были, можно сказать, земляками во времени и имели право сразу перейти на «ты». То были воспоминания о школе, где зимой писали в варежках и где замерзали чернила в пузырьках (их носили из дома в мешочках-кисетах; у некоторых счастливых были непроливашки — дивное, если подумать, изобретение человеческого ума, а чернила разводили из порошка или таблеток), о вождельных баранках из мягкого теста, которые выдавали иногда по праздникам, в их застывшей лаковой корочке, точно в лаве, запеченные были редкие маковинки, которые выбирались кончиком зуба особо, раздавливались и смаковались у неба... Тоня знавала голод, какого Антон не испытал: его мама работала в пекарне и были, наверно, обстоятельства, в кои детям вникать не положено.

— Видишь у меня этот шрам? — откинула она однажды со лба гнедую от хны челку. — Думаешь, это я стукнулась или дралась с кем-нибудь? Это я под поезд попала, представляешь? Я как-то выстояла четыре часа с карточками за хлебом, пошла домой от заводского магазина по шпалам. Там по пути была железная дорога. Иду, понемногу отщипываю и жую. Знаю, что нельзя, но не могу удержаться, только этот хлеб и вижу, только в запах его, как в облако, лицом уткнута. И голова от этого кружилась — я не слышала гудков. Машинист, рассказывали потом, едва успел поднять решетку, чтобы меня не смяло. Я только почувствовала: грохнуло где-то сзади, даже боли не помню, — и упала без сознания. На свое счастье. Если б я брыкнулась, мне б наверняка отрезало хорошо сразу голову, а то ведь ногу или руку. Но я легла как по струнке, а поезд прокатил надо мной. Потом я, верно, очнулась, помню: много лиц и кто-то разрывает на мне фартук. Я даже помню, как сказала: фартук... жалко мне стало.

Туманная улыбка блуждала на ее губах — прелестная улыбка женщины, привыкшей скрывать не очень ровные зубы.

— А по-настоящему я очнулась через два дня. Перевязанная вся, как мумия, мне потом в зеркало показали. И в той же палате — артистка Лена Каменецкая из музкомедии, наша знаменитость областная. Мы, девчонки, всегда ходили за ней; высматривали, как она живет, как одевается, таскались за ней на танцы. Нас, конечно, не пускали, мы издали подглядывали. Наш кумир, в общем. И вдруг я в одной палате с Леной Каменецкой и даже могу с ней разговаривать. О! ради такого счастья на все можно было согласиться...

Лизавин ясно ее представлял, такую: стриженую, в сиротском платьице и штопаных чулках; она была ему близка — но он слишком поспешно решил, что понимает ее. Тоню эти воспоминания гораздо меньше склоняли к сенти-

ментальности, чем его; они были позади — скорей как памятка, обозначающая цену сегодняшнему дню. Он почувствовал это, когда среди очаровательного, общего для обоих инвентаря прошлого они обнаружили еще и зеленый карандаш. Почему-то в годы их детства он был особой редкостью. Красных и синих хватало (были и обоюдооточенные красно-синие), а вот поэтический зеленый, необязательный для полководцев и делопроизводителей, но необходимый для рисования деревьев, травы и цветочных стеблей, имелся лишь у немногих — чуть не с довоенных времен. Владелец «зелененького» обладал и властью — властью имущего, с ним старались дружить и не ссориться. «Между прочим, я теперь хочу всегда иметь зелененький», — вдруг свернула сентиментальный экскурс Тоня, и глаза ее с великолепно подкрашенными веками сузились. Она знала цену добытому в жизни, в том числе и квартире на улице Кампанеллы, которую ей устроил отец. Он сам выбился в начальство, что называется, из низов. Лизавин видел его лишь однажды и, как ни смешно, за все время не удосужился уточнить его должности (что заставляет усомниться в практичности Антона Андреевича, но в то же время подчеркивает его бескорытность). По сравнению с Тоней кандидат наук был старомоден, зато понимал и простиительнее ее слабости. Каждый человек нуждается в какой-то разновидности самоутверждения, ради этого он обменивает прожитые годы на что-то весомое внешне: положение, изделия своих рук, опыт, знания, детей, коллекцию, домашнюю мебель. Удастся по-разному, но хочется всем. Антон Андреевич совсем уж пренебрегал действительностью: что поделаешь, если работа не всегда эту потребность удовлетворяет — вынужденная маята жизни, о которой не поговоришь с посторонними, если, например, сфера вещей и приобретений более надежна, доступна, а главное, общепонятна — как литература, живопись или политика. Точно весомый знак найденного самоутверждения, стоял среди комнаты кабинетный рояль, доставшийся Тоне по случаю, задаром и предназначенный для нужд будущих поколений. От безделья его благородное тюленье туловище ожирело, и Антон фатально стучался об него каждый раз, в каком бы направлении ни шел.

Тоня уже однажды была замужем. Первый муж ее обладал многими достоинствами, за которые она его уважала; получив от нее все, что ему требовалось (начиная с прописки, знакомств и отцовской протекции), он пошел дальше и выше своим путем. Да, она готова была отдать ему должное, но сама так больше не хотела и в будущем муже не искала качеств, которых ей хватало самой. Антон ей в этом смысле подходил. Отношения их сложились так, что он даже не ухаживал за ней — она его приблизила сама и не спеша присматривалась. «Глядишь, я из тебя сделаю человека», — обмолвилась она однажды с усмешкой. Антон не возражал. Его почему-то все хотели вразумлять и воспитывать; видно, его женственная натура производила впечатление податливой и благодатной почвы. Между тем его податливость была эластичней, чем могло показаться на первый взгляд, и, исподволь распрямляясь, он все-таки умел оставаться самим собой. Но Тоне нужно было хоть такое чувство власти — вроде того, что она испытывала верхом на лошади; она умела ездить по-мужски, без седла, наслаждаясь колыханием потной спины под собой, покорностью могучей мужественной силы. Э, не будем вникать слишком в упор, сколько вообще в этом чувстве тщеславия, оглядки, слабости. Лизавин многое знал по себе, а с ней ему было хорошо. Когда она склонялась над ним, позволяла ему ловить губами свои острые, вытянутые сосцы, она могла вызвать воспоминание о капитолийской волчице, вскармливающей будущих мужчин. Антон представил это еще в поезде и почувствовал, как мучительная сладостная боль наливается, твердеет, на острие его существа. Если б он не знал, что в этот ночной час подъезд девятиэтажки уже бдительно заперт и достучиваться в него бесполезно, он бы с поезда заспешил туда, а не в свою нетопленную комнату с окнами на Кооперативную...

Кто утверждал, что Антон Лизавин ничего не понимал в любви? Это еще как сказать!

Предполагалось, что он проведет с Тоней все воскресенье. Вечером она собиралась отметить у себя его юбилей, а с утра просила сопровождать с ней на собачью выставку ее боксера Сенатора. Это был роскошный высокомерный пес, вечно брюзгливым выражением морды и скорбными морщинами мыслителя напоминавший скорее премьер-министра (и премьер-министра не малой, а достаточно великой державы) или по крайней мере отставного адмирала (должно быть, из-за гирлянды медалей, украшавшей его грудь с белой манишкой, и еще потому, что багряная шерсть его не просто лоснилась, а блестела, как надраенная корабельная медь). С ним хотелось говорить на «вы», задабривать мелкими подарками вроде мундштука для курения или там мозговой косточки. Но будьте уверены, такое непонимание субординации — как если бы его оскорбили намерением почесать за ухом — Сенатор пресек бы одним взглядом, да так, что незадачливый угодник поспешил бы забормотать: «Я что? я ничего» — и одернуть руки за спину. В его повадке было что-то от беспардонности отца семейства, который иногда подходит неслышно (и не потому, что таится, а просто шаг у него такой) проверить, кто это наведывается к дочке, и даже если это человек порядочный, он все равно для острастки фыркнет и удалится высокомерно, позволяя войти в дом — до поры до времени, пока не понадобится выпроводить и этого. Сенатор обладал таинственной способностью угадывать отношения хозяйки к людям, даже если отношения эти были не выявлены и Тоня на вид была любезна с гостем, — он договаривал за нее все, что было неудобно высказать ей. С неугодным или впавшим в немилость боксер вел себя нагло: мог положить лапы на плечи и оскалить пренеприятнейшие клыки, мог даже сделать вид, что кусает, — словом, на правах члена семьи регулировал визиты.

Если бы не эти собачьи смотрины с утра, может быть, настроение Антона Андреевича в дальнейшем сложилось бы по-другому. Может быть. Наполеон, говорят, даже Ватерлоо проиграл из-за насморка, хотя некоторые саркастически пожимают плечами, слыша такую отговорку. Настроение способно зацепиться за что угодно, и на тех же собак можно взглянуть по-разному. Господи! Лизавин видывал собак, любил их, в Нечайске у них при доме всегда жила какая-нибудь дворняжка. Но даже знакомство с Сенатором не подготовило его к впечатлению, которое он испытал в тот день в городском парке. Воскресенье началось славное; дыхание большого города помогало весне, и она здесь обогнала нечаяскую. С улиц снег совсем слиялся, но под деревьями еще серел, а в надышанных круглых оттаинах у стволов расправлялась ржавая прошлогодняя трава. В воздухе было тесно от лая собак, их собрались здесь полчища — и каких! Ньюфаундленды, натекшие из черной смолы, сенбернары величиной с теленка, королевские крапчатые доги, оттянутые высокой пружиной борзые — каждая поодиночке могла свести с ума своей нечеловеческой статью, а тут они бродили толпами, рвались с поводков, брызгая слюной и нацеливаясь друг другу в подхвостья, стояли группками, как на светском рауте, и даже манера обнюхиваться при этом не мешала им выглядеть аристократами. Рядом с ними люди казались замухрышками, обслуживающим персоналом, как продавцы ошейников, гребешков и щеток, шнырявшие тут же. Человеческая речь звучала жалко, чуждо, как-то даже неприлично среди лая, от которого лопался воздух. Здесь все были связаны особыми отношениями и знакомствами, знали друг друга не то что в лицо, но, если угодно, в морду. Вот шла по аллее с на редкость уродливой таксой Долли Елена Ростиславовна Каменецкая, та самая бывшая звезда музкомедии, кумир городских девчонок, больничное соседство с которой некогда столь потрясло Тоню; она жила в одном доме с Лизавиным, и Тоня ради давних воспоминаний теперь покровительствовала старухе по каким-то собачьим делам. Она поздоровалась с

Долли запросто, но мимоходом и тут же приветливо вскинула руку: «О, здравствуйте, Миледи!» Лизавин, не раз слышавший это обращение в телефонных разговорах своей подруги, оторопело видел перед собой мужчину, причем мужчину вполне представительного, даже седеющего, с бровями роскошными, как бакенбарды, и бакенбардами ухоженными, как многолетний английский газон; на нем был ошейник с медалями, от тяжести которого он освободил здоровенную овчарку. «Ну как, мы еще не оценились? Тут кое-кто уже просит замолвить словечко. Все теперь хотят элиту, только элиту»... «Артурчик, привет, — обращено уже было к весьма пышной даме с карликовым пинчером в кошелке. — Как наше самочувствие? О вас, хочу вам сказать, давно мечтает одна сучка... Я понимаю, понимаю, но, как говорится, но-блес облиз». «Ах, какие мы милые, какие очаровательные, — слышалось вокруг. — Это мальчик или девочка?» — «Девочка». — «Наша с вами, случайно, не сестры? Вы от кого?» — «Мы от Бархана». — «Ну конечно, сестры». — «Скажите, а как та сука, что должна была оценить тринадцатого или четырнадцатого, уже оценилась?» — «Да, и представьте, все сучки». — «Это хорошо, сук у нас не хватает. Кобелей сколько угодно, а спаниели вырождаются». — «Сколько угодно?! Вы не представляете, какое безобразие творится в нашей секции. Чтобы случить свою малышку с кем-нибудь хороших кровей, надо теперь подмазывать не только хозяина и Ольгу Оскаровну, но еще и председателя секции и еще двух прихлебателей». — «Да, вы не видели у входа объявление: „Продается сука от Ивана Грозного в хорошие руки“». — «Что вы говорите! Ивана Грозного я прекрасно знал. Отменный кобель...»

— Сенатор! Сенатор! — выделилось из этого базара. — Ай-яй-яй, как мы выросли! Будем подстригаться?

— Да, да, лапочка, — встрепенулась Тоня, — я как раз вас искала. Антон, придержи его, пожалуйста...

Вот уж не представлял кандидат наук, что такую гадкую, лоснящуюся собаку, как боксер, можно еще где-то стричь. Симпатичная девица в больших очках достала между тем из чемоданчика-дипломата ножницы и первым делом ловко подровняла Сенатору уши. Затем несколькими артистичными взмахами подстригла ему хвост и наконец — представьте себе — шерсть на ягодицах, ровными, по линейке, струйками по обе стороны роскошных кругляшей Сенатора. Отошла на шаг, откинулась, как художник, оценивающий свою работу, и вернула ножницы в чемоданчик. Тоня клетчатым носовым платком отирала боксеру слюнявые брыли...

Кандидат наук был оглушен и несколько обессилен еще прежде, чем собак растащили по рингам, где их принялись осматривать эксперты, ласковые и властные, как детские зубные врачи. «Оттяните ему брыльца, а зубки сомкните. Нет, чтоб я видела десны. Да-а, нерегулярочка... А повернитесь-ка, молодой человек, задиком, покажите ваше хозяйство. Оч-чень хорошо»... Конечно, играла свою роль непривычка, но чего во всем этом было такого особенного? отчего мутило душу странное чувство, что он ничего не понимает в жизни, в той самой жизни, где женщины куда менее сентиментальны, чем мужчины?.. Он почему-то вдруг живо представил, как к Тоне и ее боксеру приводят собак для случки, как она вот так же инспектирует производительные части своего Сенатора, как поощряет его, а потом любит его мощной судорогой и ждет, пока собаки, зад к заду, оправляются от вязки... Неужели от этой житейской картины могло стать так неуютно взрослому, слава богу, человеку? неужели от этого с такой усталостью, похожей уже на тоску, он подумал вдруг о предстоящем вечере, о ночных отражениях в полированных плоскостях шкафов, о каких-то циничных задних лапах Сенатора, который, казалось ему, наверно, подсматривал из темноты, все ли у них в порядке?.. Вздор, глупая игра воображения, право. Скорей дело было в намечавшейся неустойчивости погоды, в каких-то хлипких облаках, испортивших небо, в

самом промежуточном этом времени года, которое от дуновения ветерка могло повернуть и так и этак.

А о вечере он волновался напрасно, все было даже очень мило. Гостей подбирала Тоня из числа общих знакомых, но Антон Андреич ничего против них не имел. Друзей преимущественных он в городе не выделял, с сослуживцами был ровен, да из сослуживцев присутствовала тут одна лишь Клара Ступак, бывшая однокурсница Антона, а ныне лаборантка на его кафедре — довольно меланхоличная и бесцветная особа, отличавшаяся, впрочем, портновским искусством, длинным носом (кончик его был как-то отдельно выделен, как будто тот, кто лепил его, слишком сильно стиснул в этом месте податливый материал) да еще странной потребностью воспитывать Лизавина по общественной линии. Одно время эта зануда преследовала Антона не только на службе, но даже дома, пока не кончилось все эпизодом, о котором оба предпочитали не вспоминать, а потому и мы не будем. С тех пор лаборантка считала нужным обращаться к нему только по имени-отчеству, и Тоня, имевшая с ней дела по части шитья, не подозревала, что видит перед собой соперницу. Да какая Клара была соперница!.. Кое-кого из гостей Антон даже не помнил по имени: каждый раз, прозвучав, имена эти испарялись в воздухе, не успев достигнуть его рассеянного сознания. Знакомство с ними как-то не выходило у него за рамки диалогов из учебника иностранного языка: «Вы любите спорт?» — «О да, я очень люблю спорт. Спорт полезен. Мой брат очень любит спорт тоже». Других он знал ближе, например Леонарда Кортасарова, знаменитого собирателя пластинок, известного в городе как Король Баха. Коллекция его действительно была отменной, но и в ней было зерно, которым Леонард гордился особо, хотя не каждому об этом говорил. Антону он открылся однажды, демонстрируя запись Хоральной прелюдии соль минор в исполнении Браудо. «Слышите, кашель? — приподнял он в одном месте палец. — Вот еще. Это я. Был в Москве, в консерватории, и хорошо помню, как в этом месте закашлялся. Неловко, знаете. А потом слышу: и на пластинке запечатлен. Вместе с Бахом и Браудо». У него подобралось уже несколько таких дисков, и Антон подозревал, что Кортасаров теперь умышленно ищет okazji приобщиться к бессмертию хоть так, простодушно и безымянно. Это был милый суетливый человек, который лишь к сорока годам узнал, что обладает абсолютным слухом, но не находил способа его использовать на должности заведующего ветеринарной лечебницей.

Единственный, с кем Лизавин познакомился в тот день впервые, был тот самый изысканно-импозантный владелец Миледи. Торжество посвящено ведь было не только Антону Андреевичу, но отчасти и очередной медали Сенатора, который сидел на диване за спиной хозяйки в своей белой манишке, наморщив строгие складки между бровей. Миледи (как продолжал именовать его про себя Антон) был человек, убежденно почитавшийся в городе за незаконного сына Николая II. Последний русский император действительно проезжал здесь за положенный срок до его рождения и вполне мог встречаться с его матушкой, знаменитой местной красавицей. При желании можно было даже найти в нем сходство с предполагаемым папашей, которого, впрочем, если кто в городе и видывал, то в кино; там император, правда, носил не бакенбарды, а бородку и брови имел не столь модные. — но рост, осанка и, главное, вальяжные, покровительственно-нисходительные манеры молчаливо подразумевали исторический факт. Неизвестно, как сын держался в прежние времена, когда сам намек на подобное происхождение, даже неподтвержденный, был опасен. Сейчас же этот красиво седеющий императорский потомок воплощал собой породу, традиции, престиж, о которых так любила потолковать Тоня. Она с особым старанием пыталась свести их с Антоном для интеллектуальной беседы, можно даже сказать, науськивала их друг на друга, но Лизавин в тот вечер был

слишком вял, и она с готовностью поддерживала разговор сама (ухитряясь одновременно присутствовать в другом конце комнаты, по ту сторону рояля).

— Традиция, — ронял слова царственный владелец Миледи. — Порода. Корни. Что еще может дать равноценную основу в жизни? Житейскую, нравственную, социальную, наконец? Вы, как литератор, несомненно чувствуете, что этот поиск — одна из примет нашего времени, с его неустойчивостью. Сумбуrom. Неуверенностью.

— Родословная Сенатора тянется дальше моей, — откликнулась за Лизавина Тоня.

— Есть, знаете, интеллигенты в нескольких поколениях. У них даже дети рождаются с наследственным мозолем от пера на среднем пальце правой руки. Проверьте-ка у себя.

— Да-да, у меня есть, — убеждалась Тоня. — Но, думаю, не от родителей.

— Ничего, надо только позаботиться о детках. Мы пережили времена, когда многие родословные были прерваны. Сейчас надо начинать новые. Как начинают новые наследственные библиотеки. — Он поощрил взглядом шеренги книг, их золоченые спинки. — Вы по возрасту вряд ли помните, как книгами топили печки.

— Как же не помню... — усмехалась Тоня.

— Тоже, знаете, Экклезиаст: время жечь книги и время начинать библиотеки, время выкорчевывать роды и время создавать новую элиту...

— Элиту, да... — поддерживала Тоня прекрасное слово...

В общем, разговор как разговор; в другое время Антон сам охотно порезвился бы на этом интеллектуальном пастбище. Но чем-то была смущена его душа, и взгляд по-дурацки упирался в мелочи, по которым прежде добродушно скользил (и правильно делал): например, в сигарету, которую императорский потомок держал как-то слишком уж элегантно, между средним и безымянным пальцем. Упирался и выбивал из головы более существенные мысли. Он надеялся, что все пройдет, когда они останутся вдвоем с Тоней, с ней ему всегда бывало хорошо. Но признаться ли? — он испытал постыдное облегчение, когда под конец вечера, уже провожая гостей, Тоня вдруг шепнула ему на ухо:

— Знаешь, какая жалость: мы сегодня не сможем с тобой остаться. Понимаешь?.. Я не ожидала...

Можно судить Антона Андреевича за это облегчение как угодно, да что делать, если ему отчего-то было не по себе. В конце концов, все складывалось даже удачно: жизнь берегла его от необходимости усомниться в себе и своих чувствах. Он ведь любил Тоню и просто был сбит с толку вздорным расположением светил, в котором еще следовало разобраться.

3

В ту ночь Антон Лизавин долго не мог заснуть. Какие-то мысли, колючая, шершавая мелочишка, заставляли ворочаться с боку на бок, как в детстве засохшие крошки на простыне, только теперь он не умел их стряхнуть. Вдруг вздумалось вычислить, например, сколько дней живет человек, и он поразился, до чего оказывалось мало: даже за сто лет — чуть больше тридцати шести тысяч дней. Тридцать шесть раз по тысяче или тысячу раз по тридцать шесть. Столько, сколько секунд в десяти часах. А прожил он всего: тридцать на гриста шестьдесят пять — десять тысяч девятьсот пятьдесят дней, не считая високосных довесков. То есть примерно столько же ему и оставалось: десять — одиннадцать тысяч деньков. Всего только сосчитать до десяти тысяч — вон они как мелькают: в детстве сколько раз досчитывал. Раз, два, три, четыре, пять... Такой счет куда наглядней, чем на года. Антон даже попробовал не торопясь считать, но быстро сбился на другие мысли и картины. Среди картин этих были настолько нелепые, что они могли принадлежать только

сновидению, из чего справедливо заключить, что он все-таки спал в ту ночь. В последнем из этих сновидений (которое запомнилось потому, что было последним) он был ни более ни менее как скульптурой — очень красивой, с бородкой и, кажется, голой. То есть не совсем, а, как положено спортивной гипсовой фигуре, в чем-то куда более неприличном, чем нагота. Да, он был одной из двух монументальных статуй, что украшали центр городского парка: мужчина с веслом и женщина с диском, и чувствовал себя неудобно, потому что к цоколю его непрерывной чередой спешили собаки. Он в беспокойстве хотел посмотреть, что они делают там внизу, но при попытке шевельнуться почувствовал, как с него стали обваливаться куски штукатурки. Это было не больно, однако страшновато, он не был уверен, есть ли внутри него тот самый железный стержень, который не позволит ему рассыпаться совсем, и напрягался, пытаясь нащупать его где-то в животе или между лопаток...

Можно понять, почему после такого кино Антон Андреевич поспешил наконец открыть глаза. Чувствовал он себя как будто бодро, но некоторое время еще привыкал к миру: так водолаз, поднимаясь из глубины, задерживается перед поверхностью, чтоб примирить кровь с пустотой воздуха. За окном уже разогревался молоденький весенний рассвет. Дворник скалывал у водоразборной колонки лед, помогая маломощному пока солнцу. Зачем-то зажглись не горевшие всю ночь фонари, необязательные в своем показном благородстве, как запоздалые обличительные романы. На кухне соседки Эльфрида Потаповна Титько и Елена Ростиславовна Каменецкая начинали ежедневную тактическую борьбу у газовой плиты. Словно хоккейные тренеры, выжидающие, пока другой первым выпустит на лед свою пятерку, они предоставляли друг другу первой разжечь конфорку, чтобы самой сэкономить спичку, позаимствован от готового чужого огонька. В гостинице «Европа» с грохотом будили командированных, совершая рассветную натирку полов. Журналист Семен Осипович Волчек лежа делал дыхательную гимнастику по системе йогов. Телефонистка междугородной станции Леночка Ясная сдавала ночное дежурство и с улыбкой вспоминала приятный баритон, который третью смену подряд мешал ей неслужебными разговорами, а сегодня предложил встретиться у кинотеатра «Факел». Над этим надо было еще подумать, но сначала выспаться — ах, выспаться! — и при мысли о ждущей ее холодной простынке, об узком диванчике ей становилось сладко и жалко себя. Молоковоз из совхоза «Светлый путь» въезжал в город, встряхнув на выбоине тяжелые бидоны; полчаса назад он проехал мимо инженера Прошкина, который тщетно голосовал на обочине. Инженера подсадила следовательская бригада, возвращавшаяся из деревни Сареево, где ночью сторел магазин вместе с пьяным сторожем. На вопрос, что он делал в совхозе и зачем едет в город в такой ранний час, Прошкин, осклабясь, объяснил, что был у бабы, а теперь спешит на работу. «Везет же людям», — зевнув, сказал с завистью милиционер в штатском, а шофер стал допытываться, у какой именно бабы пасса Прошкин. Не у Любки ли, случайно, буфетчицы? Или у Клавы, медсестры? — он в совхозе, оказывается, всех знал. Инженер загадочно похмыкивал, он сам понимал, что ему везет, хотя особенно счастливым себя не чувствовал. Ибо счастье, как говорил Лев Толстой, есть удовольствие без раскаяния; тут же и удовольствие было не ахти какое, и раскаяние назревало. Тем более что ему, не выспавшись, предстояло теперь отбарабанить смену на своем заводе железобетонных конструкций, где уже висел приказ о вчерашнем нарушении техники безопасности по его цеху, когда два такелажника, не получив точных инструкций, поспорили, как передвигать плиту, и один в запале хватил другого ломом по спине. Перед глазами инженера болталась на ниточке кукла-талisman с загадочной детской улыбкой. Вокруг шоссе чернела заябь, по ней расхаживали грачи, добывая пропитание. Тень от придорожного щита ложилась на асфальт сиреневым ковриком. С высоты самолета, который летел над ними, беззвучный и бесплотный, словно ангел, вся эта дорога была трещиной на

лоскутной поверхности, и впереди виден был город, а там, глядишь, и Москва, где тоже в этот час просыпались люди. В типографии уже напечатана была газета с фельетоном, готовым изменить чью-то пока беспечную судьбу. В больнице образованный заика Василий Петрович Шимарев, бездарно попробовавший покончить с жизнью под колесами грузовика, ибо измучился от невозможности объясниться в любви, впервые понял тем утром, какое счастье дышать, не испытывая боли в ребрах. Зубной техник Прасолов задушил подушкой будильник и попытался скорей вернуться, ухватить за хвост еще живое сновидение, которое несло его только что над ослепительной страной. Но хвост холодным остался в руках, а существо сна исчезло, растворилось безвозвратно... Трель крови в ушах, шепот сверчка, верещанье воды, звон воздуха, стрекот времени, гуд просыпающегося улья — трель, шепот, звон, стрекот, гуд и верещанье недостоверной, как из полусна, жизни поднимались над миром, словно туман; изнемогал гребец в пустыне, весла вязли в песке, но ни на шаг не сдвигалась лодка. Афродита на дальних зеленых лугах медлила раскрыть веки. Складки остывшей простыни рядом еще хранили намек на форму тела. Последняя звезда, померкнув, сама еще видела края в дымке, Багдад, где вор перчатки спер, где шейх скучал в гареме. Корабль в гладкой воде прочно опирался на свое отражение. Ногами к солнцу лежал миллионер-иностранец, он видел свои ступни и каждый палец в ярком светящемся контуре на фоне сапфирового моря, и каждый волосок был вырисован четко и тщательно, как на картинах сюрреалистов, бронзовая муха перебиралась по ним, хоботком, как пылесосиком, втягивая невидимые следы сладости. У миллионера была квартира с четырьмя туалетами, каждый инкрустирован слоновой костью, и он пользовался ими по очереди, надеясь хоть в одном справиться с многолетним запором. Ах эти надежды спросонья, у каждого свои!.. Утро продвигалось вдоль земли, снимая с нее тусклую пред-рассветную пленку. Под исчезнувшей звездой возвращался самолет из краев, откуда уже подбиралась к Нечайску зеленая весна, и солнце ласково золотило ему брюхо. Увы, Нечайск под ним был закрыт облаками, что делалось там, не видно... не видно, не разобрать. И пусть; не обязательно о нем думать — да он уже позади, зато город как на ладони, вот улица Кампанеллы, и дом Лизавина, и сам Антон Андреич во дворе, занятый колкой дров...

Да, Антон Лизавин в этот час колол дрова. Заготовленные с осени кончились. В сарайчике оставался десяток недоколотых чурбаков, самых суковатых, трудных, отложенных когда-то под низ поленицы — авось не понадобятся. Дошла очередь и до этих орешков, деваться было некуда. Антон возился с ними отчаянно. Он разогрелся на утреннем морозце, и тело его дымилось. Запах свежего на расколе дерева был сладок дыханию. Трудней всего давались чурбаки, взятые близко к корню, со спутанными, переплетенными волокнами и ловушками внутренних сучков; топор увязал в них, лезвие его было горячим. Попадались и поленья со сдвоенным набором годовых колец — здесь дерево готовилось, видимо, раздвоиться, и между этими кольцами (они напоминали круги от двух рядов упавших в воду камней) порой открывалась затаенная внутренняя кора. Сырье для недорогой метафоры, — отметил про запас Лизавин. Искорка писательской мысли высветила было рядом мысль другую, давно разыскиваемую, насущную... Но тут во двор прибежал с улицы спортсмен Вася Лавочкин. Он круглый год ежедневно совершенствовал технику барьерного бега и теперь, после разминки, держась рукой за перида крыльца, стал отрабатывать махи правой ногой. Его задачей было делать каждый день на пять махов больше, чем накануне. Лизавин зачем-то попробовал их считать, но скоро оставил. Разогнувшись, придерживая поясницу, он с уважением смотрел на одухотворенное лицо Лавочкина. Пустые веревки для белья, от стены до турника, пересекали небо над маленьким двориком. У забора спинами друг к другу жались два дощатых нужника: один для прописанных в доме по Кампанелле, другой — для числившихся по Кооперативной. Первый был

заперт на замок, чтоб не пользовались прохожие, и даже имевшие ключи втихомолку бегали во второй, вызывая частые скандалы, — хотя ямы под обоими все равно сообщались... Странная задумчивость овладела Антоном. Драгоценная мысль вернулась в потемки. Некоторое время он даже не мог вспомнить, что делать с валявшимися среди щепок дровами, с топором, со спортсменом Васей. Наконец — хотя и не сразу — все оказались устроены: спортсмен резиновой рысцей ускакал дальше на улицу, топор уткнулся в бревно под сарайной притолокой, дрова образовали скромную поленницу, отдельная же охапка их составила пищу огню.

Дома, слава богу, движения и мысли вправились в колею привычного автоматизма. На сковороде зашкворчала яичница. Нужные вещи сами шли в руку, точно к хирургу, которому опытный ассистент по мановению вкладывает то скальпель, то зажим. Лизавин ценил надежность и верность этих четырех стен, где человек наиболее чувствует себя самим собой, где слова и мысли его звучат особенно уместно и полноценно, не требуя свежего напряжения, где все по мерке разношено, удобно, потерто на сгибах, где каждый создает себе мир по своему образу и подобию — в разных местах разных, из подручных материалов, но в то же время всюду один, predeterminedенный его внутренней сутью, как судьба, как кожа с опознавательным узором на пальцах. Милашевич где-то писал, что человек сращен с миром своего жилья, как кентавр, питается соками этой своей части тела и питает ее своими соками. А вот и сам Симеон Кондратьич дожидался своего часа на письменном столе. До начала занятий еще оставалось время, и Антон Андреевич сел разбирать рукописи.

Видимо, за недостатком бумаги Милашевич одно время писал на чем попало: на обороте конфетных фантиков или в чужой амбарной книге, которую Лизавин сейчас и открыл. Здесь была, между прочим, небольшая новелла о человеке, которому случайно досталась в собственность китайская лопаточка для чесания спины — такое, знаете, приспособление в виде изящной пятерни на длинной ручке лакированного дерева. И вот, казалось, никогда не было у него такой уж особой потребности чесать спину, а тут что-то новое появилось в его существе. Как посмотрит на это антивоенное снаряжение, использованное армией еще в турецкую кампанию... Тут Лизавин обнаружил, что по рассеянности перелистнул лишнюю страницу и обломок одной фразы, даже слова бессмысленно совместились с другим; на самом деле читать надо было: как посмотрит на это антикварное изделие, так у позвоночника начинают ползать словно бы насекомые... Но понял он это не сразу; так бывает, когда читаешь задремывая, хотя он вовсе не был сонным, наоборот, в голове сияла слегка нездоровая, электрически резкая ясность, какая бывает после бессонницы. Было неуютное чувство, будто отовсюду дуют сквозняки, но откуда именно, не уловишь. От амбарной книги пахло клеенкой. На столе в рамочке стояла фотография Милашевича: пенсне со шнурком, борода-перышки, сократовская лысина. «Отчего все же так пахнет клеенкой, Симеон Кондратьич?» — качнул головой кандидат наук. «Клеенкой? — повел тот ноздрями. — Не замечаю. Принимаю, должно быть». — «А так все в порядке?» — «Да помаленечку, дай бог не хуже». — «И супруга ваша благополучна?» — «Благополучна, ангел мой», — прижмурился философ за стеклышками пенсне. «И всем довольна-счастлива?» — «Станный вопрос!» — сказал Милашевич, не меняя выражения лица, но что-то на этом лице застыло, как у человека, ждущего, что его сейчас сфотографируют. «Я просто к тому поинтересовался, что есть некоторые как бы намеки в отношении вашей жены...» — «Оставьте, Антон Андреевич! Что это вы!.. оставьте. Что за страсть пробиваться к каморкам, куда человек сам себя не пускает! По-человечески вдумайтесь. Сколько усилий тратишь, чтобы не выдать себя себе самому. Не дай бог! Так вот на тебе гробокопателей! Вообразите по себе, как станут когда-нибудь через ваши строки буравить душу. Если заинтересуются, конечно, строками и душой». — «Нет, я не к тому... что вы так разволновались?» — «Я, Антон Андреевич, не

за себя волнуясь. Мне, если уж на то пошло, все равно. Но вам зачем поддаваться этой инфекции?» — «Да вот мысли стали приходить о соотношении внешней биографии с душевной». — «А-а! Мысли... Мое мнение вы знаете, могу повторить. В жизни истинно лишь то, что пропущено сквозь душу. Работа, судьбы других, мировые события — все твое, если они стали одушевленными, личными, кровными. В этом смысле у человека только личная жизнь — настоящая». — «Ну да, да, — согласился Лизавин, — прямо мои слова, подписываюсь». — «Но следует отсюда разное, потому что люди разные, и таков же выбор души, ее вместимость. Мы ищем богатства жизни вовне, пренебрегая глубинной своей гениальностью. Для иного, скажем, приятное почесывание спины — более подлинное переживание, чем кругосветный полет, после которого не пристанет к душе ни пылинки, чем какая-то дальняя катастрофа или засуха на другом полушарии, интерес к которым наружен, натужен и лишен любви». — «То есть все приспосабливается к личному пользованию, — уяснил Лизавин. — И уже где-то близко знаменитому миру провалиться, а мне был чай пить». — «Тьфу, господи! — обиделся Милашевич. — Нашли с кем сравнивать! Да плюньте вы этому истерику в его помойный чай! Ведь у него все одно вместо чая помой, в том-то и дело. Он ведь его пьет с отвращением, ради одного фальшивого принципа. Неужели вы не чувствуете? Потому что чай ему ничуть не интереснее мира и душа его неспособна к радости. Тут коренная разница». — «Да, да, — пробормотал Лизавин. — Зато как мучится!.. Кстати, раз уж вспомнилось, Симеон Кондратьич, какой у вас способ заварки? Сколько вы на стакан берете?» — «Чаю-то? А зачем вам?» — «Попутно, чтоб не забыть. Рецептами интересуюсь». — «Рецепт — это пожалуйста. Хотя и не припомню, когда я настоящей-то чай последний раз заваривал. Это если довоенный у кого остался. Эпоху не забывайте, молодой человек. Ведь так всё — липовый цвет, знаете, кипрей...» — «То-то я и подозревал». — «Ну и что? Наслаждение не этим мерится. Бывает, и пустой кипяток да черствая горбушка слаще меда. Сами знаете». — «То-то и оно, что знаю. Но как такой чай предъявить другим? Все вопросы начинаются, когда соприкоснешься с другими. В близком чувстве, например. От этой клеенки каким-то одиночеством пахнет, обособленностью и самоудовлетворением. Простите за двусмысленное словцо. То есть другие люди для такой жизни не обязательны. И ты им не обязателен...» — «Люди разные, — поспешно повторил Милашевич. — Люди разные, в этом ответ на все. Напоминайте это себе — и успокойтесь. И вообще вам на лекцию пара, а вы не готовы».

Симеон Кондратьич выразился неточно, лекций в тот день у кандидата наук не было, были всего лишь семинарские занятия. Но и на них Лизавин пришел явно не в форме. На последнем занятии он ухитрился клюнуть на заурядную студенческую провокацию. Да что студенческую, ее знают и школьники, если не выучили уроков и хотят, чтоб их не вызывали к доске: подзадорить преподавателя каким-нибудь умным вопросом. Антон Андреевич был достаточно опытен, чтоб не позволять таким образом уводить себя в сторону, — но вот поди ж ты, не сдержался и до звонка проговорил сам. Вопрос был тот самый, о причинах писательского интереса к людям пишущим; что мог напеть в ответ кандидат наук, мы уже примерно знаем, однако не в том дело. Пока он токовал, словно глухарь, о поддержке, которую получает от литературы человек, убеждаясь хотя бы, что он не один такой со своими проблемами и путаницей (так в больнице становится легче от зрелища и не таких больных), об отличии писательского знания людей и жизни от знания, скажем, врача, юриста или политика, об этой способности примерить к человеку любую возможную черту, наделить его собственной мудростью, увидеть его таким, каким ему и не снилось осуществиться, — когда в собственной реальной жизни автор сплошь и рядом слабей и глупей своих героев, хотя и попадания ему даются порой непостижимые, и тогда жизнь бросает вызов

его человеческим возможностям... — пока он нес всю эту необязательную для аудитории невнятицу (студенты блаженно пошумливали, занятые своими делами), какая-то другая, уже примерещившаяся однажды догадка возникла на обложке слов и мыслей — точно пылинка, пристающая к поверхности капли, но еще не смоченная, не поглощенная ею. По пути домой он все старался не упустить, вобрать ее в себя. Догадка была связана с Максимом Сиверсом: что он не приедет в город? — нет, это он понял раньше, и Сиверс имелся в виду отчасти другой — тот, что обосновался с прошлой осени под золотым тиснением «Machinexprogt»... Едва скинув пальто, Антон извлек из ящика уже изнемогавшую от нетерпения тетрадь. Он думал перечитать давно оборванную запись, но вместо этого снял колпачок с золотого паркеровского пера, и быстрые, некрупные, почти без наклона буквы стали складываться в очевидное, тревожное и соблазнительное продолжение.

Это был сюжет о безмолвном объяснении в любви, о залетном госте, ворвавшемся в жизнь пока непонятной, почти условной женщины, от узора на платье которой кружилась голова, но молчание которой требовало разгадки, как секрет самой жизни, об усмешке, повисшей в воздухе дома, где дремала в футляре труба и под чехлом глохло привезенное в приданое материнское пианино, где давно не слышно было музыки, кроме репродукторной, о побеге от мнимостей и поисках настоящего, о новой встрече, о соблазне и ревности, о бедном трубаче, который при всех поворотах событий оказывался ни при чем. Дальше картины становились туманнее: стычка? мычание тоски?.. вроде бы красные капли на снегу, вдоль тропинки и чей-то неизбежный отъезд из Нечайска. Но кто уезжал? и один ли? вдвоем?.. Муаровый узор, сбивавший с толку зрочки, заставлял прикрывать веки, но, разумеется, и под веками не исчезал. Поеду я завтра в Нечайск, — отчетливо решил вдруг Лизавин. — Зачем? Просто так. Занятий во вторник нет, одно лишь заседание кафедры — можно пропустить.

Надо знать Антона Андреича, чтобы оценить эту отчаянную, почти бунтарскую решимость — прогулять кафедру. Отложив перо, он зачем-то долго смотрел на себя в зеркало. Это было старое, зеленовато-тусклое зеркало — точный двойник нечайского, как были двойниками родительских вещей многие из предметов в комнате: стулья, тюлевые занавески на окнах, кровать с никелированными шишечками. Смотреться в другие зеркала он не любил, а в этом не то чтобы себе нравился, но отражение тут его устраивало. В детстве он часто кривлялся перед зеркалом, то усугубляя свое уродство, то стараясь придать отражению вид значительности и благородства. Примерно тем же он занимался и сейчас, заинтересованный глубокомысленной идеей: можно ли подделать свое отражение?.. А в Нечайск я не поеду, — решил между тем он. — Смешно это будет выглядеть. Или вот так: если мимо окна первым пройдет мужчина — поеду, если женщина — не поеду. Он отодвинул занавеску. Из-за оконной рамы, словно только того и ждала, выдвинулась мощная фигура Ларисы Васильевны Панковой, которую в здешних местах звали Эльфридой Потаповной Титько. Это я и имел в виду, — удовлетворился кандидат наук. — Поскольку я в приметы не верю, их следует толковать наоборот.

Он все равно знал, что поедет. Самое трудное было — избыть оставшееся, промежуточное время. Оно не прогорало, а спекалось в вязкую бурую массу, и из этой массы торчали ручки и ножки ненужных, непереваренных подробностей дня: спортсмен Вася Лавочкин, студенты, кислый голос лаборантки Ступак. Он бездарно пробовал придумывать отговорки, почему не будет на завтрашней кафедре: что-нибудь там с родителями, срочно пришлось уехать, — не подозревая, что и придумывать ничего не придется, что повод уже существовал в природе, в непроявленном, как фотографическая пластинка, пространстве.

Вот ведь забавно вообразить: показали бы человеку своевременно умную книгу о его собственной жизни, где осведомленный исследователь из будущего как дважды два объяснит, в чем несчастная суть твоего характера, каковы идейные твои заблуждения, почему ничего не получишься, скажем, из второго тома твоих «Мертвых душ» и чем ты в результате всего кончишь, — но даже если убедит тебя ясновидящий эксперт и почти во всем ты ему поверишь — сумеешь ли и захочешь ли что-нибудь изменить? Праздная, впрочем, фантазия. Взбрeдет же!

4

Еще два дня назад белизны вокруг было больше, чем черноты; сейчас законный пейзаж будто вывернулся негативом. Пахло дымом горелой травы, которую жгли мальчишки на обугленных откосах. В низинах и бочажках деревья стояли по пояс в сахарной воде. В непривычном утреннем автобусе не хватало рядом Панковой, хотя облако потных духов «Юбилейные» присутствовало на ее всегдашнем месте и даже имело форму вполне плотную и весомую, заставляя Антона Лизавина тесниться к окну. Столь же реально было все то же чувство неразгаданного пока беспокойства, существовавшего где-то вовне, за стеклом, сопровождавшего его всю дорогу, словно та дымчатая, зажившаяся на утреннем небе луна, — куда более реально, чем дальний лес, видневшийся призрачно и зыбко сквозь воздух, начинавший кипеть над полями. Так чувствуешь тяжесть тени, которую отбрасывает будущее, — да тут уже и не будущее; он просто еще не знал, в какую сторону смотреть.

Вот что значит неаккуратно читать газеты! За вздорной своей душевной смутой Антон Андреевич даже не слышал и не видел вчерашнего московского фельетона, где выволакивалось имя его отца, Андрея Поликарпыча Лизавина, в связи с историей, о которой он так и не удосужился спросить в прошлый приезд, — той самой, почти двухнедельной давности, историей с украденными перчатками.

Началась она, как уже докладывала Лизавину Панкова, в очереди промтоварного магазина, где вдруг выкинули, как у нас говорится, галоши. В Нечайске эта знаменитая некогда обувь была последнее время отнюдь не в ходу. Несколько лет в магазине галоши даже не появлялись — а редкий товар, как известно, уже накапливает обаяние, близкое моде. Очередь сразу выстроилась на улице, нервная, подозрительная, с требованием давать в руки не более двух пар... Хотите загадку: длинная, разноцветная, сто ног, один хвост — и кричит? О, очередь! способ существования и клуб (как прежде собирались у колодца, только, увы, не так добродушно), место, где не живут, а пережидают — но проводят притом едва ли не четверть жизни, кто вынужденно, кто по привычке, ставшей увлечением вроде спорта, — уходящая в прошлое очередь нужды, очередь с карточками (когда хлеб, помните, давали с довесками), очередь вокзальная, с припадочным-эпилептиком, с чемоданами и детьми на руках, особый мир, со своей психологией и фольклором, со скандалами и драмами (а вы здесь не занимали!), с филологическими препирательствами насчет слов «крайний» и «последний», — человечество, выстроившееся в затылок, где движутся переступая, как в танце, и где на время становятся другими... Да что говорить!..

В такой-то вот очереди Андрей Поликарпыч, который свои старенькие галоши носил бессменно и повседневно, с детства имея к ним пристрастие, хватился вдруг перчаток. Обыкновенных перчаток черной кожи с матерчатой ладошкой. Похлопал себя по карманам, спросил у близстоящих: не видели? — и тут случилось так, что вся очередь единодушно показала на потрепанного такого, плюгавенького и явно нездешнего человечка в туристской штормовке, который прикатил в Нечайск, видите ли, специально, чтобы отхватить чью-то пару галош. Самое странное, что потом не удалось установить,

кто конкретно и тем более кто первый выговорил обвинение: он взял, мы видели, как он к вашим карманам прилаживался, — именно вся очередь, весьма способная, как известно, быть единым действующим лицом, когда дрожь возбуждения проходит по ее хребту. Она требует своей сакральной жертвы, и выбранному на заклятие бесполезно (да и не пристало) роптать; тут совершается все по законам ритуальной стихии, где издревле сплавлены были кровожадность и комизм.

Даже та часть очереди, которая ничего достоверно видеть не могла (особенно же те, кто стояли сзади и не прочь были вытеснить лишних претендентов), прониклась этой уверенностью. Кроме того, указанный человек слишком располагал к такому обвинению. Не то что он был похож на воришку, хотя одет был вполне вызывающе и непривычно для глаза: шапочка на манер турецкой фески, только с козырьком, куцая курточка и резиновые сапоги; дело в ином. Бывают, знаете, такие грибы, которые тянет пнуть прежде, чем разберешься, что это не поганка и даже, может, совсем наоборот. Юристы утверждают, что есть люди, предрасположенные быть жертвой; в самом виде и повадке их есть что-то, ну прямо провоцирующее на агрессию; этот был из таких. Ко всему, он повел себя не лучшим образом: вместо того чтобы держаться скромно и отвести обвинения, стал огрызаться иронически и даже презрительно, ставить из себя москвича, и в этой презрительности показался таким беззащитным, что доброты вызвались отвести его в милицию на предмет обыска. Спрошенный в милиции, зачем ему на столичном асфальте понадобились галоши, плюгавый не нашел ничего умней, как ответить, что галоши ему нужны не для асфальта, а для лазания, представьте себе, по скалам. Этот наглый ответ особенно возмутил милиционера и представителей очереди, которые по скалам никогда не лазали и не подозревали, что такое может быть правдой. На вопрос о месте работы он, кстати, тоже начал было острить, представившись лицом свободной профессии. Доверия это к нему не прибавило; как выяснилось, он был, правда, художником, но, должно быть, паршивеньким, ненастоящим, даже удостоверения при себе не имел и в доказательство мог сослаться только на свой этюдник, оставленный в гостинице. Нет, неприятен был этот человек, и что бы ему ни досталось — все поделом.

Что там еще было в милиции, доподлинно осталось неизвестным; не исключено, что на художника не только составили акт, но и впрямь его обыскали. Андрей Поликарпыч при этом не присутствовал. Он ушел из милиции в крайнем расстройстве после безуспешных попыток вмешаться и утихомирить страсти. Каково же он себя почувствовал, когда, придя домой, обнаружил перчатки во внутреннем кармане пальто! Он кинулся в гостиницу искать приезжего — но тот уже укатил из города с оскорбленными чувствами и без галош, столь необходимых для покорения скал. Кинулся в милицию — но прежний дежурный сменился, удалось уточнить только московский адрес художника, и Андрей Поликарпыч послал ему вдогонку телеграмму с радостной вестью о найденных перчатках и простодушными извинениями.

Как выяснилось потом, этой неосторожной телеграммой он особенно себе навредил. Потому что проезжий оказался вовсе не таким беззащитным, как можно было предположить по его мозглявому виду. Между тем сомнительное нечайское происшествие непостижимым образом стало известно в Москве, в авторитетных для художника инстанциях, прежде чем он сам туда вернулся, в результате чего его на всякий случай, до выяснения, вычеркнули из списка участников заграничной поездки, ради которой он так спешно из Нечайска укатил. Тоже можно понять. Не посылать же за границу людей, от которых, может, и у себя дома надо беречь карманы; на это место рвались и незапятнанные претенденты. Но можно представить себе и саркастические чувства самого художника. Нашелся знакомый журналист, увидевший в этой истории эффектное зерно для уже готового благородного фельетона, где речь шла о процветающем и воинствующем современном хамстве и, между прочим, о моральном праве некоторых горе-педагогов воспитывать подрастающее поко-

ление. Телеграмма Андрея Поликарпыча упрощала проверку обстоятельств — и он попал в число главных его героев, оказавшись единственным неанонимным персонажем эффектного сюжета, а стало быть, главным зачинщиком скандала в очереди и даже инициатором самочинного обыска. Мимоходом в ироническом контексте была упомянута и пресловутая каменная баба, из чего в Нечайске заключили, что художник или автор фельетона были наслышаны о ней, а возможно, инкогнито разбирались и в каких-то других здешних обстоятельствах... И тут же как по заказу мысли об инкогнито дана была свежая пища: как раз в день выхода газеты с фельетоном внезапно уехал квартировавший у Андрея Поликарпыча москвич.

Да, Максим Сиверс укатил вчера утром, будто с места сорвался. Он и в доме-то почти не бывал, даже обедать не заходил. Отец сообщил об этом кандидату наук, с обидой пожимая плечами. Такой нюанс. Он как раз накануне, еще в воскресенье, успел-таки потолковать с Панковой о возможности устроить Сиверса в школу преподавателем иностранного языка. Лариса Васильевна выслушала его, как вспоминал он теперь, подозрительно и с недоумением. Теперь получалось, что Андрей Поликарпыч даже не знал об истинных планах своего недолгого постояльца, которого его же собственный сын отрекомендовал как близкого знакомого, журналиста и литератора. Как это следовало понимать? А так, может, и понимать: в духе все того же инкогнито, который уехал, завершив свою короткую таинственную миссию. Скажем, проверщик насчет фельетона: убедился, подтвердил по телефону: все верно, можно печатать, — и укатил. Присутствие его на литкружке подсказывало, что и самого сына Лизавина проверяли; но эта идея возникла чуть поздней. Раф Рафыч Небезызвестный-Бабаев многозначительно уверял на другой же день, что в воскресенье успел пожаловаться москвичу на незаконную попытку изъятия дачи и тот якобы обещал поспособствовать. Врал, скорее всего; но заготовленная на сей счет еще с пятницы резолюция на всякий случай оставалась пока без печати.

Недостаток прямой логики только обогащал логику подспудную. Падкость на слухи в городке вроде Нечайска связана с самолюбивой мыслью, что мы тоже не лыком шиты, умеем читать между строк и знаем скрытые пружины мира. Слово же печатное (разумеется, не в книге, построенной на выдумке и вранье, а документально-газетное) имело силу особую, почти магическую; даже собственные твои впечатления очевидца и участника были недостоверной тенью рядом с этим словом. Разве не это благоговение перед печатным словом побуждало самого Андрея Поликарпыча застеклять в рамочке вырезанные столбцы? И каково было выйти на улицу Нечайска герою всесоюзного фельетона! Ах, Антон его понимал, он сам знал этот испуг дикаря перед магией запечатленного на бумаге значка (значит, москвич укатил... почему? — а Зоя?.. — и сердце его стучало), хотя придавал своему голосу насмешливый, пренебрежительный тон: чепуха, все станет на место.

— Обсуждать теперь будут, — качнул головой отец. — Еще на пенсию уволят, вот в чем нюанс.

Он снял протереть очки. В беззащитных глазах его со склеротическими прожилками Антон увидел вопрос, ожидание и тоску. Кадык выпирал на петушиной шее. В провале внезапной тишины морщинистое лицо это с красным носиком легонько запрокинулось к небу, веки выпукло закрылись, оно лежало среди бумажных цветов, успокоенное, милое, всегдашнее... Антон испугался своейвольной выходки воображения.

— Глупости: обсуждать, — сказал он. — Все же видели, как было.

Он говорил искренне, но нежная, болезненная печаль уже кольнула его душу. Каждый приезд к родителям заново пробуждал в нем эту печаль, это неизбежное чувство вины перед их старостью, слабостью, уязвимостью, вины за свои болезни, за все страхи и опасения, за неоправданные надежды. Печаль,

жалость и нежность связаны были с самим воздухом родного дома, с видом этих стен, потрескавшихся обоев цвета плохого кофе, крымской подушечки для иголок на гвозде, который постоянно выпадал и без молотка был возвращаем в ненадежное распатанное место, привычной пары стульев у стола: он и она; он был тощий, деревянный, напряженный, с высокой прямой спинкой, она вся мягонькая, низенькая, словно кушетка, с подушечками на подлокотниках; сколько их помнил Антон, они всегда стояли рядышком и, невзирая на далеко не юный возраст, касались под скатертью друг друга ножками. Однажды только между ними что-то произошло — он их застал в разных углах комнаты и даже спинками друг к другу. Они жили вместе уже полвека, никуда не ездили и о единственном в своей жизни путешествии, обо всей этой тряске и беспокойстве, вспоминали без всякого удовольствия...

— А хоть и на пенсию, — вступила мама, которая, прихрамывая, несла из кухни добавку для неожиданно приехавшего сына. — Чего плохого?

Она-то, уйдя из своей пекарни, почти не заметила перемены, только радовалась, что может перенести все свое усердие на домашние дела. В ее хлопотливой, переваливающейся, бесформенной фигуре, в бледной отечной коже что-то напоминало о тесте, хлебе, квашне, опаре, она всю жизнь излучала добрый теплый запах, который с детства, пожалуй, участвовал в формировании характера Антона. (С некоторых пор запах этот казался ему, правда, чуть кисловатым, как и нечайский хлеб, но в городке этим хлебом гордились, за ним приезжали из деревень.) Мама слыла среди соседок особо умелой хозяйкой и ревниво поддерживала такую репутацию, тем более что по образованию была не совсем пара мужу, да притом с детства хромала, и кое-кто не прочь был почесать языки на тему ее замужества. Сосватала ее за приезжего, совсем тогда зеленого, учительшку известная в Нечайске сваха и сводня тетя Паша, смотрины она устроила так, что Андрей Поликарпыч до самой свадьбы не подозревал об изъяне будущей супруги. Когда он впервые вошел к ней в дом, невеста читала у окна книгу — не заметив от волнения, что держит ее вверх ногами, но доказывая почтение к образованности, которое у нечайцев в крови. А когда он что-то заметил, свадьба была уже сыграна — тетя Паша свое дело знала. За годы совместной жизни Варвара Ивановна сумела убедить супруга, что осчастливила его и облагодетельствовала, без нее он бы пропал. Может, так оно и было. От нее Антон унаследовал увлечение кулинарией, а вместе с ним небрезгливость и отсутствие предрассудков, ибо для женщин, которым приходится заниматься разделкою потрохов, праздными выглядят вегетарианские теории. Вообще ему смутно думалось порой, что домашняя женская работа сохраняет большую связь с какими-то природными, естественными потребностями и проявлениями — как пахота или жатва, — чем глубокомысленные, но в чем-то сомнительные занятия городских мужчин вроде писания статей, копания в архивах, формулах или приборах... Мама была старше отца; здоровье ее сильно пошатнулось после того, как от несчастного случая погиб их первый сын, старший брат Антона: они пробовали с соседским пареньком охотничье ружье и не заметили, что в стволе уже был заряд. Антон ярче всего запомнил обнаженный, уже юношеский торс брата, где вместо левого соска расцвел большой темно-красный цветок; страшно стало ему лишь потом — когда он услышал, как закричала, опадая на чьи-то руки, мама... При множестве своих болезней она была убеждена, что умрет раньше мужа, и время от времени напоминала Андрею Поликарпычу: «Умру я, что ты будешь делать?» Зная непрактичность обоих своих мужчин, она загодя отложила себе деньги на похороны, записала подробнейшие распоряжения на первое время их самостоятельной, без нее, жизни. Беспокоила ее опасность умереть не вовремя — в гололед, например. От озера к кладбищу дорога вела в гору, и был случай, когда машина, отвозившая по гололеду покойника, добавила к нему и сопровождавших, включая шофера. «Не бойся, в гололед я не помру», — считала она нужным заверить Андрея Поликарпыча; Антона же в летние или зимние каникулы успокаивала: «Не бойся, я тебе каникулы

не испорчу». Казалось, ее удерживали только эти неудобства, бесконечные домашние хлопоты да тревога за младшего, единственного, много болевшего в детстве сына, которого она опекала слишком уж испуганно. Начав жить вдаль от родителей, Антон испытал облегчение. Этот первый серьезный отрыв в его жизни, при всей своей заурядности, значил для него много; так расстаётся ребенок с утробой матери. Сколько расставаний ему еще предстояло! Его тянуло домой, но жалость, вина и печаль заставляли спешить обратно...

— Даже если что, — сказал Антон, — я сегодня же вернусь в город... сейчас прямо... попробую кое с кем поговорить. Все обойдется.

— Да, — вспомнил отец, — приятель твой письмецо тебе оставил.

В оскорбленности он даже не хотел называть имя приятеля. Письмецо оказалось изрядно пухлым конвертом. Антон вскрыл его — там была сложенная пополам школьная тетрадь, исписанная вплоть до голубой обложки быстрым скачущим почерком. Антон засунул ее в карман пальто. Сердце его стучало, и он знал почему; он знал, куда его так подмывает спешить, спешить. Как застоявшийся конь, переминался он у дверей, пока мама загружала его портфель внеочередной порцией банок, и стыдась, что родители угадают истинную причину его нетерпения.

5

Нет, он спешил не к автобусу — время еще было. Но он все ускорял шаг, поднимаясь дальше вверх, через центр, в сторону леса, к Тургеневской, куда два дня назад навещался с Максимом Сиверсом... всего два дня? Порой он почти переходил на бег, хотя на подъеме это было и трудно. Встречный ветер шумел в ушах, наполняясь все более как бы трубным звуком. Звук этот чудился то нереально, то обретал видимость мелодии, которая скоро срывалась, однако, в крик. Казалось, кто-то начинал пьяную руладу, но не хватало в легких воздуха. С приближением к Костиному дому звук прекратился. Знакомая калитка вновь открылась сама, вспыхнула на календаре надпись: «20 сентября», радиоголос провозгласил: «Хозяева дома приветствуют вас с супругой», и тут опять раздался, откуда-то с небес, залиvistый взлет и спазма трубы. Костя Андронов сидел над своим крыльцом, на коньке крыши, свесив вниз ноги в домашних тапочках, и, запрокинув голову, выплевывал из трубы своим дыханием сухие шкурки мух, дохлых паучков и прочий мусор, поселившийся в горловине за эпоху бездействия инструмента. Он сидел в высоте, как меднолицый бог, и неся спиной навстречу быстрым облакам, которые над его головой вздрагивали от трубных толчков, перемешивались и закручивались водоворотом.

— Надоело мне все, — оборотил Трубоч к Антону крутые влажные белки глаз. — На-доело.

Взгляд его был бел и невидящ, короткие волосы приподняты над головой как бы электричеством. Вокруг него сиял белый ореол тоски, недоумения и гордости.

— Я лучше сыграю пьесу «Кончились белые ночи». «Кончились белые ночи», — повторил Трубоч и, запрокинув в небо воронку, выдул несколько тактов знаменитого марша из сонаты си-бемоль минор Фридриха Шопена. — Надоело все, — объяснил он опять. — Я простой мужик, я этого не понимаю. Чего ей было плохо? И если даже плохо — можно бы и не так. Я ведь соображаю... не первый день...

Хитроумная антенна за его спиной напоминала причудливую мачту. Ветви бесплодного сиротского сада с разошедшей пустой скворечней, теряя равновесие, неслись вслед за его вознесенным торсом сквозь пьяные ветреные небеса. Антона прорбировал озноб; он впивался в трудную речь Трубоча, сам словно хмельной, и боялся вставить вопрос: когда она?.. куда?.. оставила ли записку?.. и почему ты не кинешься вдогонку?.. Все было и так ясно. Соседи, давно с наслаждением глазевшие на Костю из своих дворов, потихоньку возвращались к делам. Это был озноб от сбывшегося предчувствия, знакомый суеверный

трепет: жизнь опять показывала нос воображению; одно дело, когда она шла своей колесой, позволяя фантазии уноситься без дорог и троп, — тут все возвращалось к нему, грозя столкновением, не позволяя увильнуть...

— Февраль она, — сказал Трубоч. — Знаешь, что такое февраль? Это я такое ругательство придумал: не хватает, мол, у тебя. В феврале ведь дней не хватает. Я простой мужик. Как раз утром сегодня хотел поговорить...

(Сегодня! Значит, только сегодня?)

— А, надоело все, — заключил опять Костя. — Я лучше сыграю марш «Судьба играет человеком»...

Спотыкающиеся трубные спазмы подталкивали Антона в спину до самой Базарной площади. Сложенная в кармане тетрадка, толстая, билась у груди, и, едва пристроясь в автобусе у окна, Лизавин поспешил ее раскрыть.

6

«Антон! — было начато быстрым дерганым почерком. — Я понял, что уеду, едва расстался с тобой. И даже прежде, когда ты так непринужденно представил меня публике и я почти всерьез почувствовал себя самозванцем. Повод был анекдотический, и чувству этому надо было созреть. Весь последующий день в избытке обеспечивал его ферментами. Признаюсь в детской моей слабости: я всегда боялся оказаться смешным. Смешным и несостоятельным; но несостоятельный — уже взрослое слово. Если бы не было других причин, я уехал бы уже из-за этой боязни разоблачения. Ты мне удружил — говорю это всерьез. Я благодарен тебе за возможность еще раз понять, насколько я самозванец — во всем.

Сегодня в кафе мне рассказали местную байку в духе твоего Милашевича. Якобы жил в Нечайске богатый самодур, который скупал у одного гончара на корню все горшки и тут же при мастере для своего удовольствия их разбивал. Дескать, жил? — Жил. — Дело делал? — Делал. — Деньги получил? — Получил. — Можешь жить дальше. А кончилось тем, что гончар пошел и повесился. Это тебе в литературное пользование. Недурной сюжет. Мне иногда, признаться, казалось, что Милашевич — нечто вроде твоего прикрытия или псевдонима, для безопасности и удобства. Надеюсь, ты это воспримешь не в обиду, наоборот. Но я все в сторону.

В том же кафе один алкоголик сказал мне, что я плохо кончу. И я вдруг почувствовал, что это очень похоже на истину. И гадалкой быть не надо. Я даже не позолотил ему ручку. Весь этот сумбур надо бы, конечно, объяснить. Сейчас. Надо бы объясниться — не только перед тобой, для самого себя сформулировать, наконец. Я, кажется, вдруг понял что-то, чего не понимал и тянулся понять всю жизнь. Только логика объяснений плоска и недостаточна. Как объяснить смущение, смутный страх, который я испытал, встретив еще раз эту женщину?.. Рядом с ней мне было так легко думать, что я испугался — поверь, не за себя. Самозванец, которому почудился вызов, — а вызывали-то не его, который рвется убежать от мнимостей, чтобы запутаться в еще больших. Всю эту предварительную невнятицу лучше пропусти. Проще описать продолжение анекдота, когда по пути в кафе меня перехватила известная тебе матрона и, цепко, хотя и почтительно взяв за локоток, стала подробно опрыскивать добродетельными ядохимикатами тебя, твой кружок, твоих поэтов, твоего отца, коллег твоего отца, а заодно продавщицу раймага Ключкину, которая припрятала от нее под прилавком три банки зеленого горошка. Мои попытки намекнуть, что я не журналист, не литератор, не инспектирующее лицо, вязли в вате ее подмигивающей уверенности: я знаю, разумеется, я в с е знаю. В другом состоянии я бы сумел привести ее в себя, но меня ослабляло все то же сознание: заслужил, самозванец. Все действительно разумно, как говорил, помнится, Гегель. Всякий анекдот имеет свое основание. И в кафе, куда я зашел пообедать (подозревая, что обижу твоих милейших родителей — гость-самозванец), терпел, как крест, как астму, как крапивную лихорадку, сперва одного, потом другого, которые подсаживались ко мне.

Один мечтал узнать, как я отношусь к Сергею Есенину, а кроме того, готов был бесплатно снабдить сюжетом для детективно-уголовного — и притом документального — романа. Другой этих сюжетов выдал сразу десяток, приглашал на семейную чашку чая и при этом даже, представь, упомянул про дочку. И все усердно, как взятку, подсовывали мне выпивку. Выпить все же пришлось. Однако сейчас (пишу ночью, воротясь) я совершенно трезв. Более чем трезв. Так изредка бывает после резкого ослепительного похмелья. Не сочти этот сумбур за откровения пьяного. Дай только собрать мысли, разогнаться. Вместо всех объяснений я лучше попробую воспроизвести как можно подробней самый занятный, последний, разговор, который случился все в том же кафе за угловым столиком...

(Он пьян, пьян! он все же писал спьяну, — думал Антон с беспричинно бьющимся сердцем, торопясь продрасть к главному сквозь толкотню подготовительных строк, сквозь беспокойные пунктирные намеки. Дорожная тряска еще более затрудняла чтение; две-три строки он, видно, потерял, но не стал возвращаться для их розыска.)

...попробую тебе его описать, возможно, ты даже узнаешь. Лет за пятьдесят, потрепанное лицо провинциального трагика, артистические пряди спускаются на затылок с высокого темени (или прямо с верхушки разросшегося до темени лба), картофельно-сливовый нос (картофельный по форме, сливовый по цвету). Словом, колоритный алкаш.

Когда я затруднялся в обращении к нему, он предложил: «Зовите меня маэстро». Началось с обычной просьбы о сигарете. При этом он долго и темно извинялся, что вынужден просить, вместо того чтобы курить свою трубку, которую от него кто-то теперь прячет под замок, — все это с туманным намеком, каким любит придавать себе значительности известный сорт людей. Наверно, ждал любопытства к подробностям. Но у меня настроение было не то. От субъектов с такими носами прячут обычно не трубку, а бутылку, но угостил я его, разумеется, не только сигаретой. Он со знанием дела пояснил мне, почему обычный «сучок» здесь называется «горбылем», особо предупредил против адского коктейля, которым балуются тут любители (так называемое фруктовое вино, то есть тот же «горбыль», подкрашенный фруктовой эссенцией, смешивают еще со спиртом — действие, по его словам, сверхъестественное).

— Человек, хлебнувший даже малую дозу, фатально перестает получаться на фотографиях. Фатально, уверяю вас. Сколько его ни щелкай, на пленке выходит пустое место. Я давно уже не получаюсь... безнадежно. И вот официанточка, дуся какая... смотрит на вас сквозь меня, как будто я не существую в природе. Игнорирует... — (Я между тем заказал еще графинчик.) Говорил он, к стати, членораздельно, складно, порой с актерскими нотками, выпивка не заплетала ему язык. — Зато я и вижу многое, чего не видят другие. И не променяю это многое. Нет! Не променяю! Можете называть меня алкашом — я читаю ваши мысли. Да, я алкаю. Не лакаю, как некоторые считают... это филологическая разница. Я многого чего алкаю.

А сам все посматривал на меня, выжидая поощрительного вопроса. Увы, после напряжения предыдущих спектаклей я просто с облегчением расслабился — преждевременно, как выяснилось. Ему и полукивка было достаточно.

— А фотографии почтения все равно не заслуживают, — продолжал он. — Что значит: видимый, существующий? Зачем нам с вами это? Разве самые прекрасные разговоры мы не ведем мысленно? И часто охотней беседуем с умершими, чем с живыми... Я имею в виду чтение книг, — пояснил он, явно довольный движением моего лица.

(Он сочиняет, — вдруг уяснил наконец Антон. — Литературный прием, способ высказаться. И умеет, оказывается! — вот оно как. А мне же намекает

на псевдоним... Только откуда он взял подлинный портрет человека, которого никогда не видел и видеть уже не мог? Обознаться нельзя. По чьим описаниям?.. по каким фотографиям?.. — Он боролся с нетерпеливым желанием перелистнуть несколько страниц, чтобы добраться до главного. Намек на это главное, возможно, прятался среди подробностей. Но когда ухаб стряхнул очередные строки, опять не стал заботиться об утерянном кончике.)

— ...Или, может, вы отменно трезвый человек? Пьете сейчас со мной и не пьянеете? Может, вы никогда не видели снов и гордитесь этим? И не помните своих детских страхов? Не испытали хоть однажды беспамятство, бред, жар, одержимость драки и любви? Вам не бывало без причин жутко в ночном лесу, вы не обливались слезами над вымыслом, не знали сбывшихся предчувствий?.. И так далее. Понимаете общий знаменатель?

— Наркотики, — добавил я.

— Ну... — он чуть поморщился, — тоже из этого ряда. Вы ухватили мысль. Сам не пробовал. Сомнительно для здоровья... и с точки зрения закона. Вообще химия — для слабосильных душ и умов, для тех, кто не умеет иначе. Как церковная бутафория для тех, кому не по силам непосредственно воспарить. Алкоголь — и то уже извращение, костыль. Но вы ухватили. Я рад. Я ведь хотел с вами поговорить и рад, что не ошибся.

— Именно со мной?

— Именно с вами. Пришлось даже вытерпеть очередь.

— Меня здесь все принимают за кого-то другого.

— Упаси бог, не заботьтесь о разъяснениях, — предупредительно выставил он ладонь. — Со мной-то зачем. Я ни на что не претендую, упаси бог. Так, чистое общение. Если и разорил вас на рюмашку — так потому, что мне самому тут уже не подают. Игнорируют. Вон, в упор не желают видеть. Но я со своей стороны, не подумайте...

Он неискренним жестом потянулся к карману, пришлось его успокаивать.

— Просто хочется поговорить с человеком, который способен понять. Я убедился наблюдая и слушая. В нашей дыре это редкость. Когда не выходишь на фотографиях — леший с ним. Но когда говоришь, а тебя не слышат... Вы уж не обессудьте за болтовню. Да. Трудно объясняться с людьми, которые не видят снов и считают это признаком особого душевного здоровья. Во-первых, они врут. Наука установила, что сны видят все. Только не все их помнят. Они даже зачем-то нужны для полноценного развития организма. Какое-то при этом вырабатывается вещество или гормон. Вроде как против рахита, только в духовном смысле. Неясно пока. Считают сон потерянным временем, сокращают его, мечтают заменить таблетками. А кто знает, где потеря и где находка?

Смотрел маэстро не на меня, а мимо, но иногда попадал в упор желтым зрачком. Станный это был взгляд, совсем не пьяный — отнюдь. Как будто с другого лица. Я все не мог понять этого впечатления. Тень рисовала ему под носом короткие усики.

— Вы, я вижу, готовы со мной согласиться и в доказательство вздремнуть тут же за столиком. Да?.. Я угадываю мысли. Не волнуйтесь, я не намерен читать вам докладов по теории сумеречных состояний. Хотя меня интересует качество и полноценность разных самоощущений. После встреч и разговоров в нашем прекрасном городке вы согласитесь со мной, что бывает и наяву чувство, будто живешь недостоверно. Не по-настоящему как-то. Вроде бы дела, подробности, отношения, и все вещественно, житейски плотно, с мебелью, с посудой, с выпивкой и всякими радостями жизни... А как будто пробираешься к чему-то сквозь неосновательный сон.

Мне начало становиться интересно.

— Бывает, — сказал я. — Хотя при чем тут ваш город? Кому это не знакомо? Так чувствуешь иногда всю жизнь. И то если спохватиться оценить...

— Вот именно! — чем-то очень довольный, поднял палец маэстро. — Однако заранее могу вас предупредить: умираешь все равно взаправду. Если у вас при себе блокнот, можете записать как народное изречение, потом проверите.

Мысль эта казалась ему явно ценной, он ее повторил. Некоторые свои слова ему вообще так нравились, что он смаковал их дважды...

(Это он обиняком в мой огород, — убеждался Антон Лизавин. — Спор вдогонку. Но зачем ему понадобился для него призрачный персонаж, мистика углового столика? И откуда к нему?.. не взаправду же совпадение?.. — Он слишком зримо представлял себе и это кафе с чайками и рыбами на стене, расписанной когда-то местным художником Звенигородским, и этот столик с сосновой веткой в вазочке, дымный воздух с ароматом тушеной капусты, обоих собеседников... Он опять утерял строку. На полях боком была втиснута вставка: «реакция свернувшейся улитки. Но для судьбы и здоровья нации...» Куда тянулась вставка, без терпения было не проследить, и Лизавин не усердствовал: вернусь потом. Он перелистнул страницу.)

— ...а как вы беретесь различать: вот настоящее, вот нет? — наседал маэстро. — Возможно, у вас загорается каждый раз лампочка, красная или белая? Или какой-то сигнал в ушах, как в миноискателе?

— Кашель, — пошутил я.

— Ну-ну! — принял он шутку. — То-то я слышал, как вы бухали, когда вас тут осаждали с аудиенциями. Могу теперь вполне успокоиться: со мной все в порядке. Хоть я и не получаюсь на фотографиях... ха-ха. Но допустим, даже всерьез. Допустим. Вы не читали такую историю: у одного посредственного немецкого литератора жена покончила с собой в надежде, что потрясение пробудит в муже гениальность? Подлинный случай, только фамилию забыл. И представьте, не пробудила. Возможно, он просто и не понял, зачем это она. Я нигде не смог уточнить, объяснила ли она ему предварительно. Или даже они так договорились? И даже его была идея? Тогда считайте, он сам ее убил ради торжества гениальности. Вы скажете: черт знает что! Какая-то искусственная попытка, имитация, игра. Да! Но страсть-то какая! И главное, смерть взаправду. Она всю нашу бутафорию высвечивает иначе. От игры теней тоже может разорваться сердце. Не пренебрегайте. Вы скажете: научимся различать — и станем как боги. Отнюдь. Отнюдь. И давайте, если не против, еще рюмочку, сейчас я начну волноваться.

Пальцы его с траурными каемками ногтей в самом деле дрожали, голос все чаще сбивался на пафос актера, читающего монолог Сатина в пьесе «На дне».

— Послушайте, — приступил он, набрав в грудь воздуха, — я вам расскажу про свою дочь. У меня была дочь...

— Была? — переспросил я. — А что с ней стало?

— Когда она была маленькой, — пренебрег он моим нетактичным вмешательством, — кто-то, представьте, объяснил ей, что сахар растет на сахарной свекле. Какой-то мальчишка. Она прибежала ко мне за подтверждением. И мне это понравилось. Понравилось. Это тронуло во мне струнку. Я сказал ей: посмотрим. И на другое утро она с восторгом позвала меня в огород показать, что на свекольной ботве действительно выросли кусочки колотого рафинада. Я не мог отказать ей в этой сказке. Вы осуждаете меня, я вижу по вашей усмешке. Но до технологических подробностей дошло бы и так. А я хотел, чтобы моя дочь была счастливейшей девушкой в мире. Пока я мог. Я всю ее жизнь выстраивал как сказку. Я хотел создать небывалое существо, как Пигмалион Галатею. Можете надо мной кривить свои губы, но я сделал ее жизнь прекрасной. Обманывая, я ее не обманул. Ей было хорошо. Я утверждаю, и дело не в подробностях. Я преступный честолюбец и Пигмалион, но не вам меня судить.

— С чего вы взяли? — не понял я его внезапной агрессивности.

Тут нас, однако, отвлекло появление тощего старика в военном картузе без околыша, но со звездой. Он подошел к буфетной стойке, волоча по полу пустые сабельные ножи, туго подпоясанные поверх телогрейки. Буфетчица, видно, его знала; не спрашивая денег, налила кружку пива. Обладатель ножен выпил стоя, поверх кружки обводя всех цепким презрительным взглядом, потом не менее презрительно скривил мокрые от пива губы, в сердцах сплюнул на пол и вышел, скребя по полу своей амуницией. Уборщица уже стояла наготове со щеткой вытирать плевков.

— Его тут все знают, — обернувшись, пояснил маэстро. — Застрел умом где-то в гражданской войне. Тоже устроился...

(«Тоже устроился» было зачеркнуто, взамен надписано: «Тоже артист», и этот поиск литературного стиля подкреплял подозрения Лизавина. Ишь какова притча! — ну все же, но все же: откуда был взят сахарный куст, откуда угадан был этот памятный актерский голос, траурные каемки ногтей, которых не увидишь на фотографии? кто мог выдать ему все это так достоверно? И городской сумасшедший Федя узнавался доподлинно, без труда, и толстая официантка Люба, откликнувшаяся на очередной заказ москвича: «Не многовато уже? А то вон сами с собой разговариваете», даже голос ее слышал Антон, и сцена беседы наполнялась непрозрачным правдоподобием.)

— ...«всерьез», «взаправду» — надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконец говядины, которое я выковыривал сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконец знал добрым и нежным телянчиком... му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу — ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу, — если эта сквмканная условность взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне прямо, не играй со мной. Каков идиотизм! Какая в конечном счете пошлость! Это не так далеко от прямоты того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы всё лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза. И она подозревает обман, о! потому что она лучше нас знает, что глаза у нее — ничего особенного. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, всё же верят именно обману, называют его ослеплением страсти — и оказываются правы. Вот в чем истина, вдумайтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди художники и различаются по силе способности.

— Bravo! — сказал я. — Почти что гимн, только не знаю чему. Поясните. Обману? самообману? искусству? праву на имитацию? на иллюзорную жизнь? Все слишком в куче.

— Иллюзорную? — Он уголком вскинул брови, наморщив над ними несколько складок — на весь лоб, карикатурно большой, морщин даже не хватило. — Тогда вы ничего не поняли. Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни.

— Возможно, возможно. Холодная женщина тоже имитирует любовные судороги не из одного притворства, ей самой хочется думать, что она умеет любить. Нечто близкое, хотя другими словами, мне излагал как-то один ваш земляк. На неизбежности он, правда, не настаивал. У него скорей мысль и совесть намеренно не допускались чересчур далеко. Обрывались. Для спокойствия и сохранности своей, как выразились вы, сказки. Только у него каждый старался за себя, а вы, как я понял, и для других готовы. И эстетики у вас больше. Но какие здесь все-таки нужны способности? За счет чего они даются? Вы не закончили про свою дочь. Каким все же образом и какой ценой ей удалось так счастливо сохранить...

— Оборванная, вы говорите, мысль? — не дал мне закончить маэстро. Он даже рюмку не донес до губ, вернул на стол — так дрожали его пальцы. — А какая наша мысль не оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное — уже обрулено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса — это и есть акт творения, родственник искусству. Куску хаоса придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено. Может, вас за этот предел тянет? Вглядитесь в себя, в свой, как называете вы, кашель. С такой усмешкой, боюсь, вы плохо кончите.

— Может быть, может быть, — пробормотал я. Он меня оглушил, я был смущен этим пафосом личной оскорбленности. Не надо было, наверно, про дочку. — Вы словно обиделись на что-то. Но я усмехаться не думал, это не от меня зависит. Как тот же кашель. Может, вы шутя угадали — мне не дано какого-то благодатного для всех укрытия. Вспыхивает красная лампочка, и рад бы — а дышать нельзя. Пожалуй, вы навели меня на догадку. Я никому не завидую, поверьте, но я хотел бы понять...

— Вы плохо кончите, — покачал головой мой собеседник. Рюмку он выпил, но все не мог прийти в себя. — Вы хотите сгусток ядер, без пустот, без соединительной ткани, даже без оболочки?..

— Не знаю, не знаю. Неужели вы угадали? Я с некоторых пор слишком болезненно интересуюсь этим самым пределом. И знаете, что меня смущает? Вдруг это тоже попытка спрятаться, найти щель? Меня пугает возможность умереть внезапно. Вдруг хлопнет сзади по голове, и не успеешь ощутить ничего, кроме боли. Какая несчастная смерть! Тебе отказано даже в ожидании, в величии и последней тайне борьбы, ты не готов уловить даже мгновения перехода. А так я бы не испугался. Дело не в оттяжке срока. Можно прожить долгий век в полудреме, набрав в душе меньше чувств, событий и мыслей, чем в другой жизни наберется за месяц. Нельзя, наверно, все время быть одинаково живым, просто сил не хватит. Но если бы...

(Что он бормочет? что бормочет? к чему он? — озноб все сильней возвращался к Лизавину. С приближением к концу тетради размашистые прежде буквы начинали жаться тесней, как будто их уплотняло невидимое впереди препятствие, от них дышало горячкой. Ах, сумасшедший человек, чего же он там натворил?.. изволь толковать в такой тряске... Он уже чувствовал, что о Зое дальше не будет.)

— ...если б хоть неудача была истинной и что-то открыла. Мы потому никогда полноты не охватим, что жалеем себя. Если б тело не заботилось о самосохранении — каким свободным стал бы дух! Возможно, возможно, в этой недопустимости абсолютной свободы — великая мудрость мирового замысла. Возможно. Иначе жизнь пришла бы к великолепной самоуничтожи-

тельной вспышке, какое-то идеальное излучение озарило бы мир, но некому уже было бы им проникнуться.

— Вы плохо кончите! — Пьяный страдальческий взгляд маэстро теперь не отрывался от меня. — И дай бог, если один, если никто с вами не свяжет жизнь. Вы никому не принесете счастья, хоть это вы понимаете? И если у вас возникла такая мысль — бегите отсюда. Я преступный отец и Пигмалион, но если для вас что-то значит мое слово — бегите немедленно!..»

7

Он уехал один! — вдруг ярко вспыхнуло в мозгу Антона Лизавина. — Бред, сумасшедший бред... но он уехал один. Читать дальше не удавалось, почерк становился все дерганей, конец выскочил совсем на таблицу умножения, строки здесь разбирались с трудом. Буквы и мысли подскакивали в тряске. Антон пробовал возвратиться к пропущенному — но окончательно терял связь; в нетерпеливое сознание ничего уже больше не ложилось, тем более что автобус приближался к станции и Антон всем напряженным телом помогал ему двигаться быстрее. Перечту потом, — окончательно решил он и возвратил тетрадку во внутренний карман пальто. — Ах, велепый, несчастный клоун, натворил делов всего за два дня. Он, он! Если и я что припшел, так от его присутствия.

Местная электричка уже стояла на путях, обратный билет до города был в кармане — но кто подумает, что кандидат наук пошел напрямик туда, куда ему следовало идти, тот ошибется очередной раз, как ошибся бы на месте постороннего сам Антон. Зачем он направился не к электричке, а в здание вокзала? Какой отклонил его магнит? Он знал, он знал, можете не сомневаться, хотя отчетливой, словесной мысли еще не сложилось в его мозгу. Напротив, слова подсказывали совсем другое. Зачем тебе на станцию? — бубнил над ухом торопливый и, кажется, взволнованный голос. — Дурак, ну дурак! Ты хоть соображаешь, чего ищешь? Чувство чести, да? На дворянство потянуло? Романтики захотелось? Приключений?.. Да ты серьезней себя копни: ведь не хочешь. Ведь не хочешь ты ничего подобного. По совести. Кроме чести есть, между прочим, совесть, это не одно и то же. Честь бывает и у воров в законе. Для них карточный долг обязателен и смертью пахнет, а совесть отъедена. Кто тебе бросает вызов, что ты себя не слышишь?

А он шел нецелестремленным, как бы прогулочным шагом, не желая (или боясь) вступать в дискуссию, похлопывая себя по бедру тяжелыми банками в портфеле. А вернее сказать, ноги сами несли его, не спрашивая, по пристанционному асфальту, где в тени держались с ночи заледенелые плевки. Путь этот словно был уже отрететирован когда-то наяву, в воображении или во сне. Ветерок был взволнован бередящими душу запахами. Лизавин шел, как бы утаивая цель от самого себя: дескать, так, просто гуляю, — чтобы вдруг поставить себя перед свершившимся фактом. Открыл тяжелую дверь, через небольшой зал, мимо скамеек, где уже дожидались вечернего московского поезда, — не оглядываясь даже ни на кого. Что ты делаешь? — в последнем усилии старался голосок; он забрался куда-то в виски, смешался с шумом крови. — Во что ты спешишь ввязаться? какое взвалить на себя обязательство, тревогу, неизвестность? Чем это обернется? Зачем тебе искать женщину, которая убежала из дома — не к тебе, ведь ты прекрасно знаешь, что не к тебе, хоть мимоходом и себе можешь приписать случайную роль. Все, что должно было произойти, уже произошло в воображении, которого он сам начинал бояться; его ли это было свойство, золотого ли паркеровского пера? или дело было в человеке, с которым отношения не получались иначе как всерьез? С вдохновением ясновидящего Антон перешагивал через ноги, обходил торосы чемоданов и узлов, направляясь к кафельной печке в дальнем конце зала, зная, что она там, почти предугадав даже вид ее: в фетровых бурках местной работы, в пальтеце на рыбьем меху — и то синтетическом (единст-

венно теплым в этом пальто был, кажется, воротник цвета изморози, и она ухитрилась в нем спрятать пол-лица), с пальцами, красными даже в тепле, и со студенческим — нет, детским чемоданчиком, в который непонятно что могло вместиться, зато на нем удобно было сидеть, когда все места заняты... Ах, Антон Андреич, Антон Андреич! он мог ни о чем не спрашивать — да что бы она и ответила? но допустим: на дневной московский поезд не оказалось билетов, теперь она ждала второй. Да пусть и не московский. По тому, как она вскинула ресницы, увидев его перед собой, — без восклицания, без досады за помеху на пути, а, пожалуй, обрадованно — да, обрадованно, он понял, что женщина гораздо менее четко, чем он, представляет, что делать, — гораздо менее, чем можно бы судить по этой пленительной способности уйти из дому в чем есть, с символическим чемоданчиком в руке.

И потом, когда она уже ехала вместе с ним в городской электричке, он понял, что на нее произвела впечатление не столько его способность к пониманию, не нуждавшаяся в словах и объяснениях, сколько мужская его уверенность: он знал, что делать сейчас, сию минуту, он мог указать ей направление и кров, хотя бы временный. Настоящий, мгновенный испуг кольнул его уже потом, в вагоне, когда женщина-соседка попросила Зою подержать ребенка и та взяла одеяльный конвертик с такой трогательной неумелостью, без той словно бы врожденной женской сноровки, как будто она и в куклы никогда не играла. Испуг, нежность и жалость, каких он еще не знал в себе, пронзили его; что-то еще не испытанное входило в его жизнь, и сердце щемило, как у безбилетного пассажира, увидевшего в тамбуре контролера.

Поезд плыл среди весенних разливов. Земля была неустроенна и прекрасна. День заново праздновал очередной юбилей творения. Воздух неизвестно отчего ликовал. Столбы с перекладинами тянули руки, притворяясь, что хотят зацепить. Ветви пронеслись мимо окон, они были без листьев, но кожа их оживала, и стволы осин зеленели. Какое-то из окон в вагоне уже было открыто, горький угольный запах, свежесть воды и холода просачивались в настоящую духоту ковчега, объединявшего сейчас вот этих людей, которые дремали, читали, покачиваясь в общем ритме, играли в карты, положив чемодан на колени; общим было сердечное биение стыков, и поезд нес их всех куда-то за изгиб земли, в расступающееся пространство.

Глава третья

1

Вот бывает: как ни осмотрителен человек, но жизнь подстережет, подсунет непредвиденное — и не увильнешь, не уклонишься. То есть уклониться, допустим, можно, тут уж действительно вопрос чести. Но не так оно просто. Угодишь, скажем, на бедолагу, которому надо помочь, денег там дать или чего еще. Не застань он тебя в этот час дома, возьми несколько шагов в сторону, столкнись с другим, ты бы о нем и знать не знал, продолжал бы с чистой совестью деловое свое движение или заслуженный отдых. Но нет, навела судьба на тебя, и ты с покорным вздохом лезешь в карман — потому что тут именно судьба; это как угодить под трамвай или подхватить заразу из воздуха. Или, скажем, займешь в семье калеку, больного, убогого от рождения — ничего не поделаешь, станешь нести свой крест. Хотя человеку более волевому и твердокаменному такие примеры покажутся, может, не наглядными, а главное, разнородными. Подхватить нам самим болезнь или нет, заметит он, — мы не выбираем и только можем позаботиться о профилактике, относительно же других людей распорядиться вольно по-разному. Тоже не поспоришь, да и не надо; это так, к слову. В любом случае самый спокойный, незамутненный, отстоявшийся человек не всегда подозревает и не хочет подозревать, что у него на донышке, пока обстоятельства не схватят,

не встряхнут, не перемешают, словно предлагая осуществиться сполна и оправдать отнюдь не поверхностный замысел. Философы вообще утверждают, что с человеком случается в конце концов то, к чему он предрасположен. Это, говорят они, так же верно, как утверждение, что с человеком случается именно то, чего он боится. Ибо он боится как раз того, к чему предрасположен, и отсюда начинается судьба. Не ее ли дыхание раздувает порой затаившийся уголек тревоги перед будущим, перед темным простором, в который нас несет на закрученном волчке, на неуправляемом суденышке? — лучше не вникать в это, пока не припечет. И крикнуть бы «чур-чура», как в детских играх, когда последним усилием пробуешь ускользнуть от уже наступающего топота, объявив себя выключенным из игры. Но признают ли за тобой это право? Осалят.

На что рассчитывал Антон Андреич Лизавин, увозя со станции в город безответную и, заметим, не особо знакомую ему красавицу? Что вдохновляло его на такое несвойственное его характеру гусарство? Внятно бы он, пожалуй, вряд ли ответил. А что же его пресловутый внутренний голос? Он явно осекся от неожиданности, а может, и с досады, что не был принят во внимание. Да, диалог со здравым смыслом заглох, попросту был замят, так что можно сказать, Антон Андреич действовал вполне безрассудно. Однако не приходилось сомневаться, что скоро честный оппонент придет в себя и еще вставит не одно ехидное словцо.

На самое первое время у Антона были, конечно, конкретные планы, и Зою вез он, разумеется, не к себе, как кто-то, может быть, поспешно и легкомысленно уже вообразил. Не так это, знаете, просто. Нет, рассчитывал он для начала на тетю Веру, она в былые времена многим давала приют; а там будет видно. Старуха и впрямь приняла просьбу без удивления, Зою встретила как давнюю знакомую, которую по старческой слабости просто успела забыть. Спросила: «Ты чья?» — и, услышав от Антона фамилию, приподняла над очками брови, зашевелила губами, стала припоминать, высчитывать — и что-то ведь даже вспомнила. Этого было достаточно; лучшего слушателя для разговоров, которые она давно уже вела сама с собой, ей было не найти.

Но что же все-таки дальше? Антон Андреич подозревал, что о продолжении должен позаботиться сам. Нельзя сказать, чтоб он совсем не перебирал планы и вариантов, однако планы и варианты эти получались пока такие несолидные, с такими романтическими даже заскоками, с такими вольными намеками воображения, что передавать их как-то и неловко, тем более что они отвлекались от первостепенных реальных очевидностей. Ну, например: хоть на ближайшее время, а Зое как-то надо было есть, пить, готовить, а значит, выходить на общую кухню, наконец (не обессудьте за подробность), раздобыть и ключ от известного сарайчика. В любом случае ей предстояло столкнуться с соседками, которые, между прочим, до нее обихаживали и снабжали сидячую Веру Емельяновну. Ах, соседки! Про них кандидат наук меньше всего думал — и напрасно. Потому что, пока он успокаивался после бурных событий дня, лежа на застеленной кровати с никелированными шпешечками и наполняя воздух радужными пузырями своих планов, они-то о нем думали — именно о нем, и как думали! Если ему не икалось, то лишь из-за опасной беспечности его натуры.

Поймут ли наши потомки, что такое соседка, да еще в русской провинции? Это парламент, Скотленд-Ярд и прокуратура, это стихийное явление, это общественное мнение и общественная инстанция, где скрестились традиции российских кумушек с нравами коммунальных квартир. Непосредственно у Антона Андреевича, в короткой части буквы Г, по Кооперативной, соседок не было, но со стороны тети Веры, по Кампанелле, — сразу две, и обе уличные активистки. Одна — Елена Ростиславовна Каменецкая, уже знакомая

нам владелица Долли и бывшая актриса. Теперь это была одинокая пожилая дама, вся такая трепетная, с острыми слабыми плечиками, легкие косточки полны воздухом, как у птицы, лицо, издержанное на легковесные роли, совсем маленькое — не лицо, а личико, и улыбка — неуверенная обезьянка былого очарования. Все, что заполняло некогда ее жизнь, перемололось в муку, не оставив ни любви, ни привязанностей — кроме страсти к единственному близкому существу, Долли. Эта любовь и вдохновляла всю ее активность: со свирепостью, которой никто не мог ожидать от столь трепетного существа, она ограждала ближнюю территорию от бродячих собак, которые могли сделать с ее Долли что-нибудь нехорошее. Немного стесняясь открытой деятельности, она писала в разные инстанции анонимки с требованием уничтожить повсеместно и любыми средствами этих незаконных тварей. Когда в один прекрасный день она обнаружила, что, несмотря на неусыпный надзор, такса все же готова оцениться (как? с кем? когда она могла успеть? — и, между нами говоря, кто мог соблазниться такой уродиной?), Елена Ростиславовна пережила это как позор дочери. Она даже уехала на время из города, чтобы Долли разрешилась от бремени втайне. Тоня, которая про все собачьи дела знала, посмеиваясь, говорила Антону, что могла бы этой тайной шантажировать старуху. Да, уж Эльфрида Потаповна Титько много бы дала, чтобы о ней проведать.

Эта вторая соседка вызывала, как известно, у Антона Лизавина особые чувства своим мистическим сходством с Ларисой Васильевной Панковой. Такое сходство иногда инсценируют в кинофильмах, где одна и та же актриса при помощи специальной техники может играть сразу две роли и даже при необходимости встречаться сама с собой. Незначительные отклонения в costume или причесе только подчеркивают при этом эффект. Антон, признаюсь, именно мечтал свести как-нибудь обеих вместе, но такой техникой он не обладал, а случая не было. Тем более поражало Лизавина, что, никогда не встречаясь, они могли говорить одними словами на одни и те же сюжеты. Так, однажды на улице Эльфрида Потаповна указала Лизавину удаляющуюся приятельницу, с которой только что нежно ворковала на тротуаре: «Видали стерву? Думаете, откуда у ней все зубы золотые? Она бухгалтершей на рынке работает». А через час он оказался с этой бухгалтершей в нечаяском автобусе, и усевшаяся рядом Панкова, попутно с ней облобызавшись, вскоре повторила и развила тему о рынке, о золотых зубах и о многом чем еще. Эльфрида Потаповна не менее своей нечаяской двойняшки любила делиться с кандидатом наук жизненными наблюдениями, а иногда пыталась и привлечь его к активной деятельности. «Нет ли у вас, Антон Андреич, магнитофона? Я хочу артистку записать, как они со своей псиной на меня лаются. А то как заявлю в милицию, она отказывается. Только надо, чтоб незаметно. Есть такие магнитофоны, чтоб метров на десять записывали? Я б пятерки не пожалела, честное слово». Титько была из тех, кто больше всего на свете озабочен и сохранением закона и справедливости, и умела распознавать такие хитроумные лазейки, о которых бы никто не догадался. Со смаком рассказывала, например, она о молодой парочке, получившей жилплощадь на троих, так как жена успела обзавестись справочкой, что беременна на четвертом месяце. А едва ордер подхватили да въехали, тут она и скинула, теперь живут вдвоем на незаконных двадцати семи метрах, и поди прицепись. Такие ловкачи, умевшие устроиться, по-своему восхищали Титько, она отдавала им должное, но их торжество ранило ее, и, несмотря на цветущий вид, она чувствовала себя больной (как, впрочем, и Лариса Васильевна).

Все это Антон Лизавин знал, но в простоте своей даже не подозревал, какой переполох и тревогу вызовет у соседок легкомысленным своим поступком, в какое угодит им чувствительное место. Дело в том, что и Каменецкая и Титько имели виды, и виды не столь отдаленные, на жилплощадь старухи,

с которой их связывал общий коридор, а также разнообразные отношения. Каменецкая — та была давней-давней воспитанницей тети Веры, то есть почти что родственницей, и, собственно, жила в одной из ее бывших комнат, через перегородку с заделанной дверью. Дверь можно было и пробить заново. Даже нужно было ее пробить, поскольку именно Елена Ростиславовна больше всего обихаживала тетю Веру, готовила ей, ходила за продуктами. Не допустили трогать стену супруги Титько. Они, как ни странно, не были тети Вериными воспитанниками, но жили от нее через другую стенку и при своей роли в общественной жизни улицы прав на эту комнату имели не меньше. Излишне даже объяснять почему. Что же получалось теперь? Ход мысли Эльфриды Потаповны был, как всегда, пронизателен и неожидан. То есть неожиданным он мог показаться лишь тем, кто не ценил ее пронизательности. Кандидат наук, этот улыбчивый тихоня, который сам давно выдавал себя за дальнего родственника тети Веры, но виду о своих планах не подавал, теперь подсовывал в чужое гнездо кукушонка — не с прицелом ли вытеснить природных хозяев? С помощью неизвестно откуда вытащенной им девицы он примеривался проникнуть на улицу Кампанеллы не обещанным честным путем, а, что называется, с черного хода. Соседки не могли не предпринять мер — они обречены были заняться этим, отложив междоусобные распри.

Вот этой-то пронизательности кандидат наук не мог угадать. Утром по пути на работу он невольно вздрогнул, увидев необычную картину: Эльфрида Потаповна и Елена Ростиславовна стояли на углу, взявшись под ручку. До сих пор он видел их в такой дружеской позе лишь однажды, в сильный гололед. На носу Эльфриды Потаповны впервые были очки без оправы, неприятно знакомые Антону Андреевичу, и сквозь эти очки она проводила его долгим, ничего хорошего не предвещавшим взглядом.

А уж чего он подавно не ожидал — что события развернутся так скоропалительно. По пути в институт он еще редактировал варианты объяснений своего вчерашнего прогула — а между тем оправдываться уже было излишне: на кафедре знали все и даже сверх того. Доброжелательная Клара Ступак по секрету показала ему два пришедших только что письма. Одно было городское, другое из Нечайска, и оба написаны совершенно одинаковым безликим почерком, каким пишутся анонимки. К обоим прилагались вырезки пресловутого московского фельетона, а речь в обоих шла об Антоне Лизавине, причем в выражениях весьма близких. В нечайском говорилось о недопустимо безыдейном направлении литературных занятий, на которые их руководитель, кандидат наук, приходит к тому же с явными признаками опьянения, и упоминалась возмутительная борода. В городском насчет бороды тоже было помянуто и намек на любовь к выпивке имелся, но главный упор был на аморальном поведении кандидата наук, каковое выразилось в подселении по соседству молоденькой девицы при неженатом состоянии и без прописки.

— Ну и язычок, — не без труда вник в суть Лизавин. Труднее всего было понять мистическую быстроту событий, не объяснимую даже реактивными скоростями века.

— Антон Андреич, — скорбно попросила Клара, — вы только реагируйте не так. А то на кафедре философии тоже, знаете, был аспирант, чуть что — возмущался, шумел. А потом оказалось: сумасшедший. Вас должны в мае утверждать на доцента. Надо продуманней...

О господи!.. доцентство, жилплощадь, фельетон, отец... вокруг него развевается небось свое дело. Все это было так вздорно, прозрачно, нереально — казалось, невозможно заниматься этим всерьез. О чем хлопотать? что опровергать? — выждать время, и морок сам по себе рассеется, рассосется. До сих пор ему вообще не приходилось хлопотать о чем-либо по-настоящему всерьез. Сам он не лез в анекдотические столкновения с жизнью, и бог миловал, а юмор и уклончивость позволяли их избегать. Обычно все шло и устраивалось само собой, немногие испытания вроде экзаменов, защиты дис-

сертации были тоже скорей водоворотцами, порожистыми местами в неизбежном потоке, требовавшими лишь напряжения в основном привычных усилий. Пожалуй, со школьных лет в нем задержалось незрелое ощущение, что старшие, если надо, за него разберутся. Но теперь эти старшие смотрели на него слезящимися, в кровавых прожилках глазами, смотрели беспомощно и с надеждой — он был опорой, и надо было шевелиться самому.

2

Обещая отцу кое с кем переговорить, Лизавин имел в виду прежде всего Тоню. При своей практичности и разветвленных знакомствах она первая подсказала бы нужный ход. С ней надо было вообще поговорить и объясниться — о Зое не в последнюю очередь; Тоня уже наверняка знала о ней не от него — и можно себе представить, в каком изложении! Сразу после работы, получив зарплату и умело разминувшись с начальством, Антон направился к ней. Но у самой девятиэтажки, под новеньким плакатом, который призывал граждан улицы Кампанеллы в ближайшие тридцать дней не попадать под машины и тем способствовать успешному ходу месячника по безопасности движения, его окликнул Титько. Он подкатил к нему мелкими плавными шажками и, как корабль, толкнулся об Антонов живот маленьким круглым пузом.

— Представителям научной и творческой интеллигенции... приветствую, приветствую! Чрезвычайно кстати! Давненько мы не беседовали — как вы считаете?.. по взаимно интересующим проблемам...

Здесь надо заметить, что Антон Андреевич с Титько не беседовал до сих пор никогда ни по каким проблемам. Разве что, помнится, случайно как-то они очутились в общей группе, где рассказывался математический анекдот, причем Титько почему-то ужасно смеялся над словом «многочлен» и долго мотал головой, отирая платком слезы и грозя рассказчику пальцем. Однако намеки вполне прозрачны, а Лизавин в своей нынешней уязвимости и растерянности считал себя не вправе упустить даже шанс, заключающийся в словах «кто его знает? а вдруг?», и как-то уж вышло так, что они легким незаинтересованным шагом направились прямехонько к ресторану «Европа». Очень было действительно кстати, что сегодня день полочки. Титько одними пальчиками снизу поддерживал Антона за локоток, напоминая ему повороты, и журчал на какие-то необязательные темы. Подобно своей супруге, а также Ларисе Васильевне Панковой он мог вести диалог за двоих:

— А отчего у вас вид такой усталый? Неправильно отдыхаете, да? Я тоже всегда считаю, что отпуск нельзя проводить в городе. Ни в коем случае. И досуг надо распределять, не все же дела, верно я говорю?.. посидеть иногда за беседой. У иностранцев, между прочим, провести отдых в ресторане — обычное дело. А мы не привыкли.

На нем был костюм из букле; фактура и цвет его почему-то вызывали у Антона неприличные сравнения; а впрочем — это был цвет баклажанной икры. Было видно, как этот костюм любит стоять у зеркала, поворачиваться так и сяк. Титько истолковал взгляд Лизавина по-своему, стал объяснять, почему имеет больше смысла покупать дешевые костюмы, которые носят сезон-другой, а потом все равно выходят из моды.

— Вот видал у меня черный костюм? — незаметно перешел он на «ты», — хороший, я за него сто шестьдесят рублей отдал. Ну, не хороший, а неплохой. А теперь носить нельзя, борта вот такие. Отдать в переделку — еще тридцатка. Поэтому я лучше куплю вот такой, за восемьдесят. У меня кроме этого еще пять костюмов: значит, этот черный, с такими бортами, потом серый... нет, шесть...

— Англичане говорят: мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи, — предупредил его очередную фразу Лизавин, и действительно, английская сентенция не замедлила последовать. Кандидат наук уже начинал предчувствовать бесполезный, унижительный сценарий этого застольного си-

дения — разумеется, за его счет, и злился на свою слабость. Титько между тем, расположившись, с живым интересом изучал карточку.

— Выпить, конечно, возьмем? Мы не у себя на улице, здесь можно. Так... что я тут не пробовал? Коньяк, «Салхино»... это все не то. А вот тут неразборчиво: «Са-бан-тель», так, что ли? Что это такое? Египетское или, может, французское? Надо спросить официантку, пусть только принесет не в графинчике, а бутылкой, мне этикеточка интересна. Должен тебе сказать, я стараюсь никогда не брать одно и то же. Каждый день должен приносить что-то новое. Жизнь должна быть богата — да!.. чтоб перед смертью нашлось что вспомнить.

Титько откинулся на спинку стула.

— Вот так станешь перебирать: чего я только в жизни не перепробовал, чего не видел, где не бывал. В Европе бывал, в Азии бывал, — начал из загибать короткие толстые пальцы. — Итого уже на двух континентах из шести. В странах народной демократии бывал. Моря видел: Черное, Балтийское, Каспийское... да! — Тихий океан... ну-ка посмотрим, что за бутылочка? Ты по-иностранному читаешь? Это чье изделие? Египет, я угадал? Как бы тут отцепить этикеточку... Ну, закуску пока еще принесут, давай на пробу. За мирное сосуществование и взаимный интерес... Да. Ничего. На травках каких-то горьких. Грузинскую кухню ел, молдавскую ел, чешскую ел. Даже трепангов китайских в ресторане пробовал. Гадость, между нами сказать, но для полноты жизни — да. Устриц тоже едал.

Крепкая африканская настойка, сверх ожидания, быстро отозвалась в Антоне.

— И вот что при этом удивительно, — не удержался он.

— Что? — прервал перечень Титько, принимая от официантки салат.

— Что удивительно... — пробормотал, теряя решимость, кандидат наук; интеллигентность мешала ему договорить и впрямь достойную размышления мысль: что дерьмо в результате все равно получается одного цвета. Но, возможно, что-то невольно и выговорилось, потому что Титько вдруг вернулся на «вы»:

— Я вас не совсем расслышал?

— Нет... я ничего, — окончательно стушевался кандидат наук. Его собеседник сосредоточенно принялся дегустировать салат.

— Я вот что, между прочим, хочу вам сказать, — прервал он наконец разбухающее молчание. — Высокомерия в вас много. Образование, то, другое — все это, конечно... сами не безграмотные. Но другие, между прочим, ничуть вас не хуже. И не глупее. Потому что есть жизненные университеты. Это вам не литература. Жизнь, я говорю, — не литература.

— Да о чем, собственно, речь? — пожал плечами Лизавин.

— Не понимаете? — саркастически усмехнулся отставной капитан. — Ну что ты смотришь на меня своими невинными голубыми глазами? — опять сбился он на более проникновенное «ты», но в этом «ты» был уже новый, грозовой, оттенок, заставивший Антона Андреевича отвести взгляд, хотя глаза у него были не так уж чтоб ярко-голубые. — Не надо из себя ставить... не надо. Что ты кандидат наук, так это — тьфу! Ты еще жизни не видел. Не видел, понимаешь? Что ты знаешь? Бывал в местах, куда Макар телят не гонял? Тружеников великих строек видел? Тебя еще петух жареный не клевал. То-то!

Еще несколько значительных мгновений он молча смотрел на кандидата наук маленькими зрачками, и человек более опытный, чем Лизавин, заглянув сейчас в эти зрачки, заподозрил бы, что уж Титько в упомянутых местах бывал и еще неизвестно, в каком качестве... Что ж все это такое, — думал Антон. — Чем я вдруг стал задевать людей, мимо которых раньше проходил как намыленный? Точно от меня исходит теперь зараза беспокойства. Подхватил! и я, и отец, и Зоя?.. Почему во мне самом нет прежней непритязательности взгляда? Разве дело в том, чтобы презирать или ненавидеть этого

пожилого студента с розовыми губами и крашеной сединой, столь недостойного своих лет! он перед смертью готовится итожить не то, что постиг в жизни, а то, что в ней перепробовал, — не подозревая, в какое отчаяние способна привести мысль, что неиспробованного осталось неизмеримо больше. Что поделаешь, раз он таким уродился, раз у него судьба сложилась иначе, не получил он такого образования, не прочел тех книг, что я. Э, при чем тут судьба, книги и образование, — опроверг он сам себя. Не в них дело. А дело в том, что я готов терпеть его больше, чем он меня, бог с ним. Разве только поморщусь иногда. А он меня при возможности и при надобности с кашей съест. Да и без каши не станет привередничать. Я ему чем-то больше мешаю. Чем? Он говорит со мной, как будто я неосторожно оказался у него в руках. Раз человек допустил, чтобы с ним произошла неприятность, и не нашел ни влияния, ни способностей предотвратить их, он заслуживает всего, что только может за этим последовать. И самое смешное, что я за выпивку расплачусь, он в этом не сомневается. Хотя о чем все эти намеки? что, если вспомнить, произошло? Именно: жареный петух клюнул. В выражении этом была вся нелепость происшедшего — что может быть нелепее человека, которого клюнул жареный петух?

Дотянуть трапезу до конца было делом тягостным, Антону кусок в горло не лез, да и пить не тянуло. Титько, впрочем, великолепно справился сам и с салатом, и с твердыми шницелями, и с остатками экзотической настойки. Это под конец вернуло ему благодушное настроение. Когда официантка принесла счет, он даже похлопал себя по карманам, вспоминая, в каком из них его деньги, но, разумеется, успокоенный на сей счет кандидатом наук, прожурчал на прощание:

— Я, поймите меня, хочу по-хорошему. На основе взаимности и со-су... — трудное слово на этот раз оказалось ему непосильным, и он лишь сытно, умиротворенно икнул.

Еще не поздно было заглянуть к Тоне, но Лизавин решил, что сегодня, видимо, не судьба, — хотя сознавал, что каждый день отсрочки добавляет сложностей. Он собирался еще занести продуктов тете Вере и Зое. Магазины уже были закрыты, он взял кое-что из домашних припасов да три банки маминных гостинцев: грушевый компот, малиновое варенье и соленые огурцы. Оказалось это очень кстати, ибо Каменецкая в тот день, как выяснилось, не заглянула и старуха с гостьей обходились случайными остатками. Зоя весь день почти и не сходила с кушетки, где ей было постелено, — пояснила тетя Вера Антону — шепотом, потому что Зоя уже спала. Она прикорнула не раздевшись, ноги были укрыты легоньким одеялом. Антон понимал это состояние, это желание сжаться в комок, уткнуться, как зверек, в собственное брюхо и не шевелиться, чтоб не потревожить неподвижного тепла, чтоб его тонкий слой у тела не перемешался с другим и в нечаянную щель не ворвалось холодное дуновение. Хотя ему не приходилось убегать из дома, он знал эту потребность в спячке, чтобы переболеть, чтоб как-то пропустить время и предоставить ему самому что-то решить. Реакция свернувшейся улитки, — вспомнил он, — спрятаться в своем домике от болевых прикосновений... Антон впервые видел ее спящей. В спящем человеке всегда проступает что-то детское, беззащитное. На припухших приоткрытых губах запеклись белые корочки, в уголке натекла слюнка, спутанные легкие волосы затеняли щеки, лицо было расслабленно и спокойно, дыхание беззвучно. Подглядеть бы всех спящими: дети, верно, дети, права тетя Вера, несчастные, сбитые с толку дети. Чего только не сделают друг с другом и с самими собой — не из злости, а черт знает из чего. Антону захотелось дотронуться до ее руки, выпроставшейся из-под одеяла, вновь ощутить знакомое сухое тепло. Но он застеснялся старухи. Нежность наполнила его, как будто он уловил наконец слабость спящей, и от этого она стала ему ближе, понятней — как тогда, в вагоне, когда неумело

брала на руки чужого ребенка. И никакой загадки не было — потерянная девочка без папки и мамки, трогательная до кончиков смеженных ресниц.

— Ну, ты — молодец, — значительным шепотом, чтобы не разбудить женщину, говорила ему тетя Вера. — Я-то думала... а ты! ишь какую выискал. Умница такая! Воспитанная!..

Что она имеет в виду? — удивился Антон. Как легко показаться умной! Можно было подумать, что старуха не заметила за весь день ни молчанья своей гостью, ни каких других странностей. Неужели так сама с собой и пробормотала? Или что-то слышала в ответ? — мелькнула странная мысль.— Может, она говорит, только не со всеми? Бывает так...

Вернувшись к себе, он для чего-то извлек тетрадь с золотым тиснением, раскрыл ее на странице, вверху которой обрывался конец перенесенной фразы: «...и апрель то хмурился на солнце, то запахивался на холодном ветру». Над этими строками по совпадению значилась иностранная календарная надпись: «апрель», и это непрошеное приглашение к дневнику весьма не понравилось Лизавину. Чтобы сбить с панталыку самовольное повествование, он пустил на трюк и передоверил свое золотое перо собственному герою, сделал его сочинителем некоего придуманного сюжета. Имя он ему оставил, но внешность, которой до сих пор не описывал, загримировал дай боже: бороду сбрил, оставил зато усы и даже об очках постарался. Этот вымышленный Антон Лизавин мог теперь вполне беззаботно описывать дареным пером чудака, вообразившего себя влюбленным. Забавней всего автору было, что догадался он о своей влюбленности не сам, а по подсказке, да, можно сказать, и влюбился по подсказке, что, впрочем, в литературе, как и в жизни, случалось не впервые. Антон Лизавин (но не наш Антон Лизавин, а тот, другой, без бороды и в очках) даже напомнил своему смущенному герою классические примеры. Иногда, заметил он, надобно слово поэта, чтобы понять себя самого... Трюк удался на славу, но Лизавин (теперь уже наш) быстро устал. Он лег спать и заснул мгновенно.

И во сне он ничуть не удивился, когда в комнату его не постучавшись вошла Зоя. Он точно, засыпая, уже этого ждал. И совсем даже не удивился, когда она с ним заговорила. Я, сказал, давно догадался. И голос узнал — тот самый. Он ей рассказывал о хитром и забавном своем сюжете; она улыбалась, и говорить ей все равно было необязательно. Говорить — это было его дело...

Он проснулся с сумятицей в душе, с каким-то даже протестом. Ни вставать не захотелось, ни возвращаться в сон. Удобная постель сжилась с телом, вся его воля перешла в нее. Захочет, чтоб я лежал так, — буду лежать, захочет, чтоб встал... Нет, этого она не захочет. Глупости, сказал он сам себе, надо все-таки просыпаться. Просыпаться, вставать, приступать к действию. Это неизбежно даже для человека с самой ватной волей. Сколько ни медли, ни оттягивай, ни залеживайся, есть вещи неизбежные. И медлить-то нельзя, что-то может вдруг произойти, уже происходит. А не успеешь, она исчезнет и отсюда, из этого дома...

Интересно, что ты имеешь в виду? — очнулся вдруг после долгой летаргии голос внутренней честности. — И что все эти мысли значат? Исчезнет так исчезнет; решится само собой. А вот к Тоне действительно поспеши — потому что жареный петух уже клюнул. Клюнул, говорю, жареный петух.

3

Перед работой Антон успел наскоро забежать в магазин и даже кое-чего приготовить на обед тете Вере и Зое. Зоя прибиралась в комнате, она улыбнулась вошедшему Антону, а он заспешил уходить, точно в самом деле хотел лишь удостовериться, все ли на месте. Взбредет тоже в голову! Все нормально, она приходит в себя. Образуется как-нибудь. Он обещал после занятий за-

глянуть и заняться хозяйством поосновательней. Из кухни его проводили взглядом соседки, и беспокойство тотчас ожило.

По удачному совпадению ему и на этот раз удалось не встретиться с начальством — неприятности откладывались. Но небольшое событие все же произошло — потерялась среди бела дня его замечательная авторучка. На кандидата наук эта пропажа произвела впечатление суеверное, почему-то проще стало на душе. Он сам удивился. После занятий он собирался еще быстренько зайти в баню, где как раз был мужской день, — но там задержался сверх ожидания долго, потому что вдруг встретил знакомого — журналиста Семена Осиповича Волчека.

Давно, когда Антон был еще школьником, Волчек работал литсотрудником в «Нечайских зорях». Это был журналист класса отнюдь не районного, он занимал прежде в Москве довольно видные должности. Подразумевалось, что он сильно погорел, на чем — боялись даже спрашивать. Однажды в приступе случайной откровенности Волчек поведал Антону, что с ним-то как раз ничего не было. Просто однажды выдался (так он выразился) год, когда неприятности особенно густо стали косить его коллег, одного за другим; было явное чувство, что очередь подбирается к нему. Жена в ту пору от него ушла, он остался один — и вдруг сорвался с места, как муха, которая не заботится о том, чтобы дочистить лапки, если даже в отдалении мелькнула тень угрозы. Достаточно оказалось намека на вакансию в дальней районной газете. Тень тенью, а в Нечайске он застрял на дольше, чем сам когда-либо думал. Это был человек преувеличенной осторожности — даже в пору, когда крутые времена, казалось, минули. Возвращаясь из любых поездок, он долго хранил, например, билеты и прочие доказательства своего пребывания в чужих краях — на всякий случай, для алиби: вдруг в его отсутствие что-нибудь случится и на него подумают. Как ни смешно, неприятности на него обрушились именно за публикацию, пропущенную во время его отпуска. Какой-то столичный журналист одно время снабжал «Нечайские зори» заметками для рубрики «Знаете ли вы?»; была там, например, история, объяснявшая происхождение пословицы «С волками жить — по-волчьи выть» — про мальчика, который не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом веке попал в стаю к волкам и не только научился выть по-волчьи, но даже оброс волчьей шерстью. Есть халтурщики, которые для заработка регулярно рассылают такие опусы сразу в несколько захолустных газет; там все проглатывалось. Однако тут спустя срок сам журнал «Крокодил» в лице знаменитого Глеба Скворцова специально откопал сей факт, чтобы высмеять доверчивых провинциалов. Вот в этот-то момент Волчек случился, увы, на месте, и, поскольку на критику в центральной прессе полагалось ответить принятыми мерами; жребий, то бишь выговор, пал на него — билеты, подтверждавшие алиби, не помогли, да он и оправдывался с опаской. В вечер после выговора на дому у Семена Осиповича погас свет, он кинулся к телефону: а воду тоже будут отключать? Однако нет худа без добра. Несправедливость сдвинула его наконец с места, заставила покинуть Нечайск и райгазету, он прекрасно устроился в газете областной, а мог бы, глядишь, и в Москву вернуться, но сам теперь боялся чрезмерных нагрузок на сердце. Он много чего боялся, перечисление заняло бы страницу, и не одну. Так, не было ничего проще, нежели отменить встречу с ним, — достаточно было чихнуть или кашлянуть по телефону; он отстранял трубку, точно зараза могла передаваться по проводам, и сам находил предлог. При этом был умница, тихий, затаившийся наблюдатель, все про всех знал; люди, которым он изредка открывался, говорили о нем уважительно: при таком росте — такая голова! Фамилия с уменьшительным суффиксом на редкость соответствовала его внешности; это был очень маленький человек с лицом мальчика, который постарел, не успев возмужать (морщины, плешь, мешки под глазами, а губы пухлые, детские), и сколько его знал Лизавин, он все уменьшался в росте.

Услышав среди банного гула и грохота шаек, что его окликают по имени, Антон долго оглядывался, выискивая кричащего, и даже вздрогнул, увидев его прямо перед собой. Он не представлял, что можно уменьшиться до такой степени. Волчек сидел в большом банном тазу, как ребенок, с ногами. Даже при его миниатюрности непонятно было, как он ухитрился их поджать. Казалось, ног у него вообще нет — таз заменял нижнюю часть туловища, и хотелось заглянуть под скамью, чтобы, как у ловкого фокусника-иллюзиониста, обнаружить недостающее.

— Антон, боже мой! Вы совсем взрослый мужчина, — приветливо улыбался из таза маленький журналист. — Только здесь, в бане, видишь: совсем взрослый мужчина. Я привык смотреть на вас как на мальчика. — Он бесцеремонно разглядывал наготу Лизавина. — Таких натурщиков любили рисовать передвижники: борода, белый живот. Еще бы нательный крест... Да вы устраивайтесь рядом, вон как раз шайка освободилась, хватайте, пока не взяли... Чем вы так озадачены? А, моей позой? Система йогов, дорогой мой друг, удивительно повышает тонус. За последние пять лет — ни одной простуды...

Про фельетонную историю он, разумеется, знал, поинтересовался, как чувствует себя Андрей Поликарпыч. И пока Антон устраивал себе место, оппаривал деревянную склизкую скамью, добывал овальную шайку для ног, Волчек объяснил ему, что при всей анекдотичности дела свернуть его не так просто — он испытал на опыте. Комизм таких пустяков как раз и состоит в том, что проще дать прокрутиться всему кругу и создать хотя бы видимость мер, чтобы потом свести все на нет. Но добро, если за это возьмется умный человек; а то ведь, пока суд да дело, нервов и здоровья не вернуть.

— Вы считаете, надо и вправду что-то предпринять?

— Пока не поздно, и на самом серьезном уровне. Вы с Петром Гаврилычем не говорили?

— А кто такой Петр Гаврилыч? — не понял Лизавин, хотя имя показалось ему знакомым. Волчек засмеялся, и Антон тут же устыдился своего вопроса: Петр Гаврилович был отец Тонш. Имя его почти не звучало в квартире, и, как уже упоминалось, Антон даже не знал толком, кем он работает, хотя догадывался, что на должностях влиятельных. А маленький сморщенный журналист, выходит, знал и про Тоню. Невинность кандидата наук очень развеселила Семена Осиповича; колыхание его животика устроило в тазу небольшую бурю.

— Занятно, ха-ха-ха... занятно. Однако есть в вашем неведении свой смысл. Должность Петра Гаврилыча действительно можно не знать. Достаточно того, что он Петр Гаврилыч. Назовем его референтом — что это добавит? Какую бы должность он ни занимал, она будет лишь приложением к его имени-отчеству. Ибо Петр Гаврилович, любезный юноша, прежде всего лучший в городе преферансист. А может, и не только в городе. Это чудо искусства. Вы не играете в преферанс? Тогда не знаю, как бы вам это объяснить. У него феноменальная способность приводить игру к нужному результату. Не выигрывать, это слишком просто, таких умельцев много. Нет, при желании он может не выигрывать, не проигрывать, оставаться, как говорят, при своих, но направлять игру так, что выигрывают и проигрывают именно те, кому надо. Причем тоже в меру, без трагедий и драм. Но если понадобится, и трагедию организует, и, если угодно, сенсацию. И сюжетец будет увлекательный. Там от себя отдаст картишку, помешает чужой взятке, все сбалансирует... нет, и себя, естественно, не обидит. При самом случайном раскладе, без передергивания — я уверен, что без передергивания, — ему можно заказывать результат. Фантастика, преферансист бы оценил. Но я вас хочу подвести к более общему пониманию. Что означает, в принципе, такая способность помимо того, что он незаменимый человек в компании? нужный, полезный человек? Что представляет собой такого рода искусство как модель?

Политику, любезный мой юноша, то есть умение ввести в общеудобное русло разнообразные и противоречивые устремления.

— Общеудобное? Но от кого-то он и берет, — заметил Антон Андреевич, как раз в этот момент густо намыливший голову. Мыло попадало ему на губы, и он говорил отплевываясь. Голос маленького журналиста доносился не сбоку, а прямо откуда-то из-под гулких банных сводов.

— А как же! — обрадовался реплике Волчек; сидение в тазу по системе йогов и впрямь на глазах подогревало его тонус, как в градуснике. — Кто-то должен и проиграть. Так устроена жизнь, увы. Но и проиграть можно заслуженно, по чину, по мерке: на другом наворачиваешь. Тут переливчатое равновесие. Я знаю, молодые горазды судить о тех, кто вершит делами. И то они устраивают не так, и в этом далеки от идеального принципа. Я сам могу на эту тему наговорить... кто не может? Но видите ли, в чем весь гвоздь. Если бы вы, Антон Андреевич Лизавин, кандидат всевозможных наук и прочая, и прочая, со своим складом, умом, со своими вкусами, получили власть устроить жизнь по самым вашим благим намерениям — к чему бы это свелось? Вы бы сделали жизнь удобной для таких, как вы, — то есть достаточно способных, умных, здоровых, добродушных, непритязательных. Вы завистливы? — если нет, уверяю вас, вы не самый массовый случай. И то опять же потому, что вы пока молоды, здоровы, умны, у вас ладится карьера и, надеюсь, личная жизнь. В любви у вас есть соперник? Если нет, то вы блаженны, как говорится. Но позвольте вас удивить и, может, ошеломить: не все же такие. Уверяю вас, не все. Не все просто равны от природы, вот с чего начинаются проблемы. Когда пооботрешься за долгую жизнь, понаблюдаешь, до чего все несхоже устроены, как рвутся кто куда... о!.. начинаешь ценить сложность и искусство таких вот балансиров...

Антон получил наконец возможность открыть глаза. Маленькое сморщенное личико улыбнулось ему.

— Спину вам потереть? — предложил Волчек. — Вы не стесняйтесь, мне приятно с вами поговорить. Здесь, в бане, поневоле на эту тему наблюдаешь, сопоставляешь, думаешь. И сам, как говорится, открыт. Вы пользуйтесь случаем, вникайте. В одежке я, глядишь, по-другому обернусь. Не обессудьте за небольшую лекцию. Она, кстати, имеет прямое отношение к анекдоту с вашим отцом и поискам выхода. Хотя я ставлю вопрос гораздо шире. Мы с вами воспитаны отчасти на добродушных теориях просветителей разных веков: разденьте короля и крестьянина — и вы их не различите. Не знаю, видели когда-нибудь эти люди лолого короля и крестьянина? Такие разговоры напоминают мне детский вопрос: а как же без одежды узнают, кто мальчик, кто девочка? Как раз в одежке-то сейчас, в наше время, людей не различишь. И президент и бродяга в одних джинсах ходят. Все — равноправные граждане и, безусловно, должны быть таковыми. Юридически, по закону. Как женщина по закону должна быть равна с мужчиной. Но фактически, по природе? Равенство — это равноправие, но не равноценность. Вот оглянитесь, здесь это, как говорится, обнажено. По голому только и можно судить. Вот хоть этот удалец напротив — вон который окатывается сейчас из шайки: без одежды и паспорта узнаете о нем все, вплоть до имени, возраста, биографии, склонностей и художественных вкусов...

Малый был действительно колоритен благодаря подробной татуировке. На правой кисти в лучах восходящего солнца сияла цифра 1940, под ней имя Лева, на левой — крест с датой 1952 и надписью: «Спи отец». На каждом пальце обозначены были перстни и кольца. Левая нога позволяла прочесть девиз: «Все равно убегу», правая жаловалась за двоих: «Они устали». На плечах изображены были погоны с тремя полковничьими звездами, а во всю спину простирался собор Василия Блаженного, наколотый недурным художником, не имевшим, правда, подходящих красок, — вся монументальная фре-

ска исполнена была какой-то линиялой дрянью. Даже на срамном месте читалось что-то неразборчивое — но это уж можно представить что. Живопись довершал длинный шрам на боку, от ребер вниз, весьма похожий на след скользнувшего ножа.

— Ну, этот даже слишком на ладони, — удовлетворенно подытожил Волчек. — Наводит на жутковатую мысль учредить вместо паспорта и характеристик татуировку. На всю жизнь — не увильнешь, не подделаешь... Но возьмите любого. Вот этот красавец, так превосходно снаряженный, и этот, полукастрированный самой природой. В одежке-то он, поди, представительней, и ему тоже многого хоцца, — журналист подчеркнуто произнес «хоцца», — и очень даже хоцца, уверяю вас. Разве он виноват, что таким родился? — желанья-то у него не обкорнаны вместе с природой. Один способен полчаса вылезать на верхней полке, другой не выдержит и минуты. Или вон, смотрите, подходит к крану без очереди, и его пускают. Незвонко почему, но пускают.. Потому что Петр Гаврилыч — он и здесь Петр Гаврилыч. Хоть вроде и не сильнее других и здесь никто не знает, что он начальство. А что-то в нем есть. А вот в этом нет, он почему-то десять минут ищет свободную шайку и не может найти. Так и вымоется в шаечке для ног, недотепа. А если ты тем более горбат? шестипал? если ты чернокожий, обрезанный, дворянин, гений о семи пядях во лбу? Есть же, наконец, разница, родился человек красавцем или нет, с голосом или безголосым. Даже разница, родился ли он в Москве или в вашем благословенном Нечайске. Судьба начинается отсюда.

И этот возвращает мне те же мысли, — в который раз за последние дни удивлялся Антон Лизавин. — Все на разные голоса толкуют одно. И Милашевич, и Гегель, и потомок Николая II, и призрачный актер за угловым столиком. Люди разные, и всяк устраивается, как может, всякая судьба имеет свои основания, всякий анекдот разумен для наблюдателя, знающего, откуда и почему элита. Как эхо из разных углов мне же в ответ. Но какой холодноватый, отчужденный у всех звук! Что с ними произошло по пути?.. Голос маленького журналиста обрел напор, он возвышался в своем тазу под гулками банными сводами, как на постаменте, под его взором расстился пейзаж с мыльными отработанными реками и ручьями, с голыми скамьями и голыми людьми в голом отчетливом пространстве. Все здесь было откровенно, очевидно и грохот полезного труда вздымался к запаренным небесам.

— А между тем, — продолжал с высоты своего вдохновения лилипут, — безголосому, горбатому, бесталанному, некрасивой женщине и уроду счастья хоцца не меньше, чем одаренному Богом. Даже больше — чтоб взять реванш. Почему он должен мириться с тем, что у него, видите ли, нет голоса? Зато у него есть, может, другое: жадность к жизни, цепкая воля, эластичная совесть. Он вашего певца наловчится держать вот так. И как сказать, что он не прав? Если природа или судьба не позаботились о соответствии его страстей и возможностей. Ведь способность бескорыстно, без зависти и оговорок восхищаться чужим умом и талантом — тоже талант, и не такой уж частый. Вы это недоверие и зависть к выдающемуся готовы презирать; вам кажется, что вы не из таких. Вы станете объяснять, что алмаз или тем более бриллиант потому и ценятся, что они редки, реже простого камня, — как редкий голос или ум, да еще оговоренный, отшлифованный трудом. Но вы будете проповедовать это, зная за собой некоторый ум и талант. Пока вы спокойны и не знаете нужды. А хватит у вас смирения признать себя самого простым камнем? признать, что Бог обделил вас — не умом, на ум, как известно, редко кто жалует, — но чем угодно другим? Согласиться с тем, что вы обделены красотой, силой, удачными родителями? Откуда у вас возьмется при этом ум и благородство, чтобы, признав это, не потребовать компенсации? Для этого нужно особое сочетание свойств. Такие разговоры напоминают мне вегетарианские призывы не убивать комаров, которые тебя кусают. Живые, мол, все-таки. А если человек самой природой или Господом Богом устроен так, что ему доставляет удовольствие есть плоть живых существ?

Антон Лизавин давно уже в задумчивости тер мочалкой одно и то же место на груди. Он так и не понял, вымылся ли, когда Волчек вдруг спохватился, что пересидел в тазу больше, чем рекомендовано для тонуса системой йогов, и заспешил в предбанник. Пожалуй, он с тонусом и впрямь переборщил. «Я, кажется, наговорил лишнего?» — возбужденно осведомился он у Антона, который последовал за ним. Но и в оазисной прохладе предбанника, завернувшись в простыню, журналист остановиться не мог, он продолжал свою любопытную лекцию, а кандидат наук, как это не раз получалось в последние дни, слушал не перебивая. В предбаннике почему-то остро пахло псиной, и это напоминало то ли о Сенаторе, то ли о разговорах в его высокомерном присутствии.

Пренебрежение естественным неравенством, говорил журналист, увы, мстит за себя, мешая правильно оценивать и строить жизнь. Самая несбыточная утопия — общество, пренебрегающее хотя бы дураками (а они будут существовать вечно), гарантирующее наивысшее положение непременно для самых достойных, умных и благородных. Тут-то они и окажутся дураками в другом... Тот, кто проник в суть истинной политики, не станет пренебрегать и дураками. Все претензии для него законны — но он постарается найти им общий знаменатель, уравновесить, подрегулировать. Или хотя бы не давать воли крайностям. И если нам даже досаждают жить некто или нечто, с нашей высокой точки зрения, анекдотическое — от этого не отмахнешься, этого не упразднишь идеальным росчерком. Надо со всем этим считаться и приспособляться изнутри...

Господи, думал Антон, ведь все о том же, все о том же! Почему же не успокаивает теперь стройная умная логика? Сиди в своем одноместном благодатном тазу, взирай на мир с юмором, пониманием и бесстрашием. И если в этом обьяснимом мире кого-то должен клюнуть жареный петух — тем более. Нет, сам Антон был даже готов, над своими делами он бы именно посмеялся. Но что делать с тем, кому не до юмора, и какими разумными силлогизмами облегчить его, когда он смотрит на тебя старческими слезящимися глазами?

4

Он вышел из бани в состоянии еще более смутном и растерянном, чем прежде, — вдруг даже затруднившись, куда идти. В магазин, потом к тете Вере и Зое? Отчего-то поскуливало сердце при мысли, как он увидит Зою. Не вообразил ли ты и себя влюбленным, как персонаж твоего автора? — не упустил случая поддеть его насмешливый голос. — Ты бы хоть обьяснил ему толком, в кого он втюрился. В большую дурочку, хотя и красивую на вид. Так и скажи: в идиотку — вместо романтических выдумок. Знаешь, как мамы внушают дочкам: ты обрати внимание, какой нос у твоего красавца, — раз подскажет, другой — и добьется, что дочка этот неудачный нос первым делом и будет видеть. Иной раз нужно слово поэта, как справедливо заметил твой автор. Почему он вообразил, что за этим молчанием что-то есть? Никакой загадки, просто болезнь. Дело скорей в том, что сам он наполняет этот провал особым смыслом. — Но если наполняет, — пробовал поспорить Лизавин, — значит, что-то уже есть. И не ее дело разьяснять что — это участь и честь мужчины. Да знает ли она сама? Может, он обязан обьяснить в этом молчании что-то утерянное ею — так автоматически замок запирает в комнате ключи от себя самого... А впрочем, не до литературных забот, спохватился Антон. Надо идти к Тоне, конечно же, к Тоне, обьясниться наконец. Странно, что он еще задумывался, куда идти. Только надо обставить все убедительно. Он начал перебирать сценарии предстоящего обьяснения. Как всегда, слишком живое воображение заставляло его переживать не один, а избыточное множество возможных и невозможных вариантов. Занятый своими репетициями, Лизавин брел по улице вслепую, как будто читал на ходу книгу, — и почти столкнулся с Тоней, которая даже остановилась, поджидая,

пока он в нее упрется. Сенатор обошел кандидата наук сзади, отрезая попятный путь.

Ценитель глупых комедийных сцен получил бы полное наслаждение, понаблюдав в этот миг Антона Андреича. После всех тонких и проникновенных вариантов — какое заикание, какой лепет сорвались с выпяченных по-рыбьи губ! какие понеслись турысы на колесах! — и про то, что он как раз шел к ней, и про непонятное самочувствие, и даже зачем-то про встречу в бане. Про баню можно было и не говорить, многострадальный портфель его и так протекал, поскольку в рассеянности Антон забыл выжать толком мочалку и не положил ее, как всегда, в полиэтиленовый пакет. Более того, он и бородку свою оставил нерасчесанной, она слиплась неряшливо — не борода, а бороденка. Представьте себе этот сомнительный вид, эту растерянность и жалкие слова, чтобы понять, с какой усмешкой слушала кандидата наук Тоня — и поводила ноздрями, словно вынюхивая запах перегара. А впрочем, кто знает, что было за этой усмешкой — высокомерно сомкнутой усмешкой женщины, прячущей не слишком ровные зубы.

— Я всегда знала, что ты трус, — промолвила наконец она. — Но в таком виде ты мне еще не показывался.

Боксер тем временем обошел Лизавина, обнюхивая его ноги, задрал вдруг заднюю лапу, и не успел кандидат наук опомниться, как Сенатор облил ему брюки теплой струей.

Ученый-специалист объяснил бы Антону Андреевичу, что по-собачьи это могло означать метку владений: дескать, ты наш и знай это. Однако Сенатор был не простая собака, и поступок его можно было толковать еще и по-человечески, как знак презрения и одновременно уверенный намек: ты отлучен, но мечен и от тебя зависит вернуться, хотя для этого тебе придется пройти и не через такие унижения.

Случайный свидетель этого буколического происшествия, мальчишка с рыжим котенком на плече, широко раскрыл глаза, опасливо глядя на циничные задние лапы удаляющегося боксера. Потом лизнул мороженое из вафельного стаканчика и дал лизнуть котенку. Где пацану было понять, что на его глазах разыгрался сейчас нешуточный, хотя и немногословный, акт драмы, где речь шла о пошатнувшейся опоре, об уязвленном самолюбии, о сомнении в мере ценностей, а может, и о любви и попытке власти, которые вместе обнимаются словом «самоутверждение», да и о многом еще, включая роля, полированный гарнитур и самотверждение Сенатора! Антон Лизавин понимал это, но, странное дело, сквозь горькую дымку вина не чувствовал тяжести. Напротив, было облегчение, как будто отсекалась начисто одна возможность выбора. Стало проще решать, что делать и куда теперь идти. В магазин за продуктами. Или даже на рынок. День был небазарный и время позднее, тем не менее Антон зачем-то направился туда. (А отсеченная возможность еще тихо, с грустной музыкой ныла в душе, как, говорят, долго ноет еще ампутированная конечность.)

Ряды были пустынные, лишь голуби клевали не метенные с воскресенья остатки живого мусора, инспектировали площадь хищные коты да за крайним столом скулал небритый мужик в ушанке с оборванным козырьком. Из черной кошелки перед ним выглядывала, дергаясь, глупая курья голова. «Покупай курятину, парень! — ослабилась мужик. — Молоденькая еще, мягкая». — «Живая ведь», — виновато сказал кандидат наук. «Отруби голову — будет мертвая!» — захохотал и закашлялся мужик; желтые крепкие зубы светились из сизой щетины. Какая простая мысль, — подумал Лизавин. — Как просто и мудро умеют решать все люди, непохожие на меня. Ему вспомнилось, как единственный раз отец попробовал сам обезглавить петушка, — тот вырвался, недорубленный, с повисшей на ниточке головой, бешено дернул по двору, оставляя на песке и траве красную дорожку. (Давняя детская дурнота и чувство беспомощности перед чем-то непоправимым и жутким.) Длинные столы, растянувшись в скуке, переговаривались между собой на своем деревянном, прямом языке. О ценах, должно быть. Над сюрреалистическим пейзажем висела звонкая пустота. У палаток и магазинчиков по периферии рыночного

забора толпились женщины в телогрейках, плюшевых шубейках, серых платках, валенках с галошами, с сумками и мешками, выстраивалась очередная очередь, где сейчас украдут перчатки. Голоса с гениальной ясностью слышны были Антону издали; что-то происходило с его слухом, он был раскрыт, а мысли оглушены.

— ...я сегодня троих в автобусе општрафовала. Еще четвертая была, но она говорит: у меня, говорит, трое детей, муж бросил. Я говорю: ну и пусть он в огне горит, подлец такой, негодяй, раз он так делает. Раз он детей своих бросает. На что, говорю, он нужен такой? Небось валяется под забором пьяный, мерзавец, сволочь. У меня такой же. Каждый день пьяный приходит. Он тут шофером на базе работает.

— Шоферам пить опасно. Разобьется ведь.

— И пусть разобьется. Я б только рада была. На хрен он мне такой нужен. И так без мужа, и так.

— А он, значит, положил заговор против нее под покойника, и та стала чахнуть. Чахнет, значит, и чахнет. Пошла к той бабке, та ей все рассказала. Был целый суд. Потом милиционер в противогазе лазил в могилу доставать из-под покойника-то бумажку...

— ...пришел — ну совсем пьяный, на стуле не сидит. Я ему говорю: ты хоть умойся, сволочь. Умойся, говорю, скотина, холодной водой...

— ...на очередь его, вишь, поставили, только он уже не дождался...

(Чего не дождался? Умер, что ли?.. быстрый петух мчался вдоль забора — уже не безглавый, другой, он догонял курицу, когда тетка в Нечайске с усмешкой кивнула молоденькому Антону: «Что ж ты, помоги своему», как будто подразумевалась солидарность статей в этом раздавленном мире... бабья толпа у магазинов — мир женщин, с телами, похожими на сосуды и оплывшими, налитыми, оплодотворенными и сморщенными, как переспелые плоды; женщин с легкими движениями и легкими голосами, вымотанных и добродушных; женщин с лунным устройством тел, цветущих и отцветших.)

— ...а что молодая лезет без очереди? Не пускайте, женщины!

— Я беременная...

— ...одной-то трудно, в боку боль все хуже. А работать хожу в две смены, надо девочке пальто справиться...

— ...что-то не видно!

— Конечно, не видно. Всего полтора часа...

— ...я просто хочу сказать вам, что любовь — это лотерея. Посмотрите на меня — разве я не красавица? Сейчас делай снимок и выставляй в рамку на витрине. А Любка? Ни вида, ни зада, можете мне поверить. И что? У нее муж как муж, а у меня...

— ...ну бесстыжие пошли! Ну молодые!

— ...два сына алкоголика, третий непьющий. Хороший такой парень. И вот судьба: женился на алкоголичке...

— ...а на кой они вообще? Если уж тебе очень нужно, найди себе какого-нибудь садуна, пусть ходит. А потом проводи за порог, и он тебе больше не нужен...

— ...я ему прямо говорю: я, товарищ директор, за вас в тюрьму идти не намерена. Так прямо в глаза...

— ...и стирать на него не нужно.

— И стирать не нужно. А надоел этот — найдешь другого. И он тебе будет больше денег носить, чем муж. Не ты его кормить будешь, а он тебе подарки дарить. У меня соседка, ей сорок два года, к ней уже девять лет от жены мужик ходит, на пять лет ее старше...

...к одноногой на костылях, с ботиночной коробкой в руке, приближалась, как из зеркала, другая, и, как в зеркале, у одной была цела правая нога, а у другой левая.

— У вас какой размер? — еще издали спрашивало отражение.

— У меня тридцать шестой.

— Боже, какая удача!

И сразу раскрыли коробку, стали делить пару импортных туфель, записывать адреса.

— Вот удача-то! У меня еще валенки есть!

— ...молодым тоже трудно. И работать ей, и учиться, и семья тоже...

— ...он такой эгоист, такой нетактичный. Мне с ним не просто неинтересно, мне с ним плохо жить. В тот раз так было плохо — я не только простыни, я наперники изодрала...

— ...а мы как жили? Какую войну вынесли! Ночей не спали, картошку руками копали. Молодые про это знают, что ли? Мужики думают тоже: на фронте было тяжелей. Нам было тяжелей...

Оброненная картофелина хрустнула под ногой. Звуки разбегались, глядя в разные стороны: цокот шагов, шелест шин, гудки машин, обрывки речей. Антон Лизавин шел по улицам города, окна распахивались, стены становились прозрачны, а небеса были пусты и невидящи, как на лишенной облаков и воздуха любительской фотографии. Во всем была какая-то неживая, пенопластовая невесомость, шаг был легкий, а ток крови в теле утомлял, будто она загустела и напрягала резиновые жилы. Кто-то в куртке с откинутым капюшоном на ходу попросил прикурить, и сердце Лизавина екнуло. Спички оказались на месте, Антон в ответ вдруг сам попросил сигарету. Мутноглазый, потасканный человек еще затем некоторое время шел с ним рядом, что-то бормотал под нос, продолжая разговор с самим собой, не для Антона:

— Я любил его, — бормотал он, забыв про зажженную сигарету. — Я его любил, Иисуса-то Христа. А теперь я с Анной живу. И с Альфредом. Обезьянки у меня: Анна и Альфред...

У перекрестка он попросил помочь ему сойти с приступочки тротуара. На ровном месте он справлялся сам, а чуть вверх или вниз — что-то разлаживалось у него с равновесием. Господи, думал Антон, как представить себя человеком, от шага которого кренится мир? Как увидеть мир таким вот мутноглазым взглядом?.. взглядом любого ближнего? Дым крепкой сигареты с непривычки щипал глаза, Антон отплевывал с губ табак. Он был нелеп и забавен с этой сигаретой, Антон Лизавин, нелеп и забавен, как все мы. Что он тянулся попробовать, понять?.. Строй новобранцев в сопровождении усталого лейтенанта перегородки дорогу: стриженная малорослая шпана последнего разбора, одетая, как водится, во что похуже. Скуластые, смуглые, узкоглазые, в кепочках, шляпах и ушанках, с папиросками в губах, они шли вразной, с отчужденными усмешечками мимо остановившихся прохожих. «К вокзалу пошли, на пересадку, — объяснил кто-то. — Муххамеды». — «Не, это не муххамеды, это бабаи», — уточнил другой голос... Какие муххамеды, какие бабаи? Дохнуло на миг чужой, неизвестной, грозной жизнью, вновь обостренным ощущением, что ты знаешь очень отгороженный ее кусок — и слава богу, что есть перегородки и кто-то их охраняет. Ох-хо-хо, нешуточное это дело — когда сойдутся две такие толпы, и попробуй стать между ними, уверить, что все одинаково хороши. Сомнут... ногой в горло... затопят. Пьяный мужик ходил, матерясь, по улицам Нечайска с двустволкой, и детям велено было не выглядывать в окна, потому что он грозился стрелять по первому попавшемуся; потом рассказывали, что его повязали и увезли, но он так и остался невидимым вместе с загадочным детским страхом... А-а, так-то ты любишь всех, — ехидно встрепенулась внутренняя честность. — Знаем мы эту доброжелательность из-за окошка. — Но почему я должен все это знать? — попробовал защититься он, — про всех про них? Я не хочу. Я никогда не хотел. И зачем? Вникнуть, что вот у этой подметальщицы хромота, тело, жизнь и судьба как у моей матери? Подумать только, что каждый из этой прорвы людей претендует наравне с тобой вобрать всю полноту мира, представлять этот мир. Какое неохватное разнообразие лиц, таких не-

похожих на мое, понятное, целесообразное! Как можно жить с таким вот несуразным ртом, лбом, плечами? До чего не по-моему устроены они все под одеждой. — Вот именно, — подозрительно легко согласился двойник, — мы воспринимаем мир таким, каким готовы его воспринимать, и в этом слове «готовы» сливается: хотим, способны, предрасположены. Но как при этом нащупать, припомнить загадку подлинности, прорваться сквозь отчуждение, наполнить жизнью каждую клеточку своего бытия?..

В глубине улицы промелькнул спортсмен Вася Лавочкин; неслышными, как полет, махами он пробегал сквозь город, преодолевая невидимые барьеры. Антон давно перестал узнавать, где идет; это была неведомая окраина, хотя порой чудился знакомый дом, перекресток, поворот; однако изгиб улицы вновь выводил его к каким-то затерянным пустырям и заборам. Он поворачивал назад, но раздвоившийся переулок возвращал его не к прежнему месту. Бельма замазанных витрин были слепы. Безголовый петух домчался до горизонта, подкрасив закат цветом своей крови.

Внезапно Антону послышался оклик. Голос был болезненно знаком. Лизавин похолодел и не сразу нашел в себе решимость оглянуться. На другой стороне улицы стояла Зоя. Вокруг раннего одинокого фонаря над ней выдавливался в воздух слабый ореол мандаринового сока. Он понимал, что этого не может быть, что голос ему послышался и это не она, и все же пришел в себя не сразу. Она махнула рукой, дожидаясь, пока пройдет машина, и сама перешла к нему.

— Ты удивительно похожа на свой голос, — поспешно заговорил Антон, чтобы замаять свой испуг. — Я, оказывается, помню твой голос. Именно такой.

Она улыбнулась.

— Прости, что я так нервно. Я действительно испугался. Не голоса твоего... Этого я почти ждал. Я слышал, бывает такое. Я испугался: мне показалось, ты машешь какой-то бумажкой, телеграммой. Подумал, что из дома. С отцом что-нибудь. Мне иногда такой суеверный вздор приходит. Воображение... Людей с таким воображением надо бить по голове дубиной. Хорошо, хоть ручка моя потерялась. Но это я тоже болтаю... суеверие. Не обращай внимания. Я так и воображал, что, даже если ты сможешь, я стану говорить сам... заполнять провал мелочью слов. Мне это уже однажды снилось. С тобой узнаешь это искушение. Вот человек в задумчивости, в грусти, а ты ему говоришь: о чем ты? чего молчишь? ну скажи хоть словами, и сам увидишь, что не так все сложно, не так серьезно. И действительно, в словах все проще, и с этим уже можно справиться. Мы ведь и для собственного спокойствия вытягиваем из других слова, чуть не вымогаем их. Человек не может без этого. Конечно, мысль изреченная... Но и жить с другими без этой лжи совсем нельзя. Без лжи, без невольной ограниченности, неполноты. Иначе б мы все замолкли. Может, это и было бы мудрей, величественней, не знаю... Недавно мне писал на эту тему Максим... А я так и подумал: это ты рассказала ему про своего отца. Больше никто не мог.

Она покачала головой.

— Не ты?.. Или ты не хочешь об этом? Прости за попытку вторжения. Я и так все эти дни сдерживаюсь, чтобы не спросить тебя... Но мысленно пробую. Помнишь, как я за столом тогда брякнул: для души важно не столько чудо, сколько способность им восхищаться? Я заметил твой взгляд и почувствовал: попал. Вот близкая душа, она меня узнала. И потом, когда руку подала на прощанье. Только это и дало мне надежду — потом, на вокзале, — что ты пойдешь со мной. Именно со мной. Я угадал? То есть ты пошла, но угадал ли я?.. Ты не отвечай, конечно, я понимаю, что нельзя так спрашивать. И понимаю, что уходила ты не ко мне. Но он нам и это оставил. Нам обоим, ты все же это поймешь. Он столько от себя отдает мимоходом... я почему-то боюсь своих мыслей об этом. Ведь я хожу эти дни, и сейчас иду, — а тетрадка-то бьется в кармане; мне кажется, я думаю о

другом и говорю с другими — а все-таки с ним. Только перечитать по-настоящему все боюсь...

5

Разом зажглись фонари, погасло небо, улицы вмиг переменялись — так неузнаваем становится человек, чьи внутренности высветились на экране в рентгеновских лучах. Лизавин вышел к реке. Безлюдная дорога поднималась над берегом вверх и на взгорке спотыкалась, как о пенек, об одинокую фигуру — это был сам Антон, уже забравшийся туда: странствующий в пустыне, у которого от жажды загустевает кровь и сознание раскаляется, способное проникнуть в непостижимое. Снизу дышал ветром и холодом первобытный мрак; река, еще не оправившаяся от ледохода, ворочалась там, и слабое сцепление фонарей вдоль набережной, казалось, сдерживает гигантское залегшее чудовище. А по другую сторону гроздя огней распускались, висели в ночи без опоры. В стеклах отражались цвета реклам, и окна светились, как витражи. От раскинувшегося тела города, как от улья, шел смутный живой гул, составленный из россыпи голосов; в электрических тропиках возились люди, и все они были как на ладони перед взглядом с высот. Лаборантка Клара Ступак возвращалась из парикмахерской. Она высидела там два часа ради завивки, волосы ее пахли лаком. Она шла по улице мимо витрин и афиш; одна звала в клуб машиностроителей на лекцию «В чем смысл жизни» и соблазняла по окончании танцами, другая показывала певца с такой роскошной пастью, что в ней хотелось жить, как во влажных субтропиках, третья, четвертая и пятая повторяли то же лицо и имя, размноженное в миллионах экземпляров, запечатленное в телефонных книгах, на пластинках, пленках, в журналах, газетах, на мемориальных досках и на камнях пирамид. Леонард Кортасаров боковым переулком спешил на концерт, площадь у подъезда была запружена мечтающими кашлянуть возле роскошного голоса. Зачем толпиться так? — думал глядящий с высот. — Зачем так толпиться у входа в вечность? Все там будете... Но Клара Ступак не видела ни афиши о смысле жизни, ни портрета певца. Глаза ее были замутнены слезами. А плакала она потому, что минуту назад, у выхода из парикмахерской, когда она задержалась перед зеркальной витриной полюбоваться собой, какой-то угрюмый тип полез к ее перманенту со своей расческой, щербатой, грязной до черноты, забитой жирной перхотью. Почему-то возникло у него мрачное неодолимое желание нарушить параллельность ее кудрей, он даже не улыбался — как лунатик, и бедная лаборантка в ужасе убежала от него, не в силах понять, что делается с миром; собственная одинокая красота казалась ей бессмысленной и ненужной. Город был полон людей, которые брели сейчас неприкаянные, не сумев разобратся по парам, брели непересекающимися тропками по улицам и переулкам и, даже если встречались, не догадывались, не могли остановиться, взглянуть, узнать друг друга — всего-навсего, чтоб сделать главное в своей жизни дело. Телефонистка Леночка Ясная встретилась — и не узнала обладателя приятного баритона. Он не имел к своему голосу никакого отношения, как в плохо дублированных фильмах, даже губы шевелились невпопад — ошибка! ошибка! — и не им целоваться сегодня в подъезде, под воспаленной пыльной лампой, где пахнет сырой известкой и кошачьим дерьмом, где потолки черны от прилипших горелых спичек, а стены исписаны бессмертными уравнениями любви. Пока они сидят в темном зале кинотеатра «Факел», на экране идет киножурнал, там премьер-министры обменивались речами, бумажки на вид были совсем одинаковые, но они обменялись ими с торжественными улыбками и, довольные, пожали друг другу руки. А голос над ухом опять казался знакомым, как из телефонной трубки, и пальцы тронули стеклянную ткань чулка. Ах, не верьте, не верьте ему, Леночка! а прочем... У ресторана «Европа» из троллейбуса вывалилась ватага немолодых толстых женщин, они размахивали сумочками и хохотали, как школьницы, пугая прохожих: выпускницы педучилища праздновали день встречи; скоро они, как стадо слоних, будут отплясывать под оркестр что-то не очень модное, так что задрожат

люстры у антиподов в Австралии или на Новой Гвинее, а газеты на другой день сообщат о загадочном землетрясении. За столиком уже сидит усталый инженер Прошкин. Он никого не ждет и не хочет даже спать. Сегодня на летучке его цех пригрозили оставить без премии, и он хочет напиться. Против него пьют двое: богатый таксист и продавец мебельного магазина. После долгих дневных трудов, после натуги, нервов и прохиндейства, добавивших презрения к миру и к тем, кого судьба подсунула им в добычу, они обменивают все это на одурь, похмелье и головную боль. Беседа идет о любви, о давних и новых похождениях, и Прошкину не терпится добавить свое словцо в этот лексикон молотобойцев или пильщиков, как будто речь идет о тяжелой физической работе, с надсадой и кряканьем; ему тоже есть что рассказать. Кружение в голове. В городском парке пробовали перед праздниками карусель. Всадник мчался на твердой лошади, с улыбкой наслаждения похлопывал ее по холке в расписных цветах. Восточный человек Небезызвестный-Бабаев нес домой за теплой пазухой полученного по знакомству цыпленка, он уже окрестил его Табака́ и с улыбкой думал, как станет вскармливать даровым просом. Вечерняя толпа разбиралась, расфасовывалась по коробкам квартир: коробок на коробке, ящичек в ящичке, составные пирамиды жилищ. Родители ушли в кино, три девочки-школьницы в пустой квартире впервые пробуют курить. У них кружится голова от дыма, от соблазна греховности, от догадки, как глубоко могут пасть, и от ужаса перед собственными безднами. Спортсмен Вася Лавочкин записывает в специальный дневник сведения о самочувствии своих мышц и органов: после шести километров болела правая икроножная, пульс в норме через три минуты, легкий звон в ушах. Его соседка-старуха очередной раз раскладывает на скатерти сложный пасьянс «Судьба-индейка» из двух колод; она втайне давно задумала умереть, как только пасьянс сойдется, но каждый раз вынуждена была разочароваться и с ужасом думала порой, может ли он сойтись вообще. Звон в ушах. Потомок неизвестного императора стриг перед сном ногти. О чем он думал? Ни о чем. Может же голова быть совсем не занята мыслями — звон, журчание воды, когда бачок, выдав полную порцию, наполняется заново. Мало ли о чем человек надумался за день: что одеть, какую погоду принесет антициклон, кто победит на выборах в Аргентине и почему главные люди в жизни сейчас — маникюрщицы и директора магазинов, они всё могут достать, с ними водят знакомство, как со знаменитостями. Звон, журчание в воздухе, гул улья. Инопланетяне с повисшего над землей корабля рассматривали в телескоп похожих на себя существ; они специально для этих наблюдений ненадолго очнулись от анабиоза и теперь ахали, удивлялись, до чего вредно действует жизнь на организмы, не научившиеся себя беречь. Поживут, поживут, глядь, уже и постарели, и поувяли. Вот, правда, Никольский молодец.

А переживания! А болезни! Вот кто-то загнанный, весь в мыле, ёкает селезенкой. Вот кто-то, еще оглушенный, вновь расправляет крылышки и с самоотверженностью слепня тянется на запах плоти — авось на этот раз выгорит. Некоторые даже умирают. Нет, низкая цивилизация. И мудрые наблюдатели складывали свои телескопы, чтобы возвратиться в морозильные камеры. Им еще смотреть да смотреть. Мерцали огни, конь в карусельных цветах неся над городом, где в высоте встречались двойники, обмениваясь новостями, — над Нечайском, где темнота наполнилась обнимающимися изваяниями, где мимо дома Кости Трубача шли парочки на лекцию о любви и дружбе, а портативные магнитофоны пели голосами взаправдашних, хотя и нескорох еще соловьев, где родная лампа светилась в старомодном оранжевом абажуре, под ней морщинистое лицо с красным носиком, со спокойными веками запрокинуто к небу среди бумажных цветов... Ах, боже мой, не пугаться же опять вздора, выходки мысли!.. слава богу, пропало опасное золотое перо, а рано или поздно... От опасных мыслей, как от судьбы, не убежать, а рано или поздно все будет со всеми — все станет просто...

Он был все же испуган и для маскировки, чтобы замести следы, стал представлять умершими всех знакомых, всех встречных, всех подряд и самого себя. Так сказочный хитрец ставил кресты на всех воротах, чтобы сделать их неотличимыми от единственно меченых. Очень даже просто: сейчас камень свалится на голову, тот проваливается в яму, того настигает молния, та проглатывает иголку... — чего тут неправдоподобного? рано или поздно жизнь распорядится сама; чуть пораньше — и нет никаких проблем, нет жареных петухов, фельетонов, пенсий, невозможной любви, сплетен. Сцена была усеяна трупами, как под занавес шекспировской драмы, запутанный мир безлюдел и упрощался... Антон Лизавин шел по забывшим свои названия и даже цель улицам с бредовым, вконец раскисшим портфелем в руке. В случайном стекле на ходу мелькнуло его отражение, Антон себя не узнал.

Дождь начал пробно, сбивчиво, потом пошел в ногу — стеклянный, не ко времени, колкий, ледящий дождь. На тяжких небесах светился электрический пар ночных заводов. Фонарь забавлялся своей мощью, раскачивая гигантские тени вместе с принадлежащими им предметами. Вдруг Антон узнал место, куда забрел. Он был у тупиковой линии, куда вагоны заезжали так редко, что рельсы успевали утратить свой небесный блеск и текли здесь тусклые, ржавые. Мокрая колонна светилась в черном воздухе, покачивалась от ветра на крепких корнях. Ледяная крупа шебуршала о жесткий воздух, наполняя его сухой нездоровой сыпью. Низкие крыши блестели, как лакированные; все было в черно-белом жутковатом сиянии. Антон не заметил, как остановился. Он внезапно устал. Руки и ноги были налиты пустотой, как в начале болезни, тяжесть портфеля разжимала пальцы. Ему казалось, что он понял все прежде, чем его достиг уже слышанный голос, прежде, чем оклик вывел его из оцепенения. Маневровый паровоз пыхнул паром ему в спину. Сверху матерился перепуганный машинист. Антон не глядел на него. Зоя шла навстречу из накренного ущелья, из нереального отдаления, как из перевернутого бинокля, замедленно двигалась по тротуару, тянула в руке бумажку. В темноте мозга или в черноте воздуха мелькнуло нечто, похожее на ту яркую, слепящую, заполненную суетливыми зигзагами вспышку, какая бывает перед обрывом кадра, — еще миг, и зрители начнут кричать «сапожник» и топтать ногами. Он знал, что теперь все это взаправду, он был бесчувствен, словно заледенел, но кто-то в нем сопротивлялся без голоса, бессильно и с испугом: ну знаете... нельзя же... не так же... нет...

6

Анемоны подцвечиваются траурной чернотой, если их перед продажей поставить в воду с чернилами. Пospешившие невесть откуда пчелы кружили над ними с опаской, охотней они садились на бумажные яркие цветы, украшавшие изголовье. Пчелы были разбужены внезапным теплом. Все окрест сияло ярко и влажно, как будто свернули мокрую подложку с переводной картинки. Окна прозревали от прикосновения тряпок; в домах выставлялись рамы, убиралась пыльная вата, украшенная осколками елочных шаров. Женщины в окнах и у калиток провожали взглядами погребальную ладью, плывшую вверх к кладбищу над торжественной дрожью дыханий, всхлипов, музыки и голосов, которые поднимались от земли к небесам вместе с трепетом молодого парящего воздуха. Верная давнему страху, мама не пожелала воспользоваться машиной. Отец лежал лицом к синеве, на удивление не изменившийся; он словно принимал напоследок парад родных улиц, домов, голых ветвей и скворечен, детей с расширенными от испуга и любопытства глазами. На лиловых губах его чудилась торжествующая усмешка: вот так-то! Ушел, ускользнул от бессмысленных тревожений, успел так просто справиться с тем, что другим, вокруг гроба, еще предстояло — и как еще удастся? Ведь жить — это кто как сумеет, а отойти так легко и вдруг — счастье. Убежал, ускользнул, другим оставил ожидание, горе, вину, малодушие, слезы. На распухшем лице мамы сквозь гримасу застывшего плача проступали недоумение и обида: как

же он так? как будто без слов было договорено, что она первая, что при всех своих болезнях она успеет, должна успеть раньше него (и слово «успеть» подмигивало двойным смыслом). Нестройный оркестр играл с той сугубой тягучестью, что позволяет любую музыку превращать в похоронную. Музыканты не успели просохнуть с позавчерашней свадьбы, а трубач Лева Невинный вдобавок сломал руку, но его место без репетиций согласился занять Костя Андронов — из уважения лично к Андрею Поликарпычу. В общем горестном хоре он вел свое, особое соло, все зарываясь куда-то ввысь, и невидящие глаза его отливали крутизной облупленного белка.

По сторонам кладбищенской аллеи уже проглядывала местами зеленая трава. Оказывается, Антон давно не был тут. Где-то слева, у ворот, была могила брата, ее уже тесно обступили новые ограды, отцу здесь не было места. У самой дороги оказался деревянный столбик Вали Бусыги, Антонова одноклассника, разбившегося на мотоцикле; оберегая Антона от переживаний, мама тогда не сообщила ему день похорон, теперь впервые Лизавин увидел заросший травой холмик. Когда хоронили Меньшутина и Юрку Бешеного, он тоже оказался в отъезде, их могилы, неразличимые, терялись в чаще деревянных крестов: кладбище разрасталось быстро. Единственный каменный памятник возвышался у боковой ограды, над кем-то из старинных здешних князей Звенигородских: привозной мраморный ангел с отбитым крылом над коленопреклоненной скорбящей женщиной. Теперь второй скульптуре, возможно, предстояло встать над гробом отца. В завещании, которое неожиданно для всех оказалось составленным, он просил водрузить над собой ту каменную бабу, что нашел для музея. Крылось ли за этой просьбой честолюбие? обида? желание напоследок уйти от проверки — или презрение к ней? Что бы там ни было, он имел право на такое желание. Пусть стоит лучше здесь, думал Антон. Пусть водят, если хотят, экскурсии сюда, на могилу; отец и надгробие его — равно достопримечательности Нечайска, ими надо гордиться, как гордятся произведением искусства или самобытным явлением природы. Прикрепляли же вот к этой пирамидке вместо фотографии под стеклом стихи из «Нечайских зорь» — единственную публикацию безвременно ушедшей поэтессы. А к твоему столбику прибьют такую же вырезку со статьей, Гене Панкову — голубиное чучело и сапожнику — его лучшие сапоги.

Утром Антон перебирал бумаги отца: дипломы, справки, орденские книжки. Попалась даже графологическая характеристика тридцатилетней давности. Прямой, без наклона, тип написания букв, по мысли эксперта, свидетельствовал об общей уравновешенности натуры; в то же время вырывающиеся из строки закорючки и росчерки (например, в «б», «у» и особенно в «з») говорили о неустойчивости и некоторой натужности этого равновесия. Тесную лепку письма автор заключения связывал с затянувшейся инфантильностью, с запоздало развитой сексуальностью, которую в целом определял, однако, как достаточно выявленную и яркую. Рисунок и размер прописных обнаруживали склонность к фантазии, а неравномерность элементов подписи расценивалась как некая уклончивость перед жизнью, позволявшая оставлять незавершенными собственные чувства и догадки. В целом же характер письма, успокаивал знаток, свидетельствовал о предрасположенности к счастью и о свойствах, позволяющих эту предрасположенность развивать... Читать это было отчего-то совестно, как будто он подглядывал наготу еще живого, так похожую на собственную наготу.

Он боялся встречаться с кем-нибудь взглядом: понимают ли они, что он виноват — и в чем, как виноват? какой особой постыдной виной обернулась для него извечная вина детей перед родителями?.. Направлением торжества руководил один из тех уместных хлопотунов, что на любых похоронах чувствуют себя главнее покойника. Рядом раскрыта была еще одна яма: хоронили возчика коммухоза дядю Гришу. Он угодил ногой в колесо своей телеги — увлекся на ходу репортажем из приемника. Перелом был нестрашный, но

отказало сердце, и мучился он недолго. Последние его слова были: «Слава богу, наши клюшки выиграли». Когда-то дядя Гриша пас нечайских коров, кормился при дворах; наделила ли его мудростью эта халдейская профессия, созерцание природы и звездных ночных миров? Сейчас его лицо было серьезно и простодушно; между веками левого глаза приоткрылась птичья пленка... Вокруг, как в финале старинной комедии, собрались действующие лица: земляки, учителя-сослуживцы, ученики, соседи, фронтовики при орденах и медалях. Обычно не вспомнишь и не подумаешь, сколько тут прошли войну: и старичок-бухгалтер, и забудыга печник, и болезненный фельдшер, и скряга Бабаев, и тихий чудак. Неужели так мало значат теперь даже воспоминания, что в иные минуты, как ветерок истины, овевают их повседневные лица? И все, что казалось главным, что было драмой, трагедией и торжеством, как детские слезы, как несправедливая двойка, спортивные кубки, похвальные грамоты, несчастные влюбленности, перехваченные куски, страхи, выговоры, премии и фельетоны, — что они теперь? Черточка на столбике между двумя датами? Но что же у нас тогда есть, кроме этой черточки? Не бесследны же в ней даже детские обиды и слезы? Между замкнутыми цифрами все вдруг затвердевает, и как ни потешайся, оказывается, что мы настоящие, до холодка по спине настоящие. Чем же угодна эта наша жизнь судьбе или Богу? Доделанным до конца делом? результатом? или просто тем, чтобы своим теплом, трудом, поиском, своими страстями и анекдотами, энергией своего бытия поддерживать общее, наследственное тепло мира? И если нам не дано этого понять, то в чем смысл нашего стремления думать об этом?..

По пути в Нечайск Антон перечитал притихшую в кармане пальто тетрадку. С пониманием, какого не было у него еще день назад, вглядывался он в этот напряженный почерк. При всей энергии было в нем что-то уже немолодое, от строк смутно веяло предсмертной запиской. И Антон вдруг с несомненностью ощутил: он больше никогда не увидит этого человека, толкнувшегося в его жизнь, словно странная нездешняя птица, чтобы унести куда-то дальше навсегда, с ушибленным крылом. О, как виноваты мы перед теми, кого не поняли, на чей голос, беду или тревогу не сумели откликнуться, кого не смогли удержать. Мгновение надломилось, он где-то уже падал, падал с невозможной для жизни высоты, щедро наделив тебя тем, чем сам был жив. Это может называться тоской, напряжением, страстью, любым словом, противоположным расслабленности, безразличию, остановке и смерти. О, прекрасные лица, безвозвратно мелькнувшие в нашей жизни! Мы прощаемся с человеком насовсем, не подозревая об этом. Во всяком прощании есть частица смерти; разница только в надежде на возвращение. Захлопывается дверь, затихает голос, уходит поезд, закрывается крышка, гроб опускается на веревках — нам остается память, вина, продолжение, и птица поет в ветвях, как пела здесь веками, — вечная птица, все та же, все та же, потому что лишь в этой непрерывности и памяти — залог бессмертия.

Вот мы расходимся от выросшего холма. С небес, как с души, словно сняли пленку. Земля не спеша поворачивается дальше, навстречу ночи, живой налет шевелится на ее терпеливом теле. Ветры проносятся над головами людей, народы живут под открытым небом, на перекрестках истории. Человек идет по дороге, не замечая слез, нелепый и упрямый рыцарь, один из нас, звоном щита готовый приветствовать новый день.

СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

РОДЫ СВЕТА



Родина живет в моем «люблю».
Поклоняюсь облаку и саду,
Тихому, задумчивому взгляду,
Пасынку пространства — журавлю.
Роды света — утренняя рань.
В гробе мрака корчи воскресенья.
Родина, отчизна, отчий край!..
Тишина полей как потрясенье.
Ради бога, кто-нибудь живой,
Подойди и стань, воздевши руки,
Выше воли, смерти и разлуки,
Выше этих дыр над головой.
Старые... Мы старые с тобой,
Родина, отчизна — вечный постриг.
Мертвые. Мы прах. А жизнь начнется после,
За корой, за краем, за судьбой.

Знак ночи

По телу шарят две руки.
Одна — слегка дрожа.
— Где бабки?
— Нету, мужики. —
Две будки, два ножа...
— Где деньги?
— Нету.
— Ах ты мразь!
Тогда — пляши для нас!
— Ну что же делать — ваша власть.
Я... сбацаю сейчас. —
Сейчас я сбацаю, друзья.
Ах танец — друг людей.
В нем чистой радости моря
И стоны лебедей.
Сейчас я сбацаю под нож
О том, как жил и пел,
Как жилы рвал,
Как наповал
Любить и бить умел.
Сейчас я сбацаю, сынки,
О том, что я не враг
Ни трезвым жлобствам, сосунки,

Ни бреду ваших браг.
Оно, конечно же, позор,
Но я его стерплю,
Поскольку с некоторых пор
Ужасно жить люблю.
...Стоят два призрака в тиши,
Пустынен ночи крик.
Один:
— Да ладно, не пляши...—
Другой:
— Пляши, старик! —
Стоят два скопища обид
Как бы в забытом сне.
Один давно во мне убит,
Другой живет во мне...
— Пляши! —
И вот я дрови бью.
— Не надо! — Выюсь ужом.

Стоят два скопища обид.
И тот, что мертв во мне, вопит:
— Не надо! Что же ты! — вопит
И в спину бьет ножом.

* *
*

Прости, отец,
 И ты, трава острец,
 Простынки стынувших полей
 И вы, леса-калики.
 Прости, речного плеса красота,
 Где донным лессом подсветилась высота
 И жжет и стелется, как пламя повилики.
 Прости, отец.
 Расти, тоска, и пой.
 Мне кажется порой, что ты сама разлука.
 То кленом, то ольхой,
 Высокий, как слепой
 Бредешь сквозь лето
 И кричишь без звука.
 Куда б ни шел, на этот крик иду,
 Черемуха в дыму иль белым снегом вьюга.
 Иду и говорю:
 — Настало время встретиться, жизнь к январю.
 Мы равностарые, отец.
 И мы пойдем друг друга.

* *
*

Закричал из-за леса
 Поезд Бахмач — Одесса.
 Задрожали просторы,
 Рельсы тонко визжат...
 Я один в этом мире —
 Это все, что известно.
 Все пути, все дороги
 Мимо света лежат.
 Я смотрю на вагоны,

На бегущие лица.
 Все такое чужое,
 Словно сон наяву.
 Так и хочется плакать,
 И кричать, и молиться,
 Чтобы дал мне Господь
 Умереть и родиться,
 Вновь родиться в пространстве,
 Где я жизнь проживу.

 ГАЛИНА ГАМПЕР

ЛЕДЯНОЙ ГЛОТОК

* *
*

Почти что над бездной, на краешке ветки.
 Еще не в полете — но уж наготове.
 Я родом из прочной, из обжитой клетки,
 Где были безумье и вера в основе.
 А здесь, на ветру на свободном и диком,
 В потуге запеть — только горло срываю.
 Запомните время, кричу, по уликам,
 Как люди сбивались в понурую стаю,
 По городу рыскали как по пустыне,
 Но досыта было лишь слухов да прессы,

И слухи ловили и ловят поныне,
 Над сбитыми с толку бесчинствуют бесы.
 А промысел Божий, как водится, втайне.
 Кричу я над бездной, я голос срываю.
 Мне сорокалетнее страшно скитанье
 И смерть по дороге к грядущему раю.

* *

*
*

I

Споткнувшись, жизни глиняный кувшин
 Разбила я случайно и навеки.
 О, черепки Везувия и Мекки,
 Каких еще вершин, каких руин?..
 Не ведаю сама, поскольку я
 Лишь безутешно, безучастно плачу.
 Не шевелюсь и ничего не значу,
 Душа — среди обломков бытия,
 Вернее, не душа, а лишь столбняк
 Того, что должно называться ею.
 Не знал Господь, что я окаменею
 Пред ношею разбившейся моею
 И даже знака не подам никак.

II

Что мне Гекуба или я Гекубе...
 Шекспир не ведает о постановке в клубе
 В такой-то век, в такой-то год и день...
 Шекспиру дела нет, Шекспиру лень,
 Шекспир теперь творит в иных масштабах...
 Вселенная, захлопнувшая дверь,
 Скрепись в нее, как подзаборный зверь,
 Как зверь, заблудший в травах и ухабах.

III

Итак, я — жизнь разбившая душа,
 Окаменела я — забудь, не мучай...
 Не знаю, чем свобода хороша,
 И к ней не тороплюсь на всякий случай,
 Но пробужденья ледяной глоток,
 Как Троицы святой ко мне упрек,
 Предчувствую — и нету мне покоя,
 Упокоенья, холмика, левкоя...

* *

*
*

Пусть боль уничтожает плоть,
 Кромсает дух, корежит тело;
 Дар речи мне верни, Господь,
 Которым я тогда владела,
 Когда, бывало, над челом
 Лишь вдохновение парило,
 Когда за дружеским столом
 Шутя с богами говорила.

Хоть их привычные места
 Уже привычно пусты стали,
 Господь, разверзни мне уста,
 Которые молчать устали.
 Любую муку я приму
 На скорбно высохшие плечи,
 Пусть ни за чем и ни к кому
 Мои рифмованные речи

Здесь, в незнакомой нам стране,
Где мы обжиться не успеем.
Господь, уста разверзни мне,
Дай ямбом спеть, дай спеть хореем.

Лишь этим я избуду страх,
Гуляющий по Петрограду,
И смерть, но с рифмой на устах,
Приму я как награду.

* *
*

Прозренье — тяжкая работа
Души, тем более вначале.
Мы выросли от анекдота
До исповеди и печали.
От горькой матерной частушки
Под водочку (при дешевизне)...
Содвинем дружеские кружки
Мы на пиру, подобном тризне.

На тризне, что подобна пиру.
Прижмем к груди гитаро-лиру,
Прижмем, тихонько струны тронем,
Мы мертвых заново хороним
Непоправимой правды зоны,
За далью даль бедой разъята.
Ребята, говорю, ребята.
В ответ молчат мужи и жены.

МИХАИЛ ЯРМУШ

МОРСКИЕ СНЫ

* *
*

Памяти М. М.

На реке пароходик с флажком.
В бликах ялики, яхты и чайки.
А вдоль берега ослик шажком
семенит впереди таратайки.
Там, в рогожных кульках в кузовке,
спеет солнце в пузатых бутылках,
и они словно гири в руке
у гимнаста на свежих опилках.

Мы под вечер зайдем в погребок,
и попросим бутылочку кьянти,
и, копчушку схватив на зубок,
вспомним ослика в розовом банте.
Это девочка-ослик, и он
ходит в войлочной шлячке за ухом,
на шоссе уважает закон
и исполнен презрения к мухам.
Эта девочка-ослик, Пегас,
улыбается краешком глаза,
полосатый жует канифас,
носит имя смятенное За-за.
Сахар замшею губ не берет,
косит глаз драгоценно и странно.
Ведь Пегас — не педант. А — полет.
И не любит осла Буридана!

Из Ярослава Сейферта

Мальчик атласа листы
целый день листал в гостиной
и свалился в паутину
широты и долготы.

На руки склонился он
утомленной головою
и услышал шум прибоя
и морской увидел сон:

Чехия — горошин ряд, —
Прага — маковинкой малой —
показались — страшно стало,
он на небо поднял взгляд:

облако вплывало в сон,
словно парус в океане.
В каплях, в радужном сиянье
родину увидел он.

С Богом, облако, в полет —
парус, по небу бегущий.
Ветка яблони цветущей
всех нас к родине вернет —
там в тугом сплетенье жил
волны грудятся глухие...
Если бы не сны морские,
кем из нас бы каждый был?

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

ИЗ КНИЖКИ МОЕЙ ЗАПИСНОЙ

* *
*

Случайно из пепла и дыма —
Из книжки моей записной
Возникло знакомое имя,
Уже позабытое мной.

Пусть кто-то пребудет в тумане
Далекого детского дня,
Пусть кто-то в минувшее канет,
Где нет ни тебя, ни меня.

Пусть кто-то и в славе и в силе
Покинет родные края,

Пусть кто-то в безвестной могиле,
Там вскорости буду и я.

Пусть кто-то на время, а кто-то
Исчезнет на все времена,
Не надо из наших блокнотов
Вычеркивать их имена.

Из невозвратимого плена
В обличье простом и живом
Вернутся они непременно,
Хотя бы в блокноте твоём.

*
*

Льется кровь, а не вода,
Из души, а не из лейки.
Дорог хлеб как никогда,
Жизнь не стоит и копейки.

На ходу и на скаку
Жизнь поэтов убивает,

Значит, нашего полку
Убывает, убывает.

Огорчения одни,
Нищета — по всем приметам.
Очень трудно в наши дни
Быть лирическим поэтом.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС САДОВСКОЙ



ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ

Пожалуй, лучше всех о Борисе Александровиче Садовском (1881 — 1952) написал Ю. И. Айхенвальд в давней книге «Слова о словах» (1916). Критик отметил главные черты стиля писателя: тщательное и любовное воссоздание родной старины во всех ее мелочах («умудренность в отошедшей жизни», как выразился в письме Садовскому Е. Я. Архиппов), некоторую ироническую остраненность, духовный консерватизм и мистический оттенок, разлитые во всем его творчестве.

«Мечты о былом для многих имеют неодолимо обаятельную прелесть, и многих тянет поглядеться в бездонный его колодезь: не мелькнет ли на дне собственный темный образ», — формулировал свое восприятие исторического жанра в 1906 году Садовской в статье «Чувство прошлого в поэзии графа А. Толстого». Все сказанное Айхенвальдом можно, в принципе, отнести к позднему творчеству Садовского, сохраняющему стилевое и идейное единство. Но изменился масштаб. «Былые мои интересы <...> перед нынешними то же, что горошина перед солнцем. Форма одна, но в содержании и в размере есть разница», — писал Садовской в декабре 1940 года К. И. Чуковскому.

Основанием для пересмотра и переоценки своей жизни и всего пути России стал страшный личный опыт, наложившийся на кровавую русскую историю XX столетия. Осенью 1916 года тридцатипятилетнего писателя разбил паралич — следствие сухотки спинного мозга из-за перенесенного сифилиса. Несколько месяцев спустя рухнула Российская империя. Для человека правых убеждений, «голубого монархиста», как именовал себя Садовской, катастрофа была почти апокалипсическая. Крах собственного тела и гибель России, совпавшие во времени, привели к тому, что Садовского дважды вынимали из петли. Попытки найти опору в Канте, Шопенгауэре, даже в антропософии ни к чему не привели. Спасение Садовскому дал не доктор Штайнер, а православие, чтение Библии и творений Святых Отцов, тщательное исполнение всей церковной обрядности.

Свои испытания Садовской принял не только как заслуженную кару за прошлые грехи, но и как следование «путем зерна», которое, по евангельскому изречению, «аще не умрет, не воскреснет».

Из дома родителей в Нижнем Новгороде Садовскому в конце 20-х удалось переехать в Москву, где он поселился в подвале под алтарем Красной церкви Новодевичьего монастыря, превращенного в филиал Исторического музея. В упомянутом уже письме Чуковскому он сообщал:

«Я ходить не могу и руками владею не свободно; в остальном же сохранился. И только в этом году завел очки для чтения. Живу под церковью в полной тишине, как на дне морском. Голубой абажур впечатление это усугубляет. Встаю в 6, ложусь в 12. Женат с 1929 года и вполне счастлив. У нас четыре самовара (старший — ровесник Гоголя), ставятся они в известные часы и при известных обстоятельствах. Жена моя знала когда-то латынь и Канта, но теперь, слава Богу, все забыла. Зато и пельмени у нас, и вареники, и кулебяки! Пальчики оближете.

Радио осведомляет меня о внешней жизни по ту сторону кресла».

Вяч. Вс. Иванов как-то заметил: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми он верно понимается. Он дается нам часто в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как бессмысленна наша жизнь. Успех великих жизней

часто в том, что человек расшифровал спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти». Садовской чувствовал это, стараясь понять высший смысл ниспосланных ему испытаний не для того, чтобы приспособиться к жизни, текущей за стенами монастыря, а чтобы «правильно идти». Он уверял Чуковского, что за годы болезни, проведенные «наедине с собой», приобрел такие внутренние сокровища, о каких и мечтать не смел. Отражение мучительного, но и благодетельного духовного опыта лежит на произведениях второй половины жизни Садовского, в том числе и на публикуемом романе «Пшеница и плевелы».

Фигура Лермонтова занимала Садовского давно. Еще в 1912 году он поместил в журнале «Русская мысль» статью «Трагедия Лермонтова», перепечатанную затем в третьем томе полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова под редакцией В. В. Каллаша (1914) и в слегка измененном виде под заглавием «М. Ю. Лермонтов» включенную в книгу Садовского «Ледоход» (1916).

Художник и искусствовед Н. Г. Машковцев писал Садовскому об этой работе 6 августа 1912 года:

«От Вашей статьи о Лермонтове я в совершенном восторге. Может быть, потому, что она вполне совпадает с тем, что я думаю. <...> Меня он еще недавно мучил изрядно. Одна особенность его меня поражает. Заметили ли Вы, как бедны и невыразительны его описания, как бессилён он перед обыденным, даже не обыденным, а нашим земным? Силы и изобразительности он достигает только говоря о пространстве. Пространство — вот, кажется, его *idée fixe*. Он и слушателя или читателя как-то растворяет словами в пространстве. Помните эту одну стонущую игру рифм в «Мцыри»? <...> К Лермонтову у меня какая-то духовная вражда, и у Вас, кажется, тоже. Под печоринским демоническим обликом истинный демон — пространство, бесконечность. Самый губительный соблазн. Я живописец, и что такое пространство я знаю и вижу, чем оно сделалось у Лермонтова. Наше спасение форма, наша гибель пространство».

В статье 1911 года (опубликованной в 1912 году) уже заложены многие идеи, нашедшие развитие в романе. Но существенно смещены полюса. В 1911 году Садовской, вслед за Вл. Соловьевым, противопоставляет Лермонтову Пушкина, сумевшего найти не давящую Лермонтову гармонию («Спасти от демона-Лермонтова может только серафим-Пушкин, из подземного мира уносящийся "в соседство Бога"»), а спустя девять лет в эссе «Святая реакция» он уже не находит у Пушкина гармонии между «соблазном» искусства и простыми житейскими ценностями, понимание важности которых пришло слишком поздно:

«В "Гаврилладе" Пушкиным осмелян Иосиф, обручник Богоматери. Поэт насмешливо просит у него "беспечности, смирения, терпения, спокойного сна, уверенности в жене, мира в семействе и любви к ближнему". Тогда еще он не подозревал всей ценности этих скромных благ. Из них ему как есть ничего не досталось, но этого мало, — жена невинна, а он — патентованный рогоносец. Так хитрый сатана разыграл над своим поэтом тему "Гавриллады"».

Если в 1911 году Мартынов для Садовского как бы окарикатуривает Печорина, воплощая налеву худшие стороны лермонтовского героя, если он убивает великого поэта, не понимая, «на что он руку поднимал», и обречен терзаться всю оставшуюся жизнь, то ко времени создания «Пшеницы и плевел» скромные ценности «обывательского» идеала становятся для Садовского по меньшей мере равнозначны и равновелики ценностям жизни не рядовой.

«Пшеница и плевелы» писались Садовским в 1936 — 1941 годах, в промежутке между столетними юбилеями двух смертей: Пушкина в 1937-м, отпразднованного с некой inferнальной помпезностью, и Лермонтова в августе 1941-го, оказавшегося, как и столетие со дня его рождения в 1914-м, смазанным из-за войны.

«Пшеница и плевелы» — не только роман о Лермонтове и Мартынове. Менее всего к этому произведению подходит жанровое определение исторического или биографического романа. Ко времени создания «Пшеницы и плевел» этот жанр откристиллизовался в достаточно устойчивые формы, в чем-то общие и для новаторских «Штосса в жизнь» и «Смерти Вазир-Мухтара», и для более традиционного «Петра Первого», и для добротного-ремесленного «Рулетенбурга», и даже для откровенно халтурного «Пушкина и Дантеса» (роман Василия Каменского). «Пшеница и плевелы» никак не становится в этот ряд. Даже само «качество письма» Садовского выглядело неуместным анахронизмом. Любопытна надпись, сделанная на рукописном экземпляре

романа в конце первой части одним из читателей (по нашему предположению, М. А. Цявловским): «Насколько скучно у И. А. Новикова! У Тынянова есть подобие литературы. Ну, а остальные...»

Конечно, и у такого знатока и любителя старины, каким был Садовской, при желании можно найти не одну историческую неточность. Это обусловлено как уровнем современных автору исторических знаний, так и художественными задачами Садовского. Например, сегодняшнее лермонтоведение не склонно ставить историю с распечатыванием Лермонтовым доверенного ему для передачи Мартынову пакета (существуют разные мнения относительно достоверности этого эпизода) в связь с дуэлью, состоявшейся четыре-пять годами позже. Но одно дело — ошибки и погрешности подобного рода (вспомним, что Бориса Пильняка на повесть о Лермонтове «Штосс в жизнь» вдохновила беспардонная мистификация Павла Петровича Вяземского «Записки Омэра де Гелль») и совсем другое — ощущение эпохи. Дубельт, голышом принимающий подчиненного в кабинете, поскольку врач-де прописал ему воздушные ванны, в романе К. А. Большакова «Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского полка Михаила Лермонтова», император Николай Первый, выходящий к придворным в распахнутом халате, напоминающая больше Ноздрева, чем самодержца всероссийского («Кавказская повесть» П. Павленко), и подобного рода сцены, читая которые испытываешь стыд за авторов, у Садовского невозможны.

Понятно, что в эпоху, называемую ныне пушкинской, фокус общественного мнения не был сосредоточен на фигурах Пушкина или Лермонтова. «Пшеница и плевелы» говорит не столько о жизни великого поэта, сколько о вечных проблемах соотношения индивидуальной свободы и Божьего предопределения.

В душе Лермонтова сосуществуют «идеал мадонны» и «идеал содомский» (в поэте есть черты Дмитрия Карамазова, как отмечал Садовской в статье 1911 года). Противостоит Лермонтову Мартынов — человек без раздвоенности, в сущности, простой обыватель.

Итак, два человека. Один мог бы расшифровать подаваемые ему свыше знаки судьбы, но оказался не в силах совместить в своей душе священное с порочным, серафическое с демоническим — и в брошенной судьбе вызове проиграл. Проигрши — смерть. Другой никогда не задумывался о высших предначертаниях: судьба вела его по пути множества таких же, шифр жизни был несложен, но, свернув с этого пути и став убийцей своего приятеля, Мартынов, так же как и Лермонтов, проиграл в схватке с Роком.

Принадлежа по рождению и воспитанию к тому же обществу, что и Лермонтов, Николай Соломонович Мартынов значительно превосходил последнего успехом своей служебной карьеры. Будучи годом моложе Лермонтова, он вышел в отставку с чином майора, тогда как Лермонтов был только поручиком. О храбрости Мартынова свидетельствовало боевое отличие, сверх всего он, по описанию одного из современников, «был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин с выгнутым немного носом. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина». Писал Мартынов и стихи, даже недурные, то есть посредственные, чего для успеха в салоне было более чем достаточно. На наш взгляд, психологически невозможна гипотеза автора новейшего романа о Мартынове и Лермонтове «Каинова печать» А. Родина, который приписывает Мартынову зависть к поэтическому гению Лермонтова, некий сальериевский комплекс, разрешившийся дуэлью.

Успокоения Мартынов не знал до конца дней и даже после смерти. Вот как описывает его старость московский городской голова князь В. М. Голицын:

«Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку «Статуя Командора». Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из «Дон Жуана». Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре».

Непосредственным толчком к написанию «Пшеницы и плевел» могла стать история, услышанная Садовским либо от самого Константина Большакова, либо в передаче знакомых. В имении Мартыновых Знаменском после революции был устроен интернат для бывших беспризорников. Выслушав на уроке литературы рассказ словесника о судьбе Лермонтова, ребята ночью пробрались в фамильный склеп, набили мешок костями Николая Соломоновича и вздернули его на березе напротив усадьбы.

Концепция Лермонтова в романе Садовского глубоко индивидуальна (хотя и не вполне оригинальна) и может быть оспорена. Но думается, что она заслуживает не меньшего внимания, нежели представление Лермонтова в роли «поэта сверхчеловечества» (как это сделал не любимый Садовским Д. С. Мережковский) либо сознательного революционера, прямого продолжателя дела декабристов, гибнущего в результате злощезего придворного заговора (как в работах Э. Г. Герштейн).

В свое время Зинаида Гиппиус сравнила появление сборника рассказов Садовского «Узор чугунный» (1911) с куском драгоценной материи в куче грязных ситцевых тряпок. Публикация еще одного блестящего произведения Бориса Садовского подтверждает ее суждение. В настоящее время в петербургском издательстве «Северо-Запад» готовится к изданию том избранной прозы, стихов и драматургии Садовского под названием «Двуглавый орел», который позволит достойно представить этого писателя.

«Пшеница и плевелы» публикуется по рукописной копии неизвестной рукой, с авторской карандашной правкой, из архивного фонда Б. А. Садовского в РГАЛИ (ф. 464, оп. 4, ед. хр. 23).

Ему же лопата в руку его и отребит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою: плевелы же сожжет огнем негасающим.

От Луки, III.

Часть первая

ДЕВА

Окружи счастьем счастья достойную.

Лермонтов

Иван Иванычу Эгмонту довелось начать службу в Гатчинской гвардии у Цесаревича Павла. Как большинство старых гатчинцев, он на него и похож. Все в Нижнем знают бодрую крутую фигурку Ивана Иваныча в зеленом с красными обшлагами мундире, высокой треуголке и тяжелых сапогах.

Эгмонту первому поведал Павел Петрович свой пророческий сон накануне довременного конца. «Пригрезилось мне, будто Пален с Николаем Зубовым насильно хотят натянуть на меня красный мальтийский супервест: узко, не вздохнешь; я закричал и проснулся».

Несколько лет прослужив в Кексгольмском пехотном полку, Иван Иваныч женился по страстной любви на дочери заезжего художника Антонио Мутти; скоро овдовел, затосковал, вышел в отставку и поселился в Нижнем.

Единственный сын его, черноглазый задумчивый Владимир, от деда унаследовал способности к изящным искусствам. Он умеет хорошо рисовать, играет на скрипке.

— Немец — та же капуста: чтоб лучше могла приняться, необходимо ее пересаживать, — говаривал Ивану Иванычу старый приятель Егор Канкрин.

В новеньком беленьком домике майора Эгмонта на Малой Печерке голубая штофная мебель, изразцовые печи, овальные зеркала; потолок расписан яркими букетами. По стенам в широких красного дерева рамках гравюры покойного тестя: юноша с черепом, веселый толстяк за кружкой, утопленница в цветах. На антресолях гостит давний сослуживец, капитан в отставке. Зовут его Юрием Петровичем.

Божию милостью Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский, в вознаграждение усердной родителю Нашему службы, жалуюем отставному Кексгольмского полка майору Ивану Эгмонту в вечное и потомственное владение сто душ в Нижегородском уезде при селе Ближнем Константинове со всеми принадлежащими к ним угодьями.

.....

— У меня к тебе, Юрий Петрович, просьба.
 — Какая, Иван Иванович?
 — Володеньке-то скоро в Москву, в университет.
 — Так что же?
 — Так надобно мальчика экипировать. Съезди, сделай милость, после обеда на ярмонку; возьми мне тысячу из коммерческой конторы.
 — Хорошо.
 — Вот и доверенность. Да что с тобой? или дурно?
 — Я слышу голос Мишеля.
 — Постой. Так и есть: это он. Прямо в сад проходит, Николеньку ищет. Николенька с Володей в саду. Стало быть, и теща твоя приехала.

.....

Гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком и пятью дворовыми людьми сего августа 13 числа 1832 года остановилась в Нижнем Новгороде в доме отставного полковника и кавалера Соломона Михайловича Мартынова.

.....

Один из богатейших помещиков Пензенской губернии, Соломон Михайлыч Мартынов, по нездоровью жены постоянно проживает в Нижнем.

Рослый, степенный, благожелательный, всегда в застегнутом коричневом фраке, чулках и башмаках с золотыми пряжками, Соломон Михайлыч не изменяет стародворянским обычаям. В доме у него встают и ложатся рано; парадная дверь не запирается; в прихожей дюжина дряхлых лакеев вяжет шнурки на рогульках; тишину нарушает бой часов.

Родоначальник Мартыновых пан Савва выехал из Польши к великому князю Василию Темному и был поверстан поместьем. Усердно служили потомки его царям московским. Стольник Савлук правил посольскую должность; воеводе Борису за усмирение стрелецкого мятежа царь подарил драгоценную табакерку: «Нюхай табак и помни Петра».

Когда-то Соломон Михайлыч принимал участие в «Сионском Вестнике»; считался другом Лабзина и Гамалеи. В ранней юности, кочуя с полком по малороссийскому раздолью, любил беседовать на хуторах и пасеках с украинским мудрецом Сквородой. От него узнал юный прапорщик немало важных истин: о внутреннем и внешнем человеке, о плане мира, о познании себя. Пламенный старец перемежал вдохновенные речи игрой на свирели.

Из окон громадного барского дома в Нижнем легко разглядеть храм святейшего Тихона Амафунтского с белою колокольней, новое уездное училище и узенький деревянный домик, где зимовал в двенадцатом году поэт Карамзин. Налево от подъезда улица, спускаясь, ведет на Арзамасскую дорогу, обсаженную двумя рядами берез; свернув направо мимо Удельной конторы, выйдешь на обрывистый высокий берег Волги.

Позади мартыновских хором роскошный сад с китайскими беседками, качелями и фонтаном. Липы, клены, жасмин, шиповник, акация, оранжереи, парники. Пронзительные выкрики грачей, щебетанье касаток. Журавлятник, где вечно дерется пара журавлей. Павлятник, где на заборе четыре павлина, крича, распускают радужные хвосты.

.....

— Вы ведь знаете, кузен, что брат мой, Андрюша Столыпин, уже лет двадцать как потерял жену. Любил он ее без памяти, не мог никогда забыть, спал и обедал в гостиной под ее портретом. Портрет до потолка, в тяжелых

дубовых рамах. Вот две недели назад, накануне первого Спаса, раскладывает Андриюша пасьянс в гостиной. Вдруг чьи-то шаги и входит жена.

— Да что вы?

— Андриюша остолбенел. Покойница пристально смотрит ему в глаза. «Иди за мной, не то через час погибнешь». Поворотилась и вышла. А на часах ударило ровно три.

— И что же?

— Андрей поднял на ноги весь дом. Слуги ни живы ни мертвы: уж не рехнулся ли барин? Ну, сел он опять, отдохнул немного. Да и куда, на самом деле, идти? Ведь покойница исчезла.

— Что же дальше?

— Проходит четверть часа, половина, три четверти. Ему наконец смешно стало. Подавайте, говорит, обед. Пошли за супом, часы начинают бить, как вдруг портрет срывается и убивает Андрея.

— Успокойтесь, дорогая кузина. В этой жизни можно, как и в театре, наблюдать игру на сцене, но за кулисы не полагается ходить. Мир праху Андрея Алексеича. Расскажите теперь о вашем внуке. Николенька так любит его.

— Да нечего рассказывать, кузен. Оба они, и Мишель, и ваш Николенька, в переходном возрасте. Но у Мишеля нрав непостоянный. Даже Афродит ему надоел; теперь приходится подыскивать нового камердинера.

— А что Афродит?

— Из него художник вышел. Рисует и портреты, и декорации. Отдавала я его в Арзамасскую школу: так Ступин им не нахвалится. Поведения отменного, хмельного в рот не берет.

— Он, помнится, в нашу Маврушку был влюблен?

— Ох уж эта Маврушка! Мишель ее в третьем году нечаянно не то поцеловал, не то ущипнул, так ведь что было! Избаловала Натуленька девчонку.

— Вы правы, кузина. У дочки моей ни в чем нет меры. Любит она свою камеристку, как сестру.

По бабушке Мишель с Николенькой в дальнем родстве. Николеньке семнадцать лет, Мишель годом старше.

У Николеньки нежное лицо, он худощавый, высокий, с ровной поступью; смуглый Мишель приземист и кривоног. Николенька подвивает темно-русые мягкие локоны; у Мишеля на тяжелой голове непокорно ежится черная щетина. Голубые глаза Николеньки безмятежны; карие зрачки Мишеля беспокойно прыгают. Николенька смеется беспечным смехом; Мишель хохочет ядовитым хохотом. Оба сильны, но Мишель с проворством обезьяны может из железной кочерги навязать десяток узлов.

Николенька со всеми одинаково ровен; Мишель задира. На Николеньку дворня готова молиться: он первый заступник за провинившихся слуг; Мишеля дворовые не уважают и не любят.

Душа, живущая в заведомом грехе, подобна соколу с подрезанными крыльями.

Ленивец лежит у подошвы Фавора и смотрит на вершину; умное поле его между тем зарастает волчцами и тернием.

Одни приготовления к небесной жизни не помогут делу; так домыслы о цвете солнечных лучей не сделают слепорожденного прозревшим.

Перелески, овражки, кусты орешника. Владимир, задумавшись, с ружьем на плече неторопливо идет по широкому скошенному лугу. Справа блестит под высоким лесным берегом зеркальная Ока; слева из зарослей глубины оврага тянутся пышные верхушки столетних дубов и вязов. Ястребы покрывают, шепчется ручей.

Ясное небо и чистое поле, бурьян, ракиты; недостает святорусского витязя на коне. Как тихо! только краснокрылые кузнечики, треща, взвиваются и падают опять; только назойливо ноет оса над ухом.

Споткнувшись о белый лошадиный череп, Владимир очнулся, осмотрел ружье и щелкнул курком. Над оврагом, глухо каркая, кружился ворон.

Выстрел. Угрюмая птица шарахнулась, взмыла и шумно упала в куст.

— Ох и дурак.

Ярко-рыжий рябоватый парень в красной рубахе, скаля блестящие зубы, вылез из кустов.

— Дурак, право слово. Нешто ворона показано бить? Он тебе беду выкликал, и пушай: все бы по ветру рассыпалось. А ты его взял да и припечатал.

Владимир сдвинул брови.

— Ты знаешь, кто я?

— Как костянтиновских господ не знать? Изустал, поди; кваску не дать ли?

Избушка прилепилась над самым обрывом; четыре стены, стол, скамья; в переднем углу божница завешена белой тряпкой.

Хозяин с громким смехом взял жбан и вышел, ступая мягко, как кот. От сверкающих зубов и огненных кудрей Владимиру стало душно. Он выглянул в окно: усталый взор встретил все те же развесистые вершины осокорей и дубов. Остановясь у божницы, Владимир приподнял тряпку.

— Зря, барин, лезешь куда не след.

Оскалившись, рябой подкрался кошачьей походкой и опустил занавеску. Владимир повел плечом.

— Там нет ничего.

Парень разразился неистовым хохотом.

— Верно говоришь. Ничего там нету. А на нет и суда не будет.

Он с размаху хватил по столу кулаком, пытаясь сдержаться, и снова захохотал.

— Ты, барин, грамотный?

— Да.

— Так запиши на бумагу, что я скажу. Ваше господское дело пропащее. Я темный человек, а икону снял: потому уверовать желаю. Ты шибко учен, иконы есть у тебя, да умеешь ли на них молиться-то?

— Я молюсь.

— Из-под батькиной палки. У нас на монастырской поварне скворец тоже «Господи, помилуй» умел.

Парень хохотал до слез, до упаду.

Охотится Владимир с кремневым ружьем шведского мастера Медингера. Граненый ствол; затравка, курок и полка изукрашены тончайшей позолотой; ореховая вырезная ложа; шомпол медный.

На широком темно-зеленом погоне цветные вышивки: вот цапля, подняв ногу, выжидает в камышах; там ловит себя за хвост лисица; здесь выгибает крутую шею лебедь; тут зайчик притулился под кустом...

Все наши города страдальцы. Страдает и Нижний.

Вот уже скоро семь веков, как заложил его святой князь Георгий заодно с Благовещенским собором; проездом в Орду поставил здесь церковку Алексей митрополит. В Кремле двести лет почивает прах Козьмы Минина. Не их ли мольбами в лихие години спасается Нижний?

Через весь город тянется Большая Покровская улица: одним концом в берег Волги, другим в Крестовоздвиженский монастырь. По обеим сторонам ее храмы, часовни, дома, переулки, палисадники, заборы, канавки, пустыри.

Преподобный Макарий проклял Нижний Новгород: «Каменный сам, а сердца железные».

Под Коромысловой башней на счастье живую заложена девушка с ведрами и коромыслом.

В Печерском монастыре синодик Ивана Грозного.

Ранней осенью налетает на Нижний с Волги шальной ветерок; в такую погоду вешнее сердце дрожит беспокойно от непонятной тоски. И тогда на высоком крутом откосе какая-то струна начинает жалобно звенеть. Стонет ли это вечерний жук, замирают ли отголоски рогов охотничьих или, быть может, ища покоя, тоскует нераскаявшаяся душа?

— Как вам угодно, Мавра Ивановна: в беседке словно вольготней.

— Нет уж, Афродит Егорыч, лучше на лавочке. Скоро барышню ко все-нощной одевать.

— Можно и здесь. Стало быть, как же, Мавра Ивановна? Ответствуйте-с.

— Я согласна. Вольную, вы знаете, я получила; конечно, и вас старая барыня, коли попросите, отпустят безо всякого прекословия.

— Истину глаголете. Завтра же, ради праздника, и дерзну. Хотя человек я робкий и в Рыбах рожден.

— В каких, то есть, рыбах?

— А вот в каких-с. Жил-был в Москве на Сухаревой башне немецкий граф Брюс и календарь по звездам составил. Под каким кто месяцем на свет произошел и кому какая судьбина. А я родился в феврале, по-ученому в Рыбах. Что вы так тяжело вздохнуть изволили?

— Как же не вздыхать, Афродит Егорыч? Выйду я теперича за вас, а там еще что будет. Опять из Нижнего придется уезжать, и куда же: в самый Питер. Помилуй Бог. Третье дело: с барышней расставаться жалко.

— И все это вы напрасно-с. Как есть ничего страшного не предвидится. Я стану ходить в Академию, заказов наберу, вы по хозяйству будете заниматься. С барышней тоже не расстанетесь: ведь Соломон Михайлыч со всем семейством в Санкт-Петербурге поселиться намерены. И про Нижний вам скоро забыть придется, а вот я наши Тарханы век буду вспоминать. У нас ведь усадьба-то, можно сказать, королевская: один пруд чего стоит. А по аллеям хоть в карете шестеркой взад-вперед катайся. Так барчук, бывало, соберут нас всех: меня, Тимошку-поваренка, казачка Федула, форейтора Гришку, скличем девок, да и давай в горелки.

— Вот что, Афродит Егорыч: еще ко всеобщей не ударили; спойте мне ту самую песенку, что в запрошлом годе певали.

— Слушаю-с. Жалко, гитары нет.

Ах, сугробы вы, высокие снега,
 Что не ветром вас с полудня нанесло,
 Не метелицей с полночи намело.
 Ни пройти я, ни проехать не могу.
 Видно, воле моей девичьей конец:
 Поведут меня с немилым под венец.

Ну вот, вы и плакать изволите, Мавра Ивановна. Нехорошо-с.

Отрок, рожденный под знаком Рыб, есть флегматик, среднего тела и слабого естества. Имеет долгое лицо, изрядные очи, посредственный рот. Честного жития, добр и милостив, сладкословесен и ради малейшей вещи несмирен. Будет величайший в братии своей и скорого счастья. Супруга придет ему от чуждых руки.

Замерцали первые свечи в Крестовой церкви; прошел в алтарь иеромонах.

— Миром Господу помолимся.

И Натуленька под охраной престарелого ливрейного гайдука, крестясь, вступает в белые каменные ворота. Шуршит голубое со шлейфом платье вдоль древней стены, мимо узких стрельчатых окон, мимо слепых и убогих; под

легкими шагами чуть скрипят деревянные мостки. В сенцах потемнелые старинные картины: вот царь Саул бросает копьем в Давида, играющего на гуслях; вот из уст Первосвященника исходит пламенный обоюдоострый меч. Натуленька в церкви. Пахнет воском, ладаном, елеем, кадильным дымом: неизъяснимое святое благоухание!

Как василек во ржи, затаилась в толпе Натуленька; жарко молится. А позади, у свечного ларца, упав на колени, обливается слезами Маврушка; вздыхает, кладет без конца земные поклоны, просит у Владычицы помощи и прощения.

Приданое за девицей Маврой Ивановой. Икона Оранской Божией Матери: риза позолочена, стразовый венец. Серьги с сердоликом и подвесками; колец два: одно с изумрудом, другое с бирюзой. Платки: малиновый бордесца и синий драдедамовый. Платьев три: декосовое с прошивкой и оборками, цветной кисеи с фалбалой, шелковое с пикинетом. Куцавейка жидовского бархату с беличьей опушкой, на манер горностая. Два атласных салопы: один на лисьем меху, другой с куньим воротником.

— Давно не видал я тебя, Афродит. Ну, как поживаешь?

— Помаленьку, Владимир Иваныч.

— Ты, говорят, получил медаль?

— Серебряную, сударь. От Академии Художеств. Вы как подвизаться изволите?

— Ну, брат, мне далеко до тебя. Я дилетант, а ты художник настоящий.

— Как сказать, Владимир Иваныч. Это материя тонкая-с. Конечно, подражать натуре нестоящее дело. Воображением все можно обнять и покорить. Еще натуре-то эту самую учить приходится.

— Как так?

— А очень просто-с. Натура дура, в ней низкости много. Фламандскую живопись изволили смотреть? на кой она прах, ежели духа не возвышает?

— Откуда ты это взял?

— Да ниоткуда-с, а так сдается. В Пензе у нас студент гостил, так мы с ним про это самое много толковали. Не забыть мне его никогда, будь он трижды проклят.

— За что ты клянешь его?

— Да как же не клясть, помилуйте-с. Ведь он во мне образ и подобие Божие исказил. Обучался я спервоначалу на селе у дьячка: прошел азы, Часословец, Псалтырь и к службе церковной всем сердцем прилепился. Хотелось мне иконописцем стать. А связался я с этим комолым бесом, и все полетело вверх тормашками.

— Почему же?

— Потому что выбил он из меня справедливые понятия. С пустяков началось: «Ты, — говорит, — Афродиша, какие книжки читаешь?» — «Божественные, — говорю: — Печерский Патерик, Четьи-Минеи». — «А из светских?» — «Милорда Георга, Бову, Письмовник, Потерянный рай». — «Хочешь, дам Юрия Милославского?» — «Пожалуйте, Виссарион Григорыч». Ну, сами вы, сударь, можете понимать: книжка благородная, слов нету. Хорошо-с. Вот кончил я, приношу. — «А теперь Кавказского пленника почитай». Дальше — больше: Пушкин, Полевой, Московский телеграф, Марлинский, альманахи всякие, а по ночам беседы с Виссарионом. Не успел я путем спохватиться, а уж он меня выветрил дочиста. Приду в храм Божий, стою дурак дураком. Стучат по голове святые слова, как дождик по крыше, а в сердце не попадают. Сердце-то у меня мякиной набито: Телеграфом да Онегиным.

— Ты ведь сирота?

— Так точно-с. Сирота круглый. Отца я сроду не видывал и не помню-с, а матушка-покойница была незаконная дочь помещика Струйского. Мы состояли дворовыми у Юрия Петровича. А после матушкиной смерти барин

определил меня комнатным казачком. Тут же вскорости Юрий Петрович изволили сочетаться браком с покойницей Марьей Михайловной, а меня приказали отдать в ученье.

— Как же ты в Тарханы попал?

— А это когда молодая барыня скончались, Лизавета Алексевна, маменька ихняя, купили меня у Юрия Петровича, чтобы быть мне неотлучно при барчуке.

Свободу мою стесняет ли Бог? Никак. Во власти у меня быть кем захочу: и собеседником ангелов, и бессловесным животным. Пусть не небесный я, зато и не земной; хоть не бессмертный, но поистине не смертный. Должен ты стать, о человек, сам своим художником. В сердце у тебя семена всех Божьих миров; цвет и плоды сообразны будут уходу. Ежели ты возлелеешь пшеницу, — пшеницу и соберешь; ежели станешь воспитывать плевелы, — плевелы и получишь.

В сердце твоём скорпионы, ехидны, адские пропасти, но там же Трисительный свет невечерний, жизнь вечная, райское царство: там все.

Часть вторая

ВЕСЫ

Последний потомок отважных бойцов.

Лермонтов

Кошачьи меха вывозят в Китайское царство; там они меняются на чай. По деревням забирают их кошатники у баб и у девок за колечки витые зеленые, за пестрые ленточки, за стеклянные пронизки.

Пеньку мужики мочат зимою в студеных родниках; потом на снегу ее расстилают бабы: полотно от этого белеет.

Целые горы деревянной посуды везут из Симбирской губернии в Оренбургскую. Меняют посуду на хлеб: сколько ржи в жбан наберется, та и цена за него.

Из Курмышских и Алатырских угодий идет корабельный лес; из Московских и Ярославских — грибы на всю Россию; из Владимирских вишня, клюква, можжевельник, лен.

В Лыскове купцы после молебна на пристани угощают бурлаков водкой, потчуют пирогами и отплывают с песнями в Рыбинск на расшивах, распуская белые паруса.

— Да когда же все это случилось?

— Как раз перед Успеньем. Помнишь, мы сидели у нас в цветнике; вдруг появился Мишель.

— Помню.

— Папенька только что поручил Юрию Петровичу взять на ярмонке в конторе тысячу рублей. И вот уже третья неделя об Юрии Петровиче ни слуху ни духу.

— Ну?

— Папенька ожидал его со дня на день и никому ни слова не говорил. И только вчера я обо всем узнал от Афродита.

— А он откуда знает?

— От папеньки. Приказал во что бы то ни стало отыскать барина. Но если бы ты видел, Николенька, что сделалось с Афродитом, когда он узнал, что Юрий Петрович здесь. Он и крестился, и руки мне целовал, и плакал.

— Ну, а теперь расскажу и я кое-что. Мишель пропал.

— Как?

— Поехал вчера на ярмонку и не вернулся. Так что у Афродита теперь две комиссии. Я ему велел непременно Мишеля найти.

На Макарьевскую ярмарку бухарцы привозят халаты, шали, шепталу, фисташки; за бухарцами едут греки с косхалвой, рахат-лукумом, губками, орехами; грузины везут красную бумагу в мотках; армяне кизлярскую водку. Казанские татары торгуют шитыми туфлями, сафьянными сапогами, мылом.

Железный ряд тянется на две версты.

В галантерейных лавках заморские сукна: зибер, зефир, клер. Платки фуляровые, газовые вуали, муслин, коленкор.

На лотках стеклярус, медные крестики, серебряные цепочки, запонки, бусы, перстеньки, тавлинки со слюдой.

— И первым делом обошел я, сударь, все притынные местечки-с. По кабакам, по балаганам, по трактирам. Нет моих господ. Наконец того, один татарин показал мне домишко за Китайскими рядами. — Не здесь ли, говорит. Прихожу я, сударь Николай Соломоныч, вижу: ужаси подобно. Комнатенка: ну, свиной закуток чище-с; сор, паутина, а на диванчике драном барин Юрий Петрович, краше в гроб кладут-с. Я так и взвыл, на колени кинулся.— Батюшка барин, что с вами? Как вы сюда попасть изволили, батюшка? А он мне так спокойно: ничего, Афродиша; деньги я чужие потерял. И рассказали целую историю-с.

Деньги они тогда же сполна получили и зашли в Бубновский трактир. И подвернись им на грех полковник Древич, вы не изволите знать-с? С барином нашим в одном полку служили.

— Знаю.

— Ну, известное дело: сели закусить. Что уж там было и как, барин припомнить не могут, а очнуться изволили они у полковника. Хвать-похватъ, ан бумажника-то нет.

— Так.

— Полковник им резоны начал представлять. Деньги, слышь, через полицию разыщем, а ты покамест оставайся у меня. Юрий Петрович и жили у них ровно две недели. Только накануне Ивана Постного полковник вдруг приказали закладывать лошадей. Служба, дескать; никак нельзя. И уехали в Арамас. А барину беленькую покинули.

— Ну?

— Оставил я Юрия Петровича до послезавтраго. Обязался денег достать.

— Откуда?

— И сам не знаю-с. Авось Господь пошлет.

— А Мишель?

— Их я еще чудней сыскал. Как только, значит, с барином расстался, вхожу в трактир Обжорина, глядь, а барчук тут как тут. Винцо пьют и в карты играют.

— В карты?

— Так точно-с. С ним двое каких-то: один, похоже, подъячий, а другой, надо быть, гусар. И сразу видать, что барчук проигрались: страсть сердиты. Я, мол, пожалуйста, сударь, со мною: барыня беспокоятся. Так он меня чубуком.

— Ну вот что, Афродит: я сам туда съезжу.

— Пирожки, пирожки! Слоеные с говядиной, кондитерские с яблочком!

— Муромские калачи, калачики горячи!

— Вот пышки, блины, оладьи!

— Огурчики из Подновья, астраханские арбузы, персидский виноград!

— Анис и малет, едят и хвалят; яблоки садовые продаются!

— Лежит Лазарь, лежит весь изранен...

— Подайте слепому Христа ради.

— Ты прекрасная мати пустыня...

- Перцу, перцу!
- Пряники тульские, вяземские, тверские! На имбире, на малине, на мяте, на цукате!
- Московская коврижка, калужское тесто! Папошник медовый!
- На украшение святой обители...
- Бог спасет.
- Пожертвуйте на колокол, рабы Господни!
- Перцу, перцу! Цареградский, ариванский, забалканский! Перец запаляющий, самый злющий! Перец жжет и палит и старуху набок валит!
- Пирожки, пирожки!

— О, птица
Синица,
Твои крылья золотые
Улететь от нас хотели!

— Смотри, как донской казак Платов разит французских солдат и как Наполеон готовит суп из ворон. На здоровье, голубчики!

— Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.

— Помогите благородному человеку. Же ву при кельк шоз. Служил в кавалерии, в артиллерии, в пехоте и во флоте. Был у Шереметева певчим, теперь ходить не в чем. Жена вдова, дети круглые сироты. Будьте благодетелем.

— Перцу, перцу!

По дребезжащим половицам прошел Николенька в большую грязноватую комнату.

Между развалившимся буфетом и хромым диваном, под осыпавшейся люстрой, спит за столом среди тарелок и стаканов, уткнувшись лицом в грудку карт, растрепанный Мишель.

В углу за бутылкой беседуют двое. Короткая пауза. Усач в голубом гусарском доломане проворно вскочил и с достоинством расшаркался перед Николенькой.

— Вы кстати подоспели, милостивый государь. Нам необходимо расчесться с вашим приятелем.

— А много он проиграл?

— Только двадцать тысяч.

Мишель приподнял голову и зевнул. Опухшие сонные глаза уставились на люстру.

— Мишель, образумься.

Мишель захохотал и, прыгнув, как кошка, потащил Николеньку к окну.

— Слушай: сейчас мне привиделся сон. Сижу я здесь, понтирую, и вдруг вбегает маленький белый олень с золотыми рожками. А за ним старик. И слышу: поставь на пе три раза три тысячи.

Николенька бросил на грязную скатерть пачку ассигнаций.

— Мне удалось занять три тысячи ровно.

В гербе Мартыновых щит делится на две части. В верхней на серебряном поле из облака выходит в латы облаченная рука с мечом. В нижнем по полю голубому меж двух серебряных звезд полумесяц рогами кверху; над ним третья звезда.

— Ну, поздравляю, Мишель: сон в руку.

— Погоди, сначала разочтемся. Я выиграл двадцать четыре тысячи. Двадцать по картам, три тысячи твоих, остается еще одна.

— Давай ее мне. Подарю Афродите на свадьбу.

— Хорошо. Только жаль, что ты выгнал банкومتов. Славные они, особенно гусар.

— Стыдись, любезный. Что за дружба с шулерами?

— Ну, так еще шампанского! За твое здоровье.

— Послушай, Мишель, нам надо поговорить. Объясни, пожалуйста, откуда у тебя такие замашки? Владимир уверяет, что эта манера твоя, а мне сдается, что ты и сам своей манере не рад. Почему ты не хочешь сдерживать себя?

— Мне так нравится.

— Неужели природное чувство долга совершенно отсутствует в душе твоей?

— Сказать тебе правду, Николенька? Мне все равно.

В книжном шкапу Соломона Михайлыча три полки.

На верхней большая Елизаветинская Библия в темно-коричневом с медными застежками переплете, творения святых отцов и требник Петра Могилы. На корешках желтой кожи тисненные серебряные литеры; обрез красный.

Среднюю полку занимает Кантемир, Ломоносов, Державин, Петров, Херасков; труды Карамзина-историографа, Дмитриева-министра, Жуковского, воспитателя царских детей, храброго партизана Дениса Давыдова, кривого Гнедича, Козлова-слепца, Батюшкова, что сидит в сумасшедшем доме. Вот пизса «Любовное волшебство». Эту веселую книжку презентовал с надписанием сам покойный автор, служивший вице-губернатором в Пензе, известный стихотворец князь Иван Михайлович Долгорукий. Еще подарок: исторический роман соседа по имению и племянника по матери Миши Загоскина «Рославлев». Все книги в синем и зеленом сафьяне, с золотым обрезом.

Нижняя полка для умозрительных и религиозных трактатов. Тут и Фомы Кемпийского «О подражании Христу», и «Серафимский цветник» Иакова Бема, и Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры», и «Приключения по смерти» Юнг-Штиллинга, и «Наркисс» Григория Саввича Сковороды.

— Я вам не помешаю, Соломон Михайлыч?

— Володя, это ты? Входи, не стесняйся. Что отец?

— Папенька здоров, благодарствуйте.

— Полно, здоров ли? Он что-то не в духе.

— Оттого, что мне пора в Москву. А я все собираюсь спросить вас, Соломон Михайлыч: что есть Священный Союз?

— Как что? Разумное братство трех величайших монархий на основах христианской религии.

— Это я знаю. Но почему же в Союзе всего только Австрия, Пруссия и Россия?

— А кто бы мог с ними соединиться? Франция, что ли? Она отошла от Христа. Англия? Жестокая политика ее враждебна евангельскому слову. И ежели хочешь знать, Союз для того и создан, чтобы бороться с этими нечестивыми государствами.

— Понимаю, Соломон Михайлыч.

— Поищи на нижней полке зеленую тетрадь. Нашел? Это указ об учреждении Священного Союза. Слушай. — «Самодержец народа христианского есть Тот, Кому собственно принадлежит держава, то есть Бог наш, Божественный Спаситель Иисус Христос». Запомни это, Володя. Навсегда обязаны все мы признать главенство Христовой Церкви и утвердиться в исполнении ее законов.

Афродит ко дню ангела старой барыни нарисовал акварельный портрет ее.

В отчетливых, ровных, немного тусклых тонах розовеют молоджавые черты красивой старухи. Из-под блондового чепчика седые кудри выбиваются заветливыми завитками. Лицо круглое, с приветливой улыбкой; в черных живых

глазах благородство и сила воли: фамильные столыпинские черты. С плеча спускается на белый атласный капот турецкая шаль.

Портрет вставлен в синее паспарту с золотым бордюром.

-
- Афродит, куда ездил барин?
 - На охоту, сударыня.
 - Не говори пустяков. Где он был?
 - На ярмонке, сударыня.
 - Подай табакерку. Играл?
 - Так точно.
 - С кем, не знаешь?
 - Не могу знать.
 - Дай мне платок. А теперь подойди поближе. Юрий Петрович здесь?
 - Не могу знать, сударыня.
 - Опять ты врешь, Афродит. Мне все известно от Древича. Не смей ничего скрывать.
 - Слушаю, сударыня; виноват.
 - Помни: если они повстречаются, я тебя сдам в солдаты.
-

Юрий Петрович расстался с Кексгольмским полком двадцати трех лет.

Добродушный и беспечный, как дитя, он рожден красавцем. Тугие завитки каштановых кудрей, глаза как море, античный овал лица.

У дамского идола не было счета победам.

Если к столу подавался поросенок, жаренный с кашей или холодный в сметане, Юрий Петрович изящно закусывал водку поросычьим ухом. Веселясь на полковых пирушках с Эгмонтом и Древичем, мог сразу осушить бутылку шампанского. Кто-то обмолвился про него:

Свиним закусывает ухом,
Бутылку выпивает духом.

Еще юнкером успел Юрий Петрович промотать почти все отцовское имение. Легкомысленно-беспутная Венера, сжалившись над опрометчивым любимцем, уговорила слепого Гименея помочь ему. Юрий Петрович выгодно женился.

На неизбежный вопрос, почему образованная богатая барышня решилась выйти за армейского кутилу, все хором отвечали: да ведь он красавец.

Как незаметно промчались быстрые годы счастливого супружества!

Юрию Петровичу стукнуло тридцать, когда он овдовел. Его одинокое ложе опять обступили неумолимые призраки суровой бедности. На женино приданое нельзя было рассчитывать: все доставалось сыну. Но и его Юрий Петрович почти не знал: ребенка воспитывала бабушка. Не поискать ли новой партии и нового приданого? Увы! тяжелые последствия разгульной юности вдруг сказались и наложили на лик отцветшего Адониса неизгладимую печать.

Понемногу начал опускаться Юрий Петрович. То месяцами высиживал в разоренной родительской деревушке, то скитался по базарам и ярмаркам, то навещал друзей. Истертый архалук в сальных пятнах; заплаты на локтях; в висках седина; колючий подбородок все реже встречает бритву.

.....

Нечистота от множества и смешения. Полстакана чистой и полстакана нечистой воды дают стакан нечистой.

Для того, кто положился на волю Божию, прошедшее не потеряно, настоящее безопасно, будущее верно.

В скорбях помни: за пустыней ждет земля обетованная.

В грошовой комнатке, сторбившись на продавленном кресле, Юрий Петрович дрожащей рукой теребил ветхий галстук и пожевывал губами. Дверь распахнулась, ворвался Афродит.

— Батюшка барин, извольте! Ровно тысяча!

Юрий Петрович вздрогнул, сеть красноватых морщинок прорезалась на желтых, как воск, щеках.

— Это деньги чужие. Все мое богатство — серебряный олень на шнурке под жилетом. Возьми его.

— Молодому барину отдать прикажете?

— Какому барину? Ах, этому... Нет, нет, себе возьми. Прощай.

— Куда же вы, сударь?

— Я далеко. Тебе еще рано за мной.

Юрий Петрович вскочил, пошатнулся, схватился за грудь, захрипел и упал опять.

.....
 Фома Лермонт, питомец шотландских гор, сподвижник непобедимого короля Макбета, игроу на арфе и пением чаровал сердца. Тайны грядущего были открыты певцу-прорицателю. Белая златорогая лань унесла внезапно Фому в царство фей и эльфов.

Часть третья

СКОРПИОН

Не смейся над моей пророческой тоскою.

Лермонтов

В осенние ясные дни с городского откоса сквозит голубым прозрачным туманом заволжская даль. И опять непонятною скорбью томится сердце.

Не от этой ли глухой тоски спасались наши предки, когда на легких просмоленных челноках, целыми семьями, с убогим скарбом, в зипунах и лаптишках, пробегали, робко озираясь, великий водный путь от волжских истоков вплоть до Хвалынского моря?

Ведома была и князьям эта вещая кручина; чтоб ее размыкать, седлали они коней, скликали дружину и в обгон с быстрейшим ветром мчались неоглядной цветистой степью навстречу половецким ватагам. И где-нибудь под раkitой у пересохшей речонки, перед трескучим костром, пока попевала, капающая жиром, на конце копыта оципанная наскоро дичина, слушал рокотание Баяновых струн отдыхавший князь.

А разве не смиряла неотвязную печаль благодать молитвы? Не проходили разве один за другим по безмолвному бездорожью кроткие отшельники; не ставили там и сям келий, часовен, скитов, и разве не была перед ними раскрыта, как Библия, тайная книга жизни?

Два откровения ведает православный подвижник: небесное и земное. В Писании премудрость Слова и песней Давидовых; в пустыне звезды, птичьего голоса, шелест трав.

.....
 — Последний вечерок мне осталось служить вам, барышня: сердце над-рывается.

— Полно, Мавруша. Ведь ты теперь вольная и муж у тебя художник.

— Ах, барышня, на что мне воля? Куда ее? А муж как чужой. Уткнется в свои картины и знать ничего не хочет.

— Однако ты любишь его.

— Барышня моя, золотая голубушка, Наталья Соломоновна! Убейте меня, окаянную, прогоните с глаз долой!

— Да что такое? Ты уж не пугай меня. Сейчас же говори, слышишь?

— Слушаю, барышня. Все расскажу, как на духу. Не гневайтесь только. Позапрошлого года гостили у нас тарханские господа. И приказали вы мне в горелки бегать.

— Это когда тебе дурно сделалось?

— Да-с. Горела я с ихним барином, а догонял Афродит. Сами изволите знать, какая он рохля. Спотыкнулся об клумбу да и дрюкнулся, как мешок. Я только у павлятника остановиться хотела, а барин меня как схватят.

— Продолжай.

— Я и упала без памяти.

— Это все?

— Да-с. Только с того самого часу лишилась я покою. Полюбился мне барин пуще жизни.

— Зачем же ты Афродита обманула?

— Не его я, а себя хотела обмануть. Думала, замуж выйду, и дурь забудется. А она еще лютей. Хочу просить вас, барышня, да не смею.

— Не бойся, говори.

— Как бы Афродита моего отправить на ученье в заморские страны? Уеду я с ним, и всему конец.

— Хорошо, Мавруша, я устрою.

Афродит накануне отъезда в Петербург ночует в чуланчике рядом с комнатой барчука. Любопытные лунные лучи, скользя, дают разглядеть на круглом столике зеркало, шкатулку, карманные серебряные часы, ящик с красками, кисти и палитру. У кровати на стуле сюртук с пелериною, картуз и трость.

Что за живописный уголок в горах! такие точно пейзажи приходилось Афродиту копировать в Ступинской школе. Только на этом ландшафте облака как огневые ключья; трава пылает ярко-зеленым бархатом; в озере вода точно синий купорос; белее сахара горные вершины. И на уступе скалы Афродит, замирая, видит великолепного старца в пышной лазурной мантии. Старец вдохновенно опирается на арфу; к ногам его припал, склонясь златорогой головкой, маленький белый олень.

— Вот я и дома, — радостно вспоминает Афродит. Ему хочется погладить оленя, приласкаться к старцу; непонятная сила удерживает его. Старец и олень расплываются, клубятся, тают, исчезают. Чу! колокол. На утесе, в розоватой утренней полумгле светится белый храм.

Отпустила я, гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева, крепостного своего человека Епафродита Егорова на волю. Отныне и мне, и nasledникам моим до него дела нет и волен он выбрать род жизни, какой захочет.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь. Господь тебя благословит. Как имя твое святое?

— Николай.

— Клади поклон перед Царицею Небесной; помолимся. Теперь приложись. Ну, что?

— Точно огнем обожгло.

— Слава Тебе, Господи. Посиди со мной. Крест уготован тебе тяжелый. А ты не бойся. Не одни премудрые садовники получают награду: будет дано и тем, кто в вертограде Христовом исторгает ядовитые плевелы из Его пше- ницы.

— Я, батюшка, не понял ничего.

— И слава Богу, что не понял. Это дело хозяйское, не наше.

— Как же мне быть?

— Во всем полагаться на волю Божию. Вот самая мудрая надежда. А теперь прощай: иди, на что послан. Боже, пощади создание Твое.

Под вековой раскидистой липой, в невылазной чаще бурьяна, крапивы и лопухов притаилась бревенчатая келья. В ней семь больших деревянных подсвечников, икона Матери Божией, на скамье в изголовье камень.

Печерский старец среднего роста, коренаст, сутуловат. Светлая борода с выступающими длинноватыми усами; глаза как васильки.

Нынче в день Покрова Пресвятой Богородицы старец служил раннюю обедню.

— Ступай, — шепнул Николенька Мишелю.

И медленно начал спускаться по шатким ступенькам. На душе точно в безоблачном осеннем небе. Краснеют, золотятся и дрожа, последние листья на облетевших ветках; высоко звенят, перекликаясь, запоздалые стаи журавлей.

Николенька не успел дойти до монастырских ворот. Внезапный треск и тяжелый прерывистый топот заставили его вздрогнуть. По тропинке мчался Мишель, взъерошенный, красный, сжимая кулаки.

— Что с тобою?

— Он меня избил.

— Не может быть.

— Избил, говорю. Как схватит вдруг палку и на меня. Я кричу: батюшка, что вы? А он свое. Отколотил, да и вышвырнул за дверь.

— И ничего не сказал?

— Ни слова.

На ярмарке, у краснобородого в белой чалме азиата, ко дню рожденья Мишеля бабушка нашла бухарский халат.

Золото-синие и черно-зеленые переливы павлиньих перьев изузорили плотную парчу; чешуя океанской крылатой рыбы, хвосты райских птиц разбегаются, искрятся и струятся. Тут и там набрызганы алые розы, наляпан багряный мак. Шемаханская шелковая подкладка играет на солнце то огненным, то радужным самоцветом.

Белая спальенка Ивана Иваныча точно алебастровая бонбоньерка. Ширмы как мел; простыни и подушки чище снега; с потолка прозрачный фонарик светит матовым пятном.

Двери Тихоновской церкви настежь; звонят к обедне. С улицы Ивану Иванычу виден иконостас; лики угодников дышат любовью и кротостью.

Из царских врат выходит Император Павел: под малиновой мальтийской мантией цареградский далматик; в правой руке осьмиконечный крест.

— Я иерей по чину Мельхиседекову.

Император осенил народ крестом и скрылся в алтаре.

Мимо Ивана Иваныча спешат богомольцы. Сколько знакомых! Соломон Михайлыч и жена его, Николенька с сестрой, Юрий Петрович, Афродит.

Император опять появляется с чашей; на нем терновый венец.

— Мир всем.

Вот прошли покойница жена и Володя. От нестерпимой тревоги Иван Иваныч готов упасть. Беспомощно он простирает дрожащие руки и безнадежно кричит:

— Пустите меня!

Но лики с иконостаса глядят сурово. Император вознес чашу: все пали ниц.

— Пустите, я хочу быть с вами!

— Ты не наш.

Каждодневно выметай свою избушку, да имей хороший веник.

Станови утром и вечером самовар, да грей воду, подкладывая угли.

Все делай не спеша, помаленьку; добродетель не груша: сразу не съешь.

— Намерен я, Володя, говорить с тобой.

— Приказывайте, папенька.

— Дай совет мне.

— Что вы, папенька; смею ли я?

— Не только смеешь, обязан. Давно уже смущаюсь я, что мы разных вер. И нет надежды у меня соединиться за гробом с тобою и твоею матерью. А вы эту надежду имеете. Восточная церковь сольется с Западной при конце веков.

— Успокойтесь, папенька, умоляю. Что это у вас?

— Это? Видишь ли, Володенька, ходил я к старцу.

— К старцу? Вы?

— И не один, а с Древичем.

— Что же старец?

— Не знаю, о чем он Древичу говорил, только выскочил Древич от него весь красный и без орденов. Батюшка тут же ордена ему вынес. — «Оттого они свалились с груди твоей, что получены не по заслугам». А мне дал вот этот листочек. Я прочитал, но не могу понимать.

— Что же тут непонятного, папенька? Изба — это душа христианская, веник — покаяние. Самоваром называет старец молитву.

— Володенька... Я больше не могу... я хочу быть с вами... С моим благодетелем Государем, с друзьями моими, хочу жить вечно. Решился я, дружок мой, принять православие.

Натуленькин альбом в темно-малиновом с золотыми гирляндами и веночками переплете; чеканная застежка в виде египетского жука.

На заглавной странице Николенькин французский мадригал с карандашной виньеткой.

Акварель Владимира: белые развалины среди голубых утесов; желтая луна; всадник в бурнусе и тюрбане скачет по кремнистой тропе.

Мишель старательно отгушувал степного ворона, поникшего над лирой; стихи к рисунку трудно разобрать.

— Вы не можете не видеть моих чувств, Натали. Боже мой! Жить подле вас, бродить по этим улицам, дышать одним воздухом с вами... Натали, я вас люблю: Нам предстоит разлука, но... что бы со мной ни случилось, я буду вечно ваш.

— Что же вы хотите, Вольдемар?

— Натали, не лишайте меня надежды. Неужели не ясно для вас, что Мишель недостоин любви вашей?

— Может быть. Но куда он жив, мое сердце принадлежит ему.

Грандиозный сияющий бальный зал. Оркестр поет. Плывут и падают волны полонеза. Дамы улыбаются Николеньке; та, что всех прекрасней, подает ему букет белых роз.

Конца нет роскошным покоем; сколько гостей!

Но чем бы ни вздумалось заняться Николеньке, куда бы ни пошел он, за ним неотступно следят чьи-то черные глаза.

Чьи? Он вспоминает и не может вспомнить.

Пробует Николенька забыться в певучих разливах вальса: зловещие глаза насмешливо смотрят вслед; пытается утопить тревогу в шипящей пене: под пристальным взором дрожит в оробелой руке бокал. Николенька подходит к зеленому столу, ему повезло, но опять сверкнули хищные глаза — и карты смешались.

В ярости бросает он белый букет в ненавистное лицо.

Раскаты грома, удушливый тяжелый дым; светлые залы рушатся. Над обломками встает исполинский крест.

Николенька хочет отступить; крест упал на него. С треском ломаются кости, кровь струится. Непроглядная тьма.

Вдруг издали блеснул огонек. Все ближе он светит, и тьме его не объять. Николенька проснулся: в переднем углу под иконами сияет лампадка.

Дорожный погребец обтянут барсучьей кожей; четыре медных скобки по углам.

Ключ щелкнул; под крышкой серебряный плоский ящик с десятью фаянсовыми перегородками; в каждой варенье: клубничное, вишневое, смородиновое, малиновое, костяничное, из крыжовника, из китайских яблочков, из дынных корок, розовая пастила и сотовый мед.

Николенька снимает конфетный прибор и видит на подносе провесную ветчину, телятину, белорыбицу, пирожки, цыплят, творожный с тмином сыр.

Снят и поднос; под ним блестит восьмигранный походный самоварчик; четыре выгнутые ножки у него отвинчены и хранятся отдельно с ложечками, вилками и ножами. Китайская лаковая чайница, солонка; судки с уксусом, перцем и горчицей; плетеная фляжка; в ней ром.

Российский необъятный простор однообразен лишь с виду. Разумеется, если скакать сломя голову с курьерской подорожной, вряд ли что разглядишь, кроме пестрых будок и часовых.

Везде одни и те же бесконечные столбовые и проселочные дороги; ряды берез, канавы, шлагбаумы, мосты, полосатые столбы с цифрами; города, городки, городишки, села, деревни, хутора. Везде помещики, чиновники, офицеры, попы, купцы, мещане, солдаты, мужики, и как будто все на одно лицо. В каждом городе белый с колоннами собор, серые казармы, желтые присутственные места, кирпичный острог. Те же фраки, рясы, мундиры, поддевки, армяки, сарафаны, платочки, шали, чепчики. И как будто все те же исправники и те же заседатели колесят, трясясь над ухабами, в крытых и некрытых тарантасах, вдоль дремлющих степей и колыхающихся нив.

Так кажется случайному путнику, зевающему в тележке под надоедливое неровное звяканье почтового колокольчика, а попробуй этот путник пристать где-нибудь в захолустье да пожить с неделю, чего только не увидит он, чего не услышит!

Вот этот город славится крупичатыми калачами, а тот зернистой икрой; один солит огурчики и квасит капусту, другой откармливает поросят и гусей. Здесь кардамонная водка, какой и в Москве не сыщешь; тут пироги с груздями, там крендели с анисом. Где торгуют гречневой крупой, где конопляным маслом; мед, рыба, куры, пряники, яблоки, платки, кушаки, сало, деготь в каждом городе особенные, свои.

Вот городок, где со времен Ярослава все так и осталось; где монастырь такой древний, что дух захватит, как взглянешь; монахи покажут келью Ивана Грозного со следами царского посоха на каменном полу, колокола, в которые трезвонил благочестивый царь Федор, меч князя Пожарского. Свято хранится родная старина на святой Руси.

Ну, а жители? Этот раздобревший красноносый городничий, должно быть, только и знает брать взятки, закусывать да разъезжать по гостям; нет: в городе каждому известно, что уже много лет толкует он Апокалипсис и ведет глубокомысленный дневник. Долговязый смеющийся юноша в халате вечно торчит с шестом на голубятне; наверно, какой-нибудь Митрофанушка; не тут-то было: он сочиняет стихи и состоит в переписке с самим бароном Брамбеусом. А толстый купец? что у него за душой, кроме самовара да кулебяки с сомовым плёсом? Но и купец не чужд церковной учености: он разрисовывает заставки в книгах, выводит лебяжьим пером на пергаменте икосы и кондаки, читает за обедней Апостола. А слышал ли кто, о чем беседуют эти люди с женою и детьми, с друзьями и знакомыми, как молятся и как веселятся, никем не зримые, укрытые от посторонних и чуждых глаз?

И что за причудливый, ни с чем не сравнимый, сказочный путь от Нижнего до северной столицы! Что за лошади, что за тарантасы, что за ямщики! Один в высокой белой шляпе с павлиньими перьями не свищет, а заливается со-

ловьем; дуга расписная, конские гривы перевиты цветными лентами, хвосты заплетены. У другого узорные шитые рукавицы и борода во всю грудь; наборная сбруя, глухари, бубенцы; на звонком валдайском колокольчике вылиты: «Купи, денег не желей, со мной ездить веселей». А сколько дорожных приключений! Какие встречи на станциях, какие знакомства! Какие рассказы и разговоры за ароматной чашкой горячего чая, за мягкими баранками!

Вон там, подле самой дороги, растянули лису борзые; соскочивший с коня охотник трубит и торопится к ним, выхватывая кинжал. С медлительным скрипом ползет тяжелый обоз. Проезжие татары в тюбетейках и халатах творят вечернюю молитву, сидя рядом на разостланной кошме. И обратный ямщик верхом на кореннике, побрякивая дугою, загляделся на зарю; призадумавшись, затянул заунывную песню и поехал шагом.

По указу Его Императорского Величества недорослям из дворян Михаилу Лермонтову и Николаю Мартынову, отправляющимся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, давать на станциях по три почтовые лошади с проводником за указные прогоны.

Часть четвертая

ВОДОЛЕЙ

Обрывки безыменных чувств и мнений.

Лермонтов

Новогоднее ясное утро. Мороз и солнце.

Весь Невский проспект от Адмиралтейства до Лавры сияет и лоснится. На улицах ни души. Только серые будочки неподвижно красуются, опираясь на алебарды; только пробегают зеленые почтальоны в высоких киверах.

На курантах Петропавловской крепости пробило девять. Столица пробулдась.

Сотни и тысячи ног, спускаясь с кровати, попадали в туфли бархатные, кожаные, ковровые; сотни и тысячи рук брались за виндзорское и неаполитанское мыло, за венгерскую воду, за цветные и граненые склянки с одеколоном. Лилась из серебряных, хрустальных, медных кувшинов холодная вода. Десятки тысяч подбородков доверчиво отдавались золингенским и аглицким бритвам в костяных, роговых, деревянных черенках; усы и бакенбарды подкрашивались, подкручивались, расправлялись дымящимися щипцами; хохлы взбивались, аккуратно зачесывались височки; под париками и накладками исчезали лысины. К свежим ирландским и голландским сорочкам приветливо льнули то азиатский халат, то европейский шлафрок.

Но вот уже туфли принимаются скользить и шлепать, пробираясь к медным самоварам и серебряным кофейникам, к саксонским и северским чашкам. Уже начинают дымиться гаванские сигары, трабукосы из маисовой соломы, русский Василия Жукова табак.

Завтрак окончился, халаты и туфли сброшены, их сменяют мундиры, то красногрудые, то белые, точно сливки, то сплошь залитые золотом, в эполетах, аксельбантах, орденах.

И фраки показали из шкапов: оливковые, синие, кофейные, с высокими воротниками, с узкими обшлагами, с рядами золотых, перламутровых, бронзовых пуговиц. Запестрели атласные и шелковые жилеты; на батистовых манишках пестро завернулись галстучные банты.

Двенадцатый час. Мундиры и фраки спешат в переднюю; с вешалок грузно валятся на них тяжелые шинели на красных и черно-бурых лисицах; куньи, енотовые, медвежьи шубы; элегантные бекешы с бобровыми и собольими воротниками. На завитые, напомаженные, гладкие прически мягко ложатся то

треугольная шляпа с белым султаном, то золоченая каска, то кивер с двуглавым орлом.

После торжественного выхода в Зимнем дворце Государь необозримыми анфиладами парадных покоев проследовал на половину Наследника. Часовой у дверей сделал на караул.

— Какой губернии?

— Казанской, Ваше Императорское Величество.

— Медовая сторона.

Через полчаса Государь проходил обратно; часовой продолжал стоять.

— Скажи мне, каков должен быть исправный солдат?

— Исправный солдат ведет себя честно, трезво, порядочно, верен Государю, послушен начальникам, бодр и расторопен.

— Молодец. Когда сменишься, возьми на скамье гостиниц.

После смены часовой нашел на указанном месте два румяных яблока.

Государь в расцвете красоты и мужества: ему сорок лет. Он высок и прям, как сосна, с широкими плечами, с выпуклой грудью, с классическим профилем, с орлиным взором, с голосом сильным и звучным, как серебряная труба. Явственно слышится этот могучий голос от одного конца Царицына луга до другого и на маневрах покрывает гром орудий. Величием благородной красоты Государь не уступает Аполлону. Когда проезжал он по римским улицам к папе Григорию в полной конногвардейской форме, итальянцы кричали: «Как жаль, что ты не у нас царем!»

Лицо Государя беспрестанно меняется, все отражая, как в зеркале; только хитрости, лжи и лести не знают эти целомудренные черты. Бессознательно властный поворот головы в минуты раздумья придает ему строгий и грустный вид.

Спит Николай Павлович на походной кровати под солдатским плащом; встает до рассвета. Сквозь стекла огромных окон прохожие видят по утрам величавую фигуру у стола за бумагами при четырех свечах. Обед скромный, блюда русской кухни, чашки три крепкого чая; ни табаку, ни вина.

Зато и двор его первый в Европе по пышности. К новому году в придворном штате двести камергеров и две тысячи камер-юнкеров; дворец переполнен фурыерами, скороходами, арапами, взводами дворцовых grenадер. По обычаю новый год открывается великолепным маскарадом: дамы и кавалеры в domino проходят через царские покои. Всем в этот день свободный доступ во дворец, всем, от министра и до уличной торговки.

В приказе по кавалергардскому Ее Величества полку от 1 января 1837 года отдано о разрешении поручику барону Георгу-Карлу Дантесу вступить в брак с флейлиной Высочайшего двора Екатериною Николаевной Гончаровой.

После привольной студенческой жизни в Москве я долго не мог привыкнуть к стесненному существованию петербургского чиновника.

Мне обещано место в департаменте государственного казначейства, а пока я хожу ежедневно к министру на дом для вечерних занятий.

У графа заведен строжайший порядок с математически точным расчислением времени, между тем сам хозяин не без странностей. Наружность его довольно оригинальна. Он порядочного росту и крайне худ; вдоль впалых щек седые бакенбарды; над глазами зеленый зонтик. Я упомянул о вечерних занятиях; это не совсем так: вернее называть их ночными. Уже много лет министр страдает бессонницей; по этой причине для большинства подчиненных назначен прием по ночам. Я просиживаю в кабинете графа от полуночи до трех часов утра, и при мне то и дело приезжают чиновники с докладами.

Иногда после занятий, когда весь дом давно спит, мы с графом разыгрываем скрипичные дуэты.

Таков граф Егор Францевич Канкрин, министр финансов, главный и непосредственный мой начальник.

Разумеется, еще задолго до Нового года я навестил нижегородских друзей.

Соломон Михайлыч постарел и редко выезжает; все свободное время проводит он подле страдальческого ложа своей супруги. Николенька красавец: кавалергардский мундир чрезвычайно идет ему; в чертах прекрасного цветущего лица какое-то горделивое добродушие.

Натуленька... нет, я не смею называть ее этим именем. Когда впервые после четырехлетней разлуки предстал передо мною ее божественный лик, я понял, что любовь идеальная, чистая и святая ни на секунду не угасала в душе моей.

У Николеньки я часто встречаю его полковых товарищей: Полетику, Бетанкура, князя Куракина, барона Дантеса. Круг моих знакомств приметно расширяется: теперь я принят у князя Одоевского и у графа Виельгорского. С двумя последними меня сблизила любовь к музыке.

Барон Дантес красивый, видный, превосходно воспитанный молодой человек моих лет. До мозга костей легитимист, вандеец; из Сен-Сирской школы исключили его за монархическую манифестацию. Он не унывает и верит в свою звезду. Сошлись мы быстро; я даже получил приглашение к нему на свадьбу.

Мишель из Царского Села, где стоит его полк, ездит постоянно в столицу: общее правило молодых лейб-гусарских офицеров. Он все такой же: большеголовый, сутулый, с тем же пронзительным взором и едкими гримасами. Бабушка в нем по-прежнему души не чает.

Ровно неделю назад, в воскресенье утром, Мишель явился ко мне. — «Едем, Володя, в мастерскую Брюлова смотреть новую картину». Отправились. Мишель всю дорогу рассказывал анекдоты, и мы незаметно приблизились к цели нашего путешествия. Самого Брюлова дома не было, но нас впустили. Картина еще не совсем закончена. Это историческая композиция, суровая и мрачная. В мастерской присутствовал и давал объяснения молодой гвардейский поручик Гайстер. По фамилии я принял его за немца, но оказался он полтавским хохлом. (Гайстер по-малороссийски значит аист.) Покуда мы рассматривали картину, дверь тихо отворилась; вошла девушка, молодая и красивая. Гайстер нас с нею познакомил, сказавши, что это натурщица, панна Клара. Мишель сразу начал волочиться за ней, меня же всего более поразило удивительное сходство юной польки с горничной Натуленьки, которую года четыре назад выдали за камердинера Афродита.

— До чего эта натурщица похожа на Маврушку, — сказал я Мишелю, возвращаясь от Брюлова.

— На какую Маврушку?

— На камеристку Натали Мартыновой.

— Какая у тебя счастливая память. Никакой Маврушки я не помню, а с этой Klarой не худо свести интрижку.

Надо же было так случиться, что на следующий день довелось мне услышать и о Маврушке. Я отдыхал у себя; вдруг входит мой человек с докладом: живописец Егоров. Велико было удивление мое, когда в неизвестном посетителе узнал я Афродита.

Передо мною стоял одетый по моде молодой человек с изысканными манерами. Заговорить на «ты» я не решился и предложил ему стул. Он сел скромно, без малейшего стеснения. Из краткой беседы я узнал, что эти четыре года он и жена его провели в Италии, откуда возвратились недавно с «Последним днем Помпеи», и что только накануне от Гайстера уведомился он о моем здесь пребывании. Теперь Афродит пришел просить меня в крестные к сыну Михаилу.

Обряд совершился третьего дня; кумой была Варвара Николаевна Асенкова, знаменитая актриса; на зубок новорожденному положил я клюнгер.

Афродит поселился на Гороховой в прекрасной квартире. Входя к нему, видишь сразу, что попал к художнику. На всем поэтический колорит: изящная мебель, картины Брюлова, Моллера, Мокрицкого и самого хозяина; рисунки, гравюры, бюсты.

Асенкова вблизи еще привлекательней, чем на сцене. С нею приехал актер Максимов, завитой и разодетый по картинке: фат Максимушка, так величают его приятели. Кроме трех-четырех гостей, ничем не замечательных, на крестинах присутствовал петербургский комендант Иван Никитич Скобелев.

Вечер пролетел, как минута. Асенкова спела несколько куплетов из водевиля «Девушка-гусар»; Максимов прочитал монолог принца Гамлета. Но всего интереснее были рассказы генерала. Вот человек вполне оригинальный! Одну руку оторвало ему французское ядро, на другой недостает половины пальцев.

Виконт д'Аршиак дерзнул спросить Государя: «Для чего в России ежегодно умножается число войск?» — «Для того, чтобы меня не спрашивали о том».

В одной из дворцовых зал на ковре, как на сцене, вместо кулис высокие ширмы, стулья, стол.

Государыне сегодня нездоровится; для нее идет без костюмов и без суфлера салонная пиэса барона Корфа «Белая камелия» из четырех действующих лиц.

Присутствуют: Государь, Государыня, великий князь Михаил Павлович и министр Императорского двора старый князь Волконский.

После спектакля четыре камер-лакея внесли стол с чаем, фруктами и холодным ужином.

Асенковой Государь, подойдя, сказал:

— Вы играли бесподобно.

Актриса сделала глубокий реверанс.

— Как это хорошо у вас выходит. Попробую и я.

Государь присел.

— А ниже нельзя?

Асенкова присела еще ниже. Государь засмеялся:

— Ну, уж извините: мне так не сумеь.

Ласково потчует Императрица актеров. Михаил Павлович с улыбкой заметил, что Каратыгину не подходит фамилия: по росту он выше Государя.

— Сейчас увидим.

Император и трагик стали спиной друг к другу. Великий князь смеялся над ними.

— Однако, Каратыгин, ты выше меня.

— Длиннее, Ваше Величество.

— А ты, Сосницкий, говорят, меня удачно копируешь. Ну-ка, представь.

— Не смею, Ваше Величество.

— Не умеешь?

— И не умею, и не смею.

— Вздор, слышать не хочу. Представь сейчас же.

Сосницкий встал, застегнулся, выпрямил грудь, приосанился, заложил большой палец за пуговицу фрака и голосом Государя сказал:

— Волконский, дать актеру Сосницкому тысячу рублей за усердную службу.

Государь расхохотался.

— Ну что ж, Волконский, исполни.

Пистолеты Кухенрейтера с двойным шнеллером; ствол вороненый, насечка золотая. Цена за пару со всеми приборами в ящике королевского дерева триста рублей серебром.

У молодого профессора Никитенки в левом кармане жилета под вицмундирным фраком круглая табакерка с портретом Байрона; в правом другая, с портретом Карамзина. Первую Никитенко достает при студентах, вторую при сановниках. Издали может показаться, что у профессора одна табакерка.

Между тем он нюхает из двух.

В громадном министерском кабинете жарко трещит исполинский камин, плавают три гигантских канделябра. Величавый хозяин с высоких кресел взглянул благосклонно на тщедушного профессора.

— Ваша докладная записка, любезнейший, обильна зрелыми мыслями. Но в ней нет руководственной идеи.

Никитенко покраснел. Грациозно поднявшись, министр подошел к камину и взялся за щипцы.

— Смотрите, что я делаю. Стоило немного помешать, и весь камин стал другим. Куда девались дымящиеся угли? Мы видим один мягкий и ровный жар.

Уваров вернулся к столу.

— Здравую государственную идею можно уподобить щипцам каминным. А русская идея отныне и до века: православие, самодержавие, народность.

— Ваше высокопревосходительство...

— Подождите, любезнейший. Народность наше вековое сокровище, с ним ничего не страшно. Монархическая власть в союзе с церковью может создать поколение просвещенное, благонамеренное и единообразное.

Уваров встал и вышел. Едва успел озадаченный словесник достать табакерку, как министр возвратился вновь.

— Итак, любезнейший, необходимо исправить ваш труд сообразно словам моим. Покажите табакерку. У меня пристрастие к подобным вещицам.

Никитенко, вскочив, поспешил исполнить желание начальника. И вдруг смутился.

Вместо сосредоточенно-строгого историографа на полированной крышке дерзко улыбался буйный певец «Чайльд Гарольда».

Но Уваров не сказал ничего.

В магазине русских книг Александра Смирдина на Невском проспекте продолжается подписка на «Библиотеку для чтения», журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод.

Кукольник живет в Фонарном переулке.

Ныне в его холостой неопрятной квартире сугубый беспорядок. На полу дешевые пестрые ковры, у окна медный треножник: не для фимиама, а для жженки; с потолка улыбаются бумажные фонарики, со стен подмигивают разноцветные свечи. На обеденном круглом столе графин водки, подносы с закусками, красное и белое вино, коньяк; дымится кулебяка.

Длинноногий толстогубый хозяин на председательском месте весело щурит заплывшие глазки, дымя чубуком. Рядом кругленькая пухлая фигурка Брюлова: мраморный лоб в золотых кудрях, но лицо отекло; короткие ножки еле хватают до полу. По другую сторону хозяйского кресла хмуро кривится вогнутой, с тонкими губами профиль Глиники. Сегодня налицо все рыцари круглого стола: добродушный Платон, брат хозяина; в отличие от Нестора его называют Ключокольник; толстяк-художник Яненко, он же Пьяненко; театральный доктор Гейденрейх по прозвищу Розмарин и двое гвардейских поручиков: весельчак Булгаков и скромный Гайстер.

— Поминальный стол открывается, — громко сказал хозяин. — Яненко, протокол.

Обрюзглый Яненко разгладил густые бакенбарды.

— Знаменитая пробка берлинского фигурного штофа, с душевным прискорбием извещая о внезапной кончине оногo, последовавшей от неосторож-

ности Карла Павловича Брюлова, покорнейше просит на поминавание в Фонарный переулок, в среду двадцать седьмого января, к двум часам дня.

— А теперь милости просим.

Поминки длились весело и шумно. Хлопали пробки, бокалы звенели, остроты и каламбуры сыпались. И только Глинка болезненно морщил нос.

— Объясни по крайней мере, чем ты страдаешь? — спросил его через стол Брюлов.

— Plexus solaris шалит.

— Мишка, оставь свой plexus, — хихикнул хозяин. — Господа, предлагаю спеть новый гимн.

— Bravo, ура!

Костенька Булгаков
Ночью в два часа
При сниманьи фраков
Тянет хереса.

— Про хереса это сушая правда, а только при чем тут фрак? Я хожу в мундире.

— Для рифмы, дружок, для рифмы.

— Разве что для рифмы.

— Господа, Афродит явился! Гимн!

Афродит Егоров
Выпить не дурак
И без разговоров
Пробует арак.

— Да он, братцы, в трауре. Что за притча? Смотрите, как вырядился: в черном весь и при белом галстуке. Откуда ты, Афродит?

— Хоронил Колю Греча.

Глинка вдруг вскочил и пустился впрыскалку. Все подпевали, хлопая в ладоши:

Зайнька, попляши,
Розан, Розан, попляши!

Глинка прыгал, как настоящий заяц. Бакенбарды растрепались, галстук сехал, черный хохолок взмок.

— Вот этак-то лучше. А то вдруг plexus solaris...

— ...как живой, весь в цветах. Белые перчатки, мундирчик с золотыми петлицами. И что удивительно: Пушкин на именинах у Николая Ивановича Коле сказал: из вас выйдет второй Гаррик либо Тальма. Коля, помирая, это самое вспомнил. — «Папа, скажи Александру Сергеичу, что я ушел не в театральную, а в настоящую жизнь». И вот теперь сам Пушкин за ним уходит.

— Как уходит, почему?

— Да ведь он на дуэли сегодня дрался: неужто вы не слышали?

Происшествия в С.-Петербурге 27 января: укусы супругов Биллинг кошкой, подозреваемой в бешенстве; дуэль между камер-юнкером Пушкиным и поручиком Кавалергардского полка бароном Дантесом; отравление содержательницы известных женщин.

— Ах, братец, да совсем не в этом дело. Пойми же наконец, что христианское искусство должно иметь и закваску христианскую. Таким оно прежде у нас и было. Державин, Боровиковский, Бортнянский. Настоящую старую Русь без Христа помыслить невозможно. Ну, а Пушкин? Назовешь ты его христианским поэтом, скажи по совести?

— Так ведь и мы не святые.

— Опять ты не туда полез. От нас искусство требует не святости, а честного служения делу Христову. И все мы служим ему. Карл кистью Бога хвалит. Иванов, как схимник, в Риме засел над своим холстом. Возьми моего

однокашника Гоголя-Яновского, меня, наконец. А Львов, автор гимна? А Мишкина «Жизнь за Царя»?

— Чем же Пушкин изменил Христову делу?

— Да что ты, совсем ошалел? Ведь вся его поэзия от беса. В Пушкине, как в золоченом орехе, кроется яд невероятной разрушительной силы; у церковных людей этот яд называется соблазном. Только действие его не скоро скажется. Ох, не скоро!

— Зарапортовался, брат Нестор. И Афродита насмерть перепугал. Ты расскажи нам попроще.

— Изволь, Карлуша. Видишь ли, до сей поры Европа тянула Христову ноту, теперь же тон задавать стал кто-то другой, на Христа не похожий. Так вот этому новому самозванному капельмейстеру и поработил свою свободную музу наш Александр Сергеевич.

— А ведь ты, пожалуй, и прав.

— Смотрите, как нечистый Пушкину помогал. Беднягу Полевого пришибли за пустяк: за рецензию о моей «Руке», а Пушкин громко воспевал Пугачева, Отрепьева, Разина, Мазепу, и его по голове гладили. Пасквилями запрудил всю Россию, и хоть бы что. А кощунство? Да за границей его за иные стишки вверх ногами бы повесили. Государь приказал убрать из Эрмитажа статую Вольтера, а под боком у него был собственный Вольтер, да еще в камер-юнкерском мундире.

— Государь избаловал его.

— Толкуют: изгнание, ссылка. Какой вздор! Жил себе барином, сперва в Одессе, потом в имении, волочился да стихи писал. Такого изгнания дай Бог всякому. А здесь? То жалованье неизвестно за что, то двадцать тысяч на «Пугачева», то долги прощают. Наконец, позволили журнал...

— Ну, журналчик, правду молвить, не больно важный. Да и сочинитель-то под конец слабеть начал. Почитайте, например, «Анджело»: просто срам.

— Нет, а меня от его эпиграмм тошнит. Уж точно, сатанинская клевета: недаром слово «дьявол» по-гречески значит «клеветник». Вот хотя бы про Фотия и Орлову. Сам я лечил отца архимандрита, видел: от вериг на груди ни тела, ни кожи, сплошная голая кость. Каченовский, Воронцов, Голицын, Уваров, Аракчеев даже — все люди порядочные, честные, с государственным заслугами. А ведь поэт их безжалостно заклеил. И уж этого клейма топором не вырубешь. Мы-то, разумеется, Пушкину не поверим, что Воронцов подлец, ну, а наши внуки?

Его Величество Государь Император и Его Высочество принц Карл Прусский 27 января в Каменном театре изволили смотреть драму «Молдавская цыганка» и «Горе от тещи», водевиль.

Иван Иванович Эгмонт в Петербурге уже десятый день. Остановился он не у сына (зачем стеснять Володеньку?), а у старого соратника и собутыльника генерала Древича.

Дни Иван Иванович проводит в присутственных местах, вечера у Володи. Возобновил он кое-какие знакомства, побывал в Александринском театре на «Скопине», полюбовался «Последним днем Помпеи», наконец в четверг утром кончил все дела.

— Сегодня я тебя, братец, как хочешь, не отпущу, — сказал ему Древич, маленький усач, курносый, с толстыми щеками и крошечными глазками, — уж этот вечерок мы с тобой посидим в ресторации у Сен-Жоржа.

— Изволь, дружище, изволь. Согласен. Вот только отвезу Володе пакет.

— Да незачем тебе к Володе таскаться. Оставь у меня. А много ли тут?

— Сорок тысяч.

— Ого! Отдам жене: пускай спрячет.

Прятели отправились к Сен-Жоржу.

— Попробуем сначала пожарских котлет. Ведь я тебе, кажется, рассказывал, что старуха Пожарская переехала к нам из Торжка и теперь ее котлеты в большой моде. Сам Государь, говорят, изволил их кушать.

Из ресторана старые кексгольмцы возвратились поздно. Ивану Иванычу не спалось. В девятом часу он вышел в столовую. Заспанный Древич в халате прихлебывал кофе.

— Когда ты думаешь ехать?

— Завтра.

Древич, глядя исподлобья, грыз сухарики. Иван Иваныч допил чашку и встал.

— Давай же деньги.

— Какие?

— Вот странный вопрос. Да мои сорок тысяч из ломбарда.

— Ты, кажется, изволишь шутить, милейший. Или с ума сошел?

— Так денег моих не отдашь?

— У меня их нет.

Иван Иваныч, задыхаясь, выскочил на подъезд.

— Извозчик, к обер-полицеймейстеру!

Генерал Кокошкин хмурясь выслушал его сбивчивую речь.

— Сейчас я должен явиться с докладом к Его Величеству. Вы поедете со мной.

Пара серых рысаков легко несет по Невскому плетеные санки. Иван Иванович, сидя подле Кокошкина, бессмысленно слушает и смотрит.

Вот Гостиный двор. На лотках у пирожников выборгские крендели, сайки с изюмом, моченая морошка. Просеменила модистка в розовом салопе, за ней два офицера. — «Тетерерябчики!» — кричит разносчик. Разрумяненный, стянутый фронт в бекеше играет лорнетом. — «Права держи!» Колоннада Казанского собора, Доминик. Вот Греч с женою, оба в глубоком трауре. Кондитерская Вольфа, английский магазин. — «Эй, поберегись!» Грузная поступь Ивана Андреича Крылова, комендант Петропавловской крепости Скобелев с пустым рукавом шинели.

У Государя в кабинете утренний прием.

Вдоль стен полушкафы; на них портфели, книги; посередине бюро и стол. Два окна огромные, точно ворота; в простенке малахитовые часы.

Мебель карельской березы с зеленым сафьяном.

Серебряные в виде подушечек подсвечники; на полушкафах две лампы; бронзовая люстра.

Против входа большая картина: «Парад на Царицыном лугу»; над дверями другая: «Парад в Берлине». Между двумя видами Полтавской баталии портрет Петра Первого.

— Ты взял от Эгмонта сорок тысяч?

— Нет, Ваше Величество.

— Садись, пиши жене: «Государю известно о пакете; пришли его с подателем сей записки».

Прием продолжался. Бледный Древич и багровый Эгмонт не глядели друг на друга. Иван Иваныч чуть жив. Вихри кружатся в голове его. — Пожарские котлеты... Сорок тысяч... Тетерерябчики... Володька нищий... Господи, помилуй...

Вошел с пакетом флигель-адъютант.

— Твой?

— Мой, Ваше Величество.

— Сосчитай, все ли.

— Все, Государь.

— Ну, с Богом, поезжай, да вперед будь умнее. А тебя...

Огненный взор гневно замер на белом, как скатерть, Древиче.

— Тебя надо бы разжаловать, но из сожаления к твоим детям я этого не сделаю. Довольно и того, что ты в моих глазах останешься бесчестным человеком. Пошел вон!

Вечером Николай Павлович гравировал на меди орлиный профиль усатого гренадера в кивере с помпоном. Гравюра начата Его Величеством под руководством профессора Кипренского.

Ренковский погребок на углу Караванной; три ступеньки в подвал; за стойкой жирный хозяин; ряды бутылок.

В углу при свечке играют: азартный стук, перебранки, картежные выкрики; в другом углу закусьивают двое.

— И ежели ты меня теперь пристроишь в повара... — Рябой рыжий парень в лакейской ливрее выпил и сморщился.

— Сказал, так пристрою.

— Ну, ин спасибо. А тебе, знать, хорошо живется, Афродит Егорыч. Вишь, при часах и бекеша суконная. Торгуешь?

— Нет, я по малярной части.

— Дело прибыльное, точно. Ох и устал же я: две ночи на ногах. Что народу у нас перебивало.

— Отчего же ты, Ванюша, плохо пьешь? помяни покойника.

— А ну его. Жил как пес и подход как пес. Насмотрелся я на господское житье: барыня целый день перед зеркалами, а барин...

Иван махнул галунным картузом.

— Как привезли его, я тут же находился: помогал из кареты выносить. Поверишь ли, Афродит Егорыч: ни единого разу имени Божия не вспомню и лба не перекрестил. Поп, что приобщал его, весь бледный вышел, трясется.

— Значит, Ваня, я тебя определю, будь спокоен. А теперь беги домой: ведь завтра вынос.

Иван проворно ушел. Не успел художник расплатиться, как в игорном уголке загремела ругань, кто-то заплакал, карты посыпались, свечка упала и чадила.

К Афродиту подскочил, качаясь, юноша, почти мальчик, в летнем изношенном плаще; воротник оторван, глаз подбит.

— Не смейте трогать меня: я дворянин Некрасов! — закричал он визгливо.

— Крапленый дворянин, — насмешливым басом сказал хозяин.

От мальчика несло табаком и водкой. Афродит подхватил его.

— Ах, сударь, срамите вы ваше звание.

— Не твое дело, холуй. Мой прадед проиграл семь тысяч душ. Дед четыре, а последнюю отец. И я отыгаться должен.

На постройке Николаевского моста Государь всегда подходит к инженеру Кербедзу и крепко жмет ему руку. Все инженеры крали, один Кербедз не крал.

— Как тебе понравилась, Егор Францыч, вчерашняя комедия?

— Не стоило, Государь, смотреть сию пустую фарсу.

— Почему же пустую?

— Правдоподобия не заметно. Мнимый ревизор за полторы недели не представил в полицию паспорта: как это может быть? И где есть таковые города, в коих все жители поголовно обманщики и плуты? Как возможно, чтобы у градоправителя были столь безнравственные жена и дочь?

— Это оттого, что автор слишком молод и многого не знает. Зато теперь, как говорил мне Жуковский, он трудится над новым сочинением.

— Государь, от подобных сочинений не много пользы. Я убедил себя, что несовершенства наши все-таки лучше заграничных совершенств.

— Ты прав. Не будем говорить о Франции: там все еще революция. Но обернемся на Англию: в лорд-мэры выбирается человек, всенародно объявивший королеву босковою куклой. Что же до Австрии, я и постичь не могу, как она до сих пор не развалилась.

— Европу погубило третье сословие. Оно унизило дворян и развратило плебс.

— И тут ты прав. Но пока в руке моей самодержавный скипетр, Россия не погибнет. Третье сословие у нас обнаружилось в двадцать пятом году. Из него могла бы выйти армия мятежников.

— А вышла армия чиновников.

— О да. И вот теперь на этой самой армии построено всеобщее благополучие. У чиновника есть все необходимое для среднего человека: занятие на службе и отдых в семье. По воскресным дням утром церковь, за обедом праздничный пирог, вечер за картами или в театре. Чиновник занят делом, обеспечен: зачем ему газеты? Ведь политика, подобно алгебре или музыке, удел немногих. Только дураки могут мечтать о всенародном образовании или об участии черни в государственных делах. Когда я вечером гуляю по Петербургу, мне видно во всех почти окнах одно и то же: зеленый стол, карты, мелки, две свечки и четыре чиновника за столом. По лицам заметно, что им весело, что они довольны. Поверь, Егор Француз: создать тишину и благоденствие не менее трудное искусство, чем рисовать картины или писать стихи.

— И вы, Государь, в сем искусстве величайший мастер.

Конфеты от кашля из ягоды сюжуб, из лакрицы с анисом, яблочный сироп, камедные шарики, леденцы ячменные, каштаны в сахаре с померанцевым цветом, розовая вода, индийская пастила катунде.

Генерал Иван Никитич Скобелев, сопровождаемый жандармом, спустился в камеру декабриста Батенкова.

В ней десять аршин длины и шесть ширины; наклонные окна под потолком не пускают света: лампа горит день и ночь.

Батенков, неуклюжий как медведь, в поношенном сюртуке, но выбритый и чистый, молился на коленях перед образом Троицы. При входе генерала он медленно встал.

— Здравствуй, Гаврила Степаныч.

— Здравствуйте, ваше превосходительство.

Скобелев сел на скамью.

— Хорошо ли тебя содержат?

— Отменно.

— У исповеди и святого Причастия бываешь ли?

— Каждый месяц; завтра тоже готовлюсь сподобиться.

— Хорошо. Ты, братец, можешь идти.

Жандарм удалился.

— Присядь, Гаврила Степаныч, поговорим. Дело вот какое. Государю угодно знать, почему тебе в Сибирь не хочется: ведь там ты пребывал бы на свободе.

— Никак нельзя, ваше превосходительство. Неужели вам не известно, что наши заговорщики не знают ни жалости, ни пощады? Я искренно раскаялся. Как блудного сына простил меня царь, зато они не простят.

— Дело говоришь. Хорошо. Так и доложу Его Величеству. Ну, а теперь...

Оглянувшись, Скобелев понизил голос:

— Видения бывают?

— Бывают.

— Расскажи, голубчик.

— Трудненко, ваше превосходительство. Попытаюсь. Под самый Новый год читал я пророка Иезекииля. Вдруг вся камера наполнилась огнем. Пламя

так и волнуется, точно море. И голос: «В христианской религии самое главное крест и воскресение». Потом преобразилось пламя в чистейший свет. И таким восторгом сердце окрылилось, что вот-вот умру. Все ясно стало.

— Что же ясно-то?

— Предстоящее потрясение царств земных. Воспоследовать должны величайшие перемены в науке, в общежитии, в понятиях и нравах.

— А потом?

— Потом все станет опять на место.

Его Величеству при посещении Императорской Академии Художеств угодно было приобрести картину классного художника Епафродита Егорова «Прощание Гектора с Андромахой».

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой...

— Это Пушкин-то невольник чести? Похоже. Жалкий раб великосветских предрассудков, невольник этой самой, якобы оклеветавшей его, молвы. Да разве настоящий поэт клеветы побоится? Никакой клеветы и нет: были анонимные пасквили, место которым в помойной яме.

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид...

Хорош поэт: взбесился от булавочных уколов. Сам оскорблял людей направо и налево, а тут дурацкого пасквиля не снес.

Восстал он против мнений света
Один, как прежде...

Ни прежде, ни после, ни один, ни в компании Пушкин против светских мнений не восставал. И липнул к бомонду всю жизнь, точно муха к меду.

Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный, чудный дар...

Да кто его гнал, помилуйте? Ни один поэт не получал такого общего признания.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет...

Вот уж подлинно: зачем? И кто, кроме беса, мог толкнуть Пушкина в этот мелкий искусственный мирок? А ведь он был человек обеспеченный, молодой, здоровый. Мог поселиться у себя в деревне и творить на досуге; конечно, и за границу бы его отпустили. Жена мешает? оставь ее, оставь все на свете; беги с котомкой куда глаза глядят. А уж в конце прямая ахинея:

...Надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...
...Жадною толпой стоящие у трона
Свободы, гения и славы палачи...

Что за потомки подлецов, какие палачи? Ведь русский Государь самодержавен: у трона его не стоит никто. Тогда выходит, что поэта погубил царь. Вам смешно, и я смеюсь; да что говорить: такой подлой глупости даже во сне не придумаешь.

Всемиловнейший Государь! У меня нет слов сказать, что я чувствую. Вы для меня ангел-хранитель, посланник Божий. Да наградит Вас Господь! Принимая на коленях Ваши благодеяния, осмеливаюсь просить еще об одном: благоволите назначить опеку мне, бедной вдове, и сиротам моим, детям несчастного Пушкина.

Вчерашний день был я у князя Одоевского на званом обеде.

Кроме меня, молодого музыканта Гентцельта, графа Виельгорского, графа Ламберта и барона Корфа обедали: знаменитый поэт Жуковский, командир Финляндского полка Офросимов и генерал Перовский, военный губернатор в Оренбурге; всего с хозяином девять человек.

— Я следую примеру Иммануила Канта, — сказал князь, приглашая нас к столу, — кенигсбергский мудрец утверждает, что количество сотрапезников не должно спускаться ниже числа граций и превышать число муз.

Просторная столовая окнами в сад. Обед сервирован обдуманно, изящно и просто. На столе большая ваза с цветами и тарелки с фруктами; гости размещаются попарно; перед каждой парой солонка, бутылка лафита, графин с водой, перечница и корзинка с хлебом.

После супа из протертого зеленого гороха и индейки с трюфелями Перовский сказал:

— Никак не могу представиться Государю. Живу здесь неделю, а толку нет.

— Почему? — спросил Виельгорский.

— Да просто по интригам военного министра. Это его штучки.

Тут подали восхитительный паштет из кинелей с петушьими гребешками, шампиньонами и раковыми шейками.

— По собственному рецепту, — скромно заметил хозяин. Все выразили одобрение. Между тем вино начинало развязывать языки; разговор неизбежно коснулся дуэли и смерти Пушкина.

— Почему Государь приказал письмо свое привезти обратно: ведь Пушкину так хотелось иметь его? — спросил барон Корф.

— Разумеется, из скромности. По той же самой причине Государь не позволил печатать стихи «К друзьям».

Жуковский не кончил, занявшись лещом в матлоте. После артишоков он сказал:

— Пушкин виноват перед царем: дал слово не драться, а сам затеял дуэль. С какой стороны ни взглянешь, для Пушкина нет оправданий. Скольких он сделал несчастными, начиная с собственной семьи. На честь вдовы упала незаслуженная тень; дети остаются без отца; нельзя не пожалеть противника: он тоже человек, и притом порядочный. Последний повод к дуэли — неслыханно дерзкое, гнусное письмо старому барону — делает Дантеса безусловно правым. Я Пушкину друг и жалею о нем, но *magis amicus veritas*. Когда я просил назначить семье Пушкина такую же пенсию, как и семье Карамзина, Государь мне ответил: «Ты чудак. Ведь Карамзин почти святой: он чист, как ангел, а Пушкин?»

— Однако и он причастился перед смертью.

— Да, по совету Государя.

Принесли дупелей. Эта деликатнейшая дичь приготовлена была безо всякой приправы.

— У фазана и у дупеля левое крыло жирнее: под нею птица прячет голову на ночь, — заметил князь.

— Скажите, пожалуйста, Василий Андреич, — спросил Офросимов, — какие милости оказаны Государем семье Пушкина? В городе об этом разное говорят.

— Могу их перечислить. Велено заплатить все долги и выкупить имения. Вдове пенсия, дочерям до замужества тоже. Сыновей в пажи; на воспитание их три тысячи в год. Издать на казенный счет сочинения в пользу вдовы и детей. Наконец, одновременно десять тысяч.

— Какая неслыханная, истинно царская щедрость!

— Между тем иные находят, что этого мало.

Когда подали суфле из шампанского с ванилью, Жуковский прочитал письмо Государя к Пушкину. Я не мог удержаться от слез; все были растроганы.

Обед заключился ананасным мороженым. Перед тем как сойти в салон княгини для вечернего чая, Виельгорский, Гентцельт и я сыграли «Реквием» Моцарта. К сожалению, у графа на виолончели лопнула струна.

Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся. Я беру их на свое попечение.

Часть пятая

РЫБЫ

Нет, не тебя так пылко я люблю.

Лермонтов

Все в Петербурге на масленице завтракают блинами.

Государю подаются гречневые с пакусной икрой. У министра двора князя Волконского заварные с яичницей; у военного министра графа Чернышева красные с рубленой ветчиной. Во всех министерских кухнях шипят сковородки. Блины пшеничные с наливыми печенками готовят графу Орлову; молочные белые кушает граф Бенкендорф.

Столовая министра иностранных дел графа Нессельроде вся в цветах. За воздушными блинами суфле Дмитрий Львович Нарышкин, напудренный, в чулках и башмаках, с алмазною звездой на черном фраке. Подле монументальной хозяйки увядающая, но еще прекрасная Марья Антоновна: над пунцовым беретом перья марабу. «Santé des dames!» Шампанское пенится и блещет в граненых бокалах.

У Скобелева солдатские со сметками румяные блины. Один за другим проходят в столовую желчный хромой Воейков, рябой насмешник Сенковский, остроумный разговорчивый Греч. К блинам пока еще не приступали: ждут генерала Дубельта. Мелодический звонок; в передней звякнули шпоры, мелькнул голубой мундир. Старый дворецкий из бывших денщиков разливает по серебряным чаркам тминную; расторопный инвалид несет на блюде под салфеткой стопку дымящихся блинов. Двумя уцелевшими пальцами единственной руки берется хозяин за ноздреватый, душистый блин; окунув его в густое янтарное масло, обмакивает в сметану.

Суетливо выбегают из департаментов голодные чиновники. От бумаг к блинам!

На Адмиралтейской площади народное гулянье. С раскатистым радостным хохотом праздничная толпа теснится, толкаясь подле огромных красной меди самоваров; пьет горячий сбитень с калачами, грызет орехи, жует леденцы и пряники. На жаровнях груды пухлых блинов. В балаганах орут и кривляются пестрые штукари; оркестры оглушительно грохочут.

В розовых лучах морозного вечера крыши отсвечивают чистым золотом; по белым стенам расплзаются голубые тени. Из труб выплывает кровавыми клубами тяжелый дым.

Но вот уж заря угасает, уж начинают светиться окна, подьезды и фонари. На темном небе бледный круг туманного месяца точно блин со сметаной.

Фаддей Венедиктович Булгарин из-за груды корректур рассеянно покосился на повара и снял очки.

— Вот тебе реестрик. Возьмешь в Милютиных лавках начинку для пирога.

— Слушаю-с.

— Первым делом фунт вареного языка, да помягче. Яблоков фунт.

— Слушаю-с. Язык изрубить прикажете?

— Ну конечно, и яблоки тоже. Фунт говяжьего жиру, полтора фунта коринки, мелкого сахара столько же. Р начинку пойдет по две рюмки коньяку и мадеры, восьмушка кайенского перцу.

— Вино, сударь, когда выливать?

— Все равно. Еще положишь два толченых мускатных ореха и двадцать три гвоздики: ни больше, ни меньше. Пол-осьмушки корицы в порошке, варенного в сахаре цуката да померанцев фунт: вот и все.

— Тесто слоеное, сударь?

— Слоеное, на железном листе. Ступай.

Фаддей Венедиктович плотный здоровяк, с мягкой шеей, с румяными губами. Зеленый польский кунтуш в затейливых шнурах, бухарские туфли. Под столом ковер из шкуры волка, убитого в окрестностях Карлова; на стене трофей двенадцатого года: заржавленный французский мушкетон.

Булгарин взял со стола костяную флейту и приложил к губам. По розовому круглому лицу расплылось блаженное спокойствие. Играет Фаддей Венедиктович в лад мыслям: то весело, то печально.

— Я негодай и с этим именем перейду в потомство. Так тому и быть. Есть общие козлы отпущения: каждый, кому угодно, может упражнять на их физиономиях свои кулаки. Я беру взятки с купцов, меня зовут перебежчиком...

Флейта не поет, а рыдает.

— Так что же делать? все у нас дерут с живого и с мертвого. А ежели частному приставу брать дозволяется, то почему бы не взять и мне? В литературе я частный пристав. За то, что я перебежал от Наполеона к Кутузову и обратно, можно ли упрекать поляка? Ведь у нас отечества нет.

Флейта неожиданно засмеялась.

— Я не белоручка, но и не подлец. На войне я спас человека; это всем известно. Я автор «Выжигина»: разве романом моим не восхищаются читатели? Его можно дать девушке, юноше, даже подростку: он никого не соблазнит.

Флейта начинает веселеть.

— Российская империя держится только немцами. Стоит голштинцам уйти, и пиши пропало. Нет подлости, на которую не способен русский кацап. Вот почему от Рюрика, первого русского немца, и до нынешнего дня основано все на рабском предательском страхе. И вот почему жандармы у нас останутся всегда. Царя не будет, а жандармы будут. Да что говорить о царе, если и с Богом то же? Русский ведь только снаружи помазан церковным елеем, а дай ему волю, он тотчас же бросит крестить, отпевать и венчаться. Тьфу, быдло, песья кровь!

Булгарин уложил флейту в ящик и начал чинить перо.

На Невском Государю встретился пьяненький чиновник.

— Ты где служишь?

— В пожарном депо.

Государь улыбнулся.

— Депо не склоняется.

— Перед Вашим Императорским Величеством все склоняется.

Вчера мне случилось присутствовать при необыкновенном разговоре.

Дело в том, что Николенька переводится на Кавказ в Казачий полк: участием в боях надеется он выиграть по службе. Теперь казак наш делает прощальные визиты; к барону Дантесу отправились мы вдвоем.

Барон нас принял полулежа на кушетке с подвязанной рукой.

— И я просился на Кавказ, но Его Величеству не угодно было изъявить согласие.

— Очень жаль, — ответил Николенька, — мы вместе могли бы покорять черкесов.

Через полчаса явились еще два гостя: виконт д'Аршиак и князь Гагарин. С первым я и прежде встречался у барона; второго частенько видал на балах

и в театре. Странная беседа завязалась между ними: оба стали рассуждать о том, что время идет к концу.

— На чем же вы утверждаете ваше мнение? — спросил барон д'Аршиака.

— Прежде всего, разумеется, на словах Спасителя о полноте времен и о близкой жатве. Планета наша заметно дряхлеет. Везде слухи о войне, повсюду безначалие. Неслыханный разврат и оскудение любви. История должна скоро кончиться.

За чайным столом речь зашла о Кавказе, о красоте диких скал, о стычках с горцами. Николенька заметил, что прежней кавказской поэзии теперь не найти.

— Да, — подхватил Гагарин, — это так. Мир принимает иную внешность. Меняется не только рельеф земли, но и самый климат. Еще любопытнее частные случаи повседневной жизни.

— Нельзя ли узнать, какие именно?

— Да вот вам примеры. У князя Голицына, министра духовных дел при покойном Государе, кормили собачек с тарелки, изображавшей страсти Господни. Какой-то Соболевский в пьяном виде водил для потехи жида по храмам, заставляя креститься и класть поклоны. Этот же самый еврей — имя ему Элькан — пришел в восторг, когда посудному фабриканту вздумалось отпечатать портреты его на фаянсовых урыльниках.

— Ну, для жида это, пожалуй, извинительно.

— Не забывайте, что и он потомок Авраама. Далее. К одному весьма известному сановнику в день Светлого Воскресения камердинер обратился со словами: «Христос Воскрес». Что же барин? Немедленно велел высечь слугу за дерзость, причем заметил: «Это тебе спьяну, должно быть, показалось». Наконец, я своими ушами слышал, как отец семейства на вопрос малолетнего сына: «Что значит нищие духом?» — ответил: «Дураки».

— Но ваши примеры убийственны, — сказал виконт.

— Подождите, еще не все. Генерал Михайловский-Данилевский спрашивал Норова, видел ли он в Иерусалиме мощи Христа? Приглашаю вас серьезно подумать об этом вопросе, немыслимом в устах мужика или богомолки. Его задает православный писатель, историк, государственный человек. Разумеется, в эпоху средних веков все эти остроумные козунники подверглись бы отлучению; кое-кто попал бы и на костер. А теперь им раз в год на словах угрожает анафема, которой они не слушают, потому что в храмы не ходят. Восточная церковь особенно снисходительна. Наши священники с легким сердцем отпевают самоубийц, между тем от католического патера самоубийца, как ослушник церкви, погребения не получает.

Виконт сомнительно покачал головой.

— Церковная дисциплина, милый князь, увы, опоздала. Пожар революции растет.

— Но он не так страшен. Революционных идеалов может хватить еще лет на сто, не более. Человечеству перед концом захочется мирной жизни, невинных удовольствий: кто может их дать, кроме церкви?

— Еще вопрос, князь. Почему и Христос и апостолы о самоубийстве ничего не говорят?

— Дорогой виконт, вы забываете, что в словах Христа «претерпевший до конца спасен будет» уже таится осуждение самоубийству. Вспомните, кто из апостолов лишил себя жизни? Иуда. Стало быть, самоубийца-христианин eo ipso уподобляется предателю. И вообще, это такой нелепый и страшный грех, что Христу даже невозможно было говорить о нем.

— Значит, вне церкви нет спасенья?

— Нет и быть не может.

.....
 Девятнадцатилетний граф Алексей Толстой живет на большую ногу. Держит чистокровных орловских рысаков; заказывает для своих дворовых богатеишие гербовые ливреи, а для себя по пятнадцати пар перчаток на каждый день; одевается как парижанин. Выезжает на концерты и балы, на

медвежьей облавы; забавляется в великосветском кругу катаньем с гор. Вчера Толстой был в Зимнем дворце на блинах у Наследника.

Туманный полдень. Пряча руки в обшлага темно-синего шлафрока, граф озабоченно прохаживается по своей великолепной гостиной. Портьера распахнулась: стуча когтями, вбежал стриженный пудель; за ним показался млажавый круглолицый генерал.

— С добрым утром. Отчего ты такой кислый?

— Рифмы не выходят.

— Попробуй без рифмы.

— В самом деле. Что ж, дядюшка, добились представленья?

— Нет, Чернышев не пускает. Да я перехитрю: недаром хохол.

На пороге вырос камердинер.

— Господин Егоров.

— Прости.

Афродит привез от Брюлова едва успевший просохнуть портрет молодого графа.

Как пленителен этот женственный юноша-атлет с продолговатым породистым лицом, с мечтательно-вдохновенным взором под роскошно взбитыми кудрями!

На бархатном казакине белый отложной воротник. Через плечо ягдташ, в руках двустволка со взведенными курками; у ног выжидает, подняв морду, охотничий пес.

За блинами поэт и художник разговорились.

— И что всего обиднее, ваше сиятельство: мальчишка-то способный. Как привел я его к себе, хмельного да избитого, проспался он и прямо за карандаш. — «Что, мол, такое пишете, Николай Алексеич?» — «Стихи», — говорит. Один стишок я захватил: прикажете прочесть?

— Прошу.

От жажды знания плод не сладок.
О, не кичись гордыней дум
И тьмой бессмысленных загадок:
Пред Богом твой ничтожен ум.
С молитвой труд возьми по силе,
Науку к вере приведи
И безбоязненно к могиле
Молясь и веруя приди.

— Стихи недурны, и мысль глубокая. Передайте ему от меня сто рублей. Перовский сердито крикнул.

— Сто рублей для шулера? Не жирно ли?

— За хорошие стихи, дядюшка.

— И стишонки дрянь. Ни во что ваш сочинитель не верит: это шулерский прием. Он на стишках нажить собирается. А лет через двадцать по-другому передернет и опять наживет.

Понедельник на масленой — встреча,
Заиграшем вторник прозывают,
Среду лакомкой величают,
Четверток слывет переломом,
Пятница — тещины вечера,
Суббота — золовкины посиделки,
Воскресенье — проводы, прощёный день.

Вереницы цветных домино, точно бабочкины крылья, шелестят вдоль театральных коридоров; разлетается по залам пестрый мундирный рой; черные фракы жужжат.

У колонны Мишель в алой лейб-гусарской венгерке, в белом ментике, сутулясь, опирается на саблю. В чертах его смесь дерзости и смущенья; в широко раскрытых черных глазах скрытая тревога. Как будто боится он быть изобличенным в чем-то, как будто ждет, что вот-вот подойдут и скажут: тебе

здесь не место. И ответная дерзость, вскипая на дне зрачков, зовет на помощь ядовитую усмешку.

— Неужели я вам нравлюсь?

— Я вас люблю.

— Ах, зачем так шутить? Отвечайте прямо: вы узнаете меня?

— Ну разумеется. Я не забуду нашей первой встречи в мастерской Брюлова.

— В мастерской Брюлова? А как меня зовут?

— Вы Клара, натурщица. Что с вами?

— Ничего. Пусть Клара. Все равно.

— Вы были в Италии, Клара?

— Я недавно оттуда.

— Расскажите, как там.

— Ничего особенного. В Риме печей не топят. Небо голубое, стены темные, в них желтый мрамор. Везде фонтаны, церкви, галереи. Скучно.

— Не могу поверить.

— А вам разве весело?

— О нет.

Италия! Какая непостижимая сила, связуя тебя с Россией, жадно влечет сладострастную юную красавицу в объятия северного богатыря?

Сила эта называется тишиной.

Император Николай и папа Григорий — два мощных стража двух церковных монархий: восточной и западной. Двух, потому что третьей монархии не было, нет, не будет и быть не может.

И какой же русский художник не вдохновлялся Италией, кто из поэтов не мечтал о ней? Гоголю здесь отверзлись родники высокого искусства, тайну гармонии обрел здесь Глинка. По Италии пламенно тоскует Алексей Толстой; к ней стремится пожилой Баратынский и юноша Майков. Сосчитать ли русских питомцев твоих, прекрасная Италия? Брюлов, Рамазанов, Иванов, Бруни, Кипренский, даже бездарный Шамшин, даже гнусный Шевченко — все бредят тобою, все влюблены в тебя!

И вот на бледных стогнах императорской столицы возникает лучезарное отражение папского Ватикана. Живописно-ленивая небрежность романтических альмавив, лохмотья лаццарони и религиозная процессия перекликаются с чопорной строгостью гвардейских шинелей, с вицмундирами титулярных советников и церемониальным маршем; утомленные, теплые вздохи влажного сирокко ответствуют издали жгучему свисту сухой пурги.

Как плотно облегает серебряная кираса светло-палевый, с литыми эполетами колет Государя; как туго обтянуты стройные ноги белоснежною лосиной! На рыцарских ботфортах зубчатые шпоры-звездочки; в правой руке перчатки и каска с бобровым гребнем, левая придерживает палаш.

Каждая замаскированная дама на публичном маскараде имеет право взять Императора под руку и с ним ходить.

А сколько роковых перемен пронеслось над тобой, вековечный Рим! Вскормленник свирепой волчицы, бросал ты без счета языческим львам христианских своих противников, чтобы самому потом покорно склониться перед львом святого Марка. Несметные полчища варваров потоками адской лавы грозно шумели над тобой и, отшумев, исчезали, а ты все так же стоишь. Отвергнул ты танталовы плоды Вольтера, сизифов труд Канта; не терзал твоей печени Байронов ненасытный орел. К живому источнику ведет тебя бессмертный твой Данте: его благодатный гений презрел пустые и дырявые сосуды безбожных Данаид.

Будет день: упадет Третий Рим подобно Второму, ты же останешься вечно Первым Римом, Единственным и Последним. Ты камень: на тебе неодолимо пребывает святая Церковь; здесь соберутся во время оно верные овцы Христа; сюда созовет свое единое стадо единый Пастырь.

Да, к Риму ведут все дороги: воистину вечный город. Не давал он в обиду себя ни франку бесстыжему, ни австрияку лукавому, ни тебе, рыжий дьявол, коварный англичанин.

Комната в подгородном трактире. За стаканом пунша Владимир и Афродит; в соседнем зале песня цыганского хора.

Как за реченькой слободушка стоит,
В той слободке молода вдова живет,
У нее ли дочь красавица растет...

Афродит внезапно обернулся и вскочил. Побрякивая шпорами и саблей, в расстегнутой венгерке вошел веселый, раскрасневшийся Мишель.

— Здравствуй, Володя. А я прохожу и слышу твой голос. Ба, и Афродит здесь. Ну что же, садись.

— Как можно, сударь: я свое место помню.

Мишель развалился на диване и громко зевнул.

Красоту ее не можно описать,
Черны брови, с поволокою глаза,
Где родилась такая красота?..

— Афродит, трубку!

Владимир покраснел. Дрожащими пальцами Афродит набил трубку и бережно подал барину.

Выхватив из кармана сторублевую, Мишель зажег ее от свечи и начал раскуривать. Ассигнация быстро сгорела; он вынул другую.

— Как тебе не совестно, Мишель? Ведь это трудовые деньги твоих крестьян.

— Оставь нотации. Лучше спроси лимонаду и пей здоровье Натали Мартыновой.

Владимир вспыхнул, встал, пожал Афродиту руку и быстро вышел.

Там стояла красна девка с молодцом,
Говорила красавица с удалцом,
Говорила-разговаривала...

— Позвольте, сударь, я разожгу.

Потускневшие злые глаза поднялись, опустились, опять поднялись и вдруг засверкали. Мишель, вскочив, ударил Афродита в грудь.

— Откуда это у тебя? украл, признавайся!

И он вертел миниатюрную статуэтку оленя на оборванном шнурке.

От сильного толчка живописец упал на колени. Стискивая хищные зубы, Мишель занес широкую ладонь и вдруг отступил, шатаясь.

Античный лик сиял перед ним: тугими завитками струятся густые кудри; слезясь, дрожит лазурная, ясная глубь умоляющих очей.

У крыльца почтовой станции двуместные, коврами крытые, сани; шестерик горячих жеребцов, перебирая ногами, ужимается, фыркает, косится; еле могут конюхи сдерживать их. Государь с графом Орловым в шубах и шапках вышли на крыльцо, спустились по ступенькам, сели; медвежьей полостью укрыл им ноги камер-лакей. Ямщик стоя разобрал вожжи, сорвал шапку, перекрестился, крикнул: «ура!», толпа конюхов подхватила, расступаясь, и разом отпустила лошадей. Сани рванулись; в вихре морозной пыли все вмиг исчезло.

Весь день несется Государь по снежной равнине, а серебристо-туманным, мутно-белесоватым далям все нет конца. Серое небо, облеченные роши, крикливые стаи ворон и галок, перелетающие дорогу вкривь и вкось; порой промелькнет село с занесенными избами, с колодцем, с колокольным звоном, и

снова дорога и ничего, кроме ветра. Ветер свистит в ушах, режет щеки, колет глаза; умный ветер знает: самодержавным простором может повелевать только самодержавный монарх.

Темнеет. На краю необозримой голубоватой равнины вспыхнула красная звездочка: близко ночлег.

Камер-лакей внес в станционную избу складную кровать, взбил подушки, поставил на стол дорожную флягу, стаканчик, ломоть черного хлеба с солью. После короткой беседы легли. Государь на кровати, Орлов на диване. Поднявшийся месяц, заглядывая в оконце, долго любуется прекрасным, строгим лицом с величавыми чертами, с опущенными веками.

Утром, пока запрягали, Государь положил резолюцию на деле рязанского мещанина Леонтьева, плюнувшего в кабаке на царский портрет: «Дело прекратить, портреты моих в кабаках не вешать, а виновному объявить, что и я на него плюю».

Его Величество Государь Император Высочайше повелеть соизволил: обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову и министру народного просвещения С. С. Уварову рассмотреть на особом совещании под председательством министра финансов графа Е. Ф. Канкринна проект американских капиталистов о проведении в Российской Империи железных дорог.

— Уважаемые коллеги! Его Императорскому Величеству благоугодно знать мнение наше о направлении умов в Европе и о том, в какой мере сие направление может касаться Российской страны. Переходя от общих соображений к частным, должны мы обсудить, полезны ли будут для нашего отечества железные дороги. Граф Николай Александрович, вам, как представителю церковного ведомства, первый голос.

— Скромное мнение мое не выйдет из-за церковной стены. Краеугольным камнем ему да послужат слова мудрейшего из наших современников, митрополита Московского Филарета. Владыка утверждает, что в русском народе света мало, но много теплоты. И вот эту-то священную теплоту мы и обязаны всемерно поддерживать и беречь: от нее происходит свет. Простой человек чуждается отвлеченных теорий; он живет и действует практически, по слову апостола: вера без дел мертва. Он думает, что человек не для себя рождается, что жить — Богу служить, что Церковь Христова не в бревнах, а в ребрах, то есть в сердцах.

Из слов моих нетрудно вывести заключение о вреде железных дорог. Они приковывают сердце к житейской тревоге, от них грязнится душа. Помогая сообщаться физически, они разобщают нравственно. В лесных губерниях при звоне ямского колокольчика медведи выходят на тракт; звери отлично знают: для них проезжим оставлена краюшка. Известно, что и многие святые пустынники кормили медведей хлебом из своих рук. Вот где сочетание народной теплоты с церковным светом: явление, немыслимое на Западе, в отечестве железных дорог. А ведь Православная Церковь неустанно молится, чтобы все мы жили в благочестии, просит для нас у Бога тишины и мира. И я уверен, что железные дороги будут в России вредны не одним медведям. Русское сердце охладает и закрывается, сперва для зверей, потом для ближних, а там... Договаривать не стоит. Я кончил.

— Но вы не сказали, граф, каким способом избежать растлевающих идей? И можно ли бороться с ними оружием?

— Можно и должно. Христос, посылая апостолов на проповедь, приказал запастись мечами. Разумеется, незримая церковь, в сердцах живущая, сиречь царство Божие, не нуждается в охране. Но видимый образ ее — православное учение, таинства, обряды — должен оберегать государственный меч.

— Сергей Семенович, ваше мнение.

— Я также считаю долгом сослаться на человека, по силе ума единственного в России. Владыка Филарет при мне сказал Государю: если век стре-

мится в бездну, лучше отстать от него. А наш девятнадцатый век летит без оглядки в пропасть. Первым признаком всеобщего рокового кризиса надобно считать дерзость изобретений. Наука изощряется в безумных попытках покорить естество, извратить устав Божий. Второй признак: стремление к равенству. Четыреста лет назад европейский север восстанием против церковной власти посеял семена сокрушительных анархических революций. Сомнения нет: грядущая жатва готовит революцию социальную.

Науке, разумеется, придется рухнуть рано или поздно, как Вавилонской башне. Но пока под ее руководством европейские народы неудержимо торопятся жить, и быстрота сообщений лишь ускоряет неотвратимый конец. Dixi.

— А теперь, уважаемые коллеги, соизволите прослушать мои заключительные слова.

На западе являет себя новая теория о причинах бедности и богатства. Она стремится уверить, будто материальная прибыль обязана существованием своим мускульному труду. И что же отсюда следует? То, что властелинами мира должны будут стать миллионы безличных и бесчисленных рабочих. Какой абсурд! Какая идеальная глупость! Ведь всякому известно, что созидают не руки, а голова, то есть гений, физический же труд есть только воплощение гениальных идей.

К сожалению, разум человеческий способен выражать себя и в таких открытиях, следствия коих могут привести человечество к величайшей беде. Попробуем представить, что ученые изобрели химический состав для уничтожения неприятельских армий или летательную машину для той же цели. Я говорю, конечно, ради шутки: в христианском государстве ничему подобному быть невозможно, но кто поручится нам за грядущие века? И как бы не пришлось человечеству для собственного спасения истребить наконец все машины, кроме самовара.

— Куда же девать изобретения, Егор Францевич?

— Под строжайший контроль государственной и духовной власти. А железные дороги нам не нужны. Зимой у нас почти шесть месяцев санного пути, летом сей путь заменяют моря и реки.

.....
Шоколад де-санто полусладкий; пажеский шоколад с исландским мохом; шоколад допель-ваниль; шоколад с аррарутом; гомеопатический шоколад.

Все сии шоколады постные и могут быть употребляемы в пост.

.....
— Клара, здравствуй; наконец-то мы увиделись.
— Что пану угодно?
— Вспомни масленицу, вспомни маскарад.
— На масленицу я уезжала, на маскараде не была.
— Куда же ты ездила?
— Какое пану дело? И прошу говорить со мною деликатнее, не по-хамски.
— Лжешь, змея! Ты клялась мне в вечной любви!
— Я вас не знаю.

.....
С вечера мятелица, распевая, гонит снежные хлопья над серым морем замерзающих петербургских крыш. Леденеют слуховые окна, карнизы, трубы; стыннут чердаки.

У поэта Кольцова критик Белинский. В низенькой комнатке сальная свечка мигает, шипит приветливо самовар.

Веселое старообразное лицо Кольцова раскраснелось.

— Мадерцы откушайте, Виссарион Григорьевич.

Белинский раскрыл табакерку.

— Охотно. Это вино напоминает мне студенческие проказы. Чего мы только не выкидывали тогда! Колотили и будочников, и девок. И вот теперь в Пятигорске расплачиваться пришлось: целое лето не вылезал из ванны.

— И помогло?

— Помогло.

— Слава Богу. А меня в Новочеркасске лечила простая казачка. Посадила в кадку, рогожкой укрыла и давай окуривать. Чуть-чуть не задохся. Боткин Василий Петрович страсть как смеались: лошадиное, дескать, средство. Самому-то ему парижские лекаря мазь в пятки втирали, так оно только щекотно. А я потом, как из кадушки-то выбрался, молебен служить ходил.

— Значит, вы у обедни бываете, Алексей Васильич?

— А то как же? Торговому человеку без Бога не обойтись. Оно конечно, Гегель немец башковитый, ну а все-таки немец, а не Бог.

— Стыдились бы. Ведь вы не Афродит Егоров. Кстати, что с ним?

Вьюга за окошком протяжно запела; слабо стонет самовар.

— Как, вы разве ничего не слышали?

— Ровно ничего.

— Страшная история, Виссарион Григорьич. Сначала у него ребенок помер, потом с женой беда стряслась. На масленой ездила она в маскарад, вернулась еле живая, а дня через три повесилась.

— Не может быть!

— И сам он после похорон пропал. Оставил квартиру, все вещи, деньги, бумаги. Мы уж думаем, не в прорубь ли махнул?

— Что ж, при его характере и это возможно. Ведь я Афродита еще с Пензы знаю. Парень неглупый, и дарование есть. Только весь предрассудками опутан.

Белинский встал, прошелся и понюхал табаку.

— А мятель, должно быть, стихает. Василий Петрович с Иваном Сергеевичем зайти собирались: сразимся в преферансик.

.....

Над Петербургом полная луна. От собора Петра и Павла в прозрачном тумане несется к Лавре бледная тень.

Сразу не заметишь ее: разве на мгновенье голубые отвороты белого мундира мелькнут, исчезнут и вновь мелькнут.

Тень вдруг взвилась и вся насквозь засветилась, пронизанная мертвенным блеском лунного столба. Одно за другим свалились дырявые голенища с истлевших ног; из-под прогнившей треуголки насмешливо оскалил желтые зубы безглазый череп.

Под налетевшим ветерком тень быстро развеялась с полусвистом-полустоном; из сугробов Ропшинского парка ответил ей такой же свистящий стон.

Куранты Петропавловской крепости долго играли полночь.

.....

— Я разочаровался во всем, Натали. В Боге, потому что он не слышит моих молитв; в людях: они подают мне камни вместо хлеба; в себе самом, наконец.

— Но вы забыли о любви, Мишель.

— Любви не существует. Если вы говорите о любви к Богу, ее убивает равнодушие Творца. Люди платят за любовь враждой, а женщины изменой.

— Но вообразите сердце любящее, преданное, покорное. Вообразите любовь, не знающую страха. Она способна победить весь мир и самую смерть.

— Ха-ха-ха!

.....

Третьего дня заехал ко мне Мишель в полном блеске нового парадного мундира. Надобно видеть форму Нижегородских драгун: неуклюжая куртка, шаровары, шашка через плечо и барашковый черный кивер с огромным козырьком. Все это было до того потешно, что я расхохотался.

Он бросил кивер с шашкою на кресло и, усмехаясь, подсел ко мне.

— Прощай, Володя: еду.

— Счастливого пути.

Вялый разговор тянулся недолго. Мишель заторопился, мы обнялись, я проводил его до лестницы.

И невольно пришли мне на ум слова графа Ламберта, адъютанта лейб-гусарского полка. Дело было зимой. У Мишеля в Царском за женой собралось все гусары; я один был в черном фраке среди красных венгерок, точно налим между вареными раками. Мишель держал себя невероятно, невозможно. Его гвардейская, учтиво-небрежная скороговорка перебивалась взрывами язвительного смеха; остроты были злы до неистовства; никого не хотел он оставить в покое, всем досталось. И вот тут заметил я, что офицеры, будто стоворившись, смотрели на него как на забавное, злое, но низшее существо, связываться с которым не стоит. По беспокойным глазам Мишеля я угадывал, до какой степени ему тяжело; видел, что сидевший в нем демон заставляет бедняжку ломаться против воли, мстить за унижение свое и оттого страдать.

Когда мы с Ламбертом вышли, граф заметил: «Он борется с собой».

На той неделе был я у Причастия. Лишь только, сойдя с паперти, я сел на извозчика, меня осенила внезапная и в то же время простая мысль. Ведь Христос, по воскресении явившись ученикам в запертой горнице, дунул и сказал: примите Духа Святого. Не может ли это служить доказательством того, что Дух Святой исходит и от Сына: *filioque*?

Мне захотелось сообщить мою мысль извозчику; вместо ответа услышал я деревенский анекдот.

У богатого мужика на крестинах подали большую рыбу. Поп отрезал голову и спрятал в карман: в главизне книжной писано есть обо мне. Хвост взял дьякон со словами: и оставиша останки младенцам своим. Дьячок, видя, что ему ничего не пришлось, начал кропить всех подливой, крича: и над вашими главами пролияся благодать.

Вдруг, обгоняя меня, пролетели фельдъегерские сани; в них бодро восседал барон Дантес в шинели и фуражке; подле торчал жандарм. Мы обменялись дружеским приветствием.

В это воскресенье я был в манеже; там состоялся высочайший смотр лейб-гвардии Финляндского полку.

Финляндцы особенно дороги сердцу Государя: в печальный день декабрьского мятежа они безусловно остались верны присяге. «На мундире Финляндского полка ни одной пылинки», — сказал Государь. Среди финляндцев немало талантливых людей. Командиру генерал-майору Офросимову принадлежит известный романс «Уединенная сосна»; капитаном Титовым написана музыка полкового марша; подпоручик Федотов успел стяжать репутацию превосходного портретиста.

В манеже застал я картину довольно любопытную. Ровная линия недвижимого фронта; подтянутые, с озабоченными лицами офицеры; оживленный, взволнованный командир. Сбоку вдоль стены колыхалась пестрая свита. Говор, восклицания, сдержанный смех.

В дверях остановился красивый казачий генерал. Я тотчас узнал Перовского. Не обращая ни на кого внимания, молча принялся он ходить взад-вперед у самых дверей. Свита переглянулась. Чернышев, подозревая адъютанта, что-то шепнул; тот быстро направился к Перовскому.

— Его сиятельство господин военный министр предлагает вашему превосходительству присоединиться к свите.

Перовский, не отвечая, понурился и продолжал ходить с заложенными за спину руками. Внезапно махальный крикнул:

— Его Императорское Величество изволит ехать!

Все начали поспешно оправляться. Офросимов стал перед фронтом.

— Смирно!

Полк замер.

— Равнение направо! На пле-чо!

Ружья четко звякнули два раза; из дул и штыков обозначилась гладкая еркальная стена. Распахнулись двери.

— На кра-ул!

И опять ружья звякнули как одно. Мощная фигура Императора приближалась.

— Здорово, финляндцы!

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!

Обернувшись, Государь увидел Перовского и нахмурился.

— Кто это?

— Генерал Перовский из Оренбурга.

Лицо Государя просветлело. Он подошел к Перовскому и обнял его.

— Здравствуй, голубчик. Я тебя ждал. Поедем ко мне завтракать. Чернышев, прими парад.

.....
 Высочайшим приказом переводятся: лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов за сочинение непозволительных стихов прапорщиком в Нижегородский драгунский полк; поручик кавалергардского Ее Величества полка Мартынов, согласно прошению, на Кавказскую линию, с производством в чин ротмистра.

Часть шестая

ЛЕВ

И свет не пощадил, и Бог не спас.
Лермонтов

Двенадцатого марта я вышел в отставку майором и с половины мая живу в Пятигорске, в гостинице Найтаки. Со мною три дворовых человека: камердинер Илья, повар Иван и казачок Ермошка.

Много воды утекло за четыре года моего пребывания на Кавказе. Батюшка скончался прошлой весной безболезненно и спокойно; накануне его смерти все часы в нашем доме остановились.

Теперь матушка с сестрой одиноки: вот главнейшая причина выхода моего в отставку. Недавно дошло до меня известие, что Иван Иванович Эгмонт скоропостижно умер, оставив Володе имение в образцовом порядке.

Пятигорск, гористый маленький городишко на реке Подкумке. С десятка улиц, сотни три деревянных домиков, ванны, галереи. Бульвар небольшой, но тенистый; здесь утром и вечером играет полковая музыка.

У Найтаки в задней комнате по ночам сражаются в банк и штосс. Азартных игроков немного, но все наперечет. При игре постоянно присутствует отставной генерал Марин, герой двенадцатого года, на костыле и в очках. Марин человек веселый и очень общительный; сегодня я выслушал от него на прогулке забавный анекдот.

В тринадцатом году отряд Марина стоял в каком-то польском местечке. Владелец фольварка, богатый и важный пан, предложил постояльцу поохотиться. Марин согласился, и они поехали, сопровождаемые казаками. Вдруг поляк остановил коня и шепчет: «Зайонц!» Марин в самом деле видит зайца, целится, стреляет: заяц ни с места. Стреляет опять: то же самое. Поляк хохочет: «Примус априлис, пане!» Вместо зайца было чучело. Марин нахмурился: «Смеяться над русским офицером? Эй, казаки, всыпать ляху сотню нагаек!» Мигом донцы стащили пана с седла; бедняк обезумел и начал плакать. «Примус априлис!» — со смехом крикнул Марин.

Генерал в Пятигорске с дочерью, молодой девушкой. Ее неизменный кавалер путейский поручик Арнольд сообщил мне любопытный способ откармливания телят. Новорожденного теленка подвешивают и непрерывно поят свежими сливками с толченым миндалем. Через полгода превращается он в огромную тушу с тонкими ножками и белой блестящей кожицей. Такая телятина имеет вкус сливок и ценится на вес золота.

— Воля ваша, сударь, как вам угодно, а только Ермошка от рук отбил-ся, — сказал Николеньке старый Илья, подавая умываться. — Вот извольте послушать.

Под окном заливался детский голос:

Рыжий красного спросил:
Где ты бороду красил?
Я не краской, не замазкой:
В Арзамасе на прикрасе
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

— Это он Ивана нашего дразнит.

— И что же Иван?

— Что Иван? Ведь он у нас, известно, блаженный. Пушай, слышь, поет, покудова мал: как вырастет, перестанет.

Илья подал барину длинный чубук и пошел за чаем.

Вбежал Мишель, смеющийся, румяный, в расстегнутом армейском сюртуке.

— Нет, это стоит рассказать! Ты Бурнашева помнишь?

— Какого?

— Да Бурнашева, что стихи сочинял.

— Не помню.

— Ну, все равно. Бурнашев поднес графу Петру Александрычу поздравление со днем ангела. Ты только послушай:

Вельможа в смысле русском,
Он был и воин, и министр.
Теперь, как добрый семьянист,
Живет в селенье Уском.

Семьянист, а? Ха-ха-ха! Кстати, брат, продай мне твоего Ермошку: хочу казачка завести.

Николенька поморщился.

— Никак не могу. У Мартыновых не в обычае продавать дворовых.

...а царевич Федор все-то с нищими, со слепыми да с убогими. Нища братья, други милые, пейте, ешьте, одевайтесь в одеяньице с моего плеча. Грозный царь узнал, прогневался, приказал судить царевича. Сидит царь в палате лазоревой, круг его бояре скурлатые, промеж них палач с топориком. А царевич Федор сундук принес: сундучишка немудрященький, две колоды долбленные. — «Прикажи, государь-батюшка, оценить мои сокровища». Вот открыли сундук, видят сор да дрязг. Захлопнули крышку, опять подняли. Глядь, ан там древа с плодами и лиственным, заливаются-поют птицы райские, а в середине стоит церковь с оградой. И загудел на всю палату колокольный звон. Царь с боярами молчат, слушают; они слушали три минуточки: три минуточки, ровно тридцать лет; и согнулись все и состарились, оплешивели, обеззубели, лишь один царевич моложе стал...

Вдохновенное, в рыжих кудрях, рябое лицо Ивана сияло. Ермошка смотрел на него во все глаза.

Я переменял квартиру. Марья Ивановна Верзилина гостеприимно предложила мне поместиться в их домике на Кладбищенской. Кроме меня здесь гостят: корнет Глебов и подпоручик Раевский, по прозвищу Слёток. Сама генеральша с тремя дочерьми в большом доме рядом.

С Мишелем мы встречаемся довольно часто. Он сюда приехал в июне и поселился у майора Чилиева. Очень он бывает мил, когда не острит; последнее обстоятельство тем прискорбней, что Мишель не различает, с кем можно и с кем нельзя шутить. Недавно он при всех сказал Марину:

Куда, седой прелюбодей,
Стремишь ты грешных мыслей беги?
Кругом с арбузами телеги
И нет порядочных людей.

Марин искусно обратил эту дерзость в шутку, но разговаривать с Мишелем перестал.

К сожалению, Мишель был обокраден в дороге. Пропала и моя посылка от матушки. Деньги мне Мишелем возвращены, но дневник Натуленьки исчез бесследно.

Вчера я весь вечер провел у Найтаки в игрецкой комнате. Здесь были Марин с Арнольдом, Раевский, Монго-Столыпин. За ужином Марин рассказал интересную историю. С фельдмаршалом Паскевичем встречается случайно былой сослуживец, поручик в отставке, бедняк круглый. Паскевич приглашает его к столу. Как старые однополчане, они на «ты». За десертом фельдмаршал говорит поручику: проси что хочешь, все исполню. — Спасибо, дружище, мне ничего не надо; разве подари бутылочки две красного, что пили за обедом.

Разговор ни к селу ни к городу был прерван Раевским. — «Говорят, министр путей сообщения граф Клейнмихель удивляется, почему это часы в разных городах отмечают время по-разному: нельзя ли приказать, чтобы везде был одинаковый час». Арнольд вступился за своего министра: «Вы бы лучше рассказали, как Клейнмихель сумел в один год отстроить Зимний дворец; это поважнее лакейских сплетен». Слёток покраснел и раскрыл было рот, но находчивый Марин поспешил предупредить его. — «А прогос о пожаре: Государя дня через два выехал кататься. Вдруг какой-то бородатый мужик в сибирке бросает ему на колени пакет и скрывается. В пакете оказалось двадцать пять тысяч на отстройку дворца».

Отогнув ворот красной канаусовой рубашки, Мишель присвистнул и пустил вороного во весь опор. То, привставая на стременах, он мчался лихим полетом, то вдруг осаживал храпевшего коня. У городского предместья близ развалившейся сакли спрыгнул, потянулся и снял фуражку.

Тихий, горячий июльский вечер. Дыша всей грудью, смотрел и слушал Мишель.

Скрипит арба; на дворе загорелый кабардинец, весь в лохмотьях, жарит на вертеле шашлык; пахнет чесноком и бараньим салом. Под белой акацией, взмахивая крыльями, шипит привязанный за ногу седой орленок.

— Дайте пройти.

Прямо на Мишеля уверенно шел молодой священник в полинялой рясе; за ним дьячок.

Мишель посторонился и нерешительно двинулся, будто собираясь принять благословение; священник, не заметив его, прошел.

Мишель стоял, покусывая ногти.

— О чем задумался?

Усмехаясь, разглаживает красивые скобки длинных усов Николенька; бешмет светло-серый, черкеска верблюжьего сукна, высокая белая папаха; на чеканном поясе серебряный кинжал.

— Да вот повстречался с попом: дурная примета.

Не думай, что тайны божественной жизни выше понятия нашего.

Христа поставляй от себя не далее, чем Сам Он Себя поставил; сопутствуй Иоанну при обозрении Нового Иерусалима.

Сердцу не давай отбегать; прочь гони блуждающие мысли, как Авраам от жертвы своей гнал хищных птиц.

Пусть сердце тебя понуждает до времени кончить дело: не слушай его, без виноградного гроздия из обетованной земли не уходи.

Священнику Скорбященской церкви отцу Василию двадцать восьмой год. Он крут и молчалив; живет по уставу, исповедует по требнику.

Скромная усадьба отца Василия в конце Кладбищенской улицы, на пригорке. Как раз напротив дом генерала Верзилина, того самого, что на вопрос

Государя после удачных маневров, не нуждается ли он в чем, ответил: я все имею по милости Вашего Величества. Правее живет отставной майор Чилиев, бывший в ординарцах при Суворове. На прощанье князь Италийский подарил Чилиеву червонец: в землю посадишь, будет урожай. Земли у Чилиева не было: закопал он суворовский подарок на городском участке и выстроил здесь дом.

Вокруг всей усадьбы отца Василия деревянная на столбиках крытая галерея; на дворе пчельник, кухня, хлев, погреб. И в нескольких шагах пустынное поле с видом на кладбище.

— Женатый поп не Богу слуга, а мамоне. Коли не хуже того. Всего-то попки наши боятся, ровно мокрые курицы. Да ведь и то сказать: у иного на шею дюжина незамужних дочерей да попадаья на придачу. А латынскому попу не страшно: хоть гол, да сокол.

Вот какою речью, к изумлению хозяина и гостей, разрешился недавно скромнейший отец Василий за именинным пирогом у скорбященского протопопа отца Павла.

Я матушке написал о пропавшей посылке и о том, что Мишель деньги возвратил. Вчера приходит ответ: «Должно быть, твой друг ясновидец: откуда ему знать, сколько денег в запечатанном конверте».

Не сразу объяснился мне зловещий смысл этих слов. Я еще раз перечел их, и ярким румянцем зарделось лицо мое. Долго не мог я опомниться. Мысль, что чужие, нечистые руки касались милых страниц, что, может быть, цинической шуткой и бесстыдным взглядом сопровождалось их чтение: эта мысль меня убивала.

Целый день я был чрезвычайно расстроен. Обедая у Найтаки, выпил бутылку цымлянского, но вино еще более горячило нервы. Возвратясь домой, переоделся и направился к Верзилиным.

Там уже были Столыпин, Раевский и Мишель, вертевшийся, как бес перед заутреней. Странное дело: о чем бы ему беспокоиться? Немедленно начал он острить на мой счет, прерывая надоедливые шутки судорожным хохотом. Настоящий Маёшка!

Мы вышли вместе. Полная луна озаряла сонный городок. На улице я взял Мишеля за руку и остановился.

— Много раз я просил тебя не острить.

— Не угрожай, а действуй, — возразил Мишель.

— Тогда я пришлю к тебе секундантов.

Он пожал плечами, и мы разошлись. Дома попросил я Глебова быть моим свидетелем.

— Всякий человек, коли хочет спасения, твердую веру иметь обязан. Взять хоша бы меня. Побывал я в бегунах и в нетовцах, жил на Рогожской, в Почаеве, на Керженце, слышал многие толки, а теперича по чистой совести скажу: православная наша вера полную истину сохранит.

— Ну что же, дядюшка? Сказывай?

— Сказал бы, да слов подходящих не знаю. Оно, конечно, и попов у нас хоть отбавляй, и церкви полнехоньки, и служат честь честью, да только все это зря.

— Что ты, дядюшка?

— Верно говорю. Мы строгость жития христианского забыли, живем по-собачьи, и в том попы сами пример дают. Водку клещут, табаком балуются, жрут скоромное.

— Да ведь на них благодать?

— Благодать-то благодатью, а поп сам по себе. Его благодать не берет и вертается к Богу.

— Как же спастись?

— Есть ко спасению верная дорожка, только пойдешь ли со мною?

— На край света пойду, дядюшка Иван.

— Ну, ин ладно. А теперича прислушай, сынок. Ты думаешь небось, что я господский повар, ан я не повар, а поп.

— Поп?

— Глянь-ка, что в мешке-то у меня: вся снасть духовная, епитрахиль, рукавицы, антиминс, требник, чаша. Только не казенный я поп, а вольный. Слушай, Еρμοша. Тутошний мир катит прямехонько в лапы к антихристу. Куды деваться? В монастырях и то не спасешься: жывал я там, знаю. Одно только местечко и есть.

— Где, дядюшка?

— В костромских дремучих лесах. А проходят эти заповедные дубровушки аккурат до белого лесу Соловецкого. Сказывал мне в Киевской Лавре солдатик беглый, быдто за теми лесами есть широкий привольный край; туда ни проходу, ни проезду, и ворон не залетает, и начальство про те места ничего не ведает. Народ там расейский и бает по-нашему; иначе речи ихние не вдруг разберешь. Все у тамошних людей свое: и песни, и одежда, и посуда. Только веры истинной не знают они и попов у их нет.

— Пойдем туда, дядюшка Иван.

— К тому я и речь веду. Солдат мне все рассказал. Там, слышь, звери и птицы человека не пугаются, Адама в нем чуют. Идешь себе лесом, а белочка с дерева на плечо к тебе: скок-скок! Ястребок на ветке сидит-качается, перышки носом перебирает, в глаза тебе смотрит. Одно слово, рай земной. И в том пресветлом раю возрастим мы с тобой древо жизни.

Три суть мира: вселенная, человек и Библия.

В Библии внутренний человек есть начало и конец.

Все тайны и загадки мировые в моем сердце.

Познай же себя и следуй природе своей во всем.

Весь этот день проскитался Мишель по окрестностям Пятигорска. Непонятная тяжесть ложила на грудь: не тоска и не скука, а предчувствие чего-то небывалого, но известного.

Усталый, тихо шел он вдоль росистых лугов. Угасавшие сумерки быстро темнели; летучая мышь, кружась, задевала крылом верх белой фуражки. Замелькали городские огоньки, но безлюдное поле по-прежнему хмурилось неприветливо и угрюмо.

Издали Мишель увидал на скамье незнакомого офицера. Странное сходство с кем-то заставило его приостановиться. Кто бы это мог быть? Всмотревшись, Мишель вдруг узнал свою высокую фуражку, эполеты и расстегнутый сюртук.

На скамье сидел он сам.

Руки опустились у Мишеля; как юнкер во фронте, безмолвно он замер перед неподвижным двойником.

Но страх, безумный и дикий, перехватил ему горло, когда офицер шевельнулся и насмешливо спросил:

— Как ваша фамилия?

Это было до того ужасно, что Мишель подпрыгнул и бросился бежать. Он летел задыхаясь, размахивая руками.

Справа показалось кладбище с надмогильными крестами; слева развалистый дом Чилиева.

С трудом опомнившись, Мишель отпер дверь, вошел. Красная, как зарево, луна поднялась, побледнела и заглянула в окошко.

Откуда-то вдруг застучали отчетливые шаги. Мишель обеими руками схватился за сердце.

Шаги остановились под окном. Маленький белый олень прыгнул с подоконника в комнату; стукнули копытца.

Мишель очнулся; страх мгновенно прошел. Золоторогий олень продолжал топтать, весь озаренный голубоватым сияньем. Нечаянно Мишель обернулся и

вздрыгнул: ему из окна улыбался тот самый незнакомец, которого он видел во сне девять лет назад.

Олень жалобно крикнул.

Густые клубы серного дыма поползли к потолку; в их удушливом мраке блеял отвратительным голосом черный козел.

Около шести часов вечера я выехал верхом на место поединка. Глебов на беговых моих дрожках следовал за мной.

Место выбрано было близ кустарника, недалеко от дороги. Мы сошли с коней; скоро подъехали Мишель и Столыпин.

Мне приходилось стрелять из пистолета третий раз в жизни. От барьера расстоянием в пятнадцать шагов секунданты отмерили еще по десяти и поставили нас с Мишелем на крайних точках.

Я решил не подымая пистолета подойти к барьеру и ждать противника. Так я и сделал. Между тем Мишель, взяв на прицел, с насмешливой улыбкой продвигался ко мне правым боком. Начинал накрапывать мелкий дождик. Дождиться у барьера значило разыгрывать шутовскую роль. Я выстрелил.

Мишель свалился: он был убит наповал. В этот миг разразилась ужаснейшая гроза с молнией и громом.

Под проливным дождем поцеловал я Мишеля в похолодевшие губы, вскочил в седло и полетел домой.

Из метрических книг Пятигорской Скорбященской церкви видно, что Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов убит на дуэли 16, погребен 17 июля 1841 года. Погребение пето не было.

<Новодевичий монастырь. 1936—1941>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть, исключенная автором из окончательной редакции. (Хранится в фонде Б. Садовского в отделе рукописей Российской государственной библиотеки — бывшей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Приносим благодарность И. Андреевой за сообщение этого текста.)

Часть седьмая

БЛИЗНЕЦЫ

Печально я гляжу на наше поколение.

Лермонтов

Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Московский, как всегда, пробудился в пять часов.

Сегодня канун Вешнего Николы.

Владыка строен, невысок и очень худ. На тонком прозрачном с темною бородою лице соколиные глаза под прекрасными ровными бровями; печать необычайного ума в проникновенном взоре и в твердой складке осмотрительно сжатых уст.

Разговаривает митрополит бесстрастным и тихим голосом. В приемах, в походке, во всех движениях царственная плавность, напоминающая лебедя. Службу совершает он смиренномудро, кадит легко и изящно.

Дома владыка носит черный подрясник и шитый бисером пояс; на маленькой девической руке голубые четки. Для присмов коричневое шелковое полукафтанье с двумя орденскими звездами, с бриллиантовой панагией.

Поднявшись со своей монашеской липовой кровати, владыка после утренних молитв садится читать Библию. В восемь часов слушает обедню из секретарской комнаты; сюда за службой входит диакон с кадилом; сюда приносят антидор и теплоту. После обедни прием и чай.

Во втором часу владыка в ряске и скуфье переходит из кабинета в столовую, молится и благословляет яства. При гостях он кушает все; наедине лишь уху да морковный соус; кофе подается с миндальным молоком.

Отдых за чтением книг и газет: проницательный ум владыки все обнимает, все видит. И вот он опять у письменного стола.

Вечерний чай в шесть часов. Первая чашка с лимоном, вторая с вареньем, третья с вином. Иногда просфора или ломтик белого хлеба вместо ужина.

Откушав чай, митрополит возвращается в кабинет; за столом он остается до глубокой ночи, иногда до рассвета. И тут из-под пера его являются пространные записки и решающие мнения по вопросам догматическим, литургическим и высшего церковного управления; частные письма, где ни одного излишнего или праздного слова; важные политические отношения к восточным патриархам, к представителям американской и англиканской церквей. У него нет разделения жизни на официальную и частную; он не только исполнитель христианского закона, но и образец его: православный епископ от раннего утра до позднего вечера и от вечера до утра.

Владыка Филарет любит цветы и природу; в детстве был он искусный рыболов, неутомимый пловец; в юности прекрасно играл на гуслях. Ему по душе старинные немецкие композиторы; владеет он и стихом.

Соединяя размышление с молитвой, быстрее воспарить к Богу.

Пользуйся для этого воскресными днями, болезнью, вечерним уединением.

Отложи праздные мысли о заботах, беспокойствах, удовольствиях.

К делу внимателен будь: святыми вещами не шутят.

Спешి поднять паруса, доколе попутный ветер иметь возможно.

Приемный час.

Митрополит у окна в глубоком кресле, обитом красным сафьяном; справа на столике бронзовый колокольчик; две-три книги, чернильница с гусиным пером.

Первыми приняты трое иноков, ожидающих рукоположения.

— Кто из вас младший?

— Я, владыка.

— Чем ты надеешься спастись?

— Смирением.

Митрополит укоризненно покачал головой.

— Много ли его у тебя? А ты?

— Вашими святыми молитвами.

Гневно сдвинулись стрелки бровей; забряцали четки.

— Где ты научился так лицемерить?

Митрополит отвернулся; минута молчания.

— Ну, а ты чем надеешься спастись?

— Крестным страданием и смертью Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа.

Владыка перекрестился.

— Вот запомните этот ответ и помните всегда. Как звали тебя в миру?

— Епафродит Егоров.

— Из мещан?

— Из дворовых людей.

— Чем занимался?

— Живописью, владыка.

Митрополит опять помолчал.

— Вы двое ступайте, а ты останься. Подойди поближе. Отчего ты ушел в монастырь?

— Мир опротивел, владыка. Нечем стало жить. Нынешние люди себя заперли в башне без дверей и без окон, а ключ потерял. Этот ключ я долго искал и нашел у дверей церковных.

— Благо тебе, что обрел его. Будь же отныне иконописцем. И да послужит дар Божий святому делу.

Икона есть изображение тайных и сверхъестественных зрелищ; через икону открывается окно в горний мир.

Горним миром во веки веков на земле пребудет страшный алтарь церковный; умную грань между нами и им знаменует иконостас.

Иконостас является живою цепью божественных стражей; ангелы и святые не допустят в область горнего мира тех, кто не ведает премудрого страха Божия.

Страх Божий есть чувство, при котором человек постоянно сознает себя лицом к лицу с Божеством.

.....

В Николин день над Москвой с утра загудели колокола. Первым забил воздушный поход Иван Великий; за ним Симонов монастырь. Симонову ответил Данилов, Данилову Страстной, Страстному Донской.

И трезвонят московские колокольни: у Богоявления в Елохове, у Воскресения на Остоженке, у Троицы на Листах, у Николы в Звонарях, у Покрова на Ордынке, у Григория на Полянке, у Харитония в Огородниках, у Параскевы в Охотном, у Благовещения на Тверской, у Вознесения на Никитской, у Преображения на Песках, у Успения на Могильцах, у мученика Трифона, у Симеона Столпника, у Адриана и Наталии, у Бориса и Глеба.

Заговорили, застонали, запели все сорок сороков. А у Иверской и Пантелеймона по-всегдашнему неизбывная шепчущая, вздыхающая, молящаяся толпа.

Обедня отошла. Заструились по тротуарам живые волны; из окон заманчиво тянет зелеными щами, ватрушками, сдобным пирогом.

Москва вдруг опустела.

На большую деревенскую усадьбу похожа первопрестольная. Парки, сады, цветники, огороды; на бульварах воробьиное чириканье, детский крик. Изредка проползет полусонный извозчик, прогремит карета.

В барских особняках перед белой парадной лестницей важный золотолитреинный швейцар, сияя булавой, охраняет зеркальную переднюю с мраморными колоннами, с бронзовым камином. Отсюда ряды напудренных, в красных кафтанах и белых чулках лакеев укажут гостю дорогу наверх, в высокие, с лепными потолками прохладные залы, в полутемные гостиные. Таинственно поскрипывает матовый паркет; в золоченых рамах улыбается благосклонно Екатерина, недоверчиво хмурится Павел, чарует женственной прелестью Александр. С гигантских холстов величаво взирают суровые непобедимые фельдмаршалы в высоких ботфортах, в боевых плащах и шляпах, с подзорными трубками, со шпагами, с жезлами. Кенкеты, люстры, жирандоли, шитые экраны, фарфоровые куклы, чугунный Наполеон.

У профессора Михаила Петровича Погодина новый дом с большим садом подле Девичьего поля. В просторных покоях по столам и этажеркам горы древних фолиантов, тысячелетние камни и плиты с непонятными письменами, рукописи на славянском языке. А в весеннем саду над свежими клумбами вплоть до рассвета рокохут, свишут и рассылаются соловьи, навевая спящему в мезонине Гоголю юные грезы об украинских ночах.

Как всегда, справляет Гоголь именины в саду Погодина; как всегда, готовит к обеду макароны.

Гости ждут именинника — и вот он сходит с террасы в сад, просветленный и умиленный.

— Сегодня я могу объявить, куда еду: ко гробу Господню.

— Мы будем ждать от вас описания святых мест, — сказала Екатерина Михайловна Хомякова.

— Я их опишу, но для этого надо сначала очиститься и быть достойным.

Неискоренимы московские предания, московские заветы. Ведь сердце России в Кремле, подле царских гробниц и мощей святителей. Москва, Москва! Не могли осилить тебя ни татары, ни ляхи, ни шведы, ни французы. Кто же, какой народ наругается над тобой? Кто дерзнет осквернить православные святыни; неужели сам русский в союзе с врагом Христовым занесет на них безбожную, самоубийственную руку?

Несокрушима белокаменная Москва. Ее хранит державный меч Николая, за нее молится Филарет.

Трое молодых людей отдыхают под стеною Новодевичьего монастыря. Один уже не очень молод: ему лет тридцать. Стальные очки на кончике носа, засаленный фрак.

— Спой, Аполлоша.

Благообразный студент лениво коснулся струн гитары.

— Уж больно жарко. Спой лучше ты, Иринарх.

— Я, как тебе известно, пою только в пьяном виде. А вот пускай Афоня прочтет стишки.

На Афоне щёгольский студенческий сюртучок, рейтузы со штрипками, на левой руке перчатка. Прической и профилем напоминает Гейне.

Православья где примеры?
Не у Спасских ли ворот,
Где во славу русской веры
Мужики крестят народ?
Иль у Иверской часовни,
Где...

— Постой, постой! Какие мужики крестят народ, что за дичь?

— Да разве ты не видал, как наше мужичье колотит не на живот, а на смерть всех, кто перед Спасскими воротами не ломает шапки?

— Оно, положим, так, а все нескладно. Да и Аполлоша в обиде: за православие, что ли?

— За русскую народность.

Иринарх отплюнулся.

— И что за ослиная челюсть, прости, Господи! Когда же ты поймешь наконец, что нет народности русской. Нет и нет!

— Это софизм. Докажи наукообразно.

— Изволь. Православие с самодержавием суть теории, строящие государственный порядок. Пусть православие дали нам греки, а самодержавие немцы: не в этом сила, а в том, что мы все это чувствуем на собственной шкуре, познаем практически. А народность? Что это за птица: растолкуй, сделай милость. Такой штуки не бывало на Руси. Ее Уваров да Шевырев придумали.

— Так без народности и Бог и Царь ни к чему.

— Ага, договорился! Нет, друг ситный: без Бога и Царя ни к чему народность.

— Как же так?

— Сейчас объясню. Что вручается епископу при посвящении? Палка, называемая жезлом. А царский скипетр разве не та же палка? Ежели русскую историю взять... Ты Грановскому не верь, ты меня послушай. Иван Грозный управляет посохом, Петр Первый дубинкой, теперешний царь кнутом. Соображаешь теперь? На кнуте, друг ситный, на одном кнуте держится наша святая Русь-магушка. Опустит только кнут попробуй, и вся твоя народность слиняет через день.

Иринарх огляделся.

— Дай Бог, чтобы скорее.

Я, Иринарх Введенский, утверждаю, что Афанасий Фет, упорно отвергающий Бытие Вседержителя Бога и бессмертие души, лет через двадцать вследствие не известных ни мне, ни ему причин совершенно изменит свой образ мыслей.

Ежели это действительно случится, обязан он идти пешком в Париж.

— Чем позволите служить?

— Прежде всего прошу прощения, что осмелился беспокоить Ваше высокопреосвященство. Я коллежский ассессор Эгмонт. Занимаясь изучением Писания, пришел я к выводам, которые без помощи вашей не в силах решить.

— Изложите ваши сомнения.

— Вам лучше моего известно, владыка, что едва ли не в один день недавно дотла сгорели в Петербурге дворец, в Лондоне биржа, в Париже театр. Во многих местах Европы наблюдаемы были воздушные и физические явления. Как понимать все это? И чем объяснить ужасающий рост всемирного зла?

— Испытывать знамения времен дается не всякому, но вспомните притчу о плевелах у Матфея, в 13-ой главе. Развитие доброго семени есть истина веры, благо любви, сила

надежды, чистая мысль, непорочное желание, здоровое слово, праведное и святое дело. А что есть развитие душевных плевел? Ложь неверия, зло нелюблениа, бессилие отчаяния, нечистая мысль, порочное желание, неверное слово, неправедное и незаконное дело. Поэтому все помышляемое и слышимое необходимо испытывать словом Божиим. Мудрость и добродетель одно.

— Откуда узнать истинную мудрость, владыка?

— Все из того же евангельского источника. Что говорит апостол Иаков? «Мудрость, свыше сходящая, прежде всего чистая, затем мирная, кроткая, благопокорливая, исполнена милости и плодов благих, несомненна, нелицемерна». Теперь проверим словами апостола новую европейскую мудрость, что собирается перестроить Божий мир.— Чиста ли она? — Нет, потому что не говорит о Боге, едином источнике чистоты. — Мирна ли она? — Нет, она живет раздором. — Кротка? — О нет: надменна и дерзка. — Благопокорлива? — Нет, мятежна. — Исполнена милости от плодов благих? — Жестока и кровожадна. — Несомненна? — Ничего не дала, кроме сомнений и подозрений. — Нелицемерна? — Меняет личину за личиной. Какая же это мудрость? Очевидно, не та, что сходит свыше.

— О, как я благодарен вам, владыка! Ваши слова просветили слабый мой разум.

— Не в моих словах просвещение, а в свете Христовом. Сами вы заметили, что плевелы разрастаются по мере приближения жатаы. О, как уже теперь видны их всходы на ниве Господней! Скоро начнут они связываться в снопы: в нечестивые и незаконные сообщества.

Отставной майор Николай Соломонович Мартынов, преданный за поединок военному суду, по Высочайше подтвержденной сентенции приговорен 9 мая 1842 года к церковному покаянию на пятнадцать лет.

— Ты ли это, Афродиша? Здравствуй.

— Здравствуй, Виссарион.

— Что за маскарад, глазам не верится. Неужели ты и вправду пошел в монахи? Я до сих пор считал тебя человеком умным.

— И не ошибся. Потому я так и одет. Что скажешь?

— Нет ли у тебя неизданных лермонтовских стихов?

— Были, только я давно все сжег. И его стихи, и свои рисунки.

— Ты шутишь?

— И не думаю. Впрочем, тебе этого не понять. Твое дело строчить статейки о героях нашего времени, а возвыситься над этим временем ты не можешь.

— Значит, одна только Церковь непогрешима?

— Церковь есть союз Богочеловеческий. Один только Бог вне греха, а человек грешит вечно. Правда в догматах, неправда у меня.

— А для чего все эти догматы и таинства? Ведь Бог есть дух.

— Да, но человек не только дух. Ему нужна земная точка опоры. Христианство не теория и даже не учение: это сама жизнь.

— Так что же, по-твоему, надо делать?

— Прежде всего оставаться на месте, свыше тебе назначенном.

— А как же быть с прогрессом?

— Никакого прогресса нет. Дай только время: люди бросят фабрики, переломают машины и станут жить по извечному закону Божию. Стальная подошва когда-нибудь да сотрется, а вот подошва живая все будет цела, хоть ходи на ней сотню лет.

— Какая чепуха.

— Второго откровения не будет. Человечество отходило от Христа и опять возвращалось. Вернется и еще.

— К чему тут Христос? Я говорю о прогрессе.

— А я о чем? Ведь в этих возвращениях весь твой прогресс. Пусть мир меняется, — Христос вовеки все тот же.

— Мир накануне всеобщей революции.

— Революция — затея глупых умов человеческих; от нее пахнет гробом. В мире лишь одна живая действительность: святая Церковь, все остальное хаос и мираж. Мне тебя жаль, Виссарион. Оставайся при стихах и статейках, но если бы ты знал, каким

бессмертным счастьем наградил меня Господь! Религия держит душу мою в царстве благодатных вдохновений. Я предвкушаю вечность.

Липовую ровную доску легко и прочно высветлил блистающий блискас. Яичные нежные вапы в муравленых горшочках; в раковине яркая киноварь; кисть тоньше иглы.

На высоком золотом амвоне Богоматерь в лазоревой звездной тунике под царскою багрянницей, в правой руке расцветающий жезл, в левой латинский крест. На коленях младенец Христос с благословляющей десницей. Два серафима с двух сторон возносят царскую тиару над тронем Приснодевы; парит над нею в образе белого голубя Дух Святой.

Справа Иоанн Предтеча в кожаных ризах; за ним первоцерковный Петр с ключами и неботечник Павел со свитком; смиренномудрый Матфей, внимающий Ангелу; неустрашимый Марк подле крылатого льва; кроткий Лука, на тельца возложивший руку; юный тайнозритель Иоанн под сенью орлиных крыл.

Слева три волхва слагают перед царем иудейским злато, ливан и смирну; падают с воскресшего Лазаря погребальные пелены; обливается слезами, простирает алавастр многоценного мирра Мария Магдалина; за нею разбойник с крестом и с плащаницей Иосиф.

Икона светит райским отблеском таинственного дня.

Троицкая Лавра. Весенний вечер. Владыка Филарет отдыхает на крылечке; перед ним в облаке траурной кисеи склоняется заплаканным лицом Наталия Соломоновна Мартынова.

— В самой суровой пище от Бога положен вкус и есть утешение в самом тяжелом жребии. Что нам потребно, знает один Господь.

— Я хочу постричься, владыка.

— Не всем под силу иноческий крест. Идите в мир. У вас есть близкий человек: он любит вас с детства. Будьте ему верной и послушной женой. Воспитывайте детей в отеческих преданиях, в верности православной церкви и самодержавному Царю. Долг жены — ограждать труды и досуги мужа от житейских мелочей. Прощайте. Бог с вами.

Долго стоит на крылечке, перебирая четки, владыка Филарет. Пушистые, рассыпчатые волокна медлительных облаков; сияющие главы и кресты святой обители; светлый, как стекло, монастырский пруд с поникшими ветлами, изумрудным тростником и краснокрылой цаплей; перекличка радостных птишек на дряхлой дуплистой иве; тихий вечерний благовест.

Слава Богу за все.

1936

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Роман Бориса Садовского окончен, но сильное и необычное впечатление, вероятно, долго еще будет преследовать его читателя.

Он соприкоснулся с прозой незаурядного мастера. Ни социальные катаклизмы, разрушившие все, что было дорого автору «Пшеницы и плевел», ни многолетняя тяжелая болезнь, ни возраст, ни бедственная жизнь не отняли у него дара повествователя. И он не принял никаких требований, которые предъявляла писателям уже ясно определившаяся в 1936 — 1941 годах идеологическая политика власти.

В годы диктатуры Сталина и массовых репрессий он написал произведение откровенно монархическое и клерикальное, «контрреволюционное» в самом полном и точном значении этого слова.

В нем Николай I, подвижник, мудрец, политик и воин, отеческой рукой охраняет общественные и нравственные устои. В нем над Россией простерты не «совиные крыла», а благословляющая рука носителя евангельского духа митрополита Московского и Коломенского Филарета.

И сама Россия предстает в нем в своем патриархальном облике, и высшее ее духовное сокровище — передаваемый от поколения к поколению, органически наследуемый жизненный уклад. Материальный прогресс разрушает его. Железные дороги вредят естественно сложившимся связям, разъединяют людей с природой и между собой.

Исторический быт для Садовского — не тема, а мировоззренческая категория. Здесь лежали истоки его стилизаторства, всегда окрашенного некоторой ностальгией. С изоб-

ражением быта связаны лучшие страницы его романа, достигающие иной раз виртуозного мастерства: вспомним описание столичного утра или масленичной недели. Вещи одушевляются; они становятся символическим знаком традиции, уклада, исторического бытия — как пейзаж сельской, провинциальной, усадебной России, как ее верования, обычаи, привычки, как гомон ярмарки, запах травы и поспевающих яблок, как лубочные картинки и книги и таинственные легенды о глухих раскольничьих скитах. Во всем этом для Садовского заключена поэзия и духовный смысл старорусской жизни, которые и на самое крепостничество набрасывают идиллический флер. Это Россия «отцов» и «дедов», и тема поколений приобретает в его романе особую важность. Здесь любимые герои — потомки патриархальных семейств. Соломон Михайлович Мартынов — любитель книжной премудрости (мистической, масонской, ортодоксально-православной), трактующей о воспитании «внутреннего человека», собеседник Сковороды. В день его смерти в доме останавливаются часы, — в 1933 году Садовской записал в дневнике, что так произошло накануне кончины знакомого его Б. Б. Шереметева. И. И. Эгмонт — отец Володеньки — принимает православие, побуждаемый пророческим сном.

И то, что один из центральных героев «Пшеницы и плевел», Афродит Егоров, — порождение этого быта, для Садовского существовавшего важно. Крепостной, дворовый человек, ставший европейски образованным художником, чьи академические полотна покупает государь император, не восстает против крепостной зависимости, а как бы перерастает ее, — но даже войдя в столичную артистическую среду, сознает и стоически принимает свое «место» на низших ступенях социальной лестницы.

Все это — мир хотя и не лишенный темных сторон, но гармоничный в своей внутренней основе. Ему угрожают разрушительные силы, уже зреющие на Западе и заронившие семена и в России, — поколение «сороковых годов», предтечей которого было «вольтерьянство» XVIII столетия. К этому-то поколению принадлежит большинство исторических лиц в «Пшенице и плевелах».

Оба мира — в разных своих ипостасях — нашли отражение на страницах романа. Он кажется очень большим — по числу героев, эпизодов, описаний, по обилию вещей, голосов, лирических отступлений. Между тем по своему объему он очень невелик — менее пяти печатных листов. Его художественное пространство расширено фрагментарной композицией, которая должна была бы повредить его единству, — но и этого не происходит: сюжет развивается стремительно, вбирая в себя все побочные эпизоды и все многоголосие романа.

И рассказан он языком ясным и точным, богатым оттенками и интонациями, ориентированным то на протокольный стиль документа, то на устную речь, то на лирическую прозу, то на эпический тон семейных записок.

Определенно это было произведение мастера.

Но ни одному мастеру — даже куда большего таланта — не удавалось еще перекроить историю и культуру по своему произволению без фатальных для себя последствий.

В центр своего произведения Борис Садовской поставил фигуру Лермонтова.

В 1911 году Садовской написал эссе «Трагедия Лермонтова», которое затем (под заглавием «М. Ю. Лермонтов») вошло в его книгу «Ледоход» (1916).

«Поразительна лермонтовская цельность, гармоничность его природы, самобытность колоссального таланта, — писал он здесь. — Душою он в главном своем один и тот же, семнадцатилетний и на двадцать седьмом году, накануне смерти».

Садовской говорил о невероятном труде и страдании поэта, о «мечтательности», раздвоившей его существование. «Проснувшись на минуту Маёшкой, кутилой и львом-бретером, он снова предается упительной сонной мечте, стремясь выиграть «чудное, божественное виденье». «...» Вся жизнь Лермонтова — игра с призраком; решающей ставкой был поединок 15 июля 1841 года, когда последняя карта была убита».

Этот призрак — бессмертная любовь, подобная любви Данте к Беатриче, и она не могла быть воплощена в женщинах, которых Лермонтов встречал на своем пути. Вера и любовь погибли не расцветши, и жизнь показала поэту свою изнанку. Мертвящая скука овладела им, вечное недовольство, находившее выход в «травле приятелей» и в горьких насмешках над жизнью. Под этим углом зрения Садовской описывал и последние месяцы поэта в Пятигорске:

«По привычке он все-таки слегка ухаживает за младшей дочерью бригадного генерала, Н. П. Верзилиной. Надежда Петровна была самая обыкновенная барышня, провинциальная кокетка, окруженная обществом военной молодежи, оживлявшей каждое лето

пятигорский сезон, и, конечно, дуэль Лермонтова только сделала ее более «интересной». <...> И казалось бы, не все ли равно Лермонтову, что красавец Мартынов нравится Надежде Петровне, что она оказывает ему предпочтение? Ложное самолюбие светского льва не позволяло ему оставаться равнодушным. <...>

Пуста и хорошенькая головка Надежды Петровны, и так мало значит она для Лермонтова, что он даже ничего не может написать ей в альбом, кроме каких-то бессвязно-забавных пустяков:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд?
И локон небрежный
Под шейкою нежной,
На поясе нож...
C'est un vers qui cloche.

А ночью, там, у себя, в маленьком домике под Машуком, пишет, быть может, со слезами: «Выхожу один я на дорогу» — и восклицает, вспоминая пусто и бесцельно проведенный день:

Нет, не с тобой я сердцем говорю!

И так чудовищно это несоответствие между жизнью и мечтой, что, выбросив жемчужные стихи, душа не утихает и еще пуще хочется на другой день злить самодовольного Мартынова...

Можно вообразить, как раздражало Лермонтова печоринство Мартынова! Его герой воплотился наяву своими худшими сторонами. Мартынову пребывание Лермонтова на водах было неприятно по многим причинам. В душе он сознавал свое ничтожество; его стихи и романсы могли восхищать девиц, но вряд ли он отваживался на них в присутствии Лермонтова, видевшего его насквозь; на убийственные остроты последнего он не находил ответов. Но, как всякий «порядочный молодой человек», Мартынов больше всего на свете боялся «влететь в историю», а потому спускал многое несносному Маёшке. Одного не мог вынести Мартынов: шуток Лермонтова «при дамах», очень уж страдало от них петушьее самолюбие неотразимого кавалера. Он даже унижался до просьбы перестать остерить, но, разумеется, только усиливал тем ядовитые нападки. И вот, может быть, в тот самый момент, когда Мартынов решительным печоринским приемом покорял нежное сердце Наденьки Верзилиной, по комнате громко прозвучало ненавистное: *montagnard au grand poignard* (горец с большим кинжалом. — В. В.). Чаша терпения переполнилась, и насмешник поплатился жизнью» (С а д о в с к о й · Б. Лебединые клики. М. 1990, стр. 387, 403 — 405).

Этюд, где о поэзии Лермонтова говорится с каким-то мистическим ужасом и благоговением — «демонический аккорд», «что-то нечеловеческое», словно бы ниспосланное свыше, — и почти памфлет 1936 — 1941 годов, по иронии судьбы законченный накануне столетия со дня трагической гибели одного из величайших русских поэтов, написаны одной рукой.

Места, где они соприкасаются друг с другом, лишь подчеркивают контраст. Последний фрагмент статьи, приведенный нами, развернут в заключительной части романа; в нем даже — с изменениями — повторен стишок «Надежде Петровне». Но соотносятся они по принципу зеркального отражения — с противоположными знаками.

Мартынов — Никольенька, наивный, честный, простодушный, патриархальный; сама уменьшительная форма его имени вызывает в памяти Николеньку Иртеньева из толстовской автобиографической трилогии — и это не случайное совпадение, а сознательная ассоциация.

Мишель — Лермонтов — Печорин, лишенный обаяния, с подчеркнутой ролью палача или предателя: вспомним историю Мавруши и Натуленки.

Борис Садовской словно оспаривал самого себя — и, конечно, не только себя. Он демонстративно противоречил общественной репутации Лермонтова и даже тем глубоким и парадоксальным оценкам поэта, которые возникали в спорах о нем в 10-е годы.

В 1899 году Владимир Соловьев произнес публичную речь о Лермонтове, где сделал частные факты его биографии предметом религиозно-философских обобщений. Он увидел в нем гения, получившего с рождением сверхчеловеческий дар творчества, прозрения и прорицания — быть может, наследие его полумифического предка, поэта-пророка и вол-

шебника Томаса Лермонта — и расточившего этот дар в угоду демонам кровожадности, нечистоты и гордыни. Смирение, длительный подвиг самоусовершенствования могли бы возвести его до степеней сверхчеловечества и дать могучий импульс потомкам — но он ушел с бременем неисполненного долга.

Эта речь, напечатанная посмертно, в 1901 году, стала событием в истории русской культуры. Отныне личность и судьба Лермонтова будет рассматриваться как символическая, в перспективе религиозных, философских, историософских идей, порожденных культурой рубежа веков.

Быть может, самым значительным откликом на нее был этюд Д. С. Мережковского «М. Ю. Лермонтов — поэт сверхчеловечества» (1909).

Мережковский с гневным пафосом отверг идею «мнимохристианского рабского смирения» и объявил божественным лермонтовский бунт. «Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова — не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, с м е ш е н и е добра и зла, света и тьмы». Его мистические предки — ангелы, в борьбе Бога и дьявола не примкнувшие ни к той, ни к другой стороне, и здесь истоки лермонтовского анамнезиса — постоянного возвращения к прежней, довременной жизни, протекавшей в вечности. Богоборчество же его — борьба Иакова с Богом, «святое богоборчество», забытое в христианстве, и от него есть путь не только к богоотступничеству, но и к богосыновству. Этим-то путем идет, согласно Мережковскому, Лермонтов, идет через божественную Любовь, Вечную Женственность, отвергая скудный, сомнительный идеал христианской аскезы. «Он борется с христианством не только в любви к женщине, но и в любви к природе, и в этой последней борьбе трагедия личная расширяется до вселенской, из глубины сердечной восходит до звездных глубин».

Садовской писал свою статью по свежим следам этого спора и остался тогда равнодушен к его религиозно-философской стороне. Его занимали проблемы совсем иные, но в оценках своих и симпатиях он оказывался ближе к Мережковскому.

Следы же метафизической концепции личности Лермонтова сказались через три десятилетия в романе «Пшеница и плевелы».

Из вступительного очерка читатель романа уже почерпнул необходимые сведения о личной и писательской судьбе Б. А. Садовского и об эволюции его мировоззрения.

В первой половине 30-х годов он переживает духовный кризис. По дневниковым записям, опубликованным недавно («Знамя», 1992, № 7), можно проследить его основные вехи. 19 июля 1933 года он записывает:

«Я перехожу окончательно и бесповоротно на церковную почву и ухожу от жизни. Я монах...

Православный монах эпохи „перед Анатихристом“».

Теперь ему предстояло подвергнуть переоценке все, что когда-то составляло смысл его деятельности, — и прежде всего русскую литературу «золотого века».

Он пишет в дневнике о «духовном ничтожестве» декабристов и Пушкина, о том, что «из всей нашей литературы можно оставить только Жуковского и Гоголя, а прочее сжечь...». Но даже и Гоголю стоило сжечь «Мертвые души», а потом остаться жить — «жить в Боге».

Теперь его идеалом становятся Фотий и Филарет.

Над ним сбывалось то, что когда-то, в 1911 году, он считал трагедией Языкова, Гоголя и Толстого: болезнь, страх смерти заставили Языкова «подменить „живое вино вдохновенного беспутства“ „мертвою водою бездушной святости“» («Лебединые клики»), Гоголя «задышаться под черным покровом мистической ипохондрии», Толстого в «Исповеди» отречься «от жизни и искусства в пользу смерти».

Мысль о смерти пронизывает его собственные дневники.

Он оставляет для себя из предшествующей культуры только то, что соответствует его нынешнему мироощущению. 28 июля 1933 года он записывает: «Прежде я любил Розанова почти до обожания. Соловьева же не очень. Теперь наоборот».

«Соловьеву я многим обязан, особенно последнее время. Его могила видна из моих окон. Он действительно помогает мне»

«У Соловьева — стройная христианская система в соответствии с жизнью. Никогда Соловьев, доживи он до 1917 года, не унизился бы так, как Розанов. Да что Розанов — пробном камне православия даже Пушкин оказывается так себе. Поэт — и только.

Блестящий стиль у таких писателей, как Пушкин или Розанов, чешуя на змеиной коже. Привлекает, отвлекает, завлекает. А как в настоящий возраст войдешь, вся пустота их сразу и откроется».

Итак, ему удалось «преодолеть Пушкина», как он писал в дневнике годом ранее. Но чтобы стать на прямую и тернистую стезю спасения, предстояло отречься еще от многого: от жажды творчества, от ностальгических воспоминаний, от рефлексии, вероятно, от чтения мирских книг. Это должен был сделать знаток и исследователь поэзии «золотого века» и сам поэт и прозаик, годами взращивавший и воплощавший в жизнь мечту о идеализированной, эстетизированной патриархальной культуре «дворянских гнезд».

Ни по таланту, ни по масштабу личности, ни по одержимости идеей Садовской не был ни Толстым, ни Гоголем.

Его дневниковые записи отражают метания и смятение, готовность то замкнуться в добровольном отшельничестве, то начать автобиографический роман. Известные нам дневники оканчиваются в феврале 1934 года равнодушным упоминанием о подступающей смерти. А через шесть лет он пишет К. Чуковскому дружеское и довольно бодрое письмо, со стихами, с сообщениями о мемуарных замыслах и с упоминанием о романе.

«Теорию прерывности воплотил я в романе, состоящем из 150 лоскутков, как бы ничем не связанных. И знаете, кто герой романа? Мартынов. Это лицо для трагедии. Какая судьба! Лермонтов умер, и конец, а проживите-ка в ежечасной пытке 35 лет! Даже над скелетом его надругались в конце концов. А Лермонтов фигура глубоко комическая. Отсюда невозможность дать его художественное изображение — позорный роман Сергеева-Ценского всего нагляднее подтверждает мою мысль».

Это и был роман «Пшеница и плевелы».

Было бы ошибочно искать в «Пшенице и плевелах» исторической достоверности в привычном нам смысле. Стремясь воссоздать атмосферу, общий стиль жизни, поведения и мышления ушедших эпох, Садовской брал за образец «Войну и мир» — и вслед за Толстым иной раз располагал историческое лицо на периферии своего повествования или помещал в плотное окружение вымышленных героев, которые сосуществовали с ним на совершенно паритетных началах. В «Пшенице и плевелах» на роль главного героя претендует не столько Лермонтов и даже не столько Мартынов, сколько вымышленный Эпафродит Егоров, а рядом с первыми двумя становится вымышленный же Владимир Эгмонт.

Что касается художественной биографии Мишеля — Лермонтова, то в своей фактической части она почти ни в чем не совпадает с реальной, и в большинстве своем эти отклонения сознательны.

Садовской прекрасно знал подлинную биографию Лермонтова, и знал в первоисточниках, а не из вторых рук. Ему было известно, что в 1832 году Лермонтов с бабушкой выехали из Москвы в Петербург, где поэт поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; что в Нижнем Новгороде они не были и не могли быть; что Юрий Петрович Лермонтов умер в 1831 году в своем имении Кропотово Тульской губернии и не мог появиться на сцене ни в это время, ни в этом окружении. Все это плод художественного вымысла, как и история отношений Мишеля с Афродитом и Маврушей, детское и отроческое знакомство его с Николенькой — Мартыновым и даже похищение дневника Натали в 1841 году. Последний эпизод имеет некую реальную основу: родные Мартынова действительно подозревали Лермонтова в похищении писем Наталии к брату.

В 30-е годы Садовской еще не мог знать, что эти подозрения никак не были причиной дуэли: это было доказано Э. Г. Герштейн только в 1948 году. При всем том он был осведомлен, что письмо матери Мартынова, содержавшее намек на похищение, относилось к 1837, а не к 1841 году и плохо согласовалось с последующими дружескими отношениями Лермонтова и Мартынова. Романист разрешил проблему, передатировав письмо. Но он сделал и большее: он изменил, а по существу, сочинил его новый текст. «Должно быть, твой друг ясновидец: откуда ему знать, сколько денег в запечатанном конверте» — таких слов в подлинном письме нет.

Это был метод работы Садовского — исторического писателя (стилизатора и мистификатора). Он стилизовал официальные документы, письма, записки, стихи, перемежая их с реально существовавшими. Ему нужна была художественная достоверность, вступающая в сложный симбиоз с эмпирической истиной.

Эту последнюю он, однако, никогда не упускает из виду: «Не было, но могло быть». Имя Мартыновых Знаменское-Иевлево находилось по соседству с Средниковым, под-

московной усадьбой Столыпиных, где мальчик Лермонтов проводил летние месяцы 1829 — 1831 годов; итак, он мог встречаться с Никольской и его сестрами уже тогда. Д. Д. Оболенский, публикатор писем Мартыновой, знавший сына Николая Соломоновича, рассказывал, видимо по семейному преданию, что Лермонтов любил Наталью Соломоновну (или «прикидывался влюбленным») и пользовался взаимностью, но при прощальном разговоре перед отъездом на Кавказ вдруг неожиданно «громко захохотал ей в лицо» («Русский архив», 1893, № 8, стр. 612). Эта сцена варьирована в пятой части романа. И едва ли не на мемуары того времени (А. В. Мещерского) опирается история с Klarой — двойником Мавруши: нечто подобное произошло с будущим мужем второй сестры Мартынова, Юлии Соломоновны, — князем Львом Гагариным, некогда влюбленным в А. К. Воронцову-Дашкову: отвергнутый своей возлюбленной, он нашел особу, похожую на нее как две капли воды, с которой и появлялся публично, осуществляя свою изощренную месть (см.: Герштейн Э. Лермонтов и семейство Мартыновых. — «Литературное наследство». М. 1948, т. 45-46, стр. 700).

Сама же сюжетная линия Мишель — Мавруша взята из «Сашки» — поэмы, которую Садовской еще в статье 1912 года называл важнейшим и еще не оцененным автобиографическим источником. Именно здесь была рассказана история крепостной девушки, соблазненной барчуком, предавшейся ему со всей искренностью и страстью и, по существу, погибшей по его вине.

Есть несколько ключевых мест романа, в которых Лермонтов прямо и грубо соотнесен с его героями.

«Третьего дня заехал ко мне Мишель в полном блеске нового парадного мундира. Надобно видеть форму Нижегородских драгун: неуклюжая куртка, шаровары, шашка через плечо и барашковый черный кивер с огромным козырьком. Все это было до того потешно, что я расхохотался» («Пшеница и плевелы», часть пятая).

«За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка...»

Нет необходимости цитировать далее хорошо известный текст «Героя нашего времени», напомним лишь конец этого пассажа: «...его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями».

«Как ваша фамилия?» — спрашивает Мишеля его двойник в заключительной главе романа, и того охватывает ужас; он бежит без оглядки, задыхаясь и размахивая руками.

Этот же вопрос: «Как ваша фамилия?» — задает Лугин таинственному старику в «Штоссе», и далее начинается бессвязный диалог, на котором лежат отблески какого-то потустороннего смысла, а в авторском комментарии проскальзывает фраза, повторенная Садовским почти буквально: «У Лугина руки опустились: он испугался».

Сопоставление текстов было бы явно не в пользу Садовского. Произошла удивительная вещь: изощренный стилист, знаток языка эпохи, «преодолевая» Лермонтова, начинает ученически пересказывать его прозу. Здесь уже нет речи ни о какой стилизации: это рабское переписывание слов и фраз из недостижимо высокого образца. Но и этого мало.

Односторонний, тенденциозный подбор мемуарных свидетельств, откровенный вымысел в области фактов — все это нужно было романисту, чтобы подтвердить предвзятую художественную, философскую и религиозную идею. Вся жизнь Лермонтова — возвращение «плевел» и отторжение «пшеницы». Он носитель «дьявольского» начала еще в большей мере, чем Пушкин, приговор которому выносится устами Кукольника: «соблазн», служение врагу рода человеческого. Подобно Печорину, Лермонтов сеет зло и несет с собою гибель; нечто inferнальное есть и в его власти над людьми. Гибнет Мавруша; на грани гибели Наталья и едва ли не Николай Мартыновы. Он отказался от своего божественного предназначения.

Это предназначение символизируется сквозным мотивом видения старика с золотой ланью.

Старик — пращур рода Томас Лермонт, певец-прорицатель, которого унесла в царство фэй и эльфов лань с золотыми рогами.

Это видение спасает его от разорения за карточным столом. Оно существует в пра-памяти потомков: серебряную фигурку оленя носит на груди Юрий Петрович Лермонтов. С ним связан рисунок «степного ворона», который сделан Мишелем в альбоме Наталье: это отсылка к стихотворению Лермонтова «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной...») с воспоминанием о прародине Лермонтовых — Шотландии. В последний раз олень с золотыми рогами является перед смертью Мишеля как предвестие кары

за отступничество; он исчезает в клубах серного дыма, откуда слышится омерзительный голос черного козла.

Художественная идея была бы красива, если бы явилась как результат творческого акта. Но она оказалась тоже пересказом, и тоже упрощенным. Как мы помним, она принадлежала Вл. Соловьеву, который в 30-е годы стал для Садовского религиозным учителем.

Но Соловьев не мог быть подлинным учителем для человека, уже не видевшего разницы между религией и фанатизмом. Для литератора и историка культуры, «преодолевшего» Пушкина, Лермонтова, Гоголя до «Выбранных мест...» во имя Филарета, Фотия, Голицына, Уварова, Николая I одновременно.

Для Вл. Соловьева жизнь и поэзия Лермонтова были ареной титанической борьбы, в которой зло одержало верх. От этой концепции отправлялся и оппонент его — Мережковский. Он первым упомянул о «черном козле» — искупительной жертве, «козле отпущения», — и у него тоже Садовской заимствовал образ, который превратил в аллегория адских сил.

В основе статьи Садовского «Трагедия Лермонтова» лежала та же, общая для всех, идея борьбы, любви и мучения.

В «Пшенице и плевелах» во всем этом Лермонтову отказано. Он не отмечен ни силой духа, ни гением творчества, ни глубиной страдания. Из романа почти полностью исключена его поэзия. И Томас Лермонт явился своему потомку лишь для того, чтобы подсказать ему, как выиграть в карты у провинциальных шулеров.

Художественная идея становилась пародийной.

Более того, она перерастала почти в кощунственную.

Полемизируя с Вл. Соловьевым, Мережковский писал, что причины «ненависти» к Лермонтову коренились в смутном ощущении окружающими его сверхчеловеческой природы: «...в человеческом облике *не совсем человек*: существо иного порядка, иного измерения». Поэтому он привлекателен для одних — более всего для женщин; прочие гонят его с неслыханным ожесточением.

И эту мысль тоже заимствовал Борис Садовской, и тоже в упрощенном виде. «Сверхчеловеческое» в Лермонтове — дьявольское начало, и чувствуют его прежде всего служители Бога. Потому-то благостный печерский старец избивает его палкой, пятигорский священник проходит мимо, не замечая его, а в части третьей «батюшка» именем Божиим благословляет Мартынова стать орудием небесной кары. «Крест уготован тебе тяжелый. А ты не бойся. Не одни премудрые садовники получают награду: будет дано и тем, кто в вертограде Христовом исторгает ядовитые плевелы из Его пшеницы. <...> А теперь прощай: иди, на что послан. Боже, пощади создание Твое».

Все силы небес и ада соединились, чтобы извести — кого? Неслыханного на земле преступника, продавшего душу дьяволу, демонического соратителя, соблазняющего силой творчества? Да нет же, «фигуру почти комическую», армейского насмешника, фанфарона, неудачного картежника, приволакивающегося от скуки за провинциальными модницами.

И вот уже святые пустынноики с васильковыми глазами берут в руки палку и именем Божиим освящают страшный грех — убийство на дуэли.

Если бы Садовской хотел написать антиклерикальный памфлет, он не мог бы придумать ничего лучшего.

Узкая, болезненно-экзальтированная, фанатичная религиозно-дидактическая идея вторгалась в ткань романа, деформировала сюжет, упрощала художественные характеристики.

С благоговейными интонациями рассказывается о государе императоре Николае I, Филарете, Фотии. Гротескные тона отводятся для Белинского и Некрасова. Именно за это тридцатилетний Борис Садовской отказывал романам Мережковского в праве называться серьезной литературой.

Теперь его то и дело покидал даже столь редко изменявший ему исторический и эстетический вкус.

Жуковский у него публично осуждает только что погибшего Пушкина и выражает сочувствие Геккерю — ситуация, невозможная ни исторически, ни психологически, ни этически.

Уваров с его изысканной, аристократической вежливостью называет хорошо знакомого ему А. В. Никитенко «любезнейший».

Крайности сходились. Вульгарный клерикализм в существе своего метода оказывался как две капли воды похож на вульгарный социологизм массовой официальной исторической романистики 40 — 50-х годов.

Культурная традиция жестоко наказывала Садовского за ренегатство и за посягательство на свои святыни, и лишь там, где он не противоречил ей, она позволила ему реализовать писательское дарование.

Мы говорили уже о той необычайной осязаемости, какой достигает в романе материальная плоть исторического бытия, из которой вырастает образ Афродита Егорова — характер сложный, драматичный и художественно убедительный. В нем воплощена соловьевская идея «смирненного человека».

Епафродита-Афродита Егорова одушевляет идеал божественного, религиозного искусства. Его смирение — служение этому идеалу, и оно придает ему ту внутреннюю устойчивость и убежденность, которые сильнее всякого бунта. Оно поднимает его над собственной физической ущербностью и немощью, освещает внутренним светом его неразделенную любовь, придает нравственное достоинство его «рабской» покорности господам.

Афродит, камердинер Лермонтова, сопоставлен со своим хозяином как его иная, светлая ипостась, антагонист и жертва — «пшеница» при «плевелах». Судьбы их образуют параллель и зеркально отражаются одна в другой.

Афродит самозабвенно любит Маврушу, которую влечет к Мишелю стихийная, неконтролируемая страсть. Мишель же даже не помнит о ней и губит ее, сам того не подозревая.

Обоих, и Мишеля и Афродита, посещает одно видение — старик с золоторогой ланью, но для Афродита оно преобразуется в храм, для Мишеля — в клубы серного дыма.

Изображение лани — талисман рода Лермонтовых, символ творчества — Юрий Петрович передает не сыну, а Афродиту в благодарность за любовь, самоотверженность и смирение.

В заключительной главе романа, исключенной Садовским из окончательного текста, мы видим его при митрополите Филарете иконописцем — он достиг своей страстно желаемой цели. «Слава Богу за все» — так оканчивается роман в этой редакции, и эта концовка может быть понята как внутренняя речь Афродита — символ веры «церковного человека», принимающего мир как он есть: заблуждающимся, грешным, несправедливым, но сохраняющим готовое прорасти божественное зерно. В окончательном же тексте романа Афродит исчезает, подавленный своей трагедией, причиной которой был Лермонтов. Линия Афродита обрывается, не проясненная до конца, совершенно так же, как линия Владимира Эгмонта и даже линия Марьинова:

«Мишель свалился: он был убит наповал. В этот миг разразилась ужаснейшая гроза с молнией и громом.

Под проливным дождем поцеловал я Мишеля в похолодевшие губы, вскочил в седло и полетел домой».

Вот и все. И никакой трагедии тридцатилетнего раскаяния, о чем писал Садовской в письме, никакого тяжкого креста, никакой жертвенной миссии.

Центром художественного мира романа все же оказался Лермонтов — и с его смертью мир этот прекратил свое существование.

В статье «Оклеветанные тени» (1912) Садовской иронизировал над Мережковским, который «строго и пристрастно судит знаменитых наших покойников», «сажая их подсудимыми на скамью современности». Почти через тридцать лет нечто подобное проделал он с Лермонтовым, и его победила и подчинила себе «оклеветанная тень».

Его роман остался памятником его собственной писательской трагедии и драматической личной судьбы, и он имеет право на наше внимание не только как художественный текст, но и как исторический документ. И недостатки и достоинства «Пшеницы и плевел» глубоко поучительны, и внимательное изучение этого феномена может быть важно для уяснения общей эволюции целого культурного поколения.

В. Э. ВАЦУРО.

Санкт-Петербург.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭММА ГЕРШТЕЙН



ЛИШНЯЯ ЛЮБОВЬ

Сцены из московской жизни*

ШШ ел последний год войны. Неожиданно в телефоне раздался возбужденный голос Николая Ивановича Харджиева: «Эмма, я только что видел Леву!»

Что это значило? Или ему показалось? Такой случай уже был. Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в облики Левы Гумилева. Между тем Лева все время войны был вначале в лагере в Норильске, а потом в качестве вольнонаемного работал на норильском же комбинате. Оттуда никого не выпускали до конца войны. Не далее как в сентябре я получила от него письмо, отправленное с последней навигацией из Туруханска. Он писал:

«Дорогая Эмма, я был очень рад получить Ваше письмо. Приятно было узнать, что я не забыт старым другом, несмотря на долгую разлуку. Приятно также было узнать, что Вам повезло в научной работе. Это, безусловно, благороднейшее дело в мире, и из всех моих лишений тягчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни. Я сейчас завидую всем живущим на западе от Волги. Сибирь надоела. Моя жизнь течет по Джеку Лондону — лыжи, палатка, лодки, снег, вода, комары и т. д. Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной двое рабочих, а женщин за год видел трех: зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова, я из телеграммы Надежды Яковлевны узнал, что она вернулась в Ленинград, но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально. За все мои тяжелые годы я не бросал научных и литературных занятий, но теперь кажется, что все без толку. Больше ничего нет и не было в моей тусклой жизни. Трудно писать письма, насколько легче было бы поговорить, целуя при этом Ваши пальцы. Искренне Ваш Л.»

Письмо, как видно из текста, ответное. Я написала ему в мае (1944), когда Анна Андреевна приехала из Ташкента в Москву. Она привезла мне рукописи Мандельштама, сказав: «Это передает Вам Надя», — и показывала последние фотографии Левы. В полосатой тельняшке, волосы коротко острижены, угрюмый взгляд красивых серых глаз. Мне захотелось его известить, что я существую, невредима, несмотря на бомбежки Москвы и невзгоды военной тыловой жизни. Но Анна Андреевна не дала мне точного адреса сына. Тогда я совершила недостойный поступок. Как только она вышла зачем-то из моей комнаты, я открыла ее сумочку, где она хранила заветные письма (всегда носила с собой), и списала адрес, вернее, номер почтового ящика. Именно этот длинный номер Анна Андреевна два раза произнесла неразборчивой скороговоркой.

Отослав письмо, я забыла о нем, потому что ответа не было. Треугольник, появившийся в щели моей двери, поразил меня неожиданностью, а само письмо показалось голосом с того света. Это было уже в сентябре, а в декабре Лева оказался в Москве? Я ничего не могла понять. Но тут явился Николай Иванович Харджиев, и все объяснилось.

* Часть мемуарной книги, над которой я продолжаю работать. С 80-х годов ее фрагменты печатались за рубежом и в России. Таковы: книга «Новое о Мандельштаме» (Париж. «Атенеум». 1986), то же в журналах «Подъем» (1988, № 6 — 10, «Мандельштам в Воронеже (По письмам С. Б. Рудакова)», «Наше наследие» (1989, № 5 /с дополнениями/). Укажу еще на ряд публикаций об Анне Ахматовой в журналах и сборниках и на полемическую статью «Мемуары и факты (Об освобождении Льва Гумилева)» («Горизонт», 1989, № 6). Герои этих очерков представлены в настоящей публикации в ином ракурсе.

Однако его достоверный рассказ не помешал мне на следующий день услышать в Литературном музее сенсационные рассказы о проезде сына Ахматовой через Москву на фронт. Он, мол, едет добровольцем, но добился этого, только вскрыв себе вены. Хотя трудно было представить себе, как можно тащиться в теплушке из Сибири до Москвы со вскрытыми венами, но, как ни странно, эти рассказы были не так далеки от истины. Впоследствии, уже после войны, я слышала от самого Левы подробности этого эпизода. Он действительно рвался на фронт, несколько раз подавал заявления — безуспешно. Наконец явился к коменданту, держа на запястье бритву, и пригрозил: «Вот я сейчас вскрою себе вены, своей кровью твою морду вымажу, а тебя будут черти жарить на сковороде» (тот боялся Страшного суда). Вот так меня и отпустили».

В современной «ахматовиане» есть еще одно описание этого события. Но в нем использованы уже избитые детали военной и тюремной литературы. Поэтому его нельзя считать достоверным свидетельством. Пишет Зоя Борисовна Томашевская¹, дочь известных литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской:

«Никогда не забуду, как он (Н. И. Харджиев. — Э. Г.) зимой 1943 года примчался к нам ночью на Гоголевский бульвар, требуя теплые вещи для Льва Николаевича Гумилева, которого везли из лагеря на фронт. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма чудом дошел до Харджиева. Нужны были теплые вещи. Но Николай Иванович их никогда не имел, ходил даже без шапки. И вот кинулся их собирать, потом искать на запасных путях полутюремную теплушку и... нашел!»

Сравним этот рассказ с воспоминаниями самого Харджиева. Они напечатаны в виде комментария к письму, полученному им от Л. Н. Гумилева уже из армии. «Большой мой привет Ирине Николаевне, — писал Лева, — благодаря Вам и ей я доехал до места относительно сытым». По-видимому, люди, следовавшие в воинском эшелоне на фронт, нуждались не в теплых вещах, а в деньгах, чтобы прикупить еду к скудным казенным харчам. Это стало ясно с самого начала встречи на железнодорожной платформе. Хотя первой фразы Гумилева Харджиев и не воспроизвел в своей мемуарной заметке, но я ее хорошо помню, потому что, приехав ко мне прямо с вокзала, он рассказывал по горячим следам. «Николай Иванович, денег!» — воскликнул Лева. Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Николай Иванович и был в доме Ахматовой и Пунина. Нашел он Леву, разумеется, не по письму, брошенному из окна вагона наугад. Письма бросают только осужденные, которых везут по этапу в лагерь. Лева же имел возможность позвонить на московском вокзале по телефону-автомату. Ему удалось разыскать В. Б. Шкловского и В. Е. Ардова. Они тотчас приехали к поезду. Лева попросил Шкловского известить о его положении Харджиева.

Николай Иванович получил записку от Шкловского в писательской столовой и немедленно поехал на Киевский вокзал. К нему присоединилась обедавшая с ним за одним столом Зоина мать — друг Ахматовой. Харджиев вспоминает:

«Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые. Я объяснил им, что нас привело в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих беззаконных вагонов. Часовой выкрикивал: «Гумилев» — и у каждого вагона отвечали: «Такого нет». И наконец из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Л. Гумилева. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым»².

Вот в этом последнем утверждении ранние впечатления Харджиева сдвинулись с поздними. И он и Томашевская, напротив, вынесли самое мрачное впечатление от встречи слевой. Им казалось, что он едет в поезде для штрафных, и ожидали для него всего самого худшего.

У Харджиева было при себе шестьдесят рублей, тотчас врученные им Леве. А Ирина Николаевна быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала

¹ См.: Томашевская З. Б., «Я — как петербургская тумба» (в кн.: «Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма. Составитель М. Кралин. Л. Лениздат. 1990, стр. 431).

² «А. А. Ахматова в письмах к Харджиеву (1930 — 1960-е гг.)», вступительная статья, публикация и комментарии Э. Бабаева («Вопросы литературы», 1989, № 6, стр. 242).

первой встречной хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду, успела отдать деньги Леве, поцеловала и благословила его.

С этого дня в моей душе поселилась тревога. Я решила повидаться со всеми, кто видел Леву в тот день. Мой приход к Томашевским на Гоголевский бульвар показался им чрезвычайно эксцентричным. Напротив, Ардов, которого я встретила в метро, самым будничным тоном обманывал меня, что Лева едет в Иран, где будет переводчиком. Еще более удивил меня тон Ирины Николаевны. Она повторяла: «Поприщин... Поприщин...» На мысль о гоголевском сумасшедшем ее навел Левин рассказ о сделанном им открытии. По своему значению он приравнивал его к теории Маркса. По-видимому, он спешил рассказать о своей пассионарной теории, впоследствии так обстоятельно им развитой. Но о чем совсем неодобрительно отозвалась Ирина Николаевна, так это об одном ироническом выражении Левы. «Подальше от богоносца», — заметил он, уводя Томашевскую и Харджиева в тихое место на платформе. Ирина Николаевна была шокирована. Она вздумала учить Гумилева любви к русскому народу?!

Прошло два месяца. У меня сидел Харджиев. В это время почтальон принес письмо — с фронта. Это была первая весточка от Левы. Николай Иванович ахнул: «Лева меня не любит». Он был поражен, что письмо мне, а не ему.

На треугольнике дата — 5 февраля 1945 года (обратный адрес п/п 32547-6). Лева писал:

«Дорогая Эмма. Вы вряд ли сможете себе представить, как мне было обидно уезжать из Москвы, не повидавшись с Вами. Посредственным утешением может быть только надежда, что война скоро кончится и я знакомой дорогой приду веселый и живой.

Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет, пищи — подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижения в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет, это грустно. Напишите, я буду рад получить письмо от Вас. Целую Ваши руки. Л. Гумилев».

Я, конечно, сейчас же написала, но ответ от Левы был помечен уже апрелем. Дни благополучия всегда были короткими в его жизни. В армии с ним произошли очередные неприятности, какие именно — я так никогда и не узнала. Но намек в апрельском письме ясен:

«12 апреля 1945

Дорогая, милая Эмма, я получил Ваше письмо только сегодня. Причина та, что я после многих приключений переменял адрес, но ребята пересылают мне письма. Ваше письмо вывело меня на несколько часов из мизантропии. Я отвык от хорошего отношения, не ждал его и был взволнован и расстроен. Однако пишите. Мой новый адрес: полевая почта 28807-г.

Воюю я пока удачно: наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток, особенно мне нравилось варенье; немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее.

Мама мне не пишет. Я догадываюсь, что снова стал жертвой психологических комбинаций. Я не удивляюсь этому, ибо «спасение утопающих есть дело рук самих утопающих». Я понял это своевременно. Николаю Ивановичу я не писал, потому что потерял его адрес. Прошу Вас передать ему привет. Помимо этого у меня к Вам просьба. В. Б. Шкловский посетил меня в поезде и предложил прислать ему рукопись моей трагедии, на предмет напечатания. Я послал, но адрес также утерял. Очень Вас прошу узнать у него о судьбе моей рукописи и написать мне. Вам я посылаю свои стихи, отчасти рисующие мое настроение и обстановку вокруг меня.

Простите за нескладность письма, колбасники мешают сосредоточиться.

Целую Ваши ручки. Л.»

Война скоро кончилась. Лева, как известно, вернулся домой невредимым. Оставшиеся до демобилизации четыре месяца он провел в Германии, под Берлином. Мы переписывались. Его стихи я раскритиковала, о чем и сейчас жалею. Он, конечно, не поэт, но в те волнующие дни победы и перспективы свободы для Левы не следовало об этом говорить. В. Б. Шкловский тоже не то разочарованно, не то огорченно отозвался о Левиной трагедии (она, кажется, была написана стихами) и не стал устраивать ее в печать.

Нельзя пройти мимо обиды Левы на мать, проступающей так настойчиво в приведенных письмах. Чем объясняется отсутствие писем от Ахматовой в этот период, я точно не знаю. Вернее всего, это результат недоразумения, шуток почты или цензуры. А может

быть, и преувеличенной настороженности Левы. Письма начали приходить после победы. Позволю себе высказать такое предположение. Голчание Анны Андреевны было как бы заклинанием, пока шли бои за Берлин. Ей казалось, что в каждом написанном ею слове заключены суверенные приметы. Когда опасность миновала, открытки матери посыпались на Леву. Еще из Берлина он мне писал: «От мамы я получил открытку предельно лаконичную. Я сержусь на нее настолько, насколько можно сердиться на мать, и помирюсь, вероятно, не раньше чем через полчаса после встречи» (21 июня 1945). «От мамы я получил 3 открытки столь лаконичные, что рассердился еще больше. Ну, увидимся — помиримся» (12 июля 1945). «На маму больше не сержусь и надоедать вам не буду» (14 сентября 1945). Лаконизм писем Анны Андреевны раздражал Леву и впоследствии, когда в 50-х годах он опять сидел в лагере.

Вообще говоря, Анна Андреевна перестала переписываться с родными и друзьями, вероятно, после расстрела Гумилева, когда в 1925 году она была негласно объявлена опальным поэтом. Это длилось многие годы с перерывом только на время войны. Постоянный надзор грубо давал себя чувствовать. Особенно травмировала Ахматову перлюстрация ее переписки. Это ее угнетало до такой степени, что она начала писать письма почти телеграфным слогом. К тому же кто-то ее надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Леве на двух-трех, а то и четырех открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его. Тем более что Анна Андреевна писала, по его мнению, сухо, а она не могла выражать свои чувства, помня о чужих и враждебных глазах. Но тут я забегала вперед, в другую уже эпоху. Возвращаясь к сорок пятому году, повторяю, что с наступлением победы на Леву посыпались открытки матери. После многих перипетий он вернулся в Ленинград, где его ждала на Фонтанке отдельная комната рядом с материнской. Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста в 1949 году. Семилетняя разлука породила множество недоразумений между ними. К несчастью, они завершили полную ссору, омрачившей последние пять лет жизни Ахматовой.

Пока что мы находимся в середине этого пути. Но прежде чем двинуться вперед, ко многим годам моего общения с Ахматовой, нам придется вернуться назад, к той эпохе, которая уже описывалась мною в прежних публикациях. Ведь даже самые талантливые «шестидесятники», при всех своих заслугах и достоинствах, не могут представить себе повседневную жизнь людей 30-х годов. У них все сливается в один мутный поток «советского образа жизни», как будто все семьдесят лет он был одинаков.

С Левою мои отношения на протяжении этих долгих лет, разумеется, менялись. Бывали длительные периоды полного отчуждения, даже вражды, но как бы итогом их я воспринимаю дарственную надпись на его прославленной книге «Этногенез и биосфера Земли»: «Милой Эмме на память от Левы. 2/II 1991. Л. Гумилев». На фоне его последних интервью по телевидению и в журналах эти простые, человеческие слова звучат для меня как просветление в затемненном сознании. Они говорят мне не о тех 50-х годах, когда в память прошлого я спасала Льва от заброшенности в долголетнем лагере³, а о тех же 30-х, о которых, повторяю, так мало знают новые поколения. И с первозданной яркостью вспыхивают в моей памяти интонации и жесты некогда любимых мною людей.

«Вы будете говорить, а мы будем слушать и понимать, слушать и понимать...» (из приветствия Мандельштама Ахматовой, приехавшей в Москву погостить в Нашокинском)

«Где мой дорогой мальчик?» (Мандельштам, не застав дома Левы, тоже гостившего в Нашокинском.)

«Лева, не горбись... Никогда больше так не говори...» (Ахматова).

Когда расстреляли Гумилева, Леве было девять лет, школьники немедленно постановили не выдавать ему учебники, тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах (из устных рассказов Ахматовой).

«К таким людям особый подход» (мое профсоюзное начальство о Леве, за которого я хлопочу по просьбе Мандельштамов). И все-таки отказали.

«Он у нас» (телефонный звонок из ГПУ к Ахматовой в 1933 году, когда Лева попал в облаву в доме ученого-востоковеда Эбермана. Рассказала Ахматова).

«Вы — саддукеи» (Лева, полемизируя с Надей, которая утверждает, что мы — бес-сознательные марксисты, и хвалит ЛЕФ).

³ См. мою публикацию «Мемуары и факты» («Горизонт», 1989, № 6).

«Мамочка, когда ты умрешь, я тебя не так буду хоронить» (Лева, выслушав рассказ о похоронах Эд. Багрицкого). «Йок...» (Лева с наслаждением произносит тюркские словечки, беседа с Кузиным и Леоновым — биологами, связанными в своей работе со Средней Азией.)

«Во всем Советском Союзе только два человека понимают Хлебникова — Николай Иванович и Лева» (Ахматова).

«Марию Лев преследовал в пустыне... был Иосиф долготерпелив...» (из «Сонета» Мандельштама о Марии Петровых, за которой оба ухаживали).

«Как это интересно! У меня было такое с Колей» (Мандельштам вспоминает свое любовное соперничество с Гумилевым из-за Ольги Николаевны Гильдебрандт-Арбениной. См. его стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и гумилевскую «Ольгу» — «Эльга, Эльга! — звучало над холмами»).

«Что ж она — сирена?» (Ахматова о Марии Петровых.)

«И ха-ха-ха, и хи-хи-хи...» (общая атмосфера в доме).

«Моей же девы красит стан аршин сукна иль шевиота» (Мандельштам поправляет и дополняет акростих Левы, обращенный ко мне).

«Лева, как вы дорого мне стоите» (он просит у меня три копейки, не хватающих на кружку пива).

«Это — вам» (продавец подает Лева полную кружку вне очереди, что-то поняв в сочетании веселого, умного взгляда с нищенской одеждой).

«Счастливого смех...» (Ахматова горловым сдавленным голосом, услышав, как я болтаю с Левой в соседней комнате).

«Наденька, как хорошо, что она уехала. Слишком много электричества в одном доме» (Мандельштам после отъезда Ахматовой из Москвы).

Глава первая

Как-то возвращаясь от Мандельштамов, я ждала 18-го трамвая у Кропоткинских ворот, а Леву Надя послала за керосином. Он стоял рядом со мной на трамвайной остановке с бидоном в руках и говорил что-то на философские темы — просто, искренне и заинтересованно. Это напомнило мне тех «мальчиков», о которых писал О. Мандельштам в «Шуме времени» в главе «Тенишевское училище»: «Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадах, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых». В то время в Москве почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае — честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и девушек. Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не талантов папы и мамы.

С этого дня Лева стал приходить ко мне в гости. Это поразило Мандельштамов и насторожило Анну Андреевну.

Он пришел ко мне в мартовский субботний вечер. В руке небрежно держал за уголок какое-то письмецо и протянул его мне, как трамвайный билет контролеру. Это оказалось повесткой ГПУ, которую в панике переслала ему, вероятно с оказией, Анна Андреевна из Ленинграда. Гумилева приглашали явиться.

— Проводите меня, пожалуйста, на вокзал. Меня никто никогда в жизни не встречал и не провожал, — попросил он.

Уверял, что утром был на Лубянке, показал повестку и потребовал, чтобы его отпустили в Ленинград: ему не на что купить билет. Его прогнали. Я не усомнилась в правдивости его рассказа, потому что не раз наблюдала на улицах и в трамвае его вызывающее поведение.

Левина новость привела меня в смятение. Уже давно я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места. Так же, как пушкинская красавица, спрашивавшая у зеркала: «Я ль на свете всех милее...» — а зеркальце неизменно отвечало: «Ты прекрасна, спору нет, но...» — так и я, спрашивая себя, «я ль на свете всех несчастней», говорила себе «но...» и вспоминала о благородстве, с каким Лева нес убожество своей жизни заживо погребенного... Он ушел от меня только утром. А в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как кровавый вздох слова «мой папа...».

Вечером я зашла за Левой к Мандельштамам, чтобы ехать с ним на вокзал, как обещала. Они были в бешенстве. Надя успела мне шепнуть что-то вульгарное до отвращения. Мы ушли, сопровождаемые косыми взглядами Осипа Эмильевича.

Трамваем ехали до грязного, многолюдного вокзала. Лева говорил о своем состоянии обновления: «Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами». Я спросила, простился ли он с Марусей Петровых, он не понимал, зачем это нужно. Я настояла, чтобы он позвонил ей с вокзала. В телефонной будке он стоял лицом к аппарату, а я смотрела на его тонкую шею, выглядывавшую из-за мехового воротника, на склоненную голову в фуражке, я любила его.

Дешевый бесплацкартный поезд стоял на каких-то дальних путях. Мы нежно прощались на платформе. А из заколоченного на три четверти окна почтового вагона кто-то чужой внимательно смотрел на нас сверху. Черный, жесткий, цепкий глаз.

Никаких известий из Ленинграда не было довольно долго. Не зная, что там происходит, я написала Лева на Фонтанку, а в это время Мандельштамы созвонились по телефону с Анной Андреевной и узнали, что Лева благополучен и поехал в Бежецк навестить бабушку. Надя, зная, что я ему написала, стала рисовать картину, как мое письмо валяется на Фонтанке и что говорит при этом Пунин и что Анна Андреевна.

Только недели через три соседка принесла мне открытку, якобы провалявшуюся в конторе больницы все это время. Лева писал: «...погода плохая, водка не пьяная... Если пожелаете, я могу скоро вернуться... мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет». Потом оказалось, что Леву вызывали в ГПУ лишь для того, чтобы вернуть ему документы. А друг, попавший вместе с ним в облаву, был осужден на пять лет.

Стоял апрель. Шел снег с дождем. На дворе была непролазная грязь. Я была больна ангиной, руки были завязаны (нервная экзема). Несколько лет спустя мой маленький племянник неожиданно вспомнил: «А где тот человек, который все перевязывал тебе руки?» Этот человек был к тому времени уже вне досягаемости. Трудно было себе представить, что он где-то живет. И как живет? Теперь он живет в Норильске, он — ээк. Это — Лева. Но пока еще у нас апрель 1934 года. Он явился в Москву без предупреждения и как-то некстати. С собой он привез стихотворение, написанное в поезде после отъезда из Москвы. Я помню его так:

Дар слов, неведомых уму,
Мне был обещан от природы.
Он мой. Веленью моему
Покорно все. Земля, и воды,
И легкий воздух, и огонь
В одном моем сокрыты слове.
Но слово мечется, как конь,
Как конь вдоль берега морского,
Когда он бешеный скакал,
Влача останки Ипполита
И помня чудища оскал
И блеск чешуй, как блеск нефрита.
Сей грозный лик его томит,
И ржания гул подобен вою,
А я влачусь, как Ипполит
С окровавленной головою,
И вижу: тайна бытия
Смертельна для чела земного
И слово мчится вдоль нея,
Как конь вдоль берега морского.

Мандельштамы были недовольны приездом Левы. Вообще в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади и у Осипа Эмильевича прорывалось какое-то раздражение против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. Как бы ни было запутанно ее семейное положение, говорила Надя, но жизнь ее в его доме хоть и скудно, но обеспечивала ее, в то время как Мандельштаму приходилось вести ежедневную борьбу за существование.

Зашел у меня разговор с Осипом Эмильевичем о книгах Ахматовой, и в его одобрительных словах мелькает замечание о ее манерности, впрочем, заметил он, «тогда все так писали». Сквозь обычное его бормотанье проступает слово «аутозоротизм». В другой

раз Надя резко осуждает безвкусные, по ее мнению, завершения в некоторых стихах Ахматовой: «Как можно так писать? «Даже тот, кто ласкал и забыл...» или «Улыбнулся спокойно и жутко...» Что ж, взятые вне контекста, эти строки и вправду звучат пошло-ваго.

Осип Эмильевич сочинил на меня и Леву злую эпиграмму, которую мне сам Лева и прочел. В этой эпиграмме говорилось о герое кузминской повести, восемнадцатилетнем красавце, которого любили все женщины и особенно мужчины. Очаровательный авантюрист этим очень хорошо пользовался. Эпиграмма Мандельштама начиналась словами «Эме Лебеф любил старух...», далее следовало нечто вроде «но любили ли старухи его...», а дальше я совсем не помню. Я со своей стороны открыла Лева, что Надя называет его дегенератом. Этот обмен любезностями не помешал нам мирно и дружно закончить вечер, поругивая Мандельштамов.

Я и виду не показывала Осипу Эмильевичу, что знаю эту злую эпиграмму. Но он сам сделал мне аналогичное подношение в виде вырезки из журнала «Огонек». Там был напечатан очерк о львенке Кинули, которого приручила известная укротительница зверей В. В. Чаплина. Осип Эмильевич подчеркнул в очерке несколько фраз так, что проступил новый сюжет рассказа. Первую страницу я потеряла, но вторая сохранилась, и этого достаточно, чтобы понять смысл мандельштамовской выходки:

...схватив его за шиворот, тащит к себе в комнату...

...львенок стал ко мне ласкаться...

...бывший ненавистник самоотверженно проводил ночи...

...производя эксперимент...

...взяла я львенка не просто для развлечения. Мне хотелось проверить свой двадцатилетний опыт...

...оказалось, что лаской можно сделать многое...

...буду продолжать работу...

Между тем отношения севой, бывшие прекрасными в момент опасности (к счастью, миновавшей), превратились теперь постепенно в пошлую связь, что было мне не по душе. Расставанье прошло как бы по ритуалу стихотворения Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью...» с его нарочито равнодушными заключительными строками.

Несмотря на разрыв, я должна была еще раз вызвать к себе Леву: у него оставались рукописи из литературной консультации Госиздата. Я получила их на отзыв для заработка. Этой работой я поделилась севой. Он пришел, но объявил, что рукописи домощеных поэтов у него украли в пивной из кармана. Зато он принес мне собственное новое стихотворение, явно рассчитанное на успех. Но оно не могло возместить утраты, сулившей мне большие неприятности в Госиздате. Я отозвалась о его стихотворении холодно. Он ушел, кусая губы.

Через несколько дней Надя упомянула в разговоре, что Ося весьма одобрил второй стих этого стихотворения:

Ой, как горек кубок горя,
Не люби меня, жена...

Не успела я вымолвить, что это «мое» стихотворение, как Надя резко меня оборвала: «Глупости! Все — только Марусе!» Она ревниво оберегала жалящую и нежащую любовную игру четырех: Надя — Осип — Лева — Маруся.

Разговор наш происходил буквально за несколько дней до ареста Осипа Эмильевича. Но мы были как никогда далеки от мысли о почти неминуемом событии, на сто восемьдесят градусов перевернувшем жизнь Мандельштамов.

Между тем это же Левино стихотворение, по-видимому, вспоминала Ахматова, но в более позднюю эпоху, когда и Осипа Эмильевича уже не было в живых, и Лева только что был отправлен за Полярный круг в лагерь. Об этом свидетельствует запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской 17 января 1940 года. Излагая содержание своей беседы с Анной Андреевной, цитируя ее слова, она завершает свою запись словосочетанием, оторванным от предыдущего текста: «Кубок горя».

Обычно такие мнемонические заметки служили в «Записках...» Л. Чуковской сигналом, как бы фигурой умолчания, подразумевающей разговор об арестах, ссылках и казнях. Впоследствии такие места не всегда удавалось расшифровать и самой Лидии Корнеевне. Подготавливая в 70-х годах свою книгу к печати, она прокомментировала

эту запись так: «Название, придуманное Ахматовой для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого — не помню»⁴. Надо сказать, что стилистически такое заглавие не очень подходит к поэзии Ахматовой — оно слишком вычурно. Если для этого образа не существует какой-нибудь общий литературный источник, можно быть уверенным, что Анна Андреевна вспоминала горький «кубок горя» Леды.

Глава вторая

После ареста Осипа Эмильевича, когда мы еще гадали о его причине, я да и Надя по инерции иногда возвращались к нашим суетным интересам. Надя то неприязненно присматривалась к Марусе Петровых, то мимоходом упомянула о Лева, который, уезжая, оставил у Ардовых чужую книгу, но ни за что не хотел сказать, кому она принадлежит. Нина передала ее Наде. А это была моя книга — роман Эренбурга «Москва слезам не верит».

Я продолжала работать в ЦК профсоюза работников просвещения, занимая там скромное место секретаря бюро секции научных работников. По вечерам приходила в Нащокинский. Анна Андреевна оставалась там вплоть до отъезда Мандельштамов в Чердынь⁵. После этого я стала собираться в отпуск. ЦК нашего профсоюза выдал мне бесплатную путевку в Петергоф.

Срок ее действия начинался 30 июня (1934). Но я приехала в Ленинград за несколько дней до того. Иными словами, это происходило непосредственно после проводов Мандельштамов в Воронеж... В первые же часы приезда я была взволнована. А самое главное, я стремилась увидеть Анну Андреевну, чтобы рассказать ей про Мандельштамов, об их возвращении в Москву из Чердыни и переезде в Воронеж. А с нею ли теперь Лева?

Анне Андреевне я позвонила сразу. «Приезжайте сейчас», — ответила она. А я ухитрилась заблудиться на Невском (точнее, на проспекте 25-го Октября). Почему-то попала на Староневский, спохватилась не скоро, повернув обратно, шла по левой стороне Невского и каким-то образом пропустила Фонтанку. Как замороженная я шла вместе с потоком прохожих по широкому тротуару, влекомая ровной линией домов все вперед и вперед, к мерцающей в дымке жаркого дня Адмиралтейской игле. А в это время Анна Андреевна ждала и ждала меня. Ей не терпелось узнать подробности о Мандельштамах.

Усталая и взволнованная, добралась я наконец до Фонтанки и до дома № 34, где удивленно остановилась перед решеткой Шереметевского дворца — ведь в Москве никто ни разу не упомянул об этой красоте. Обшарпанный флигель во дворе я нашла уже быстро, поднялась по запущенной лестнице, нашла квартиру № 44, не помню, кто меня впустил. На вешалке мелькнул знакомый мужской плащ с темной полосой на сгибе воротника и вылинявшая фуражка. Я открыла дверь в большую столовую с затененными окнами. По комнате заматался Лева, держа обеими руками электрическую кастрюлю с кипятком. «Я знал, что это Эмма, я знал... как только в саду залаял Бобик», — лепетал он. Он растерянно кружился в своей застиранной ковбойке, от смущения и радости у него сделалось совсем детское лицо. По внимательному и пронизательному взгляду Анны Андреевны я видела, что и на моем лице было написано счастье. «Лева, поставь кастрюлю на стол», — сказала она.

Мы сели с Анной Андреевной на маленький диванчик, стоявший в углу, и я рассказала ей об Осипе Эмильевиче, каким он вернулся из Чердыни и как уезжал в Воронеж. Лева слушал, сидя поодаль с учебником в руках. Оказывается, за этот месяц в его жизни наметилась перемена. Появился шанс поступить в университет. До тех пор этот путь был для него наглухо закрыт. Но теперь ввиду перемены политики (к классовой чутью пролетариата надлежало прибавить еще более сильный импульс — патриотическое чувство) понадобилась русская история — предмет, замененный в 1917 году в нашей стране историей движения хлебных цен на мировом рынке. И тогда Киров выступил на каком-то съезде, говоря о безобразном преподавании истории в школе. Очевидно, на этой волне у Леды приняли заявление, он был допущен к приемным экзаменам на исторический факультет. Я простилась с Анной Андреевной, и Лева молча встал и пошел меня провожать. Анна Андреевна тоже молчала.

⁴Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж. 1976, т. 1, стр. 62. Ср. то же: М. «Книга». 1989, стр. 55.

⁵Арест О. Мандельштама, его высылка в Чердынь, возвращение оттуда и отъезд в Воронеж описаны мною в книге «Новое о Мандельштаме».

Остановилась я на Васильевском острове, в квартире брата Осипа Эмильевича — Евгения. Семья его была на даче, он вечером тоже уехал туда, в доме оставалась старенькая домработница. На следующее утро Евгений Эмильевич, зайдя домой перед работой, слышал, как я звоню на Фонтанку. «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? — заметил он. — Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства... Вообще... я бы не хотел... из моей квартиры...» Я переехала к моим друзьям детства, которые жили тогда на Фонтанке, рядом с Аничковым дворцом. Как только глава этой семьи узнал, что я была у Ахматовой, он отозвался ходячей газетной фразой: «А, эта старая ведьма, которая ничего не забыла и ничему не научилась?» (Кстати говоря, вспоминаю, что при следующем моем приезде в Ленинград (это было уже в 1937 году) я жила у моих родственников-врачей, там произошел подобный же разговор: «Ты бываешь в Шереметевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем — у нас там есть кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына...»)

На Васильевском острове я успела позавтракать в столовой рядом, в высоком каменном доме, в полуподвальном этаже. Это было так не похоже на Москву с ее магазинами на первых этажах, в светлых помещениях, с большими витринами.

В ту пору ленинградцы — питерские рабочие — по всеобщему мнению, отличались от пролетариата других городов. Было принято отмечать их вежливость, обычай носить костюмы, белые воротнички и даже шляпы, словом, их характеризовали как европейский рабочий класс, а Ленинград считался самым европейским городом в России. Когда я была в Ленинграде в первый раз в 1927 году, я была ошеломлена величиим этого города с его дворцами, памятниками, даже вид большого завода на Охте, который мне показывали с моста, — все наводило на мысль о необычайной силе Октябрьской революции, свалившей такую могучую цитадель царизма. Теперь я уже пригляделась к дворцам, но воспринимала ленинградский люд по Достоевскому. Эти худощавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами, сбегające по ступенькам в пивную, казались мне или студентами-революционерами, или все сплошь Раскольниковыми. Они и вправду были совсем другими, нежели москвичи. Но в центре, на Фонтанке и Невском, я этого уже не ощущала так ясно. А в Петергофе я прикоснулась к ленинградской жизни еще и с другой стороны.

Дом отдыха для учителей помещался в Английском дворце. Это было обыкновенное жилое здание с высокими потолками и просторными комнатами. Я попала в четырехместную. Две «койки» занимали подруги, мало отношения имевшие к педагогике. Одна, лет тридцати, любила повторять: «Вот я некрасивая, не знаю, за что меня любят мужчины?» Другая, помоложе, внимала ей, учась умело устраивать жизнь. Они говорили о свиданьях в Таврическом саду, о поездках на Острова, на Стрелку. Спутниками их были директора магазинов или ответственные работники из числа хозяйственников. Приятельницы сравнивали, кто из них был щедрее, хвастались подарками.

Третьей в нашей комнате — немолодая учительница. Когда наших веселых соседок не было, она говорила о политике. Особенно ее огорчало, что мы отдаем маньчжурам КВЖД. «А русский Иван за все отдувается», — приговаривала она. Сидели мы с ней на террасе в плетеных креслах. По аллее прошла колонна пионеров. «Какие они бледные, худые, — заметила моя собеседница. — Если бы вы знали, сколько они болеют, бедные дети...»

Я в это время читала газету. Сенсация: Гитлер убил Рема. Фашизм захватывает власть в Германии. Между тем учительница рассказывает о знакомом профессоре. Его арестовали, на допросах в НКВД «ставили носом в угол, как провинившегося мальчишку».

Она описывала самодеятельные спектакли в Доме ученых, по-обывательски выделяя среди актеров-любителей жену профессора или сына академика. Ей это импонировало, а мне становилось скучно. Вспоминались дореволюционные провинциальные любительские спектакли — я успела послушаться о кипящих там страстях и интригах от старших сестер. Да разве можно было забыть чеховские рассказы, где так часто описания подобных эпизодов вплетаются в фабулу рассказа и в психологические портреты действующих лиц. Неужели еще продолжается это мещанство? Оно не продолжалось, а только начиналось. Я вспоминала, как еще совсем недавно (в 1929 году) Мандельштам говорил о нашем будущем: «Это будет такое мещанство!.. Мир еще не видел такого...»

Лева приезжал ко мне в Петергоф. Мои бойкие соседки окрестили его малахольным. Не надежный он был поклонник, по их мнению. Мы гуляли по саду, и он читал свои стихи, насыщенные ахматовскими словами «беда» и другими, не помню сейчас какими. Голос его модулировал. Мы уходили гулять и отдыхали на траве под забором санатория ученых (КСУ), куда нам входа не было. Там как раз отдыхал профессор Н. К. Пиксанов,

которого я терпеть не могла. Когда я была студенткой МГУ, я занималась у него в семинаре по Карамзину. У меня осталось к нему неприязненное чувство, потому что он кисло отнесся к моей работе. Я считала его педантом. Может быть, я тогда и не была права, но вот когда он громил Бахтина на защите его диссертации о Рабле, тут уж консерватизм педанта Пиксанова не вызывал сомнений. Дело происходило уже в 1947 году, то есть непосредственно после постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой, на долгие годы наложившего печать мракобесия на всю нашу культуру. Тарле в своем письменном отзыве писал о мировом значении книги Бахтина о Рабле, Дживелегов назвал эрудицию Бахтина сокрушительной и беспощадной, один молодой аспирант, ломая руки от смущения, говорил, что работы Бахтина несут свет, а Пиксанов, густо ссылаясь на Чернышевского, негодовал: Бахтин, мол, загоняет гения эпохи Возрождения назад в средневековье! А Бахтин так разошелся, что, опираясь на костыли, ловко прыгал на своей единственной ноге и кричал оппонентам: «Всех пора на смену!» Дживелегов, пытаясь разрядить атмосферу, объявил: «Еще одна такая диссертация — и у меня будет insult». Все это я как бы уже предчувствовала в тот день в Петергофе. В саду академического санатория важно прогуливался го дорожкам напыщенный Пиксанов, а под забором смиренно грелся на травке сын знаменитых русских поэтов, будущий видный ученый Лев Гумилев. Зрелище имело свою историческую выразительность.

Вернувшись из Петергофа в город и придя на Фонтанку, Анну Андреевну я застала не совсем здоровой. Она лежала на диване в истоме, ладони ее были влажны. Я впервые заметила изогнутость линий ее рук, локтей и плеч. Несмотря на жару, казалось, что от всего ее существа веет прохладой и тайной. Возможно, такое определение покажется кому-нибудь вычурным, но я не подберу другого. Вероятно, это ощущение усиливалось от растущих за окнами деревьев. Тени ветвей причудливо двигались по потолку и стенам, завешанным рисунками Бориса Григорьева.

Мы перешли в столовую. Анна Андреевна сказала: «Николай Николаевич уехал с Ирочкой и Анной Евгеньевной в Сочи. Он оставил нам паяк, но у нас нет денег, чтобы выкупить его».

Они оба ослабели от голода, даже курево не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег. Тем не менее Лева сдал последний экзамен на тройку, потому что у него от голода кружилась голова. Тогда я вплотную столкнулась с особенностями домашней жизни Ахматовой. Николай Николаевич Пунин жил на две семьи. Несмотря на совместную жизнь с Анной Андреевной, он не оставлял заботы о первой жене (Анне Евгеньевне, урожденной Аренс) и дочке Ире. Все жили в одной квартире на общем хозяйстве.

До отъезда в Москву я еще несколько раз виделась и с Анной Андреевной и слевой. Однажды я зашла в аптеку на углу Невского и Фонтанки, смотрела из окна на противоположную сторону Невского и неожиданно увидела среди двух встречных потоков прохожих одинокую фигуру. Это — Анна Андреевна, она так спокойно шла в Публичную библиотеку. Без шляпы, в белом полотняном платье с украинской вышивкой, которое ей привез из Киева Николай Николаевич. Она идет своей странной неуверенной походкой, как бы отгороженная чем-то надежным от торопливо проходящих мимо чужих людей. Я почувствовала, что люблю ее. Это так легко определить, когда неожиданно видишь родного тебе человека на улице, в толпе. Он кажется таким беззащитным... затолкают, переедут... неужели они не видят, что с ним надо бережно обходиться?

Понимая, что с отъездом Мандельштамов из Москвы моя жизнь как-то переменится, Анна Андреевна спросила меня, что я намерена делать дальше. Услышав, что я непременно хочу заняться историко-литературной работой, и узнав, что я еще не наметила себе определенной темы, она предложила мне начать изучать жизнь и творчество Гумилева. При этом Анна Андреевна назвала две фамилии — Лукницкий и Горнунг, — которые я должна была запомнить. Эти два человека, по ее словам, давно уже этим занимаются⁶. Анна Андреевна обещала мне передать некоторые библиографические материалы, собранные ею и ее помощниками. Воодушевленная всем слышанным и виденным в Ленинграде, я вернулась в Москву.

Отпуск мой еще не кончился, в моем распоряжении было несколько свободных дней. Мы пошли с Евгением Яковлевичем в парк культуры и отдыха. Мне хотелось пойти в Зеленый театр, но у него не было денег на входные билеты. У него никогда не было

⁶ Только теперь, через полвека, мы видим в советской печати плоды трудов П. Н. Лукницкого и Л. В. Горнунга

денег. Мы зашли в зал, где проигрывались пластинки. Зал был набит. Одни слушатели кричали, чтобы ставили Карузо, другие требовали Шаляпина. Незнакомые между собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнении двух этих великих певцов. Я впервые видела болельщиков. Были, конечно, такие же любители футбола. Они даже в быту делились на «спартаковцев» и «динамовцев». Но эти страсти были вне поля моего зрения. В любителях пения я узнавала особый контингент москвичей. Это были историки, бросившие преподавание в школах, чтобы стать или бухгалтерами, или стенографистками, инженеры, сменившие суматошную службу на спокойную деятельность чертежника-конструктора, все те, кто искал выгодную и непыльную работу, свободную от давления идеологии. Они были страстными слушателями радио (оно еще было внове), у многих появились патефоны, женщины увлекались до безумия пением Козловского и Лемешева. Лет десять — пятнадцать спустя у меня стало возникать ощущение, что их всех убили, кого на войне, кого в тюрьмах и лагерях. Этот тип советских людей надолго исчез.

Наслушавшись пения, мы с Евгением Яковлевичем пошли в танцевальный зал. Один рабочий-паренек, небольшого роста, ладно скроенный, с таким изяществом и каменным лицом (тогда так требовалось) танцевал на русский лад фокстрот с девушками, что мы залюбовались им. «Принц крови», — решили мы. (У меня был дядюшка-врач, работавший на Тульском патронном заводе. Он тоже говорил, что среди молодых рабочих попадают люди, отмеченные особой породистостью.)

На следующий день я явилась в свое бюро СНР. Меня будто только и ждали, чтобы уволить. Мне пришлось предстать перед самим Литвин-Седым — членом президиума ВЦСПС. Я попросила два дня для сдачи дел, так как очень дорожила своей картотекой и папками. «Не нужно сдавать дела. Уходите сегодня же» — был ответ. Причины увольнения он мне не объяснил.

Я попросила характеристику. Руководитель политучебы, бывший инспектор, как бы сошедший со страниц «Мелкого беса» Сологуба, написал бумажку: работник хороший, но не занималась общественной работой. Как же так? Я была, например, членом экономкомиссии месткома. Что мы там делали, убей меня бог, не вспомню. Но все-таки я попросила объяснения у инспектора. «У вас высшее образование, с вас требуется больше», — ответил он. Я вспомнила, как ЦК профсоюзов поручил мне под Новый год ходить по квартирам школьных учителей и проверять, нет ли у них елки. Я решительно отказалась от такого дикого поручения. Не за это ли меня окрестили плохой общественницей? Выданная мне характеристика имела определенный политический подтекст, но какой категории? Этого я не знала. Я обратилась к своему непосредственному начальнику. Он откликнулся: «Мне всегда на вас указывали, но я ссылался на то, что вы хороший работник». Только теперь, в 90-х годах («Известия», 1992, № 121), выяснилось, что, называя меня среди слушателей своего «кромольного» стихотворения о Сталине, Осип Эмильевич очень точно определил место моей работы: «Секция научных работников ВЦСПС». Что же удивительного, что президиум ВЦСПС меня немедленно уволил?

И опять я стала безработной. Числюсь иждивенкой отца. Хожу в Ленинскую библиотеку читать книги Н. Гумилева. Они выдавались только в хранилище. Заниматься там было приятно. На первом этаже, среди стеллажей с книгами, в окно виден старый Каменный мост, еще такой легкий, и Кремль — Потешный дворец и верхи куполов соборов. Решетка палисадника перед пашковским домом еще выдавалась далеко на теперешнюю мостовую, образуя спокойный полукруг. Шел снег. Это была настоящая Москва. Я ее забыла, езда каждый день на 19-м трамвае через Устьинский мост в ВЦСПС.

Лева прислал мне письмо. В университет его приняли, и вчера он уже был на студенческом субботнике.

Глава третья

Папа — член Консультации профессоров при Кремлевской больнице. Он лечил Шверника. Высокопоставленный пациент послал ему приглашение на какой-то торжественный вечер, кажется, в самом ВЦСПС. Папа, свежевыбритый, в новом галстуке, с удовольствием поехал туда в машине Санупра Кремля. Он вернулся неожиданно рано. В столовой, стоя у печки, сказал, потрясенный: «Кирова убили». Об этом сообщили на вечере с трибуны. Папа передавал подробности. Когда он сказал, что Кирову выстрелили в затылок, у меня вырвалось: «Это свои». «Только ты можешь так сказать!» — закричал оскорбленный отец и быстро вышел из столовой, хлопнув дверью.

Приехала из Воронежа Надя и рассказывала, как она встретилась с кем-то из «возвращенцев», живущих в зоне, не менее ста километров отдаленной от Москвы. Эти «сто-

пятницы» описывали, как они узнали об убийстве Кирова. Ночью стали хлопать все двери, люди бегали из дома в дом, слышались встревоженные голоса. Административно высланные были уже опытными людьми и понимали, что это несчастье коснется и их.

Между тем папа рассказывал новости о похоронах Кирова. Сталин, приехав в Ленинград, так кричал на тамошних заправил, что у них кровь стыла в жилах и они буквально немели и тряслись от страха. И этому можно было поверить, достаточно было заметить прижатые уши Молотова на правдинской фотографии похорон Кирова.

20 января начинались студенческие каникулы. Лева приехал в Москву — мрачный-мрачный. От первоначальной радости по поводу приема в университет не осталось и следа. Я была больна гриппом, несколько дней не могла его пустить к себе. Когда пришел, сказал: «Я уезжаю». Ему нужно было заехать перед возвращением домой в Бежецк к бабушке, у которой он воспитывался до шестнадцати лет. «Ничего не поделаешь — семья», — заключил он. «А что вы делали всю неделю?» — «Лежал у Клычкова на диване и курил».

Клычковы — и Сергей Антонович и Варвара Николаевна — полюбили Лева, еще когда он жил у Мандельштамов. В тот первый год знакомства Лева наивно мне признавался: «Вот я, который в Бежецке гонял по огородам, теперь сижу у известного поэта, он мне читает свои стихи, а я их критикую, покачивая ногой. И он мне рассказывает, как его ругал Гумилев, когда он пришел к нему со своими первыми стихами». В свою очередь Лева читал Сергею Антоновичу свои стихи. Клычков мне потом говорил: «Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет».

В марте начались массовые выселения бывших дворян из Ленинграда. Старушек, не приспособленных к современной жизни, выселяли из насиженных коммунальных берлог и выпроваживали в течение сорока восьми часов куда-нибудь подальше, куда глаза глядят.

Я все еще была безработной. Помогла мне устроиться моя ближайшая подруга, еще со школьной скамьи, — Елена Константиновна Гальперина, жена художника Александра Александровича Осмеркина. Мы с ней вместе учились и в университете (МГУ), но она параллельно увлеченно занималась художественным чтением. В 20-х годах эта отрасль актерского искусства сыграла большую роль в просветительном движении. Литературные вечера — от спектаклей видных мастеров «Театра одного актера» до тематических лекций в рабочих клубах с участием профессиональных актеров-чтецов.

Лена работала в лекционном бюро моно (московского отдела народного образования). По ее рекомендации меня приняли туда на работу, но на административно-организационную. Ведь марксистских лекций о литературе я не могла читать. Я стала помощницей одной очень энергичной и опытной дамы, популярной среди актеров. В функции отдела входило помимо чисто культурных «мероприятий» устройство больших сборных концертов с народными артистами, балетными и вокальными номерами. Начала появляться новая категория исполнителей — лауреаты. Устанавливалась постепенно новая табель о рангах. Подхалимство становилось привычным и почти обязательным. Если моя начальница в домашней обстановке еще позволяла себе посмеиваться над общим рефреном «только товарищ Сталин», то на работе о подобных вольностях не могло быть и речи. «Я им дал Гугу!» — произнес один из инструкторов, имея в виду вечер, посвященный Виктору Гюго. Однажды я позволила себе посмеяться над его благоговейным упоминанием ЦК партии. Он отрезал строго и недоуменно: «Мы Цека любим и уважаем». А на какой-то демонстрации, не то майской, не то ноябрьской, другой инструктор, шибко грамотный, обстоятельно и строго объяснял мне, как плох, пуст и безыдеен буржуазный фильм «Под крышами Парижа», который тогда только появился на наших экранах. А я, смотря эту картину, как будто оттаяла душой, так она мне понравилась.

Еще одно заметное изменение. В Москве началась реконструкция города. Знаменитые круглые площади превращались в бесформенные пространства. Сами собой исчезли клумбы в их центре. Естественно, не было больше асфальтовых дорожек, прочеркивавших площадь по диагонали, так что человек не терялся в большом пространстве. Мосты перекидывали через сушу. Такое здание, как бывший Лицей, оказалось где-то внизу, под Крымским мостом.

Партийное начальство меня не любило. «Не понимаю, чего хотят от Эммы наши партийцы», — говорила Лене моя непосредственная начальница.

Но была и здесь у меня отдушина. Это массовики-затейники, которых посылали на гулянья, экскурсии, в дома отдыха и т. п. Среди них были и баянисты, и фокусники,

и жонглеры-любители. Их репутация среди артистов, лекторов и администрации была самой низкой — рвачи. А у меня с ними установились весьма своеобразные деловые отношения. Начали они с того, что стали доносить друг на друга и даже на начальницу, уверяя, что она берет взятки, а это было совершенно невероятно. Про одного из лучших массовиков мне было сказано по телефону прямо: «Он — рвач». «Вы тоже, — спокойно ответила я. — Не сплетничайте», Звонивший осекся, пораженный.

Постепенно я завела совсем другой тон, и этот процесс воспитания меня очень увлекал. Например, такой эпизод. Я говорю напрямик: «Пришли из клуба ГПУ. Заказали массовку на целый день, где-то далеко. Платят мало. Сами понимаете, ни торговаться, ни отказывать я не могу. Выручайте. Бросайте жребий (я имела в виду трех-четырех сильнейших), и кто возьмется, тому я дам первый же поступивший к нам выгодный наряд. А на этот смотрите как на бесплатный». И так как я свое слово всегда держала (в такой среде это самое главное), путевки распределяла по очереди, то установился строгий порядок. Было такое ощущение, что под моим началом действует добросовестная рабочая артель. Это и взбесило наше начальство. «Что за отношения?» — подозрительно вопрошали они и вскоре под благовидным предлогом меня уволили. Я не прослужила в этом моно и года. И опять я стала ходить в Ленинскую библиотеку. Встретила на улице биолога Бориса Сергеевича Кузина. Приятно было увидеть ближайшего друга Осипа Эмильевича, постоянного и желанного посетителя Мандельштамов⁷. Теперь, когда их дом был опустошен, я с особенным дружеским чувством звала Кузина почаще заходить ко мне. Но он как-то странно отнекивался и почти бежал от меня. Я с удивлением смотрела ему вслед и заметила, как мучительно напряжены его спина и затылок. Так и запомнилась мне эта фигура, спешащая на фоне Александровского сада под стеной Манежа. Очевидно, за ним следили, и он это знал. Вскоре он был арестован. Больше никогда в жизни я его не видала, хотя мы однажды и обменялись с ним письмами. Это было аж в 1973 году, незадолго до его смерти.

Когда Кузина арестовали, Надя пошла к его ближайшему другу и соратнику в науке, талантливому энтомологу Смирнову. Ее сопровождала приехавшая из Ленинграда Анна Андреевна. Она не особенно была связана с Кузиным, да и он чтит ее гораздо меньше, чем Осипа Эмильевича, но она пошла с Надей, чтобы быть рядом с ней в трудную минуту. Вместо того чтобы дружески обсудить положение Кузина, Смирнов закричал с порога: «Это вы его погубили! Это из-за вас!» — и захлопнул дверь. (Может быть, я передаю не совсем точно, ведь меня не было при этом, но так мне рассказывали и Анна Андреевна и Надя.)

Кузин тогда был отправлен в лагерь, из которого он вышел на поселение через два-три года благодаря системе зачетов, то есть сокращению срока в зависимости от перевыполнения норм выработки. Надя ездила к нему в Казахстан, где он работал в совхозе, кажется, агрономом. Она привезла его фотографию — в тулупе, с изменившимся до неузнаваемости лицом.

Я не могу выстроить хронологический ряд последующих редких встреч слевой. Вот он сидит у моего секретера и пишет небольшое стихотворение, слишком напоминающее раннего Лермонтова. Помню только заключительную строку «И уж ничто души не веселит». В другой раз переписал очень сильное, несмотря на архаичную лексику, стихотворение и подарил мне, сказав, что и посвящает его мне. Я помню его так:

Земля бедна, но тем богаче память,
Ей не страшны ни версты, ни года.
Мы древними клянемся именами,
А сами днесь от темного стыда
В глаза смотреть не смеем женам нашим,
Униженный и лицемерный взор
Мы дарим чашам, пьяным винным чашам,
И топим в них и зависть и позор.

В другой раз пришел из церкви грустный и разочарованный. Заказал панихиду по отцу, но священник не согласился назвать Николая Гумилева «убиенным».

Время от времени появлялась в Москве и Анна Андреевна. Однажды ночевала у меня и занята была мыслью о моих отношениях слевой. Говорила только о нем. Или смотрела

⁷ См. публикацию писем О. Э. Мандельштама Кузину и воспоминаний последнего о поэте в журнале «Вопросы истории, естественных наук и техники» (1987, № 3, стр. 127 — 144).

на меня: «Какая вы беленькая»; а то вдруг ни с того ни с сего исступленно: «Эмма, я хочу внука». Или начинала разговор о том, как ей плохо живется у Пунина, одна надежда на Леву. Когда он начинал университет, она будет жить вместе с ним, «но Лева так безумно, так страстно хочет...», она нагнетала определения и, когда я наконец бледнела, заканчивала: «...уехать в Монголию».

Напрасно Анна Андреевна беспокоилась. Наши отношения не были задуманы ни на ближайшее, ни на далекое будущее. Вообще не были обдуманы.

Анна Андреевна часто останавливалась в Москве в квартире Мандельштамов. Там ее принимала мать Надежды Яковлевны. Я, конечно, навещала Анну Андреевну и раза два заставала у нее Пастернака. Однажды это было уже «под занавес». Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое домашнее. Недавно умер тесть. Пастернаку досталась его шуба. Теплая. «Сейчас пойду проверю» — он ловко прощается, быстро надевает в передней шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды.

В другой раз мы собрались с Анной Андреевной на вокзал — она возвращалась в Ленинград. Неожиданно зашел Борис Леонидович, пожелавший ее проводить. Мы поехали вместе. По дороге Пастернак сошел с трамвая — «я вас догоню», — мы несколько недоуменно переглянулись, но в зале ожидания он действительно нас настиг, держа в руках бутылку вина (ничего другого в ту пору в магазинах не нашлось), и преподнес ее Анне Андреевне.

До отхода поезда оставалось еще время, они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу антропософов. Но когда речь зашла о статье Л. Б. Каменева, как утверждала Надя, убившей писателя, Борис Леонидович сразу: «Он мне чужой, но им я его не уступлю». Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого «Между двумя революциями» (М. 1933) Каменев охарактеризовал всю его литературную деятельность как «трагифарс», разыгранный «на задворках истории».

После некоторого молчания Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в Союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на заседание редколлегии «Известий», он сидел рядом с Карлом Радеком, к его, Пастернака, словам прислушиваются, он может сделать что-нибудь доброе. Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чемоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает.

Глава четвертая

Утром телефонный звонок. Лева: «Можно сейчас заехать?»

Такие его внезапные появления и исчезновения вызывали в моей памяти роман Горького, где один из братьев, кажется, по имени Яков, странствовал по России. Иногда он приходил домой, о чем извещал стук в окно. Поужинает, поговорит с родными о чем-нибудь важном, переночует и снова уйдет, неизвестно — надолго ли, навсегда?..

Он стоял в коридоре в невозможном пиджаке и в брюках с огромными заплатами на коленях. Смутился, здороваясь со мной в нашей как-никак приличной квартире. Отрастил усы — татарские, тонкие, спускающиеся по углам рта. В Москве он проездом, на один день — возвращается из экспедиции откуда-то с Дона.

Мы решили поехать в Коломенское. Тогда это был долгий путь — на трамвае, потом на автобусе, а затем еще пешком. На нем был все тот же плащ с короткими, не по росту рукавами и засаленным воротником. Мы долго ждали трамвая. Кругом люди. На нас поглядывали

Пока шли пешком, Лева рассказывал, как ехал в экспедицию. Всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд, ему — нет. Он пошел в учебную часть. «Гумилев, ты чего нервничаешь?» «Да вот жить не дают, — он швырнул на пол стопку книг, — в экспедицию не пускают». В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте М. И. Артамонов взял его к себе на раскопки. Очень хорошо рассказывал Лева. У него было так же весомо каждое слово, как у Анны Андреевны. Повествование всегда было эпическим, а в нем заключалась трагедия, но на это не нажималось ни словом, ни интонацией. (Потом он утратил этот стиль.)

Мы осмотрели церковь Вознесения и хоромы, про которые почему-то неверно было сообщено, что это дворец царя Алексея Михайловича. Какие низкие потолки и двери. «Рассчитаны на человеческий рост, а в XVIII веке стали строить выше». Лева все осмысливал исторически.

По дороге мы видели, как женщины-рабочие копали землю. «Зачем заставляют женщин делать эту тяжелую работу? Ведь они рожать не смогут».

Был последний октябрьский солнечный день. Мы сели на скамью под вязами против Казанской церкви. Где-то вдаль прошел человек. «Который час?» — «Пять часов». Ни слова не говоря, мы дружно вскочили. (Все у нас было ладно, несмотря на то, что мы не виделись несколько месяцев.) Как быстро пролетело время, ведь сегодня же вечером ему ехать в Ленинград, а он хотел еще зайти к Клычковым.

В автобусе Лева вел себя вызывающе, почти что подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой с какого-то заводика. В своей мятой фуражке он выглядел бывшим офицером. Его ненавидели, но боялись из-за его дерзости. Он вообще любил препираться в трамваях, чтоб последнее слово оставалось за ним.

Дома пообедали. Мрачен он был со своими татарскими усами. Помолчав, заявил:

— Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют.

— ?

— Уж мы знаем. Летом была допрошена наша приятельница. Ее выпустили, но она все подтвердила.

— Что подтвердила?

— Были у нас дома разговоры при ней.

Я не спросила, какие разговоры — вероятно, «петербургские», «дворянские», «ихние». Я плакала.

К Клычковым он уже не поспел и не звонил, а прямо от меня поехал на вокзал. Опять мы прощались в той же моей комнате, с той же перспективой никогда больше не увидеться. Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание. Прощальным словом Левы было: «Прими православие».

Что я делала в последующие дни? Не знаю. Вестей из Ленинграда не было.

Своей тревогой я поделилась с Леной. Она милостиво признала: «Да, вы связаны», — но все-таки прибавила: «Не люблю я романы каторжников, не нравятся они мне». А вот Анне Андреевне они «нравились». Нет, ее растрогала не наша с Левой встреча. Она, вероятно, и не знала о ней. Но двадцать лет спустя, когда на наших экранах появились знаменитые итальянские фильмы, она настояла, чтобы я поехала с ней в один из дальних кинотеатров, где повторно показывали «У стен Малапаги». Анна Андреевна уже видела эту картину, но готова была смотреть ее еще и еще. Напомню, что на экране героиня и герой встречаются и прощаются перед его арестом. Неминуемое наказание ждет его не за выдуманное, а за настоящее уголовное преступление, но все равно, говорила Анна Андреевна, это — «наше», это — про нас.

В середине 30-х годов в нашем кинематографе можно было видеть только фильмы вроде ненавистных мне «Веселых ребят» и «Цирка». Именно в эти тревожные, неопределенные дни меня вытащил кто-то на предвечерний сеанс подобного фильма. Я пошла нехотя и с досадой вернулась домой. Вижу — в передней на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Заходим в мою комнату. «Их арестовали». — «Кого их?» — «Николашу и Леву».

Она переночевала у меня. Спала на моей кровати. Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы появились треугольники. Больше они не проходили. Она изменилась на моих глазах.

Потом я отвезла ее в Нашокинский — она еще сама не знала, к кому она пойдет. Ведь неизвестно, кто как ее примет. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она ничего не замечала. Она смотрела по сторонам невидящими глазами.

Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерезаны и в нескольких местах перегорожены из-за строительства метро «Дворец Советов» на месте взорванного храма Христа Спасителя. Осенняя грязь. Она боялась перейти улицу. Вдаль показалась машина. «Нет, нет, ни за что». — «Машина еще далеко, идемте». Она ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась.

Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и... узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь... Вот эта безумная мечущаяся нищая — знаменитая Ахматова? Вся эта физиономическая игра промелькнула перед моими глазами. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов. (А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем, в казенной машине.) Они проехали. Кое-как мы перешли улицу и нашли такси.

Шофер двинул машину со стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала. Я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась: «К Сейфуллиной, конечно». «Где она живет?» Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито: «Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?» Откуда мне знать? Наконец я догадалась: в Доме писателей? Она не отвечала. Кое-как добились: да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу она вскрикивала: «Коля... Коля... кровь...» Я решила, что Анна Андреевна лишилась рассудка. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфуллина открыла сама. Я уехала.

Через очень много лет, в спокойной обстановке, Ахматова читала мне и Толе Найману довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым. «Мне кажется, что давно вы мне его уже читали», — сказала я. «А я его сочиняла, когда мы с вами ехали к Сейфуллиной», — ответила Анна Андреевна. Я предполагаю, что из этого стихотворения напечатано одно четверостишие, измененное самой Ахматовой для цензуры:

...За ландышевым май
В моей Москве к р о в а в о й
Отдам я звездных стай
Сияние и славу...

(Напечатано «с т о г л а в о й», но в автографе для эпитета оставлено пустое место.) Но вернемся к 30-м годам, к тем напряженным дням.

Я не заметила, сколько времени прошло — два дня? четыре? Наконец телефон и снова одна только фраза: «Эмма, он дома!» Я с ужасом: «Кто он?» «Николаша, конечно». Я робко: «А Лева?» «Лева тоже».

Она звонила из квартиры Пильняка. Я поехала туда, на улицу «Правды». Там ликование. Мы с ней сидели в спальне. Из соседней комнаты доносится музыка. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то. «С тремя ромбами», — шепчет мне Анна Андреевна. Все они хотят видеть Ахматову — поздравлять... с «царской милостью»? Но Анна Андреевна должна мне многое рассказать. Пильняк заходит, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это Эмма!» Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет.

Что же мне рассказала Анна Андреевна?

Все было сделано очень быстро. Л. Н. Сейфуллина, очевидно, была связана как-то с ЦК партии. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она р у ч а л а с ь, что ее муж и сын не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович!»

В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется, ничего никогда для себя не просит. «Ее состояние ужасно», — заканчивалось это письмо.

Пильняк повез Анну Андреевну на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, кем письмо будет принято и передано в руки Сталину.

Для себя я отметила разницу в отношении писателей к Мандельштаму и Ахматовой. Там чувство долга по отношению к замечательному поэту, здесь тот же долг, но согретый непосредственным чувством любви.

Рассказ Анны Андреевны был прерван Пильняком. Он торопит. Она вышла в соседнюю комнату показаться. Зазвучал туш — это Пильняк завел новую пластинку, торжественно провозглашая: «Анна Ахматова!»

Тем временем, дожидаясь в спальне Анну Андреевну, я написала короткую записку Леве.

Анна Андреевна вернулась на минуту из столовой, чтобы проститься со мной. Я прошу ее взять мое письмо. «Что вы, что вы! Какие там письма! Не возьму ничего». Она всего боялась: писем, обыска в поезде... И правильно сделала. Мало ли как я могла написать в этой записке про Сталина. «Ну, — говорю я, — тогда скажите на словах:

Лева должен воспользоваться чрезвычайными обстоятельствами и просить разрешения сдать курс экстерном. Он не вынесет обстановки. К нему будут приставать студенты. Он как-нибудь не так скажет: меня, мол, Сталин выпустил. Это опасно, его обвинят в хвастовстве и в упоминании имени «божества» все».

Я уходила домой. Она пошла за мной в переднюю. Я открыла входную дверь. Неожиданно она нагнулась, высокая, гибкая, и быстро нежно поцеловала меня.

Через некоторое время приехала из Воронежа Надя. Я, конечно, пришла в Нащокинский. Застала у нее ленинградского брата Осипа Эмильевича, Евгения, и Николая Ивановича Харджиева. Они продолжали начатую без меня беседу. Евгений Эмильевич досказывал о своих встречах с Анной Андреевной. Видимо, они были посвящены совместным хлопотам об Осипе Эмильевиче. Затем он стал говорить о трудной жизни Ахматовой, и под конец в его рассказе промелькнула фраза: «...и с сыном эта история...» «Ничего не вышло?» — озабоченно спрашивает Николай Иванович. Я встрепенулась: «Что случилось?» «Так его же исключили. Какая-то глупая университетская история». Я вскочила с места и в волнении стала ходить по комнате. Как в воду глядела! Надя подошла ко мне и тихо спросила, удивленная: «Вы его любите?»

Вскоре Осмеркин поехал в Ленинград (он руководил там мастерской в Академии художеств, а в Москве в Институте имени Сурикова). Я передала через него записку Лева. Вернувшись недели через две, Александр Александрович привез мне ответ. Это было историческое письмо. Лева подробно описал всю картину преследований его в университете. К сожалению, через два года Анна Андреевна своими руками бросила это письмо в печь в моей же комнате. Сделано это было при чрезвычайных обстоятельствах — при аресте Левы в 1938 году.

В сообщениях Левы мне запомнились только два эпизода, из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лева характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. «У меня нет чувства ритма», — писал Лева и продолжал: на военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную Армию. Заканчивал Лева письмо фразой: «Единственный выход — переехать в Москву. Только при Вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать».

В самом конце января 1936-го в Москву приехала Анна Андреевна — хлопотать, конечно, о Лева, может быть, и о Мандельштаме. Она готовилась к поездке к Осипу Эмильевичу в Воронеж. Я уже писала, что провожали ее на вокзале Евгений Яковлевич и я. Перед ее отъездом я показывала ей Левино письмо. Дочитав до конца, она произнесла железным голосом: «Лева может жить только при мне».

С тех пор Анна Андреевна не пускала его в Москву. Я не знала, как он провел зиму. Впрочем, мне смутно припоминается еще один эпизод.

Дело, вероятно, шло уже к весне. Я получила от него письмо с просьбой. Оказывается, для того чтобы поехать в археологическую экспедицию, ему, как исключенному из университета, нужно было окончить хотя бы какие-то краткосрочные агрономические курсы. Его и туда не приняли. Не помню, то ли он просил меня обратиться к покровительству Пастернака, то ли я сама подумалась до этого. Во всяком случае, я надела вязаную кофточку моей двоюродной сестры и пошла к Борису Леонидовичу домой, он жил тогда на Волхонке. Мне понравилась комната — прохладная и пустоватая. Он отнесся к моей просьбе благожелательно и сочувственно, но никаких последствий это не имело. Почему? — не помню.

Летом Анна Андреевна опять приехала в Москву. Я рассказала ей о моем обращении к Пастернаку. Она мягко заметила: «Это не самое умное из того, что вы сделали в своей жизни».

После этого она уехала гостить в Старки, то есть в имение Василия Дмитриевича Шервинского под Коломной. Советская власть оставила ему эту собственность во внимание к его выдающимся заслугам в медицине. Знаменитый терапевт с мировым именем в наших кругах славился тем, что лечил еще И. С. Тургенева. Анна Андреевна дружила с сыном Шервинского, Сергеем Васильевичем⁸.

⁸ См. его очерк «Анна Ахматова в ракурсе быта», напечатанный в книге «От знакомства к родству» (Ереван. 1986).

Что касается меня, то впервые за много лет я поехала в этом, 1936 году вместе с нашей семьей на дачу под Москвой, в деревню Черепково по Рублевскому шоссе. Ко мне приезжал туда часто Евгений Яковлевич.

В июле Анна Андреевна вернулась из Старков и встретила меня по-женски, как победившая соперница. «Лева так хотел меня видеть, что по дороге в экспедицию приехал из Москвы ко мне в Старки», — объявила она. А я и не знала, что Лева был в Москве и что он все-таки попал в экспедицию. Меня это озадачило и больно задело. Но ведь я не оставляла ему своего дачного адреса. Эта простая мысль как-то не приходила мне в голову. Впрочем, осенью, вернувшись из экспедиции, он пришел ко мне и говорил о своем крайне подавленном состоянии в ту пору.

Между тем в моем образе жизни и направлении интересов за протекшее время многое изменилось.

Глава пятая

Разные эпизоды тех лет сливаются в моей памяти в один период времени — середина 30-х годов. Но некоторые даты в силу внешних обстоятельств устанавливаются с точностью до одного дня. Вот я не помнила, когда именно происходили описанные выше события — поездка слевой в Коломенское, долгое ожидание Анны Андреевны в нашей прихожей, поездка с ней до дома Сейфуллиной, торжество у Пильняка... Теперь, через полвека, появились документальные свидетельства, касающиеся этих событий. Из записи в дневнике Е. С. Булгаковой мы узнаем, что Анна Андреевна пришла к ней 30 октября 1935 года и вместе с Михаилом Афанасьевичем обдумывала редакцию своего письма к Сталину. Из других публикаций мы знаем дату освобождения Левы и Пунина — 3 ноября того же 1935 года. По письмам С. Б. Рудакова устанавливается время пребывания Анны Андреевны у Мандельштамов в Воронеже — с 5 по 11 февраля 1936 года. Значит, мы с Евгением Яковлевичем провожали ее на московском вокзале 4, а может быть, 3 февраля. Все эти дни я была взволнована и подавлена семейным несчастьем, вернее, тяжким горем, обрушившимся на моего отца.

8 февраля 1936 года скончалась Александра Юльяновна Канель — друг и спутница жизни моего отца с самых первых лет революции. Она умерла при странных обстоятельствах, почти скоропостижно. В том году на дворе стояла вьюжная, морозная погода — типичный московский февраль. Александра Юльяновна простудилась, но у нее был обыкновенный насморк. Неожиданно он перешел в острый менингит, и в течение двух-трех дней она сгорела.

Мой отец потерял друга — опору в жизни, и любимую женщину, излучавшую для него свет. Еще недавно, когда он был тяжело болен и я навещала его в Кремлевской больнице, к нему в палату вошла Александра Юльяновна. Какими преданными, полными любви и надежды глазами смотрел на нее отец! А на гражданской панихиде, указывая мне на открытый гроб, он произнес с невыразимой нежностью: «Посмотри, какая она красивая!..»

Я была поглощена чувством тревоги за него и состраданием к его горю. Но на происходящее вокруг смотрела спокойными глазами. Конечно, я жалела Дину и Лялю, которых знала с детства, знала, как горячо они любили свою мать, но все взрослые годы мы были так далеки друг от друга, что они стали мне совсем чужими. Я холодно отмечала для себя, что доктор Лев Григорьевич Левин процитировал Надсона в своем надгробном слове и что среди множества венков выделялся один, присланный лично от Молотова. Тогда еще нельзя было предвидеть, какой бедой обернется через три года для дочерей Канель ее дружеские связи с семьями Молотова, Каменева, Калинина... Она ведь была их домашним врачом и, конечно, знала много тайн кремлевского двора. А наша семья была так далека от этой стороны папиной жизни, что, сочувствуя его горю, мы не задумывались о загадочном течении болезни Александры Юльяновны, не помышляли о событиях и фактах, которые сжигали тревогой душу моего отца. Постепенно эти события становятся все более известными.

Вот в какой связи упомянул о смерти А. Ю. Канель профессор Я. Л. Рапопорт в своих «Воспоминаниях о деле врачей» (см. «Дружба народов», 1988, № 4, стр. 227): «Возьму на себя смелость предположить, что подлинной причиной осуждения Д. Д. Плетнева и Л. Г. Левина было не мнимое их участие в «умерщвлении» А. М. Горького, а совершенно реальное событие 1932 года — самоубийство жены Сталина Н. С. Аллилуевой, покончившей с собой выстрелом из револьвера в висок. Истинную причину смерти знали: А. Ю. Канель, главный врач Кремлевской больницы, ее заместитель Л. Г. Левин и про-

фессор Д. Д. Плетнев... Всем троим было предложено подписать медицинский бюллетень о смерти, последовавшей от аппендицита, и все трое отказались это сделать. Бюллетень был подписан другими врачами, судьба же строптивых медиков сложилась трагически (А. Ю. Канель, правда, «успела» умереть в 1936 году)».

Еще определеннее высказалась старшая дочь Александры Юльяновны Дина (Надежда Вениаминовна). Но она рассказывала и о своей трагедии — о своем аресте в 1939 году, о своем «деле», которое вел Берия, об издевательствах и побоях на допросе и дальнейшей своей судьбе. Она была окончательно реабилитирована лишь после смерти Сталина. Еще страшнее оказалась судьба младшей сестры — Ляли (Юлии Вениаминовны). Она уже не вышла на волю и, очевидно, была расстреляна в 1940 году. Лаконичный рассказ Дины напечатан в сборнике «Доднесь тяготееет» (Вып. 1. М. «Советский писатель». 1989, стр. 496):

«Думаю, это было predetermined еще в 1932 году, когда моя мать — главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Н. С. Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих: судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького, известна; моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году».

Очерк Надежды Канель озаглавлен «Встреча на Лубянке». В нем рассказывается о встрече в тюрьме с Ариадной Сергеевной Эфрон. Вот почему более подробный рассказ дочери Александры Юльяновны передан в книге Марии Белкиной «Скращение судеб», посвященной судьбам Марины Ивановны Цветаевой и ее детей Ариадны и Георгия Эфрон (М. «Книга». 1988, стр. 351 — 352). Тут болезнь и смерть А. Ю. Канель изложены со слов Дины гораздо подробнее. Эти подробности, конечно, остро волновали и угнетали моего отца, но я в ту пору понятия о них не имела.

Когда Александра Юльяновна была больна легким гриппом, сообщала Дина М. И. Белкиной, неожиданно пришел Юра Каменев, которому было тогда лет двенадцать. Его прислала мать, Ольга Давыдовна Каменева, из Горького, куда она была выслана после первого ареста. Ее муж, Лев Борисович Каменев, уже сидел. Процессы уже начались. «Юра пробыл недолго в комнате у Александры Юльяновны, — продолжает М. Белкина, — он торопился на обратный поезд. Александра Юльяновна вышла к ужину взволнованная, с красными пятнами на лице, она была рассеянна, нервна и, посидев немного, удалилась, сославшись на плохое самочувствие. Дина попыталась, что произошло, что сказал ей Юра? Но Александра Юльяновна уверяла, что он зашел только передать привет от Ольги Давыдовны». Именно после этого визита подростка насморк больной перешел в менингит, и через четыре дня после этой встречи она скончалась.

Только в 1941 году в орловской тюрьме Дина узнала, почему приход Юры сыграл роковую роль в жизни Александры Юльяновны. В этой тюрьме она оказалась в одной камере с Ольгой Давыдовой. Здесь не место рассказывать, в каком трагическом положении она ее застала. Лев Борисович и их старший сын, летчик Александр Львович (Люттик), были расстреляны. А после долгих запросов о судьбе Юры она получила известие о смерти юноши, как было сказано, от тифа. В это время немцы подходили уже к Орлу, и Ольга Давыдовна в числе других политических заключенных была расстреляна. Ее увели на расстрел при Дине. Но незадолго до казни она успела ответить на Динин вопрос, что же именно сказал Юра Александре Юльяновне.

По поручению Ольги Давыдовны Юра предупредил Александру Юльяновну, что о ней много расспрашивали. Особенно интересовались, кто сообщил Каменевой о самоубийстве Аллилуевой. (Невестка О. Д. Каменевой, то есть жена Лютика, указала, что это была А. Ю. Канель, приехавшая к ним домой в день смерти Аллилуевой. Александра Юльяновна уже знала об этом от Жемчужиной, которая вовсе не думала, что это станет государственной тайной.)

Страх и волнение Александры Юльяновны, получившей такие известия, вполне понятны. Впоследствии Дина только благодарила судьбу, что мать умерла дома, в своей постели, не пережив кромешного ужаса последующих репрессий. Когда Дину и Лялю арестовали в 1939 году, от них добивались признания, что мать была шпионкой трех государств, ведь она, как врач Кремлевской больницы, сопровождала ездивших за границу для лечения О. Д. Каменеву в Берлин, Ек. Ив. Калинин в Париж, а П. О. Жемчужину — на разные курорты.

Мы с сестрой старались облегчить горе отца, не догадываясь о всей остроте его переживаний. Между тем в той среде, к которой мы не имели отношения, многие искренне сострадали моему отцу, казавшемуся постаревшим на десять лет. Среди сочувствующих был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Желая выказать внимание моему отцу, он принял меня на работу в недавно организованный им Литературный музей. До этих пор мне было это недоступно: как уже не раз говорилось на страницах этой книги, я не попала в надлежащую колею после окончания университета, а теперь, через десять лет, дело казалось уже безнадежным. Но вот большое потрясение нарушило стереотипный порядок. На волне несчастья моего отца я получила работу, значительно изменившую мою жизнь.

Глава шестая

Это была договорная работа в отделе комплектования рукописей. На такого рода аккордные задания по описанию, систематизации и аннотированию архивных документов были отпущены специальные средства во все музеи и публичные библиотеки, имеющие соответствующие отделы. Большая группа интеллигентных людей занималась этой работой вплоть до самой войны, переходя из одного музея в другой по мере увеличивающейся потребности в разборе накопившихся бумаг. Очень поощрялось приглашение на эту работу старых дам, знающих языки, так как эпистолярная и мемуарная часть дворянских архивов почти всегда велась по-французски, реже по-английски и по-немецки. Хотя я плохо знала иностранные языки, я попала в эту группу и в годы 1936 — 1940 разбирала рукописные фонды Литературного, Исторического музеев, Библиотеки имени Ленина, а в 1946 году и ЦГАЛИ.

В Литературном музее, выросшем на энтузиазме его директора Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича и его сотрудницы Клавдии Борисовны Суриковой, я попала в особую атмосферу. Все сотрудники любили музей, как родной дом. Среди них было много родственников старых профессоров и дореволюционных писателей или помощниц и домочадцев ныне действующих литераторов. Громкие фамилии — Тургенева, Бакунина, Давыдова — так и пестрели в ведомостях на зарплату и в наших повседневных разговорах. Старик Давыдов пел под гитару цыганские романсы и был олицетворением той усадебной культуры, о которой напоминала своим искусством и своим происхождением великая Н. А. Обухова. Часто появлялся в музее К. Пигарев — внучатый племянник Ф. И. Тютчева. Он работал в Муранове, где был хранителем и научным сотрудником дома-музея Баратынского и Тютчева. С. И. Синябрихов конкурировал со знаменитым Н. П. Чулковым в доскональном знании дворянской генеалогии. А еще была дочь поэта Фофанова, немножко странная, с большими мечтательными глазами, в обеденный перерыв она рассказывала у камина (в музее и эта ритуальная часть трудового дня была обработана изящно, со своей сервировкой и с использованием всех возможностей уюта старинного особняка), — так вот, она рассказывала свои ужасные сны — кровавые, преступные. Всегда доброжелательный, всем интересующийся и любящий популяризаторскую работу Николай Павлович Анциферов был одним из самых уважаемых персонажей в этом коллективе. Он был вдохновенным «градоведом», достаточно вспомнить его известную книгу «Душа Петербурга», и был совершенно романтически влюблен в Наталью Александровну Герцен, являясь страстным апологетом любви к ней самого Герцена. Когда он читал лекции о «Демоне», он пробуждал у слушательниц высокие чувства проповедью любви как особой духовной категории⁹.

В разговоре он иногда к слову поминал Соловки, где успел отсидеть несколько лет. Однажды говорили об особой этике уголовников. Но, продолжал Николай Павлович, теперь уже этого нет, они теряют свою приверженность к нелепым, уродливым, но своим железным законам. Другой раз речь шла о религии, как она поддерживает стойкость духа. И в пример привел эпизод из своей жизни заключенного. Чем-то он навлек на себя особый гнев своего непосредственного начальника. И тот послал его чистить нужники. Это тяжелое испытание Николай Павлович вынес с достоинством. И помогло ему в этом особое внутреннее состояние. Он описал его в нашем разговоре как религиозное, но я не помню подробностей.

⁹ Обнаружение любовных писем жены Герцена Гервегу потрясли Николая Павловича. Злые языки утверждали, что эта измена убила его. Он действительно умер вскоре после появления в печати этой сенсации.

Очень активная и добрая дочь профессора У-го была нежно привязана к своему парализованному отцу и к брату. В буфете она всегда покупала на свой скудный заработок конфетки, чтобы побаловать отца. Мы знали о подробностях ее домашней жизни. Бывшую профессорскую квартиру, конечно, уплотнили, но была оставлена проходная комната, служившая им столовой. И как только семья садилась завтракать, соседи проносили через эту столовую свои ночные горшки. Видимо, поведение подобного рода, которому все мы подвергались в большей или меньшей степени, было способом самоутверждения для тех, кто двадцать лет тому назад не смел входить в господские комнаты без зова или садиться в присутствии «благородных» хозяев.

У. собралась в командировку в Ленинград, и я попросила ее передать мое письмо Ахматовой. Она взяла, но на следующий день вернула: «Не могу. Знаете, ее сын... Гумилев!» В таком же духе отзывался о Лева Борис Садовской, которого часто навещал в его квартире в Новодевичьем монастыре Николай Павлович. «Непримирим!» — отзывался Садовской о Лева в разговоре с Анциферовым. Эх, дворяне, дворяне! Они были особенно напуганы и соблюдали осторожность, но зачем же самим искусственно создавать атмосферу политической неблагонадежности вокруг несчастного сына Гумилева? (Кстати, я не уверена, что Лева заходил к Садовскому.)

Сотрудники этого музея, как, впрочем, и всех других, вели или делали вид, что ведут, какую-нибудь научно-исследовательскую работу для повышения своей квалификации и улучшения материального положения. Одни брали себе тему и корпели над ней годами, неспособные к активному научному мышлению. Другие смотрели на штатную работу в музее как на необходимую базу, а в оставшееся время работали не за страх, а за совесть в какой-нибудь любимой области. Среди людей этой категории, помимо Анциферова, выделялась скромная, бедная, образованная, с глубоким сияющим взором и седыми пышными волосами Ольга Геннадиевна Шереметева. Это была настоящая подвижница. Она сотрудничала с Дмитрием Ивановичем Шаховским по изучению наследия Чаадаева. Это она выделила в хранилище Ленинской библиотеки книги, принадлежавшие русскому мыслителю. На полях было нанесено его рукой множество пометок. Короче говоря, она собрала библиотеку Чаадаева. К сожалению, как мне говорили, эти книги, числящиеся в библиотеке по фамилиям их авторов и отмеченные разными шифрами, были после войны вновь расставлены по старым местам, и вряд ли найдется теперь человек, который способен был бы их разыскать. Впрочем, я не осведомлена, каково положение дела в настоящее время.

Ольга Геннадиевна охотно помогала мне в работе: переводила с французского нужные мне письма из архивных фондов и сама приносила выдержки, относящиеся к теме моей исследовательской работы. Этой темой явилась биография Лермонтова.

Началось это так.

В квартире Мандельштамов в Нащокинском переулке остановился Борис Михайлович Эйхенбаум, приехавший из Ленинграда в Москву с женой и всегдашним спутником этой семьи Александром Осиповичем Моргулисом — героем мандельштамовских «моргулет». С Эйхенбаумом я мечтала поговорить, с тех пор как прочла в журнале «Литературная учеба» (1935, № 6) его увлекательно написанную статью «Основные проблемы изучения Лермонтова». Это была не обыкновенная историко-литературная статья. Она вся была проникнута пафосом новизны. Б. М. Эйхенбаум выделил «белые места» таинственной биографии Лермонтова, неожиданно и изящно группировал факты, открывая этим новые пути для поисков истины. Одной из поставленных им проблем был вопрос об адресатке раннего лирического цикла Лермонтова. Тут же Эйхенбаум указал, что этим энергично занялся Ираклий Андроников. Года через три его поиски воплотились в известном рассказе «Загадка Н. Ф. И.». Об этом молодом человеке (ему было в те годы двадцать шесть — двадцать восемь лет) я уже много слышала от людей, бывавших в Ленинграде. Рассказывали о его необыкновенном даре имитации, об абсолютном музыкальном слухе, неумном артистическом темпераменте и импровизированных, устных расказах в домашней обстановке.

Какое-то шестое чувство подсказало мне, что тут я найду себя. В занятиях Гумилевым я очень быстро дошла до слишком близкого предела: книги и журналы были прочитаны, но получить рукописные архивные материалы по Гумилеву было невозможно.

Я была хорошо знакома с Моргулисом и попросила его представить меня Эйхенбауму. Моргулис доброжелательно болтал, как всегда, обо всем: о том, как их принимает Вера Яковлевна, и о том, какое значение имеют рисунки Гр. Гагарина, привлеченные Эйхен-

баумом к своим работам о Лермонтове, и об Ираклии с его визитами к родственникам Натальи Федоровны Ивановой.

Эйхенбаум принял меня так, что я потом вспоминала декабриста Батенькова, который сравнивал два типа государственных деятелей — Аракчеева и Сперанского. Царский фаворит и тиран Аракчеев придавал чрезвычайную важность всему, что он делал, давая понять, что обыкновенному смертному это недоступно. А преобразователь Сперанский все делал с таким видом, как будто это очень легко, всякий может, если захочет, составлять новый свод законов, готовить реформу образования, быть председателем Государственного совета... По этой классификации Б. М. Эйхенбаум принадлежал к типу Сперанского. Его не смутила моя неискушенность в исследовательской работе, не отпугнуло отсутствие у меня навыков библиографической работы. Он сразу предложил мне заняться розысками материалов о «кружке шестнадцати», участником которого был Лермонтов. Кроме самого этого факта, о «шестнадцати» ничего больше не было известно. «Как же к этому подступиться?» — сомневалась я. «Очень просто: вначале нужно покопаться в именных указателях «Русской старины», «Русского архива», «Исторического вестника» и т. п. изданиях, затем сделать выборки из «Библиографического словаря», а там пойдет само», — любезно объяснил Борис Михайлович.

Да, все пошло само, но каждый шаг вперед оказывался в Ленинской библиотеке скачкой с препятствиями. Стало легче, когда я получила билет в специальный читальный зал. Он размещался на хорах блистательного общего зала. Не надо забывать, что Ленинская (бывшая Румянцевская) библиотека занимала знаменитый дом Пашкова. С хоров можно было заглядеться на длинные черные столы, выделявшиеся на фоне белоснежных колонн, на сиянье хрустальных люстр, на безукоризненный ритм в расположении лепнины на потолке и карнизах. Пропуск в спецзал мне помог получить Ираклий Андроников, переехавший в то время из Ленинграда в Москву. Мы с ним подружились.

Все это вместе сливалось в цельное ощущение чего-то нового, вошедшего в мою жизнь. Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо прямого содержания работы, питается еще влюбленностью в аксессуары, сопровождающие этот труд. Такое сочетание и создает чувство призвания, найденной дороги.

Между тем проблема «шестнадцати» была исключительно трудна. В литературе были названы только десять участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и званий. Даже такие знатоки дворянских родословий, как корифеи Литературного музея Николай Петрович Чулков и Степан Ильич Синябрюхов, утверждали, что установить их личность совершенно невозможно. Тем не менее, посоветовавшись с Ираклием, я решила обратиться к «Высочайшим указам», так как, по суммарной характеристике этих товарищей Лермонтова, многие из них успели уже повоевать на Кавказе. Однако опять — препятствие: переплетенный том «Высочайших указов» читателям Ленинской библиотеки не выдавался. Выручила библиотека Исторического музея. Там меня недоумили, что высочайшие указы печатались также и в военной газете «Русский инвалид». В Историческом музее сохранились номера за все годы. И тут счастливая находка: оказалось, что в конце номера регулярно печатались мельчайшим шрифтом списки приехавших и уехавших из Петербурга. Когда из этих скучных столбцов стали выныривать имена Лермонтова, его друга и родственника Монго Столыпина или князя Александра Долгорукова, знакомого нам по его рисунку к стихотворению Лермонтова, трудно передать охватившее меня волнение, я как будто дышала особым воздухом удачи. Думали ли современники, что эта казенная рубрика может кого-нибудь заинтересовать, кроме отставных военных чинов? Поэт Ив. Ив. Дмитриев, например, сочинил на эту тему ироническую эпитафию, напечатанную в начале прошлого века:

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних годах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри — и только, что в газетах
Осталось: выехал в Ростов.

Но мне эти десять дней, проведенных с самого утра до позднего вечера на пятом этаже здания на Красной площади, открыли дорогу к новым находкам. Так началась моя многолетняя работа в архивах, расширявшаяся с каждым годом. Официальные отношения в государственные архивы мне любезно предоставлял В. Д. Бонч-Бруевич. Жизнь моя проходила теперь между Литературным музеем, рукописным отделом Ленинской библиотеки, где я занималась такой же договорной работой, как в музее, и Военно-историческим архивом.

Этого направления моей работы не могли понять ни Надя, ни Евгений Яковлевич. По их представлениям, занятия историей литературы сводятся либо к высказыванию критических, подчас экстравагантных, суждений, либо к писанию мемуаров. Как только я начала заниматься Лермонтовым, Надя стала бояться, что я буду писать мемуары о Мандельштамах. Я слишком много знала, по ее мнению. Как я уже писала, эти опасения сказались с полной силой в Воронеже, где Осип Эмильевич упрекал меня, конечно инспирированный Надей, в намерении писать о нем мемуары после его смерти. Эти подозрения казались мне смешными, мои занятия были очень далеки от составления мемуаров, а отношение к Осипу Эмильевичу и Анне Андреевне было чисто личным, далеким от любопытства к знаменитостям.

Глава седьмая

Вернувшись из Старков, Анна Андреевна провела дней десять — четырнадцать в Москве. Она жила у меня, все наши были на даче или в отпусках, у меня тоже был перерыв в работе. Хотя она окрепла и загорела в Старках, где купалась в Москве-реке и чувствовала себя хорошо среди любящих ее людей, в городе она опять страдала от разных недомоганий. Мы много времени проводили дома.

Внешний вид Ахматовой этих дней с замечательной выразительностью и точностью запечатлен на фотографии, сделанной в Старках Л. В. Горнунгом. Это известный портрет: Анна Андреевна сидит с ногами на диване, обитом полосатым тиком. Фигура, руки, шея, челка, само лицо удивительно верны. На другой, маленькой любительской, карточке Ахматова, повязав голову косынкой, сидит на лавочке против Маринкиной башни. Она мне подарила обе фотографии с надписями: «Милой Эмме — Ахматова — на память о моих московских днях 1936 г. 26 июля»; в тот же день надписана другая: «Эмме в знак самых нежных чувств. Анна. Я — в Коломне».

С первых же дней Анна Андреевна стала звонить по Левиным делам разным влиятельным лицам. В пустующем кабинете моего отца стоял добавочный телефонный аппарат, и она звонила оттуда.

Напряженно выпрямившись, она сидит в плоском ковровом кресле и держит возле уха трубку. Она набрала кремлевский номер и ждет, пока к аппарату подойдет Осинский. От униженья ее всю с ног до головы начинает сотрясать крупная дрожь. Я гляжу на нее со стесненным сердцем: какое породистое, гибкое и нервное существо, думаю я.

На досуге мы много болтали, Анна Андреевна охотно вспоминала 10-е годы. Рассказывала о своих увлечениях, показывала какие-то фотографии, намекала, кому что посвящено в «Четках» и «Белой стае». Я все тут же забываю, потому что не понимаю ни типа мужской красоты того времени, ни тогдашнего характера любовных отношений. 10-е годы для меня «отдаленней, чем Пушкин». Но один из ее рассказов врезался в память.

Она возвращалась с Гумилевым в Царское Село. На вокзале в Петербурге им встретился «некто» (Анна Андреевна всегда говорила таинственно), завел разговор с «Колей», «а я дрожала, как арабский конь». «Знаю, видела, какой ты горячий и гордый человек», — с нежностью думаю я и от этого двойного впечатления запоминаю сцену на Царскосельском вокзале на всю жизнь, как будто была там сама.

(Через тридцать лет узнаю: «некто», заставивший так вздрогнуть Ахматову, был Александр Блок. 5 августа 1914 года он отметил в своей «Записной книжке» встречу на Царскосельском вокзале с Ахматовой и Гумилевым. А она назвала Блока в своих воспоминаниях, описывая совместный обед трех поэтов на том же вокзале в первые дни войны.)

Осинский или кто другой поддержал Ахматову, не помню, но направили ее в Комитет по высшей школе. Она была на приеме, ей предложили позвонить по телефону дней через пять, затем еще через три дня и так откладывали решение, между тем Анна Андреевна явно заболела, надо было возвращаться домой. Она уехала и просила меня позвонить в комитет. А там все то же самое: позвоните через пять дней, через три, через неделю и т. д. Естественно, что я не могла бросить это дело, и на целый месяц звонки в комитет управляли моим образом жизни.

В сентябре ко мне в Литературный музей неожиданно явился Лева. Он вернулся из экспедиции. Мы вышли с ним на улицу, я ему рассказала, как обстоят дела в комитете. Прощаясь, он так крепко жал мне руку и благодарно смотрел в глаза, будто я рисковала для него жизнью. Меня удивляло, что он придает такое значение поступкам, считающимся в моем кругу естественными. Неужели он мог себе представить, чтобы кто-нибудь, взяв-

шись выполнить поручение дружеской семьи, бросил бы его на полдороге?! Вечером у меня дома он говорил, что теперь у него атрофированы все чувства, кроме благодарности.

Это было наше первое свидание после его ареста и освобождения прошлой осенью. Тут он мне кое-что рассказал. Дело велось так, что, казалось, ему и Пунину грозила суровая кара, чуть ли не вышка. Особенное внимание следствия привлекло то, что среди той роковой беседы за ужином Лева побегал на кухню за ножом, чтобы нарезать хлеб. Доносчик преподнес это «кому следует» как символический жест, намекающий на подготавливаемый ими террористический акт против Сталина. Поэтому Лева испытывал чувство благодарности к освободившему его Сталину. Тут же он мне сообщил: «Имейте в виду, что на вопрос, у кого я бывал в Москве, я назвал Ардовых — это все равно известно — и вас. Больше никого я назвать не мог».

И вот прощенный Сталиным, но опять неприкаанный Лева сидит на подоконнике моей комнаты и рассуждает: «Знаете, какая разница между евреями и русскими? Евреи делят всех людей на своих и чужих. Чужим они горло перегрызут, а для своих готовы на все. Вот вы считаете меня своим. Русские тоже делят людей на своих и чужих. Чужим они тоже горло перегрызут, а про попавшего в беду русского подумают: „Он, конечно, свой брат, а все равно — наплевать!“»

Лева относился к евреям «с любопытством иностранки». Впрочем, с таким трудом добываясь высшего образования, он, по словам Анны Андреевны, часто повторял: «Теперь я понимаю евреев», имея в виду процентную норму для евреев при поступлении в университет в царской России.

А решения в комитете все еще не было. В хлопоты вмешался Ардов. Он воспользовался обвинениями против Зиновьева, чтобы преподнести начальству из комитета ходячую версию о смертном приговоре поэту Гумилеву. Ленин, мол, его помиловал, но Зиновьев по собственному разумению приказал его расстрелять. Развязный и авторитетный тон Ардова производил впечатление в кабинетах начальников.

Ардов в те годы жил хорошо, водил Леву в «Метрополь», катал на такси, в комитет приходил вместе с ним. Лева каялся мне: «Я здесь для вас, но я не могу устоять перед красивой жизнью».

Дом Ардовых импонировал ему своей, как ему казалось, артистической светскостью. Там бывают только блестящие женщины: Вероника Полонская, или дочь верховного прокурора, или жена Ильфа... Над тахтой Нины Антоновны портреты влюбленных в нее знаменитых поэтов, например Михаила Светлова... а в ногах вот сидит Гумилев. Вероятно, мое изображение этого дома — кривое зеркало, но таким я его получила из рук Левы, Нади (Анна Андреевна говорила об Ардовых иначе, но тоже с беспокойным пристрастием). Нина Антоновна кокетничала с Левой, и он откровенно признавался: «Я не могу оставаться равнодушным, когда она лежит с полуоткрытой грудью и смотрит на меня своими блестящими черными глазами».

В один из вечеров прибежал ко мне с Ордынки вне себя. В комитете окончательно отказались восстановить его в Ленинградском университете, так как тамошняя администрация решительно протестовала. Предложено было, однако, поступить в Московский университет, но не на третий, а на первый курс и не на исторический, а на географический факультет. По-видимому, это выхлопотал Ардов. Лева был смертельно оскорблен. Он чувствовал себя прирожденным историком, а вовсе не стремился числиться студентом, готовящимся к любой специальности. Да еще начинать сначала в двадцать четыре года! А Нина Антоновна подходила к этому вопросу практически. Ей мало были понятны проблемы призвания, и не догадывалась она об одаренности Левы. Она настойчиво убеждала его смириться и пойти по указанному пути, который как-никак сулил относительное благополучие. Так как, убеждая его, она не скупилась на нравоучения, он в крайнем раздражении убежал через площадку к Клычковым, где к нему так хорошо относились и где он в этот свой приезд жил.

Вообще говоря, Лева очень смешно рассказывал об этом доме. Как-то к Клычкову зашел знакомый актер. Услышав Левину фамилию, он так испугался, что стал пятиться. Клычков рассердился и накричал на него, притопывая ногами: «А ты поп! поп!» Этот актер был сыном священника¹⁰.

¹⁰ Вдова С. А. Клычкова Варвара Николаевна Горбачева (ее литературный псевдоним), рассказывая в своих воспоминаниях о том же эпизоде, заметила, что этот актер не был сыном священника

Но на этот раз ни деятельное доброжелательство Ардовых, ни горячая дружеская поддержка Клычковых не могли успокоить Левину тревогу. Он переживал свою неудачу как катастрофу. Я страдала вместе с ним, так как верила в его призвание, но все же почувствовала, что сейчас эту напряженность нужно снять. «Черт с ними, Левушка, — сказала я. — Необязательно учиться в университете. Раз это идет с таким скрипом, то и не надо. Все равно будете историком».

Это оказалось именно тем, что было нужно в настоящую минуту. С чувством величайшего облегчения Лева вскричал: «Эммочка, вы единственная женщина, которую я по-настоящему люблю!» Но на следующее утро, умиротворенный и отрезвевший, заплакал: «Маму жалко».

Хлопоты в комитете продолжались, однако, еще недели две-три. Лева начинал примиряться с возможностью учиться в Москве, хоть и на первом курсе и на географическом факультете. Но где ему жить в Москве? В общежитии? Мы все понимали, что это невозможно для него. Ардовы нашли ему какую-то комнату или угол, но я не считала, что знакомые из их круга — подходящее соседство для Левы. В конце концов все утряслось. Лева поехал в Ленинград за вещами, чтобы вернуться в Москву и поселиться в предложенной Ардовыми комнате.

Прошел ноябрь, декабрь — о Леве ни слуху ни духу. Вначале я просто тревожилась за его судьбу. Но от Анны Андреевны не приходило никаких известий о какой-нибудь беде. Пришлось убедиться в невеселой истине: Лева меня бросил. Я вспоминала Женевьеву — прачку из романа Золя, от которой уходил любовник, удаляясь по знакомой парижской улице, и так больше никогда и не вернулся.

Только много времени спустя я случайно узнала, что Лева поступил точно так же с Клычковым, которому неловко было кого-нибудь спрашивать, куда он исчез. Я-то узнала, что он преблагополучно живет в Ленинграде. Мне об этом рассказала моя Лена, ездившая туда встречать Новый год. Я передала через нее письмо к Анне Андреевне с библиографическими справками и выписками о Гумилеве. Лена привезла мне ответ Анны Андреевны, где гумилевские материалы условно названы лермонтовскими:

«31 декабря 36 г.

Милая Эмма, я до сих пор не поблагодарила Вас за Ваше осеннее гостеприимство и заботы обо мне. Простите меня. Уже четыре месяца я болею, сердце мешает мне жить и работать.

Сейчас мне принесут Вашу статью о Лермонтове, и я буду читать ее в новогоднюю ночь.

Меня сняли с пенсии, что, как Вы можете себе представить, сильно осложняет мое существование. Надо бы в Москву, да сил нет. Целую Вас крепко.

Ваша Анна».

Письма Ахматовой надо уметь читать. Написанная карандашом, эта записка сообщала «белым голосом» о важных событиях ее жизни. Болезнь сердца, разумеется, усугублена душевным расстройством, о котором мне предоставляется догадываться. Я понимала, что мои выписки о Гумилеве она не будет читать под Новый год, но зато узнала, что она проведет новогоднюю ночь в полном одиночестве. Жизнь у Пуниных становится невыносимой, так как Анна Андреевна лишилась пусть небольшой, но все-таки с о е й пенсии (она получала персональную пенсию «за заслуги перед русской литературой»). О Леве ни слова.

Глава восьмая

А жизнь шла своим чередом. Я встречала много новых людей. Не нарушались и привычные дружеские связи. Мы много смеемся, потому что моя Лена прекрасно рассказывает анекдоты, я тоже не лишена чувства юмора, хотя Лена называет его щедринским.

С сотрудницами музея мы свободно обмениваемся в курилке критическими репликами. Когда вечером, выйдя из музея, мы переходим на другую сторону Моховой и оказываемся в рукописном отделе Ленинки, там скрип наших перьев то и дело прерывается каким-нибудь веселым замечанием.

Многие из штатных и вештатных сотрудниц отдела рукописей тоже носили громкие имена художников и философов прошлого века. Свояченицы, внучатые племянницы или троюродные сестры уехавших знаменитостей были сокрушительно бедны, поэтому все слегка сумасшедшие — или надрывно веселы, или одержимы бурными любовными стра-

стями, зарождавшимися и развивавшимися тут же в библиотечной среде. Меня тоже иногда кто-нибудь из немногочисленных сотрудников мужского пола или даже читателей провожал домой, на этот счет сплетничали, но все это не имело никакого отношения к моей душе.

Административные функции в отделе рукописей выполняла очень строгая и педантичная женщина, по-видимому, коммунистка, с русыми, гладко причесанными волосами, стянутыми на затылке в пучок. Много лет спустя мне сказали, что в юности она была личным секретарем М. О. Гершензона. Обо мне она говорила, что работник хороший, «но, — прибавляла, — очень капризная». «Капризная» — это еще ничего. «Трудный характер» — вот что неизменно фигурировало во всех моих служебных характеристиках. Очень поздно я поняла, что это был условный термин для отдела кадров. За свою жизнь мне приходилось выслушивать от окружающих самые разные претензии, но слова «трудный характер» не произносились с тех пор, как я перестала служить.

В памяти мелькает несколько эпизодов той поры, но я не могу восстановить хронологическую связь между ними. Впрочем, одно, в сущности, мимолетное впечатление датируется сравнительно точно, потому что связано с конкретным политическим событием. На общем собрании сотрудников отдела нам сообщают, что всем необходимо прослушать чтение текста новой Конституции Советского Союза. Кто будет читать вслух? Одна из сотрудниц, держа в руке карандаш, изящно указывает на меня. Мне это лестно, потому что она хорошая женщина, молчаливая, хрупкая, держится особняком от остальных. Ей не о чем болтать с ними, она не вспоминает о вечерах в Политехническом музее, где однажды выбрали «королем поэтов» незабвенного Игоря Северянина, не вспоминает «Навыи чары» Сологуба. Она не рассказывает о забавных находках в переписке давно ушедших дворянских семейств. У нее совсем другой материал под руками. Она работает в другом помещении над уникальным собранием древнееврейских рукописей. О том, что в библиотеке хранятся ценнейшие документы чуть ли не времен древних пророков, я услышала от одного из администраторов отдела рукописей, П. И. Воеводина. Он говорил, что эти реликвии некому описывать — никто не владеет древним, мертвым языком. А вот теперь я воочию увидела ту, которая обладала столь высокой и редкой квалификацией. Ее фамилия была Шапиро.

Потом была война, и сокровища Ленинской библиотеки были эвакуированы далеко на восток. А после войны, когда они были возвращены на свои места, началась губительная полоса государственного антисемитизма. Вряд ли кто-нибудь вспоминал тогда о ценнейшем собрании древнееврейских рукописей в Ленинской библиотеке.

Еще один эпизод, относящийся к моему пребыванию в отделе рукописей, датируется довольно точно. Речь идет о знаменитом кардиологе Дм. Дм. Плетневе. Напомню, что еще до страшного судебного процесса и казни Плетнева, обвиненного в убийстве А. М. Горького, против этого знаменитого врача была развернута разнузданная кампания в печати. Некая «гражданка Б.» (хороший псевдоним!) написала в «Правду», что Плетнев, к которому она обратилась по поводу болезни сердца, во время приема кусал ее грудь, отчего она заболела хроническим маститом. Все это обсуждалось на страницах «Правды». Плетнева, в частности, винили и за то, что он обращался в милицию, прося защитить его от приставаний безумной. А та действовала по всем правилам: звонила по телефону, писала угрожающие письма, подстерегала на улице, приходила со скандалами к нему в клинику. Наконец на страницах центральной прессы появились статьи, подводящие убийственный итог этой травле. Помню, как Анна Андреевна, прекрасно знавшая и понимавшая окружающую реальную жизнь, заметила, что «Правду» читают вслух на поллитчаше в школах. Как будут воспринимать подростки, почти еще дети, грязные подробности, уснащавшие эти статьи? Но наши дамы, владевшие французским, английским и немецким, всецело взяли сторону «гражданки Б.». Они возмущались извращенным сладострастием старика Плетнева, обсуждали фельетон, цитировали отдельные места. Тут я не выдержала и выпалила: «Вранье!» На это полетели гневные реплики: «Но это напечатано в „Правде“! Мы привыкли верить „Правде“». В ту же минуту из-за стеллажа с книгами вышел человек с тусклой и жесткой физиономией (один из тех, кого Евгений Яковлевич называл серенькими), внимательно оглядел нас и, не проронив ни слова, снова скрылся за стеллажами. Это был заведующий только что организованным Архивом Горького. Он занимался в Ленинской библиотеке отбором материала, передававшегося в этот Архив.

Год спустя наши образованные дамы с таким же простодушием отнеслись к сообщению, что Ягода «изменил Родине». «И чего ему не хватало? Ведь у него все было», —

удивлялись они, впервые почувствовать свое моральное превосходство над этим страшным человеком. Гораздо непосредственнее откликнулся на суд над Ягодой милиционер, стоявший у входа в рукописный отдел. В те времена устав службы выполнялся неукоснительно. Часовой проверял пропуска, но ни одним живым словом не позволял себе обмениваться с мелькающими в вестибюле читателями. Однако тут он не выдержал: «Подумайте только — сам Ягода!! Даже слово «Лубянка» было страшно произнести, а вот он какой оказался. Фашист. А как он жил... Я дежурил у него на даче: какие пруды, какую рыбу туда напустили — зеркальный карп, караси...» В Литературном музее старая большевичка, пригретая Бонч-Бруевичем, кое-как писавшая карточки на литературные рукописи, валилась в сердечных припадках, вскрикивая: «А Ягодка-то, Ягодка!..»

Литературный музей уже терял свой уют «дворянского гнезда». Одна из сотрудниц сказала мне с горечью, что и собираться компаниями теперь нельзя — это вызывает подозрение. А бедная У. теперь покупала в буфете не только лакомства для больного отца, но и то, что подходило для тюремной передачи. Ее обожаемый брат был арестован. Вскоре она стала ездить в «Матросскую тишину» и даже раза два попадала под трамвай при этих безумных поездках, к счастью, выскакивала из аварии невредимой. Однажды она мне сказала мужественно и скорбно: «Моя жизнь кончена», — так сильно она любила своего брата. Потом она перешла из Литературного музея в другой, где работала много лет, была любима и ценима. Какова была судьба ее брата, не знаю.

Другая сотрудница Литературного музея, носящая фамилию великого русского писателя и состоящая в родстве с одним из блистательных писателей «серебряного века», подала заявление в спецотдел. Она сообщала, что в фондах Литературного музея хранится номер эмигрантских «Последних новостей», где перепечатано частное письмо Бухарина политического содержания. Незадолго до этого меня поразила ее реплика, не совсем уместная в устах старой московской интеллигентки. Дело было в коридоре, где мы курили. Заговорили о том, как безобразно новое здание Ленинской библиотеки. Я сболтнула: «Даже сам Сталин сказал...» — и привела приписываемые ему критические слова по поводу этой новостройки. «Почему «даже»?» — поправила она меня с какой-то двусмысленной улыбкой.

А в Ленинской библиотеке молодая сотрудница из так называемых коммуноидов, то есть беспартийная коммунистка, с омерзением сказала о предсмертном слове Бухарина: «Фигляр какой-то».

Глава девятая

Каждый думал, что боится он один. Но боялись все. Люди старались себя убедить, что их арестованный товарищ, родственник, знакомый действительно очень плохой человек; собственно говоря, они всегда это замечали. Подобной реакцией самозащиты объясняется добровольное распространение дурных слухов об очередной жертве. Помню, как хватились в театральных кругах за версию, объясняющую арест Мейерхольда. Его якобы поймали на аэродроме при посадке на самолет, летевший за границу. «Я верю», — с апломбом прибавляли главным образом женщины, не замечая нелепости, на которую мне сразу указала Анна Андреевна: «Что ж, они думают, он собрался бежать из Советского Союза без Райх?» Всем было известно, как страстно привязан Мейерхольд к своей жене — актрисе Зинаиде Райх. Между тем арестован был он один, а Райх вплоть до рокового дня ее убийства в собственной квартире оставалась на свободе. Некоторые успокаивали себя мыслью, что система репрессий якобы строго продумана и логична. «Ну что? Что у вас может быть? Вы не крали, не участвовали в оппозициях. Сын ваш рабочий, устроился на хороший завод, комсомолец. Что ему может угрожать? Не паникуйте». А собеседница, не в силах справиться с тревогой, признавалась — сын скрыл в анкете, что его отец был священник. Потом новые муки: зачем проговорила, о чем и вспоминать не следует?

Я начала бояться еще до 1937 года. Страх налетал внезапно. В один из таких приступов я изливалась Лене. Она успокаивала меня. Возвращалась я от нее очень поздно. Как всегда, и даже больше, чем всегда, нервничала на улицах. Город показался мне военизированным. В центре мчались с невероятным тарактением один за другим мотоциклы. Я шарахалась от них по перекошенным площадям. Вспомнила слова сестры. Она проходила мимо Дома союзов во время какого-то съезда (или суда?). «Полно шпиков», — сказала она, придя домой. Она не стеснялась в выражениях, потому что помнила Бутырскую тюрьму. В начале 20-х годов наша семья ходила туда на свиданья с нашим родственником, осужденным по процессу эсеров.

Досхав на трамвае до нашей улицы Щипок, я немного успокоилась, но предстояло еще пройти через огромный больничный сад, пустынный и темный. Уже издали я с облегчением увидела свет в окнах административного корпуса. Я подошла к нему как раз в ту минуту, когда с пристроенной крытой галерейки быстро сбегали по лестнице два человека. Я повернула направо, к нашему дому. На крыльце стояли двое. В одном я узнала завхоза больницы, очень любезного поляка, а в другом... но что говорить о другом, если из-за темного угла дома выдвинулась фигура часового с ружьем наперевес, с надвинутым на глаза козырьком фуражки и с жестким ртом. «Это к вам», — осторожно предупредил меня завхоз. «Ко мне?» «Вот видишь, Лена», — подумала я с каким-то даже удовлетворением. Но завхоз уже спрашивает нервно: «Почему не открывают?» «Спят, наверное», — отвечаю, пожав плечами: я очень старалась сохранить достоинство. А чувство было такое, будто после трудного дня я добралась наконец до теплой постели, укладываюсь, но под одеялом встречаю направленный на меня острый нож.

Я повернула ключ в замке, но дверь оказалась закрытой на цепочку. Это уже фокусы соседней. Не шлейся, мол, по ночам. Когда же наконец дозвонились и достучались, я, все так же стараясь держаться гордо, направилась по коридору к своей комнате, но с удивлением обнаружила, что за мной никто не идет. «Они» остались в прихожей и начали стучать — вот оно что! — в комнату моего отца. Тут я испугалась. «Предупредите его!» — обратилась я к завхозу. Все посмотрели на меня хмуро и насмешливо. Когда «они» вошли к папе, в передней на деревянном диванчике остался сидеть часовой, вероятно, но тот, который появился из-за угла. Этот оказался простым парнем. Правда, когда я попросила у него огонька, чтобы закурить, он протянул мне коробок спичек и тотчас отдернул руку, будто прикоснулся к жабе: «Не положено». Я разбудила наших. Но, очевидно, у «них» был ордер только на папу, а из-за глупых дрызг жильцов и больничных служащих каждому из нас завели недавно отдельные лицевые счета на жилплощадь. Это было очень выгодно нам и совсем невыгодно больничной администрации. В данном случае это спасло меня от обыска. А обыск у папы длился.

Встревоженные и напряженные, мы засновали друг к другу из комнаты в комнату. Вдруг мама своим нежным, мелодичным голосом спрашивает: «Эммочка, как ты думаешь, это не может нам повредить?» — и показывает на экземпляры «Уроков Октября» Троцкого, хранившиеся у нее в комод. Оказывается, когда мы, взрослые дети, как благоразумные советские граждане, выбрасывали эти книги, мама их аккуратно подбирала. Как это — уничтожить книги! Что было делать? Выходит, у нее целый склад запрещенной литературы! Каждую минуту, думала я, «они» могут войти к маме, поскольку у нее не было отдельной жировки: обе комнаты числились за папой. Я вырывала из книг плотные листы, мяла их и время от времени ровным шагом отправлялась спускать их в унитаз. Часовой не обращал на мое поведение никакого внимания.

Уже рассвело, а «они» еще здесь. Сидя в своей комнате, с ужасом слышу, как открывается папина дверь, кто-то выбежал на улицу, подъезжает машина... Сейчас выведут папу? Я подскакиваю к его двери... «они» исчезли, а папа выходит к нам с глубоким вздохом облегчения, держа руку на груди с левой стороны. Очевидно, искали некий конкретный документ, не нашли и уехали.

Что им было нужно? Папа ничего нам не говорил, а наши предположения вертелись вокруг Кремлевской больницы, но было еще одно обстоятельство.

Я уже упоминала о нашем родственнике-эсере. Это Лев Яковлевич Герштейн. Он уже отбыл десятилетний срок тюремного заключения и жил в Сибири на поселении. Его жена время от времени появлялась в Москве и часто останавливалась у нас. Приходя, соблюдала всевозможные предосторожности. «Кажется, я никакого хвоста не привела с собой», — озабоченно говорила она, причем по каким-то признакам всегда была уверена, что ориентирована правильно. Адреса и телефоны нужных людей запоминала наизусть. Записной книжки не имела совсем. Но в доме она разговаривала очень свободно.

В 1936 году она прожила у нас довольно долго. Привезла печальную весть: Лев Яковлевич умер. Она наивно надеялась, что папе удастся устроить в «Известиях» некролог и объявление о смерти бывшего члена ЦК эсеров.

Маргарита Робертовна, латышка по национальности, была эсеркой с юных лет. Она вела революционную агитацию среди рижских рабочих. В партии она познакомилась с Львом Яковлевичем. До самого 1936 года (в 1937-м она исчезла, и мы ничего не могли узнать о ее судьбе, старался ли папа, я не знала) она оставалась живым воплощением типа эсерки. И терминология, и внешность, и манера спокойно говорить о перенесенных страданиях, и умение входить в простые жизненные интересы окружающих — все вместе

делало ее образцом человека высокой внутренней культуры. С выпуклыми голубыми глазами (у нее, вероятно, была базедова болезнь), с гладкими бесцветными волосами и почемучьему-то вставными зубами, хромая, она произвела впечатление учительницы. Хорошей учительницы, потому что улыбка освещала все ее лицо. Терминология в ее речи не изменилась с дореволюционного времени. Например, она говорила «публика» вместо современного советского «масса». С беззлобным юмором вспоминала разные эпизоды своей жизни в подполье и ссылках. То расскажет что-то смешное об англичанах во Владивостоке, то о трогательно-примитивной жизни сибирских крестьян, где она жила в ссылке в царское время. Гораздо страшнее были ее рассказы о тюрьме начала 20-х годов, где ей отбили почки и выбили зубы (вот откуда вставная челюсть). Эпически описывала она женщину-следовательницу. Она вызывала солдат, которые избивали арестованных у нее на глазах. Она смотрела «и делалась такой красивой, вы не можете себе представить». Она была садистой, ее скоро убрали с этой работы», — миролюбиво прибавляла Маргарита. А Льва Яковлевича, когда он сидел, изводил часовой. Без перерыва поворачивал он в коридоре выключатель от электрической лампы, освещавшей камеру. Мельканье света изводило заключенных. Маргарита полагала, что часовой делал это от скуки, но можно думать, что это был умышленный прием. Она так мало говорила о перенесенных ею страданиях, что только из одной ее случайной реплики я узнала, что она успела отбыть какой-то срок в лагере. Когда это было, я не сумела определить. Во всяком случае, в 1922 году, когда был суд над эсерами, ее в Москве не было. Теперь, в 30-х годах, Маргарита нередко рассказывала о том, как жили осужденные эсеры. В тюрьме они сидели по двое в камерах. Они так надоедали друг другу, что подавали просьбы о переводе в одиночку.

Рассказывала об условиях сибирской ссылки эсеров после выхода из тюрьмы, то есть в первой половине 30-х годов. Они болели, ходатайствовали о перемене местожительства из-за климата, но безрезультатно. Лев Яковлевич тоже хлопотал, но и ему было отказано в переезде. В ссылке он работал на очень ответственном посту, но страдал от постоянного неусыпного надзора. Однажды он так разозлился, что, увидев на улице идущего ему навстречу шлика, показал ему язык. Вместе с тем Маргарита уверяла, что мужа боялись все взяточники и воры, потому что он был хранителем государственного золотого запаса (кажется, в оренбургском банке?) и славился своей неподкупной, даже прямолинейной честностью. Я верила этому, потому что помнила еще старые семейные истории о его нраве. В отрочестве, когда он жил дома, на Украине, в каком-то местечке, он сидел однажды у окна и читал. А напротив на той стороне улицы загорелся дом. Его тушили. Юноша ничего не слышал. А когда дочитал, увидел: вместо знакомого дома напротив — пожарище. Такова была семейная легенда.

Выйдя на поселение после тюрьмы, очевидно, в начале 30-х годов, он жил с женой сначала в какой-то деревне. Маргарита говорила, что в их сибирское село приезжали по санному пути молодые крестьяне километров за шестьдесят — семьдесят. Спрашивали, что надо делать. Они были готовы на политическую борьбу. Но эсеры отговаривали их от действий, уверяя, что борьба бесполезна и приведет только к новому кровопролитию и напрасным жертвам. Маргарита, сокрушаясь, добавляла, что молодежь в деревне спивается.

Может быть, я не соблюдаю хронологическую последовательность в чередовании этих рассказов. Дело в том, что я мало интересовалась политической борьбой эсеров. Я была к ним равнодушна еще с тех пор, когда Лев Яковлевич, увидев у меня, шестнадцатилетней, книгу «Так говорил Заратустра», немедленно откликнулся: «А ты прочла уже, как Ницше пишет «ты идешь к женщине, возьми с собой плеть»? Тебе это нравится?» Мне показалось это старомодной узостью взгляда. Дальше любимых им «Исторических писем» П. Л. Лаврова Лев Яковлевич, по моему тогдашнему мнению, ничего не видел.

Овдовев, Маргарита довольно долго жила у нас. Вероятно, после смерти мужа в Москве у нее были дела. С кем она виделась, нам было неизвестно. Но дома она охотно говорила на политические темы. От нее я впервые услышала, как Сталин подбирался к власти, постепенно заменяя на местах весь партийный аппарат своими людьми. Разительным примером был Урал, на который Троцкий полагался как на свою цитадель. Но когда приехал туда выступать, не нашел ни одного из прежних партийцев. В Москве на съезд приехали уже совершенно новые делегаты, и голосование в пользу «генеральной линии» было предreshено. Так приблизительно она рассказывала.

Однажды, сидя со мной на диване, она рассуждала о бесполезности политической борьбы в настоящий момент. «Кокнуть Сталина, конечно, можно, но...» На этой фразе дверь открылась и в столовую вошла наша домработница Поля. Я вздрогнула, испугалась, а Маргарита, не меняя ленивой позы, закончила фразу на той же интонации, тем же ясным голосом: «...так что вы, Эммочка, покупайте этот шелк, не сомневайтесь. Разве вы не заслужили новое платье?» Когда Поля вышла, Маргарита дополнила свой наглядный урок наставлением: «Никогда не подавайте виду, что вас застали врасплох. Нельзя ходить крадучись, нельзя беспокойно оглядываться».

А мы с Евгением Яковлевичем понижали голос, опасаясь соседей и считая себя уязвимыми из-за дела Мандельштама. Между тем беды постигали именно окружающих, мы еще не понимали почему. У моей невестки Нади (жены старшего брата) на все такие случаи было одно объяснение. Каким образом, например, угодила в лагерь девочка из честной трудовой семьи? Ответ был прост: из-за неподобающих знакомств с иностранцами. Сама Надя работала участковым врачом в районной поликлинике и жила впечатлениями каждого рабочего дня: что сказал «Гришка», то есть заведующий поликлиникой, или «Райка» — коллега-врач. Это было главным в ее рассказах о работе. Она тянула своего мужа в обывательское болото, но его не интересовало ничего, кроме своего дела. Он строил электротехническую часть метрополитена с энтузиазмом изобретателя и высокого специалиста.

Мой младший брат учился на одном из последних курсов Высшего технического училища имени Баумана. В это время инженеров готовили по ускоренной программе: шла индустриализация страны, не хватало специалистов. А мой брат по характеру своему изучал любое дело досконально. Он не шел сдавать зачеты, пока не подготовится основательно. За это его травили студенты. Именно по настоянию комсомола и студенческого самоуправления он был исключен из училища за «саботирование реформы высшей школы». Так он и работал лет пятнадцать инженером без диплома, пока в сорокалетнем возрасте не поступил опять в вуз и окончил его, начав с первого курса. Вся эта история сделала его психику чрезвычайно ранимой. Наша Надя взяла власть и над ним.

За эти годы она стала законченной сталинисткой. По моему глубокому убеждению, главной социальной базой и моральной поддержкой власти Сталина были городские советские служащие. Я тогда уже понимала, что место, занимаемое ими в структуре тогдашнего общества, было аналогично месту мелкой буржуазии, которая, по марксистскому политическому анализу, поддерживала фашистские режимы в Италии и Германии.

Мне запомнились кадры кинохроники первомайского парада, когда появившаяся в небе воздушная эскадрилья в сочетании с наземными войсками создала впечатляющую картину военной мощи Советского Союза. Присутствовавший на параде один из высоких японских военачальников не мог скрыть внутренней дрожи и завистливого восхищения, а Ворошилов, подойдя к нему для прощального рукопожатия, в свою очередь не мог скрыть торжествующей улыбки. Подобные кадры преисполняли гордостью нашу Надю. Особенно импонировал ей приезд Идена в Москву для переговоров со Сталиным. «К нам едут», — повторяла она. Если английский премьер приехал сюда первым, значит, считала она, он явился на поклон. «Это европейцы, деловые люди, вот и все», — заметил по этому поводу Николай Иванович Харджиев.

Другая наша родственница, Ида, принадлежала к малоинтеллигентной среде. Отец ее был владельцем часовой мастерской, и жили они в помещении за магазином. Это положение ее угнетало. Окончив гимназию, она не могла поступить на Высшие женские курсы и стала, как это водилось, фармацевтом. Только после революции она смогла окончить медицинский институт и получить диплом врача. Не было границ ее удовлетворенной гордости. Она по праву считала, что стала «человеком» благодаря советской власти. Но в 1936 году ей пришлось первой из нашего окружения столкнуться с арестами, судами и тюрьмой.

Квартиры у Иды не было. Она жила в бывшей дворницкой, то есть в деревянном домике без удобств и даже без канализации. Это вынудило ее вступить в фиктивный брак с одним инженером из Вильно, который работал на строительстве нового дома и как застройщик получил квартиру в подвале. К несчастью, инженер был человек несдержанный и однажды на работе сказал в сердцах: «Ах, разве с русским пролетариатом можно что-нибудь сделать?» На него сейчас же донесли, и наша родственница получила боевое крещение, нося передачи, посещая тюрьму для свиданий со своим фиктивным мужем. Она присутствовала и на суде. Нет, это не было временем Особых Совещаний и троек, побоев и пыток в застенках. Инженера судили обыкновенным народным судом,

но это не помешало ему пробыть в лагерях и ссылках двадцать лет. На этих открытых судах Ида наслушалась и насмотрелась на быт заурядных московских людей. Вот жена, ревновавшая мужа, донесла на него, что он, мол, читая «Правду», улыбался. Вот соседи дружными усилиями топили «жиличку». Они подсмотрели, что она читала только классиков, пренебрегая советской литературой. И вот ее уже судят за антисоветские настроения. И как странно: кузина Ида, обязанная высшим образованием советской власти, сумела рассмотреть ее угрожающие тенденции, а невестка Надя, происходящая из очень интеллигентной семьи, сумела в несколько лет растерять все ее духовные заветы. Она превратилась в типичную городскую обывательницу-сталинистку.

Глава десятая

Каждый январь в договорных работах бывает перерыв перед новым бюджетным годом. С официальными направлениями из Литературного музея, которые мне любезно представлял Бонч-Бруевич, я поехала обследовать ленинградские архивы — Пушкинский Дом, Публичную библиотеку и хранилища, подчиненные Главному архивному управлению. Поездка обещала быть интересной. Было где остановиться — я вспомнила о родственниках, живущих в Ленинграде. Мне предстояло явиться к Эйхенбауму и похвастать своей добычей из Военного архива (ЦГВИА) в Москве. Я знала, что встречу с Рудаковым, он уже вернулся из Воронежа. Наконец я увижу Ахматову и этим утолю свой душевный голод. Но как я встречу севой? Я надеялась, что у него хватит ума не быть дома, когда я приду к Анне Андреевне.

В условленное время я постучала в квартиру Пуниных. Дверь открыл Лева. Он бросился ко мне и, не дав снять шубы, стал осыпать поцелуями лицо, плечи, ноги: «Как я рад, как я рад».

Он учился на третьем курсе Ленинградского университета. Как удалось ему восстановиться, я не знаю. Впоследствии мне сказали, что благодаря хлопотам Николая Николаевича Пунина. На Фонтанке Лева уже не жил, его впустил к себе приятель по имени Аксель, о котором я ранее никогда не слышала. Лева жил у него до самого ареста в марте 1938 года. Я спрашивала у него, что представляет собою Аксель «Надо же кому-нибудь быть беспутным. Вот он — беспутный», — отвечал Лева. Пока все не устроилось, Лева был в тяжелой депрессии и ездил куда-то не то в деревню, не то в маленький городок гостить к своему... брату. Да, да, к своему единокровному брату. О его существовании Лева и Анна Андреевна узнали совсем недавно. Это было так. Неожиданно к Ахматовой пришла немолодая женщина — бывшая актриса Театра Мейерхольда Ольга Высоцкая. Она объявила, что у нее был роман с Н. С. Гумилевым и в 1913 году она родила от него сына. Вот он сейчас войдет — она позвала молодого человека: «Орест!»

Анна Андреевна сразу признала его сыном Гумилева. «У него руки, как у Коли», — утверждала она. Лева был счастлив. Ночевал с Ориком вместе и, просыпаясь, бормотал: «Brother». Откуда мне известны эти детали? Понятия не имею. Вероятно, рассказывала Анна Андреевна.

Обедать Лева приходил на Фонтанку.

— ...Мамочка, мне пора принимать пищу...

— ...Лева, не закрывай глаза, когда ты ешь...

— ...А это мое лекарство...

Обеды назывались «кормление зверей».

В первый же день меня пригласили к столу, где собрались все: Николай Николаевич, его жена Анна Евгеньевна с Ирой, Анна Андреевна и Лева. Еще входя в квартиру, я заметила на двери записку «Звонок испорчен» с орфографическими ошибками. «Это ты писала?» — спросила я Иру шутливо, слегка покровительственным тоном, как обыкновенно говорят с подростками. Но эта девочка совсем не походила на обычных детей. Она посмотрела на меня зло, ехидно и промолчала.

Ира хозяйственно осматривала подливку и жаркое, которое внесла на блюде домработница. С этой женщиной Ира дружила и постоянно сидела в кухне на столе, болтала ногами и грызла семечки.

Анна Евгеньевна была женщиной лет сорока пяти, гладко причесанная, с затянутыми висками, но с опускающимися на шею локонами, с грубыми чертами лица. У нее был свой друг, врач «Скорой помощи». За общим столом я его ни разу не видела.

Анна Евгеньевна с Ирой сидели на одном конце очень длинного стола, а Лева с Анной Андреевной на другом. Анна Евгеньевна молча опрокидывала в рот полную рюмку

водки и только изредка подавала своим низким прокуренным голосом реплику — как ножом отрежет.

В один из вечеров за чаем Анна Андреевна рассказала, как Лева беседовал на бульваре с проституткой. «Он ее не нанимал», — добавила она неестественным голосом. Лева дополнил рассказ Анны Андреевны, уточняя какую-то примечательную фразу проститутки. «А за такие слова вам дадут десять лет», — раздался мрачный голос Анны Евгеньевны с другого конца стола.

В другой раз по какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла: «Не знаю, кто здесь дармоеды». Лева и Анна Андреевна сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью.

Пунин, познакомившись со мною, удивлялся: «Я думал, вы мадам Рекамье, а вы тихая». Потом предложил: «Выпьем за Эммину тишину».

В одно из моих посещений прибежал очень оживленный Лукницкий. Все были возбуждены, потому что в газетах уже появились огромные полосы, заполненные обвинениями в адрес партийной оппозиции. Их читали, обсуждали и делали вид, что «ничего, это нас не касается, авось пронесет мимо». Может быть, уже начались процессы, не помню точно. Это был январь — февраль 1937-го. Лукницкий острил, что он вне подозрений, совершенно ортодоксален. Пунин, тоже шутя, возразил. «А вот я сейчас докажу!» — вскричал Лукницкий и бросился в переднюю. Он вытащил из своего портфеля том сочинений Ленина и торжествующе принес в столовую: только что получил по подписке.

Обед еще не был готов, все сидели где попало, Анна Андреевна в углу на диванчике. Лукницкий сказал: «Я написал роман, который никто не будет читать». Лева не хотел от него отставать и заявил, что он написал рассказ, который никто не будет читать. Даже Пунин вступил в это смешное соревнование и указал на одну из своих статей, которую тоже никто не будет читать. Тогда из угла раздался звучный и мелодичный голос Анны Андреевны: «А меня будут читать».

Подали обед, и Николай Николаевич угрожающе рычал (ему казалось, что Лукницкий и Лева брали с блюда слишком большие куски жаркого): «Павлик! Лева!»

Мне удалось сразу взять с ним правильный тон. Зная о его невероятной скупости, я поняла, что его надо как-то ошеломить, и в ответ на приглашение к обеду и на вопрос, что приготовить, я заказала роскошные по тому времени блюда, в том числе свиную отбивную. Он был в восторге. А когда званый обед состоялся, первое, что он изрек, было: «А Лева уехал в Царское». Ну что ж, будем обедать без Левы. На третье был заказан компот, но Ира опоздала и не принесла его вовремя. Мы пили его уже после окончания обеда, опять сев за стол. Николай Николаевич грозно покрикивал: «Ира!» Девочка молчала, поджав губы. Очевидно, этому обеду предшествовал домашний скандал. Не потому ли Лева уехал в Царское?

Экспансивный, со своим тиком и хозяйственными дрызгами, Николай Николаевич ни на кого не был похож. Он часто сиживал за столом в красном халате и раскладывал пасьянс. А то запирался в кабинете, выходил проглотить стакан чая, приговаривал: «Как хорошо мне пишется, уже целый лист накатал».

Анна Андреевна переводила ему из французских и английских книг по искусству. Она и сама с большим интересом их читала. Она очень любила Валю, соседского мальчика, сына дворничихи. Демонстрировала мне, как они читают хором «Золотого петушка». Так же как, читая Данте три года тому назад с Осипом Эмильевичем, она умеряла свой восторг, стесняясь увлечения стихом. Вид смущенной Ахматовой очень трогал меня.

Анна Андреевна охотно переводила мне французские выписки из архивов.

Если я заставляла на Фонтанке Леву, он всегда уходил вместе со мной. В общем, он был в развинченном состоянии. Подвыпив, скандировал за столом: «В Петербурге мы сойдемся снова... В черном бархате январской ночи. В бархате всемирной пустоты...» Анна Андреевна послала его к Лидии Яковлевне Гинзбург за пятьюдесятью рублями (взаимы, конечно). Мы вышли вместе через двор на Литейный. Он только что не плакал от стихов, нервов и водки. Мрачно было. А Лена Осмеркина мне рассказывала в Москве, как весело она только что встречала здесь Новый год, про пивные на Васильевском острове, куда отправилась в компании художников, и все было легко, блестяще, остроумно. Неужели в Ленинграде есть нормальная жизнь? Для меня этот город был окрашен «Фонтанным домом». Впрочем, бывший Шереметевский дворец в ту пору никто, ни сама Ахматова, так не называл.

Остановилась я у моей двоюродной сестры лет на двадцать пять старше меня, у родной сестры эсера Льва Яковлевича. Она жила с мужем и двумя дочками-студентками в холодной просторной петербургской квартире в большом доходном доме на Греческом проспекте (сметенном с лица земли во время войны). Муж по виду типичный русский ученый и земский врач одновременно. Как у всех ленинградцев, их квартира была прекрасно обставлена дворцовой мебелью, продававшейся по дешевке в комиссионных магазинах. А в книжных шкафах комплекты «Современника» и «Отечественных записок» — традиции дореволюционного петербургского студенчества. Моя кухня — врач-общественник — предостерегала меня от «черносотенства» Левы. Он ничего этого не замечал, приходя несколько раз ко мне, в эту холодную чистоту квартиры идейных разношнцев.

Анну Андреевну положили ненадолго в Обуховскую больницу — для обследования по поводу шитовидки. Я ее навестила однажды вместе слевой. Ждала своей очереди пройти за барьер, где был прием посетителей, и видела, как Лева нежно лнул к матери, жалел ее, видя в этом больничном желто-буrom халате. К ней пришла еще и жена А. М. Энгельгардта — блестящего литературоведа и философа. Это был единственный раз, когда я ее видела. Она мне понравилась изяществом фигуры, чистотой черт лица и взгляда. Лева называл Энгельгардтов «лучшими людьми России». Они оба умерли в блокаду. Они состояли в каком-то родстве с В. Г. Гаршиным, патологоанатомом, давним почитателем поэзии Ахматовой. Если не ошибаюсь, он познакомился с Анной Андреевной именно тогда в больнице, навестив ее под предлогом устройства консультации со знаменитым эндокринологом Барановым. Может быть, это было и не совсем так, но какая-то связь между пребыванием Анны Андреевны в больнице и ее первыми встречами с Гаршиным была.

Я привела Леву к Рудаковым — моим воронежским знакомым, друзьям Мандельштамов¹¹. Теперь Рудаков опять жил с женой в студенческой комнатке коммунальной квартиры на Колокольной улице (в Ленинграде). Сергей Борисович и Лева целый вечер читали стихи, щеголяли знанием Сумарокова, читая его наизусть вслух, обсуждали русский XVIII век. Мы засиделись очень поздно. Когда вышли, Лева меня благодарил за это знакомство. «Я отошел, — говорил он, — а то в университете я совсем заскучал без стихов».

Пройдя несколько шагов, Лева заявил: «Вот вы пойдете по Чернышеву мосту и выйдете на Фонтанку». (Я опять переехала к своим друзьям, жившим близ Аничкова дворца, так как мои родственники не успели меня прописать и очень боялись моих ночевков.) Шел второй час ночи. Я плохо ориентировалась на улице вообще, а ночью тем более трусила, да еще в чужом городе. Я ужасно рассердилась и, поругавшись слевой, пошла в указанном направлении, в душе робей. Он стал меня догонять и громко звать. Какой-то пьяный, проходя мимо, сказал мне одобрительно: «Так его, так его». Но, взглядевшись в безбородое лицо бегущего Левы, его меховую шапку, смахивающую на капор, и хлопающую по коленям дурацкую куртку, воскликнул: «Да это ж не мужчина, а баба какая-то!» Лева отрезал: «А ты холуй!» Тот сразу замолчал, совершенно обескураженный. Я это запомнила, взяла себе на вооружение и испробовала после войны. Когда пьяный дворник грозился меня убить, я обозвала его точно так же, как Лева. Подействовало безотказно.

Махнув рукой на трамвай, которым он надеялся еще успеть добраться до Коломны, Лева довел меня до дому. Ворота были закрыты. В подъезд нельзя было проникнуть. Дворник в тулупе подозрительно нас оглядывал, допрашивал, куда я иду, а ведь я и там не была прописана. Наконец дворник пропустил меня. Лева ушел, но на мои звонки очень долго никто не откликнулся. Когда соседи впустили меня в квартиру, я быстро проскользнула в комнату и улеглась на диване, а за портьерой моя хозяйка жеманничала со своим мужем: «Я думала, это Ягодка проклятый».

Ее муж, товарищ моего детства, в эти дни часто выступал на пушкинских музыкальных вечерах. У него был замечательно хорошо подвешен язык, он обладал абсолютной памятью, легко сыпал именами и цитатами, зная всегда, что именно нужно говорить сегодня. В музыку он был влюблен и хорошо ее знал. Он обладал обаянием внешне культурного, начитанного человека и, владея иностранными языками, часто принимал заграничных гастролеров. Рассказывая о беседе в артистической со знаменитым французским

¹¹ См. в моей работе «О. Э. Мандельштам в воронежской ссылке. По письмам С. Б. Рудакова» («Подъем», 1988, № 6 — 10).

дирижером, он мимоходом вспомнил такую сценку. Подошел к ним один из администраторов филармонии. Как только он удалился, дирижер понимающе взглянул на моего приятеля и спросил: «C'est un agent de police?» Подобные отступления от бодрой, заученной повседневной речи советского лектора произносились тихим голосом, будто человек очнулся от наваждения. Мой преуспевающий приятель рассказал о рабочем-станхановце, которого послали с делегацией за границу. Он был поражен материальным благополучием рабочих в капиталистических странах. Вернувшись домой, он запил и кричал в пьяных слезах: «Обманули! Обманули!» И уж совсем тихо мой приятель коснулся особенности нашей сегодняшней работы: «Вот мы все рассказываем на лекциях, как высочайший цензор мешал Пушкину писать. А у нас что делают с писателями, разве не то же самое?» Но такие мысли наплывали и исчезали, вернее, их старательно гнали от себя.

Моя мать, совершенно не приспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма. Она не могла забыть о нанесенной ей обиде при окончании гимназии в 90-х годах: вместо золотой дали серебряную медаль из-за того, что она еврейка. Держась за свое достоинство советской гражданки, она не замечала нелепостей нашего быта. Взрослые дети, сгрудившиеся в родительской квартире, пытались вести самостоятельное хозяйство каждый в своем углу. Привычным взглядом мама наблюдала, как мой старший брат, тридцатипятилетний инженер, принимал в своей единственной комнате уважаемого гостя. Спавший тут же ребенок заплакал, жена тшцетно его успокаивала, брат выбегал с чайником на коммунальную кухню и, выслушав там ехидное замечание соседки и чувствуя за спиной косые взгляды, возвращался к своему гостю, стараясь сохранить улыбку на лице. Глядя на эту напряженную и жалкую процедуру, мама неожиданно для себя очнулась. «В старое время, — вздохнула она, — Боря был бы несколько раз за границей, совершенствовался бы в своем деле, дома имел бы свою квартиру, где жил бы, как полагается уважаемому главе семьи». И уж совсем робко она высказалась после одного выдающегося события в нашей музыкальной жизни. По каким-то политическим соображениям в консерватории два раза прозвучали запрещенные «Колокола» Рахманинова и «Страсти по Матфею» Баха. Мы слушали «Страсти». Уже дома мама как-то робко сказала: «Как теперь звучат эти слова — „И предает брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их“». Особенное впечатление произвела на нее сцена предательства Петра, когда он, осознав свое падение, «вышел вон, плакал горько».

Отец мой, вообще говоря, вел себя как член ЦК, то есть не позволял себе никогда, даже дома, критиковать советскую власть или толковать о членах правительства, которых ему приходилось лечить. Он только жалел их, замечая, как они одиноко — боялись друг друга. Он одобрял реконструкцию Москвы, радуясь расширению проезжей части — ведь он ездил на машине. Я, как уже говорилось, с ума сходила от бесформенности новых площадей. А. А. Осмеркин, пожимая плечами, говорил насмешливо: «Харьков». Лева не сравнивал древности обоих городов, но заметил: «Мало ли в России пустырей». Я предупредила его, что у нас за столом нельзя так говорить. И когда папа спросил его за чаем, как ему понравилась новая Москва, он ответил нейтрально, так, как я его научила: «Просторно».

Это было очень дурно с моей стороны, потому что я позволила Лева относиться со снисходительным неуважением к моей семье. Он даже заметил, что в нашем доме «чувствуется какая-то пустота». «У нас хоть черти водятся», — сравнивал он наш Щипок с их Фонтанкой. Это было несправедливо и очень ненаблюдательно. В нашем семействе было достаточно своих чертей и своих ангелов-хранителей, обид и слез раскаяния, жестоких ссор и трогательных примирений.

Папе рассказали, что один из думающих еврейских молодых людей, знакомый еще по Двинску (где я родилась), живет теперь в Москве, устроен, но вот пристрастился к вину, просто-таки пьет... и неожиданно папа сказал тем тихим голосом: «Это его хорошо характеризует. Значит, не удовлетворен».

А когда мой старший брат получил наконец две комнаты в общей квартире служащих Метростроя и невестка Надя рассказывала, как хорошо они ладят с новыми соседями и как те хвалят нашего восьмилетнего Сережу за то, что он уже выносит мусорное ведро и всегда тушит свет в уборной, папа вздохнул: «Ужас, какое мещанство».

Через десять лет та же Надя была ошеломлена вспышкой антисемитизма в той же квартире, в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом. В 30-е годы, несмотря на то, что тридцать седьмой год так жестоко ударил по евреям-коммунистам, в быту анти-

семитизм формально был еще изгоняем. Один случай заставил меня задуматься обо всем этом.

Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного, который недавно вернулся из астраханской высылки. С собой он привел приятеля, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии. Почему оказался в Советском Союзе, не знаю. Я шутиливо спрашивала: «Вы гонимые?» Оба отрицали это и даже обижались. Туган-Барановский рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи — для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах. А ведь я могла не удивляться. Когда в лето 1914 года мы тоже жили на Рижском взморье, в Дуббельне, рядом, в Мариенгофе, владелец этой территории запрещал селиться там евреям. Однако с началом первой мировой войны черта оседлости в России была отменена.

Но вернемся в Ленинград, в февраль 1937 года. Я пришла к Лева в гости полюбоваться его холостяцкой комнатой. На стене — портрет Гумилева, принадлежащий Акселю. Его же противная грязная кровать. Лева спал на полу на медвежьей шкуре, уверял, что каждый день она вытряхивается во дворе. Сомнительно. В ящике комода валялись две заржавевшие вилки и такой же нож. Аксель отсутствовал, я с ним столкнулась в коридоре, уже уходя. Больше никогда в жизни я об этом Акселе ничего не слышала. Кстати, года два спустя, разбирая чей-то архив, я натолкнулась на дореволюционную открытку от Н. Клюева, на которой поэт указал свой петербургский обратный адрес. Это была та же квартира по Садовой.

Мой приход туда совпал с днем столетия гибели Пушкина. Только в Москве я узнала, что Анна Андреевна провела его в полном одиночестве. Вечером на Фонтанку пришла В. Н. Аникиева и застала ее одну дома, очень грустную. Ахматовой даже не прислали приглашительного билета на торжественное заседание 10 февраля. Я узнала об этом у Осмеркиных и горько сожалела, что не навестила ее в тот вечер, вместо того чтобы проводить время севой в этой гадкой комнате.

От поездки в Ленинград у меня остались смутные, но очень насыщенные воспоминания. Там все было другое, чем в Москве, начиная от низких ступенек трамвайных вагонов и ровной линии рельсов на плоской, как будто вдавленной в землю мостовой. Высокие и широкие окна с ровными переплетами рам. Большие, холодные квартиры ленинградцев с перегородженными комнатами. Каменные полы и голландские печи в Архиве, помещавшемся в бывшем здании Сената. Сквозняки в домах и на площадях. Метанье под ленинградским ветром и вьюгой на Исаакиевской площади. Втискивание себя в трамвай на Невском, пустеющий по мере приближенья к Мальцевскому рынку. Чувство зверского голода из-за полного отсутствия столовых в городе. Какая-то тоска на Фонтанке. Недовольствоевой. Еще из Ленинграда я писала Лене: «Ты для меня самый интересный человек... Лева живет здесь очень обыденно... С Анной Андреевной иногда не знаю, о чем говорить». И вместе с тем постоянное чувство удачной работы в архивах — в низком первом этаже Публичной библиотеки, где еще царствовал старенький хранитель — знаменитый И. А. Бычков, называвший меня «госпожа Герштейн» (а ведь «господ теперь нет!»), в Пушкинском Доме, где в одной картотеке Б. Л. Модзалевского можно было найти кладезь сведений о персоналии пушкинской и лермонтовской эпохи. И наконец, толстенные папки с рисунками Гр. Гагарина в Русском музее. И все — не зря. Каждое обращение к материалу давало чувство роста, потому что это была нетронутая целина. И так весело было приходиться к Эйхенбауму и встречать у него живой интерес и поощрение.

(Окончание следует)

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А НУ КАК ОСТАНЕМСЯ С НОСОМ?..

«У нас нет литературы!» Таков был общий глас еще полтора-два года назад. После Букера-92, когда первая критическая сборная, то бишь номинаторы воленс-ноленс почти на полгода превратились в читателей и искателей, вдруг прояснилось: литература у нас все-таки есть. Точнее — есть проза, и она, по моим наблюдениям, все прибывает и прибывает. Оглядев опубликованный в «Сегодня» список претендентов на Букера-93, рецензент «Независимой газеты» даже несколько растерялся: «Как же из всего этого великолепия выбрать финалистов?» (2.6.93).

Со стихами похуже: время, увы, не художественное. Поэтический «запой», как выразилась Марина Кудимова, «насильственно прерван».

А вот с критикой из рук вон плохо. Даже в «Литературной газете», «Новом мире» и «Знамени», где предложение всегда превышало спрос. Стоп стоит и в «Вопросах литературы». Публикаций — навалом. Историко-литературоведческих статей достаточно (гуманитарные вузы функционируют, и плох тот доцент, что не мечтает о докторской степени). А вот заказать приличный, на уровне критический материал по текущей словесности — проблема проблем. Старое «Литобозрение» потихонечку угасает; новое, «НЛО», как и «De visu», едва родившись, захворало высокой — филологической — болезнью.

Что же случилось? По-моему, ничего экстраординарного. Просто кризисная ситуация усугубила давным-давно существовавший, но как бы скрытый «изъян», своего рода критическую недостаточность русской литературы. Вспомните: еще Пушкин, столько сил положивший, дабы внедрить в отечественное самосознание и художественную практику необходимость критики, властью авторитета своего внушить: «Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще», — ничего не добился. Бился-бился, а вынужденно, с недоумением признал: истинная критика для публики незанимательна, — и посему: замечательные «произведения нашей литературы как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству».

Полтора с гаком минуло — а что изменилось?

Читатели продвинутые (элита, истэблшмент) предпочитают собственное мнение. Необходимое и достаточное. А публика попроще — Иванову (Татьяну). Потому что эта Иванова, не в пример той, Наталье, никогда не включает в рекомендательные списки произведения «непонятные» и «заковыристые». Сама, впрочем, просматривает. «И все зачем? Чтоб вам сказать, что их не надобно читать...» В одном из ее журнальных обзоров, и не где-нибудь, а в наиинтеллигентнейшем «Новом времени», в ряд вредного для «читающего народа» угодила, к примеру, профессиональная критика. Вся. Скопом. Пассаж сей настолько показателен для образованности нашей, что процитирую его по возможности пространней:

«Люди, считающие себя профессиональными критиками, ощущают себя как бы выше обычных читателей, свой вкус считают особенным, потому к произведениям, которыми зачитываются люди, относятся с высокомерием, охотно рассуждают о том, что признается выскочкой лишь в их профессиональном кругу, обожают понятную лишь узкому кругу лексике, презируют простоту изложения и вообще не считают возможным сказать: „это интересно” или „это неинтересно”» («Новое время», 1993, № 5, стр. 50 — 51).

Многие из моих коллег на Иванову (Татьяну) разгневались: это почему же ей, выскочке, позволено решать, что интересно, а что неинтересно, а нам, докам, нет? Я — не разгневалась, ибо в претензиях первой литдамы перестройки к нелюдям из проф-крит-цефа и в самом деле немало верного: и про лексику, в общем, верно, и про презрение к простоте изложения. (Я имею в виду, разумеется, не сложные мысли и соображения, а общие места, разодетые столь причудливо, будто и впрямь несут в себе нечто всерьез мудрое или оригинальное.)

Однако Иванова (Татьяна) все-таки заблуждается, полагая свое мнение совпадающим с мнением «читающего народа». «Читающий народ» слишком простодушен для столь въедливо аргументированного нерасположения к истинной критике. Другое дело — «простой писатель». Из тех, про кого анекдот сложен: «Чукча не читатель, чукча писатель». Вот он-то наверняка убежден: члены критической гильдии — обслуживающий персонал. Пусть и обслуживают. Да так, чтобы чукчеподобные не делали лишних умственных усилий, чтобы с первой же строчки было понятно: хвалят или ругают.

Но и простой писатель не в собственном мозгу все это сыскал-нашарил. Это он третьим глазом своим, из пупа растущим, разглядел-учуял: в системе СП СССР, где у каждого сверчка был свой особый шесток, жердочка для критики — последняя, первая снизу, ступенька иерархической лестницы.

А вообще-то чукчизм (в отношении к критике) исповедовали и исповедуют не только нечитающие писатели, но и многие из почитывающих. И отнюдь не простых. Не потому ли ни один из «солидных» журналов, российской журнальной традиции вопреки, критикам не доверили? Не хватало прозаиков — призывали на царство поэтов!.. По той же самой причине даже сейчас, при острейшей нехватке критических материалов, за критику — заказную, срочную, в номер! — в самых культурных и явно озабоченных состоянием литературы изданиях платят на порядок ниже, нежели за прозу (любую). И набирают по инерции мелким, полуслепым шрифтом, вроде как грифом симпатическим помечают: печатается, дескать, факультативно, на правах приложения...

Не спорю: в застойные времена и от критобслуги кое-что зависело. Существовало, например, негласное, но полутвердое правило: к заявке на переиздание даже заслуженный «авторский талант» обязан был приложить семь — десять положительных рецензий в центральной прессе, подписанных небезызвестными перьями. Вот их и организовывали — и книги слали на дом, и поздравительные открытки, а иных и кое-чем позначительнее соблазняли-склоняли...

Однако в целом критики — как слаженной когорты экспертов, как независимого института, ответственного за эталон «меры и веса», — у нас не было и не могло быть. Так что групповой портрет кисти Ивановой-второй сделан, к сожалению, не с натуры.

Критики не было, а вот критики были, и в этом плане название книги Сергея Чуприна «Критика — это критики» ситуацию отражает точно.

А ныне и критики куда-то подевались.

Впрочем, известно — куда.

Одни — во власть ушли.

Другие — где-то служат.

А кто попроворней, перетекли за океан-море, пристроились к грантам-харчам и теперь уж оттуда, из пресного рая американских университетских городков, засыпают критотделы ведущих «толстяков» и влиятельных еженедельников своими творениями. На первых порах журналы ссорились из-за заморских посылок. Да вскорости и поостыли. Критический текст — товар особый, долготу хранению и отстранению не подлежащий. И хоть и сказано умным поэтом: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», критике правило сие не указ. Может, в том и заключается специфика этого редкостного на Руси и ремесла и дара, что тут-то как раз и надобно разглядеть Лицо, лицом к лицу находясь. И разглядеть, и угадать, и предугадать: большое оно, Лицо, или так, средних потенциал. Потому-то и расстояние (и в прямом и в переносном смысле) в сфере действия истинной, а не рекламной или рекомендательной критики не подмога — помеха.

Но главная утка — это угрюмое молчание тех, кто еще так недавно и слыл и был в числе ведущих. Не утратив ни интереса к литературе, ни любопытства к литновостям, недавно ведущие вдруг взяли да и вышли из игры. Ушли, так сказать, в нети. И хотя объяснения даются разные, причина, похоже, одна: не смогли или не захотели сменить «контактные линзы». Ведь человек, и тем более человек творческий («Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы...»), никогда не смотрит на мир невооруженным глазом. Между его глазом и реальностью — готовая, унаследованная, смоделированная предшественниками картина мира, что-то вроде очков с соответствующими диоптриями. Сначала корректирующие стекла как бы и мешают, но со временем, словно контактные линзы, прирастают к роговице. Содрать их — ослепнуть... Но и не снять — ослепнуть: перестать понимать, как и о чем сегодня, когда время переломилось и сумрак неминуемый затмил нам ясность божьего лица, следует писать.

Момент слепоты — и немоты — пережили практически мы все. Даже Лев Аннинский. При всей его ваньковстаньковской стойкости растерялся и запаниковал. Оклемался, конечно, хотя некоторые из последних его публикаций и наводят на подозрение, что предметы он видит как бы не в фокусе — не отсюда ль избыток красноречия? Витийство, ранее ему не свойственно? Но Аннинский — случай особый. Для него не писать значит не жить. Те же, для кого служба наблюдения современных замечательных явлений была хоть и почетной, но повинностью, от повинности уклонились, рассудив, и справедливо, что из уважения к прошлым заслугам их уже и «не разоблачат», и «не пошлют в действующую литармию» (это я опять Марину Кудимову цитирую, ее язвительную колонку в «ЛГ» от 9 июня сего года).

Что до критиков андерграундного поколения (в широком понимании этого слова), то и у них проблемы. Свои, специальные, но проблемы. По части диоптрий здесь вроде бы почти порядок. Однако подпольная форма существования (и самоосуществления и самообслуживания) отметила и речь их и мысль роковой печатью некоммуникабельности. Приспособившись писать для своих, посвященных, для тех, кто всегда рядом и потому поймет и то, об чем умолчали, об чем помыслили теньми смыслов, что недодумали, до чего не дотумкали, через что перемахнули слишком длинным — кенгуриным — перескоком, андерграундцы (бывшие) словно бы утратили и охоту и волю выражать себя и свое в системе все-языка.

Более того: столь рано и так надолго исключенные из открытого пространства культуры, привыкшие к пятаку своей тусовки и теперь вот в это пространство выброшенные, они, как оказалось, не умеют в нем ориентироваться. Один из наглядных примеров — реакция Марии Ремизовой, соредактора эстетствующего (под «серебряный век») журнальчика экс-«Клюква», ныне «Богема», на последние публикации Виктора Сосноры. Обозревая для «НГ» (15.4.93) отделы прозы «Нашего современника», «Москвы» и «Волги», М. Ремизова выделила из потока полусерятины лишь два произведения: главы из романа Алексея Слаповского «Закодированный» и в том же номере «Волги» — фрагменты соснорской «Книги пустот». Слаповского за «неожиданный подарок» — «отличный текст», Соснору — оттого что хуже всех:

«Название абсолютно соответствует содержанию, и можно лишь подивиться смелости автора, выразившегося столь открыто. Этот текст можно не только бросить с любого места, его без всякого ущерба можно вообще не читать. Это настолько свободный полет в свободном пространстве, что никто, кроме автора, насладиться им, видимо, не сможет. Такие тексты очень приятно писать, но читать их — удовольствие сомнительное. Автор до того погружен в свои субъективные ощущения, что расшифровать их нет никакой объективной возможности. Допускаю, впрочем, что существует некий узкий круг, где подобные тексты идут на ура, — это настоящие и будущие авторы подобного же рода ни к чему не обязывающей писанины, но навряд ли число его представителей соотносимо даже с тиражом «Волги» (7 тыс. экземпляров)».

Не узнай я по случаю, на завоевание каких высот кинулась «Клюква» («Богема») — а замахнулись ее создатели аж на «воскрешение традиций „серебряного века“, журналов „Аполлон“ и „Весы“, — право, решила бы, что процитированный «отзыв» — из внутренней молодоговардейской рецензии на рукопись В. Сосноры (в застойные времена там обожали такого типа «размахаи» и «раздолбоны»). Но это, увы, не плагиат, а физиологическая реакция на чужака, неизвестного в том «гуманитарном» округе, по которому зачислена М. Ремизова. Соснора писал когда-то: «Нет в живых тех, кто любил. Когда издадут мои книги, не будет ни одного, кто б меня видел. А когда мне присвоят звание полного Мертвеца («великого»), и не вспомнят, с каким хоть веком-то мой ум был связан». Казалось бы, время поторопилось: Соснора издан, хотя и наполовину, еще при жизни, однако, как видим, даже вчерашние молодые уже и не знают хотя бы понаслышке, что это такое и за какие такие заслуги опубликованная в «Согласии» «Башня» попала в букеровский набор...

Но это все полбеды. Беда в том, что новобранцы в критику не идут. Работа адава, престиж — никакой, а гонорары — символические. Скажете: а как же поэты, прозаики? Но у тех просто нет иного выхода. А вот у способных к критической рефлексии, начитанных и быстроперых — есть. Следуя моде и духу времени, большие газеты и богатые еженедельники заводят штатных обозревателей. И не жалеют на это денег.

Конечно, газетная критика — это всего лишь газетная критика и нет ничего мертвец вчерашних литновостей... И все-таки как знать. Может, именно из этих неусталых тру-

жеников газетного моря и сформируются русские критики класса «нос»? Это я не Гоголя вспоминаю, а Сергея Юрского, его оду западным профессионалам от искусства:

«Нос! Нос — самый главный... В любом деле появились носы. Они чувят ветер... Они просеивают тысячи явлений, чтобы выбрать... сорок. А из сорока... восемь. И в ту же секунду начинают просеивать новые тысячи... Нос смотрит внимательно и без расспросов. Решение принимает мгновенно...

— А если ошибется?

— Кто? Нос? Невозможно. Тогда он не нос... о ш и б о к б о л ь ш е н е т... Произшла великая перемена — искусство освободилось от зрителей... Есть все и на все вкусы... Но твой выбор ни на что не влияет».

Как тут не позавидовать? И белой и черной завистью не изойти? Я и позавидовала. А потом вдруг... скучно сделалось. «И скучно и грустно...» Какие ветры чувят тамошние носы — понятно. Те, что несут запах бешеных денег.

Ну а наши? Да у нас за искусство больших денег еще лет сто не будут платить... А кроме того — «правильный нос в России реже маленькой ножки»...

Алла МАРЧЕНКО.

ТОЛСТОВЦЫ КАК ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

В № 8 «Нового мира» за 1991 год, рецензируя сборник воспоминаний крестьян-толстовцев, я упомянул, что неплохо было бы переиздать у нас книгу М. А. Поповского «Русские мужики рассказывают», вышедшую впервые в Лондоне в 1983 году. Вряд ли с моей подачи, но книга переиздана¹. Писатель Марк Поповский эмигрировал в США в 70-е годы, но еще до отъезда получил известность, в частности как автор жизнеописания ученого Николая Вавилова, произведения, изуродованного, впрочем, по признанию автора, внутренней и внешней цензурой. Вот что он рассказывает о своей двойной жизни в России:

«Почти пятнадцать лет, начиная с 1964 года, втайне от советских властей я писал сочинения, не предназначенные для печати. Это были все те же библиографические и публицистические книги, с той, однако, разницей, что автор решил говорить о своих героях всю известную ему правду <...> Открылась возможность разобраться в причинах как благородных, так и недостойных поступков советских ученых; задуматься над тем, что подчас толкает исследователя на путь предательства и самопредательства. В одной из своих новых книг о выдающемся биологе академике Николае Вавилове я смог рассказать, например, что он был не только творцом замечательных научных идей, великим путешественником и основателем Сельскохозяйственной академии в Москве, но и, в какой-то момент, советским разведчиком в Афганистане. Я предпринял попытку исследовать причины многократных нравственных падений великого биолога, вычертить ту кривую, которая в конечном счете низвела его с вершины мирового признания и успеха в ту яму на Саратовском кладбище, куда в годы второй мировой войны тюремщики сбрасывали трупы умерших от голода заключенных. В другой, опять-таки написанной не для печати, работе, посвященной знаменитому советскому хирургу и одновременно деятелю церкви архиепископу Луке Войно-Ясенецкому², мне вновь пришлось разгадывать нравственную загадку, в результате которой многожды арестованный и трижды сосланный в Сибирь ученый-епископ после 12 лет репрессий впал в соблазн сталинизма. Во время последней войны он верно служил Сталину не только своим огромным авторитетом, но и пером публициста».

¹ Марк Поповский, «Русские мужики рассказывают. Документальный рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР по материалам вывезенного на Запад крестьянского архива» («Урал», 1992, № 8, 10, 12; к сожалению, декабрьский номер «Урала» дошел до Москвы только летом 1993 года).

² Книга также переиздана в России — «Октябрь», 1990, № 2, 3, 4.

От размышлений об «этическом кризисе», затрагивавшем даже самые яркие и сильные личности в СССР, писатель обратился к истории российских толстовцев, как раз и продемонстрировавших высокую степень иммунитета к господствовавшей в стране деморализации. Сам Лев Толстой считал, что число его последователей в России ничтожно, едва ли сотня человек, но по оценке М. Поповского к 1917 году в России было 5 — 6 тысяч толстовцев, причем влияние их на сектантов, крестьян и некоторые слои интеллигенции было значительно большим, чем можно было бы ожидать. Сотни из них прошли лагеря, ссылки, сумасшедшие дома, более ста были расстреляны. К 70-м годам нашего века их оставалось около пятидесяти. Беседы с ними (кроме ценнейшего архива — более трех тысяч листов, — увезенного автором на Запад) и позволили М. Поповскому написать свою книгу. Причем часть толстовцев, узнав о его намерениях, высказывалась против: «...такая книга принесет в мир только лишнее зло», поскольку в то время еще были живы и преследователи и жертвы. Но писатель с удовольствием вспоминает участие, которое тогда проявили к нему И. П. Янков (Куйбышев), В. П. Павлов (Белореченск), А. Н. Ганусевич (Москва), А. Г. Мозговой (село Короп Черниговской области, Украина), И. Я. Драгуновский (Киргизия).

«Первое, что мне бросилось в глаза при общении с толстовцами, — это их страстное отношение к книге. Я находил в их квартирах богатые, десятками лет собираемые библиотеки философского, исторического содержания, с уникальным подбором книг Льва Толстого и литературы о нем. Эти книголюбцы знают цену каждой по-настоящему ценной книге. Более всего привлекают их тома Юбилейного 90-томного собрания сочинений Льва Толстого, книги греческих, римских философов, философские сочинения Индии (Джамапада, Упанишады и др.), мемуары людей, близких к Толстому (Т. Сухотина-Толстая, Н. Н. Гусев, Маковицкий, В. Ф. Булгаков). Большим спросом пользуются среди этих книголюбцев также исследования, относящиеся к рукописям Мертвого моря, истории инквизиции, истории духоборов. Живой интерес проявляют они также к книге маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» и к другим столь же уникальным в СССР изданиям. Когда у них нет денег приобрести вожеленное издание, они берут его в библиотеке и перепечатывают на машинке. Одного такого крестьянина-толстовца я застал дома за перепечаткой трудов римского стоика Эпиктета (ок. 50 — 138). У этих людей нет более сильной страсти, чем страсти к собиранию книг. Когда в начале 1977 года живущий на Северном Кавказе 86-летний Василий Павлов навестил в приволжском городе Куйбышеве 85-летнего Илью Яркова, то обратно через всю страну повез два короба взятых для прочтения исторических и философских книг. «Теперь с а м ы м г л а в н ы м я обеспечен», — сказал он, демонстрируя свои богатства.

Средний возраст уцелевших толстовцев 75 — 80 лет. Наиболее молодым никак не менее 55, но есть и старики, перевалившие за 95 (Александр Николаевич Ганусевич). Как правило, это люди без высшего, а подчас и без среднего образования. Но громадная их начитанность, знание истории, философии, религиозных проблем, этики и высокие личные нравственные качества позволяют говорить о них как о несомненных интеллигентах. Тип этот полностью пресекается не только среди российского крестьянства, но нет его почти и среди советских горожан с дипломами о высшем образовании. Ибо, в полном соответствии с русским словом «интеллигенция», просвещенные старики эти в обстановке жесткой духовной стандартизации сохранили способность к с а м о с т о я т е л ь н о м у м ы ш л е н и ю, сберегли высокий нравственный накал и духовную оппозицию ко всякой власти. Именно эти качества, по словам Оксфордского словаря, и созидают интеллигенцию <...>.

Один из признаков интеллигентности (в русском понимании этого термина) состоит в том, что интеллигент чувствует себя частью исторического потока, видит себя связанным с прошлыми и будущими поколениями. В этом отношении толстовцы, несомненно, интеллигентны. Они не только много читают, но и пишут. И что бы ни выходило из-под их пера: автобиографические повествования, письма, воспоминания, — все носит характер записок и с т о р и ч е с к и х. Толстовцы — истовые историки, упорные борцы против государственной политики всеобщего и обязательного беспамятства».

Сегодня из тех толстовцев вряд ли кто жив. Впрочем, недавно в Москве прошла конференция последователей толстовского учения.

Но с чем мне трудно согласиться, так это с тем, что автор, судя по всему, считает Льва Толстого все-таки христианином, в то время как великий писатель в своих религиозных исканиях вышел, и далеко вышел, за пределы не только Православия, но и христианства вообще (то, что он продолжал ссылаться в своих построениях на Иисуса, еще не делает его христианином). Видимо, для М. Поповского в 70-е годы эта проблематика, эта сторона толстовства была или вовсе неинтересна, или менее интересна, чем мужественное противостояние толстовцев тоталитарному насилию.

Конечно, книгой М. Поповского, сборником «Воспоминания крестьян-толстовцев» (М. «Книга». 1989) и некоторыми журнальными публикациями, в частности и в «Новом мире» (рассказ Б. Мазурина о коммуне «Жизнь и труд» — 1988, № 9), тема толстовцев в России не исчерпывается. Хотелось бы только заметить, что подлинное преодоление того беспомысленства, о котором пишет М. Поповский, состоит не в механической перепечатке того, что уже собрано, обработано и издано другими, а в том, чтобы сделать достоянием читателя те обширные архивы, что все-таки уцелели после семидесятилетнего разгрома. Это упрек не журналу «Урал», а всем нам — ленивым и нелюбопытным.

А. В.

ЗАЧАРОВАННЫЕ ОБИДОЙ

В книге «Зачарованные смертью» («Дружба народов», 1993, № 4) Светлана Алексиевич со своей всегдашней обостренной совестливостью решилась коснуться проблемы, за которую у нас почти никто еще не брался, — проблемы самоубийства. Композиция книги проста — цепь исповедей-монологов (исповедей тех, кто решился покончить с собой, не вынесшие крушения коммунистической идеи; тех, кто был с ними рядом; тех, кого более или менее случайно задела обломки распада), — но писать о ней совсем не просто по многим причинам.

Первую, по-видимому, можно счесть вполне суетной: автор этих строк опасается подозрений в ревности, ибо он не так давно опубликовал довольно большой фрагмент романа «Так говорил Сабуров» («Нева», 1992, № 11 — 12), в котором тоже исследовалась проблема самоубийства на модели, так сказать, обратной: некая утопия, напротив, одержала победу. Но ведь нужно же предупредить ужаснувшихся, что не только крах, но и победа может сделаться причиной самоубийства!

Вторая причина — в «Зачарованных смертью» трудно отделить то, что принадлежит собственно искусству, от того, что является «исследованием» (выражение автора). О «художественной части», о том, что полностью принадлежит авторской воле (выбор персонажей, последовательность монологов, их оформление и т. п.), мне сказать почти нечего: книга (художественное произведение!) получилась волнующая и хорошо (хотя временами излишне «литературно») написанная. Но вот что касается «исследования»... Чтобы разубить этот гордиев узел, прошу дальнейший текст считать не столько литературным откликом, сколько социально-психологическим комментарием. Комментарием, написанным практическим работником, оказывающим психологическую помощь людям, которые пытались уйти из жизни по собственной воле либо намеревались это сделать. Слово «исследование» дает право и на такой взгляд — взгляд практика.

Что говорить, всякий художник, вероятно, желал бы, чтобы читатель, зритель забыл о реальности и целиком погрузился в созданный им мир, — но «исследование» практик вправе сопоставить с действительностью, поинтересоваться, достаточно ли ясно и глубоко сформулированы вопросы, достаточно ли отчетливы и обоснованны выводы, достаточно ли полно использован фактический материал и т. д. и т. п. В произведении искусства гибель одного-единственного персонажа может стать вселенской катастрофой — для практика любая катастрофа имеет количественный масштаб, он обязан различать сражения с «большими» и «небольшими» потерями (хотя каждый убитый — это неповторимый мир), для практика, как ни кощунственно это звучит, 33 тысячи трупов предпочтительнее 54 ты-

сяч. А крушению первых бастионов «зрелого социализма» в России сопутствовало такое падение числа самоубийств, какого, похоже, еще не знала мировая история (с 54 тысяч в 1984 до 33,2 тысячи в 1986 году). С тех пор уровень самоубийств в России снова начал расти, но связывать этот рост именно с «крушением коммунистической идеи» было бы по меньшей мере бездоказательно.

Если мне будет позволено сослаться на собственный, пусть естественным образом ограниченный, опыт, то могу засвидетельствовать, что мне не встретился — такое уж невезение! — ни один пациент, для которого гибель «коммунистических идеалов» оказалась бы в числе сколько-нибудь решающих причин, заставивших его отказаться от жизни. Другое дело, говоря об общем фоне своей индивидуальной трагедии, люди, случается, упоминают и о том, что «все нынче сделалось продажным» и т. п. Но ссылаются не столько на лично пережитое, сколько на некое «общеизвестное» знание. Средства массовой информации своими непрерывными причитаниями сумели-таки внушить людям более скверную картину мира, нежели та, которую они наблюдают непосредственно (еще Толстой отмечал, что какую-то правду о сражении можно узнать только сразу по окончании его, ибо после составления реляций все начинают рассказывать одно и то же).

Вряд ли С. Алексиевич желала этого, но у меня есть опасение, что прогноз дальнейшего роста числа самоубийств, завершающий книгу, в сопоставлении со специфически подобранным кругом ее персонажей может навеять ошибочное — излишне идеологизированное — представление о причинах этого роста, тем более что такое искажение уже внедряется в умы вполне целенаправленно. Народный депутат СССР, знаток человеческого сердца, директор госплемсовхоза «Россия» А. В. Долганов (да прости меня С. Алексиевич за подобное соседство) в своем выступлении на IV депутатском съезде в 1990 году на всю страну объявил одной из причин десятков тысяч самоубийств очернение В. И. Ленина, не уточняя при этом, что за двадцатилетие безмятежного сияния ленинского облика — с 1965 по 1984 год — число самоубийств в СССР удвоилось (с 39,5 тысячи до 81,5 тысячи), и даже та цифра (около 60 тысяч), которой народный избранник стремился поразить общественное мнение, значительно ниже «доперестроечной».

В середине 20-х годов нарком Семашко писал не без гордости, что рост самоубийств среди женщин говорит об их возросшей социальной активности, — а затем наступила эра умолчания. Число самоубийств к 1940 году примерно учетверилось (достигло 39,6 тысячи), но само слово «самоубийство» было изгнано даже из энциклопедий. Организация психологической помощи потенциальным суицидентам сделалась почти невозможной, поскольку полагалось считать, что на такое безобразие в нашей стране способны лишь душевнобольные. Зато теперь, когда появилась возможность использовать несчастных людей в агитпроповских целях, на страницах коммунистической печати замелькали леденящие душу суицидальные истории, какие, к сожалению, случались всегда и исчезнут в обозримом будущем едва ли, по крайней мере их число не убывает в самых процветающих странах, даже наводя на мысль, что самоубийства — плата за процветание (хотя и это, как и любая чисто материальная закономерность, тоже неверно).

Полностью уничтожив суицидологическое просвещение, всеми, казалось бы, презираемая коммунистическая пропаганда сумела-таки у многих создать впечатление о невозможности спастись вне их большевистской церкви, впечатление, что ее сверхчеловеческую ложь в чем-то «главном» разделяют все сколько-нибудь приличные люди. Светлана Алексиевич, на мой взгляд, тоже слишком легко констатирует как общеизвестный факт то самое, что и надлежит исследовать. «Мы — соборные люди», «...мы слишком сплелись со своими мифами»... Кто «мы», с какими именно мифами — о первичности материи или о том, что тотальное планирование и есть высшая свобода? Лично мне кажется, что глубиннейшая ложь фундаментальнейшего прамифа — это вера в то, что неустранимый трагизм бытия можно перехитрить политическими манипуляциями, а сегодняшнее зло возместить завтрашним добром — для других. На самом же деле причиненное однажды зло остается навеки и непоправимым — пусть даже все от мала до велика начнут разгуливать «в шелковых платьях» (из исповеди Василия Петровича Н.) Советская пропаганда сумела-таки прибрать к рукам всех, кого не смогла уничтожить: Толстой, Чернышевский, родина для многих очутились в каком-то одном пантеоне — читайте об этом в монологе матери, потерявшей редкостно одаренного сына.

¹ А Светлана Алексиевич цитирует именно «Правду» и «Советскую Россию».

И тут я подхожу к главной трудности. Чрезвычайно мучительно анатомировать признания, перед которыми деликатность требует лишь молча склонить голову. Но ведь жанр исследования требует истины во что бы то ни стало! Это вовсе не значит, что во имя истины следует отречься от сострадания, — напротив, только благодаря состраданию мы еще можем кое-как понимать друг друга. Беда (а до поры до времени — удача) тех, кто «искренне принял коммунистическую веру», как раз и заключалась в том, что они позволили себе переступить через чужие страдания во имя того, что им было выгодно счесть истиной, что тешило какие-то их страсти — необязательно материальные. «Искренне» вовсе не означает «бескорыстно». Доминанта всегда самооправдывается, и логика — слуга ее, полагал А. А. Ухтомский. Люди принимают ложную политическую доктрину совсем не так, как совершают ошибки в доказательстве теоремы, они принимают то, что для них п р и в л е - к а т е л ь н о, а лишь затем подыскивают этому оправдания (а еще чаще полагаются на каких-то идеологов, полагаются с пресловутой «слепой доверчивостью», которой никогда не проявляют по отношению к тем, кто не потакает их страстям). Выйти хоть чуточку из-под власти собственных влечений можно единственным способом — сочувствуя чужим. Даже и этим путем мы вовсе не обязательно придем к какой-то единой неопровержимой истине, но, во всяком случае, то, во имя чего требуется забыть о сострадании, заведомо не истина. На улице мертвая мать с еще живым ребенком — «а мы все равно счастливые»; в обмен на это счастье и была куплена их слепота. В обмен на чувство уверенности в светлом будущем, в обмен на чувство причастности к чему-то грандиозному, в обмен на чувство единения с лучшими из лучших, в обмен на чувство собственной правоты и даже едва ли не праведности (как будто она возможна в нашем трагическом мире, где каждый шаг вместе с добром рождает и непоправимое зло!), в обмен на жизнь в мире простом и понятном до элементарности: тут правда — там ложь, тут друзья — там враги...

Даже и сейчас «разочарование» немедленно оборачивается новым бегством от трагической сложности бытия, бегством в новую элементарность: «Я никому сейчас не верю!» Над несмелыми (неумелыми?) нотами покаяния мощно господствует мотив самооправдания: «Мое восхитительное поколение!». «Не будь нашего фанатизма — выдержали бы мы?» — на эту формулу достает изобретательности, но ее не хватает для не менее основательного антитезиса: без вашего фанатизма многое и не понадобилось бы выдерживать. По-прежнему «лучшего ничего в мире не придумано», «беззаветно бросаются в глубь новой веры, новой идеи. Лучшие!», «идея сожрала, растлила, изуродовала лучших» — не о н и ее выбрали, а о н а и х растлила: они всегда только жертвы. И ни тени сомнения, на каком основании именуются лучшими те, кто способен закрывать глаза на чужие муки...

Не думайте, что я не сострадаю этим «мученикам догмата»: случись мне с ними встретиться, я сделал бы все, чтобы облегчить их мучения. Но трагедия их жертв мне, пожалуй, все-таки ближе. Я скорее причислю к лику «лучших» Ольгу В., беженку из Абхазии, — помните? «Я не могу пережить, что я это пережила!» Покажите мне коммунистического идеолога, который не смог пережить ч у ж е страдания! И среди персонажей С. Алексиевич таких не нашлось. Но после высвобождения из-под их власти первая же книга о самоубийствах оказалась посвященной все-таки им: они всегда главные жертвы — то царизма, то революции, то озверелого кулачества, то сталинских репрессий, то перестройки...

Почему так получилось? Общеизвестное благородство Светланы Алексиевич заставило ее протянуть руку прежде всего павшему, хотя и не расквашемуся недругу? Или «идейная» трагедия показалась ей более значительной и литературно выразительной, чем будничная, «бытовая»? Или просто более понятной? Но понятность эта может быть обманчивой.

Говорить об этом совсем уж неприятно, но афоризм «перед смертью не лгут» — тоже миф. Случается, о своей невинности пишут в предсмертных записках люди, чья вина доказана с полной несомненностью; не так уж редко самоубийство используется в качестве некоего неотразимого аргумента в мучительном споре, а об эстетизации мотивов самоубийства и говорить не приходится: фольклорные («лебедь и лебедушка») и даже эстрадные образы, канонизированные романтические самоубийцы (Есенин, Цветаева...) не только привлекаются для самооправдания, но даже оказывают влияние на окончательный выбор. Если образы, созданные в «Зачарованных смертью», будут восприняты достаточно «поэтически», можно ожидать, что в ком-то они тоже укрепят намерение красиво погибнуть вместе с идеей — только бы не взглянуть в лицо правде, то есть не вдуматься в чью-то еще боль, кроме собственной.

Но как отдельное самоубийство не доказывает чьей-либо правоты, так и общее их число не говорит о том, что жизнь «улучшается» или «ухудшается» — это остается вопросом личной оценки. Победу во франко-прусской войне и последующее экономическое оживление объединившаяся (а не «развалившаяся»!) Германия отпраздновала весьма существенным повышением числа самоубийств, которое впоследствии значительно снизилось во время первой мировой войны. В США уровень самоубийств среди негров в 2,5 — 3 раза ниже, чем среди белых. В Англии чаще других кончают с собой студенты привилегированных учебных заведений. В прошлом веке уровень самоубийств шел об руку с ростом деловой активности и образованности — в деревне он был несравненно более низким. Но предложите белым стать на место негров, студентам переквалифицироваться в автомехаников, горожанам переселиться в колхоз... впрочем, для нашей страны и этот совет запоздал: в сельской местности уровень самоубийств среди мужчин сегодня выше, чем в городе, а необразованные люди кончают с собой чаще образованных.

Как ни жаль Анну М., пятидесяти пяти лет, которая лучше всего чувствовала себя в толпе, все же нужно констатировать, что слияние в едином «мы» тоже может с п о с о б с т в о в а т ь самоубийству. В конце прошлого века уровень самоубийств среди унтер-офицеров, привыкших чувствовать себя незначительной частью великого целого, превосходил средний уровень в 5 — 10 раз: уценка отдельной личности снижает и волю к жизни.

Боюсь, для уничтожения всех причин самоубийства пришлось бы уничтожить жизнь на земле. И все же относиться к ним можно по-разному. Можно использовать самоубийства как материал для агитации, а можно с ними бороться. И те, кто действительно ощущает проблему самоубийства как болезненную личную заботу, имеют полную возможность делать это. В Петербурге несколько лет назад по инициативе автора этих строк была создана добровольная служба психологической помощи потенциальным самоубийцам за пределами лечебных учреждений. «В наше время», когда «все продается и покупается», когда «каждый думает только о себе», нашлось совсем не мало людей — при безмятежнейшем равнодушии «народных заступников»! — готовых предоставить свое время, телефон, квартиру с чаем-сахаром, чтобы хоть чуточку поддержать отчаявшегося человека. Если кого-то заинтересует этот опыт, буду рад поделиться им в любое время дня и ночи.

А. МЕЛИХОВ

Санкт-Петербург

**ЧИТАЙТЕ В НАЧАЛЕ 1994 ГОДА
НОВЫЙ РОМАН ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРОЗАИКА
АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА
«ИЗГНАНИЕ ИЗ ЭДЕМА»**

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЛА ЛАТЫНИНА



«ПАТЕНТ НА БЛАГОРОДСТВО»: ВЫДАСТ ЛИ ЕГО ЛИТЕРАТУРА КАПИТАЛУ?

Два года назад «Независимая газета» опубликовала эссе Бориса Парамонова «Возвращение Чичикова» (20.9.91). Две тенденции, обозначившиеся впоследствии более четко, предвосхитил автор эссе, пометив их знаком плюс. Первая — триумфальный выход на арену общественной жизни приобретателя, биржевика, дельца, торговца, нувориша и неожиданная готовность общества сквозь пальцы смотреть на криминальный источник его обогащения. И вторая — обвал упреков русской классике, во многом сходных с упреками Парамонова Гоголю, который, дескать, хоть и обладал верным художническим инстинктом, чтобы разглядеть в действительности Павла Ивановича Чичикова, но не сумел, к сожалению, увидеть в нем национального героя. Ошибка Гоголя, утверждает Парамонов, в том, что он хотел совместить предприимчивость с добродетелью, не понимая, что предприимчивость — это уже добродетель, что капиталист не только производитель товаров народного потребления, но и «биржевик, аферист, спекулятор».

Некогда Д. С. Мережковский обнаружил парадокс гоголевской птицы-тройки: воспетая как символ Руси, она мчит в светлую даль мошенника Чичикова. В том, что Мережковскому казалось парадоксом, Парамонов усмотрел провидение: «Чичиков возвращается на птице-тройке, и советское государство, косясь, посторанивается».

Иронически-провокационный текст Парамонова никакой ответной реакции не вызвал: на биржевика и спекулятора российское государство склонно коситься еще меньше, чем советское, а героя за Павлом Ивановичем Чичиковым признала вся передовая российская пресса, почтительно замершая в восхищении перед новыми «миллионщиками». Что же касается классической литературы, то ей были предъявлены в дискуссиях последних лет претензии куда более серьезные. Это она, расшатывая устои, способствовала разрушению существующего порядка вещей (недаром на Первом съезде Союза писателей СССР торжествующие строители нового мира прихватили себе в союзники литературную классику, заявив, что эти книги, дескать, составляют обвинительный приговор человечеству, не сумевшему оборудовать на нашей планете радостную творческую жизнь). Это она называла деспотизмом стабильную государственность, окружила ореолом романтики разрушителей и бунтарей, осудила церковь и заклемила именем охранителей верных слуг отечества, ну и, наконец, не разглядела в представителе нового промышленного класса ту движущую силу, которая была способна успешно модернизировать Россию и вывести ее на путь европейского развития.

Признаюсь, я и сама подбросила несколько поленьев в тот костер, на котором сжигался хлам «общих мест» вроде пустых словес о гуманизме русской литературы и ее антибуржуазном характере и успела посетовать на то, что русская литература, всегда предпочитая обаятельного лентяя Обломова волевому работнику Штольцу, кое-что и проглядела. Не скажу, что я об этом жалею.

Два-три года назад, когда еще слово «революция» не утратило в прессе позитивного значения и соседствовало со словом «прогресс», было полезно оспорить некоторые общие места так называемой антибуржуазной идеологии с классических либерально-консервативных позиций. Но теперь, когда все если не прочли, так усвоили Хайека, когда публицисты, воспевавшие коллективизм советского человека и обличавшие бездуховность общества потребления, начинают петь гимны индивидуализму и богатству, когда драматург, прославивший бескорыстный труд сознательной коммунистической бригады, откальзывающейся от не зарботанной премии, призывает признать бесповоротно, что наша многолетняя борьба с психологией собственника за психологию несобственника была ве-

личайшая глупость, самое время задуматься над тем, что идея пошла по улице, как говорил Достоевский, и заодно вспомнить испанского философа, весьма недемократично заметившего, что подобная овладевшая массами идея — это «шах, объявленный истине».

Возрают: о какой общепринятости идеи можно говорить, если целый отряд литераторов и журналистов неустанно твердит о распродаже России, если неутомимый Эдуард Лимонов из обилия «мерседесов» на московских улицах выводит «остервенелость и непримиримость будущего социального столкновения» (отнюдь не печалась о последствиях) и, как новый буреvestник, торопит социальную революцию, которая должна смести «криминальный правящий класс» и привлечь молодые «низы общества»? Если на митингах патриотов обличение коррупционеров соседствует с обвинениями новых богачей в грабеже отечества и призывами вернуться к утраченному раю социального равенства путем очередного перераспределения награбленного?

Однако все эти филиппики против богачей — по сути, удел маргиналов, лозунги демонстрантов, над которыми потешается «просвещенная» пресса. Лишь изредка иной писатель не одиозной репутации рискнет плыть против течения. «Нынче мы, кажется, единственная в мире страна — опять единственная, — которая устами своей интеллектуальной элиты клеймит неимущих (вспомните, сколько сарказма было обрушено на так называемые марши пустых кастрюль!) и грудью встает на защиту родных миллионеров-чинов», — пишет, например, Руслан Киреев, считая наличие среди «присяжных защитников капитала» ряда писателей позором, «до которого никогда не доходила русская литература». «Испокон за акакиев акакиевичей вступалась она, косноязычных бедолаг... а не за краснбайствующих владельцев роскошных шуб». «Идеологи новой власти, власти денег, шьют новое платье своим королям», — примечает М. Кураев, иронически изображая претензии нуворишей купить своего рода «патент на благородство» с помощью поспешно учреждаемых золотых, усыпанных бриллиантами орденов, конкурсов предпринимателей (победителя тоже ждет звезда с двуглавым византийским орлом), а также своего рода филологически-генеалогических изысканий, призванных доказать легитимность власти капитала. «Значит, снова подозрительным и не «нашим» окажется Герцен, утверждавший, что «мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Снова будет изгнан из обращения Д. С. Мережковский с его оскорбительным для чести предприимчивых людей суждением о них как о коронованных Смердяковых и торжествующих Хамах. Достанется и Достоевскому, имевшему неосторожность утверждать, что деньги обладают способностью выводить на первое место «бесталанное и срединное» ничтожество...» — рассуждает М. Кураев.

Отдавая должное наблюдательности и остроумию писателя, едко высмеявшего претензии новой буржуазии, мечту о «крестах, титулах, салютах и всяческой феодально-аристократически-партийной всячине», все же думаешь, что если однозначное отрицание весьма ограничено в возможностях описания мира, то и отрицание отрицания столь же прямолинейно.

Тезис «русская литература обличала буржуазию и господствующие классы и была на стороне угнетенных» (см. любой учебник русской литературы для средней школы 30 — 70-х годов) стоит тезиса «русская литература оболгала предпринимателя, промышленника, человека дела — единственную силу, способную вывести страну на путь европейского развития» (см. современную прессу).

Неудовлетворенность вторым тезисом вряд ли должна автоматически вести к признанию справедливости первого.

В самом деле — почему русская литература не жаловала владельцев роскошных шуб (как совершенно справедливо заметил Руслан Киреев)? В особенности если шубы эти доставались не по наследству, были нажиты неправедными путями — впрочем, праведной наживы русская литература тоже не признавала.

Как ни смеялись мы в свое время над социологическим подходом к литературе, но все же нельзя и не признать, что дворянское ее происхождение сильно сказывается на понятиях долга, достоинства, чести. А сообразно этим понятиям богатство могло быть лишь жалованным, добытым мечом, верной службой царю и отечеству. Незазорно было, хорошо управляя именем, добиться большого дохода. (Вспомним, сколько героев от помещика Муромского до толстовского Левина занимаются улучшением хозяйства.) Богатство можно получить в наследство, как Евгений Онегин (сколько сюжетов, сколько страстей разыгрывается вокруг наследства, как волшебю преобразует миллион захуда-

лого князя Мышкина, только что — предмет всеобщих насмешек!). Не столь уж зазорно выиграть в карты, в рулетку (тема игры, погони за призрачным богатством — одна из констант русской литературы: тут тебе и Пушкин с «Пиковой дамой», и гоголевские игроки, и лермонтовская загнипнотизированность карточной удачей, и, конечно, «рулетенбургские» страсти Достоевского).

Дворянская культура не идеализировала бедность, но усилия ради личного обогащения — презирала. Достоевский, по быту — разночинец, как никто другой в русской литературе чувствует дыхание нового века и власть капитала. Тема денег звучит почти в каждом его романе, вокруг них вертится нить интриги. Пусть Раскольников идейный преступник, но все же мысль убить и ограбить рождается сознанием, что новому Наполеону для первого шага деньги-то необходимы. Сто тысяч, брошенных в огонь Настасьей Филипповной, — кульминация романа «Идиот». Аркадий Долгорукий («Подросток») сосредоточен на идее стать новым Ротшильдом. Тема Ротшильда — тема власти богатства. Но не разлюбил бы разве Достоевский своего Аркадия, если б вместо того, чтобы мечтать о миллионе, тот начал его сколачивать небольшими спекуляциями? И можно ли представить себе, чтобы Митя Карамазов, вместо того чтобы требовать у отца наследственные три тысячи, пустился в торговлю, чтобы их заработать?

Мечтать о деньгах — можно, спорить из-за наследства — пожалуйста, но как дело доходит до вопроса, каким же путем в реальности складывается богатство, так на сцену выходит вульгарный Петр Петрович Лужин, раздражающий уже тем, что слишком плохим судейским слогом пишет и слишком доволен своим новым, с иголки, щегольским костюмом.

Раскольников, укокошивший старушку и Лизавету, Достоевскому много милее Лужина, которому даже то ставится в вину, что хочет взять за себя бедную девицу, дабы почитала его за благодетеля.

Нет, не потому не нравится Лужин Достоевскому, что как-то особенно плох, а потому и плох, что не нравится; а не нравится — потому что выскочка, нувориш, потому что подозрительны его капиталы — уж верно, не праведно нажитые?

Казалось бы, вторая половина XIX века, после александровских реформ, когда в литературу пришел разночинец, сам ученный на медные деньги, должна была изменить точку зрения на предпринимательство и человека, всего добившегося своими руками. Но ничего подобного. Глеб Успенский, Решетников, Слепцов, Гаршин стенают о нищете и страданиях бедняков и обличают; как раньше любили писать, «буржуазное хищничество».

Если создать некий собирательный образ русского писателя, то он, писатель этот, вполне бы мог повторить слова Константина Леонтьева: «С одной стороны, я уважаю барство; с другой, люблю наивность и даже грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны; а солдат Каратаев — и кто?.. ну хоть бирюк Тургенева для меня лучше того «среднего» мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха» («Восток, Россия и Славянство»).

«Среднего мещанского типа» не выносила эта литература — при всем том, что никто из русских писателей, пожалуй, не позволил бы себе, как Леонтьев, рекомендаций «подморозить» Россию: не для того, мол, Моисей всходил на Синай, гениальный красавец Александр бился под Арбеллами, апостолы проповедовали, мученики страдали, словом, не для того история была столь величественна и прекрасна, чтобы «французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушевствовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия».

Русская литература была за прогресс, а Леонтьева почитала не просто консерватором, а мракобесом, что, однако, не мешало прогрессистам столь же ярко ненавидеть «твердый напор серых людей», срединное царство буржуа, как ненавидел его Леонтьев.

И потому разночинец, пришедший в литературу, готов был любить мужика, но бдительно следил за тем, чтобы мужик не выбился в кулака, предпринимателя, купца, в денежного магната. Чуть позже литература воспылала любовью к пролетарию, к босяку. Горький наследовал присущий русской литературе пафос антибуржуазности и, в согласии с русской версией марксизма, питал убежденность, что четвертое сословие, не обремененное собственностью, в силу этого лишено хватательных инстинктов и руководствуется высшими интересами.

Потребовался период торжества этого сословия, чтобы Булгаков встал в оппозицию к русской литературе и указал пролетарию его место — место собаки при барине-ин

теллектуале, чтобы Зощенко создал свою галерею типов, а Мандельштам заметил, что именно Зощенко показал нам «трудящегося человека», чтоб дядюшка Авенир, герой солженицынского романа («В круге первом»), растолковывал племяннику всю нелепость идеи провозгласить пролетария гегемоном: мол, «самый дикий» класс, — обнаруживая в аргументации знакомство с «Философией неравенства» Бердяева, еще в 1923 году бросившего в лицо вчерашним друзьям по ссылкам, а ныне недругам по социальной философии: «“Тип пролетария“ есть скорее низший человеческий тип... Он принижён нуждой, он отравлен завистью, злобой и мстостью, он лишен творческой избыточности. Может ли из этих душевных стихий родиться высший человеческий тип и высший тип общественной жизни?»

Читая ходившие в самиздате работы Бердяева, многие из нас в 70-х — начале 80-х сокрушались: зачем-де Бердяев не любил этой своей самой блестящей книги, в сущности, отказался от нее?

В стране фальшивого и принудительного равенства с ее замаскированными номенклатурными привилегиями, с убогой классово-идеологической догмой коммунизм представлялся абсолютным злом, открытое общество Запада если не идеалом, то полной противоположностью злу, стало быть, добром, и как не сокрушаться, если прозорливый обличитель лжи коммунизма способен написать, что в нем есть «несомненная правда против лжи капитализма, лжи социальных привилегий» («Самопознание»). Но как и не понять, по крайней мере сегодня, что защитник «духа и духовных ценностей» не может не испытать подобной реакции на окружающий мир. «Мне не нужно было быть высланным в Западную Европу, чтобы понять неправду капиталистического мира. Я всегда понимал эту неправду, я всегда не любил буржуазный мир», — пишет Бердяев в «Самопознании», тут же признаваясь, что «протест против окружающей среды» в значительной степени привел к тому, что у него произошло, на новых духовных основаниях, «возвращение к социальным взглядам молодости».

Мы не были высланы из страны торжествующего коммунизма, но коммунизм рухнул, заменившись столь же плоской и плоскостной идеей и обнажив ту несомненную истину, что наши реакции на окружающую действительность во многом носят отрицательный характер.

Если вернуться к рассуждениям собственно о литературе, то инерции отрицательного отношения к капиталу и предпринимательству хватило на то, чтобы сообщить известного рода заряд искренности литературе 20 — 30-х годов, проникнутой пафосом строительства новых отношений. Читать ее сегодня тяжело. Но историческое значение для характеристики советской цивилизации за этой литературой сохранится навсегда, и производственные романы, воспевающие труд во имя отдаленного будущего, бдительно-подозрительные по отношению к нетрудовым классам и «частнособственному инстинкту», навсегда останутся памятником неудавшегося штурма неба строителями вавилонской башни.

60-е годы в советской литературе все еще живут энергией построения социализма — только с человеческим лицом. «Буржуазность», «мещанство», «накопительство» — тот словесный ряд, который выстраивается в статьях вполне искренних публицистов, в том числе и нынешних сторонников рынка и открытого общества.

Но вот что-то неуловимо меняется во времени, и вчерашний обличитель «пережитков прошлого» и частнособственнического инстинкта Владимир Тендряков пишет роман о Христе, не предназначенный для печати, и в стол кладет рассказы, столь же мало имеющие шансы появиться на журнальных страницах. Вот один из них, «Пара гнедых». Запоздалая реакция на коллективизацию, в сущности, воспоминания детства. Есть ли новые факты? Нет. О несправедливостях, допущенных при раскулачивании, составах с людьми, вывезенными в гиблые места, хоть и недостаточно широко, но писали во времена хрущевской оттепели. Но слома общественного сознания по отношению к самой идее социализма, равенства тогда не произошло.

В позднем рассказе Тендрякова намечается совсем другой поворот темы. Дело не в несправедливости, допущенной не по отношению к данному конкретному крестьянину — раскулаченному. Да и с точки зрения этой власти он раскулачен справедливо. Богат. Какой дом, какие лошади, да и власть ненавидит, а бедняк, переселенный в этот дом, действительно нищ, многодетен да и незлобен. Но против идеи справедливости выступает внезапно эстетика.

Дом богатого еще и красив, как красив он сам и его семейство, как красивы лошади — предмет гордости хозяина, пара гнедых. И переселение дебильного семейства в ладный

красивый дом — не акт социальной справедливости, а уничтожение красоты. Дом разрушится, чужое добро не пойдет беднякам впрок, потому что их бедность — следствие не социального, а природного неравенства. Низший человеческий тип. Делать ставку на него значит уничтожать сильных, умелых и энергичных, — они, а не эти косорукие бедняки и есть настоящий потенциал нации. Таков примерно вывод из рассказа, не слишком, впрочем, навязчивый.

Приблизительно в то же время другой знаток деревни, Федор Абрамов, отрываясь от пряслинского эпоса, бросает взгляд в прошлое. «Поездка в прошлое» — так и называется его повесть 1974 года (появившаяся в печати спустя пятнадцать лет), где писатель размышляет о двух «способах переустройства жизни», «двух силах», живущих в народе, и двух результатах деятельности.

Герой повести пересматривает столь же официальную, сколь и привычную для него шкалу ценностей, согласно которой его дядья, бескорыстные революционеры, громившие кулаков во имя социальной справедливости и мечтавшие о том, чтобы не было богатых, лучше его отца, ловкого грамотного мужика, мечтавшего, чтоб не было бедных, и во исполнение этой мечты кое-что сделавшего. Купили мужики на паях два парохода, наладили выгодное и спорое дело, и кому же это мешало, почему ловких, предприимчивых, удачливых, умеющих добыть богатство или хоть достаток своими руками надо искоренить, извести?

«В коллективизации была сделана установка на батрака, на бедняка, на безынициативного работника, — записывает в дневнике Абрамов. — И сегодня подряд в с е б а т р а к и».

Конечно, не требовалось проводить грандиозный социальный эксперимент, чтобы убедиться, что бедность бедняков проистекает не от богатства богачей и что от уничтожения последних бедные богаче не станут. Адам Смит, считавший, что свободная игра корыстного интереса, в конечном счете вызывающая увеличение выпуска продукции и тем самым рост всеобщего благополучия, хоть и был опровергаем Марксом, но в результате Маркса опроверг.

Сторонников свободного рынка и частного предпринимательства и до Октябрьской революции в мире было никак не меньше, чем сторонников экспроприации экспроприаторов и планового хозяйства. И не такие уж слабые умы предупреждали желающих разрушить «мир насилия»: не разрушать надо, а работать. Преобразовывать. Но... «А справедливость?» — восклицает Саня Лаженицын («Август четырнадцатого») в беседе с Варсонофьевым, утверждающим, что лучший строй «не подлежит нашему самовольному изобретению», тем более «научному», что история — река, а не загнивающий пруд, который можно пустить в другую яму, «только правильно выбрать место».

Вот этот аргумент — справедливость! — и противостоял всегда сторонникам свободы, в том числе экономической; и если требование справедливости со стороны низших классов можно еще счесть проявлением имущественного интереса, то как не признать душевного величия, ну, скажем, за Толстым, для которого греховна сама цивилизация с разделением на богатых и бедных?

Чтобы пересмотреть эти взгляды на справедливость, надо было увидеть мнимость ее торжества при социализме. Ложь социализма доказывается от противного.

Нужно было увидеть отдаленные результаты коллективизации, чтобы популярная в 30-х годах идея жестокой, но справедливой меры, направленной на создание новой деревни, нового человека, сменилась сознанием несправедливости, допущенной по отношению к лучшим представителям народа; чтобы образу загнивающего кулака с тяжелым и подозрительным характером, мироеда и хищника, пришел на смену образ ладного, открытого, тороватого работника, умелого хозяина, заботящегося о всеобщем благе уже одним тем, что заботится о своем богатстве.

Нужно пожить в обществе принудительного равенства и всеобщего рабства (даже рабством не обеспечившего, впрочем, социальную справедливость), в обществе нещадной эксплуатации человека тоталитарным государством, чтобы ретроспективно увидеть в ненавистном отцам и дедам эксплуататоре и денежном мешке несостоявшегося спасителя нации.

Случайно ли, что как раз в период морального крушения коммунистической идеологии, но призрачной устойчивости ее оболочки на театральных сценах и на экранах замелькали персонажи, создающие устойчивый образ привлекательной России, которую мы потеряли, задолго до говорухинского фильма? Вспомним хоть великолепного

Паратова — Никиту Михалкова в белоснежных одеждах, на роскошном пароходе. Вот ведь был шанс у страны — были эти энергичные промышленники, торговали по всей Волге и по всей стране, оборачивали капитал, развивали производство, строили прекрасные дома — на тебе, приходит плюгавый смешной неумеха с пистолетом. И хоть в фильме Рязанова в соответствии с пьесой умирает Лариса, зритель симпатизирует не столько ей, сколько Паратову, предвидя к тому же и его скорый конец от руки таких же вот недотык.

А случайно ли, что в эфросовской постановке «Вишневого сада» Лопахина играл Высоцкий, чье актерское обаяние и значительность личности выводили его на первое место в спектакле? Правда, и Чехов отводил Лопахину первостепенное место и хотел, чтобы его сыграл Станиславский. Но ведь отказался же Станиславский играть, и зрители долго видели разбогатевшего мужика в господской нелепой одежде, применяя к нему слова других героев — хам, мужик, хищный зверь. Ну пусть не самой хищной породы — вот он даже помочь хочет хозяевам сада, но все ж кончит тем, что топором ударит по вишневым деревьям и глупых дач понастроит.

Нужен был опять же наш исторический опыт, чтобы понять, как призрачно торжество Лопахиных, нужно было увидеть комфортабельные лопахинские дачи («пошлость» в сравнении с барским садом) занятыми каким-нибудь сельсоветом и ощутить всю их прелесть в сравнении уже с тотальной деградацией и уродством, пришедшим на смену «хамскому капиталу». Нужно было испить море крови, измерить пределы человеческого падения, доносительства, злобы, мести, жестокости, чтобы Лопахин предстал во всей своей цивилизаторской миссии: да, мужик, не аристократ, но и не хам. Собственник — да, предприниматель, капиталист. Основа надежности и устойчивости общества.

Короче, прежде чем с критикой официальной идеологии выступила освобожденная Горбачевым пресса, эту идеологию уже изрядно расшатали и театр, и кинематограф, и литература, вперившие свой вопрошающий взгляд в прошлое.

Подчеркнем, что это был взгляд ретроспективный. И этим он отличается от взгляда в упор.

Какой из них более точен?

В повести Гоголя «Портрет» художник никак не может угодить светской барышне — то тени под глазами слишком заметны, то худоба щек чрезмерна, то желтизна резка. Все эти недостатки отсутствуют в идеальном портрете Психеи, которой приданы черты знакомого лица. Не сталкиваемся ли мы здесь с тем же феноменом?

Мне уже приходилось говорить, что в «Красном Колесе» среди многообразных задач, поставленных перед собой писателем, стояла и задача показать упущенные возможности общественной солидарности — в противовес теории классовой борьбы. Какие герои, согласно исторической концепции Солженицына, являются подлинно прогрессивной силой общества? Как могла бы образоваться общественная иерархия, обеспечивающая обществу процветание и устойчивость, возможно ли заменить классовую борьбу сотрудничеством и взаимным перетеканием интересов?

Здесь нам важны в первую очередь два персонажа, характеры которых выписаны в явной полемике с русской литературной традицией.

Русской литературе не привыкать брать нравственные уроки у мужика, начиная с Савельича и кончая толстовским Платоном Каратаевым (у чеховских или бунинских «мужиков» мало чему поучишься).

На первый взгляд Арсений Благодарев выполняет ту же функцию. Но лишь на первый. Перед нами — новый тип человека из народа, на которого и рассчитана столыпинская реформа: хороший, умный солдат, дисциплинированный, без заискивания перед начальством, с чувством собственного достоинства, но без панибратства, Благодарев и крестьянин такой же. Энергичный, ловкий, сметливый, он не упустит в хозяйстве ничего, он воспользуется столыпинской волей, чтоб выйти из общины, построиться, завести хозяйство, — и, конечно, начнет богатеть. В следующей своей фазе, спустя десяток-другой лет, это Захар Томчак, уже не крестьянин даже и не кулак — сельскохозяйственный магнат, образцово поставивший прибыльное дело.

Сам по себе герой в русской литературе тоже не новый, совсем не новый. Ново — отношение автора. И оно особенно наглядно проступает, когда для сравнения подыщешь у другого писателя лицо, занимающееся той же примерно деятельностью

Возьмем хоть Ивана Кузьмича Мясникова из очерка Глеба Успенского «Книжка чеков».

Успенский и старого купца, каких много у Островского, не больно жалуется, богатство его нажито темным путем, все в нем, мол, обман, но он хоть и наживал большие капиталы, в глубине души не считал себя праведником и замаливал грехи, жертвуя Божьему храму, и кормил всех, кто мог уличить его в нарушении «неумолимого закона», — словом, был дойной коровой для самого широкого круга.

Иного сорта делец новой формации — законов не нарушает, «на все у него есть патенты, везде заплачено». Казалось бы — хорошо?

Нет, законная деятельность Мясникова видится Успенскому хищнической, разрушительной, причем особую неприязнь вызывает у писателя нравственное отупение героя: почему, мол, тот не испытывает никаких угрызений совести, когда «прикоснется своими капиталами к дремучему темному бору... — и глядишь... осталось голое изрытое место», или когда под ножом умирают «тысячи быков, тысячи рыб», или когда тысячи тварей с ревом, хрюканьем, беспомощным блянием, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозятся на убой неизвестно куда.

То, что Успенскому представляется деятельностью разрушительной, Солженицыну видится созидательной. И когда Томчак наблюдает, «как резали разом по сорок кабанов и закладывали в копильню» или «как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки», он демонстрирует не свою эмоциональную тупость, а, напротив, испытывает законную, на взгляд писателя, гордость. «Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него: обойти глазами весь этот объем и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда: „Та я ж Россию кормлю“».

Успенский не преминул бы заметить, что не сельскохозяйственный промышленник кормит Россию — это работники кормят, и не только Россию, но и самого работодателя.

Кто прав? С точки зрения макроэкономики — Солженицын, конечно. Его Томчак имеет все основания гордиться произведенными зерном, шерстью, мясом. Да и не наивны ли представления Успенского о мясозаготовках, более подходящие для общества защиты животных, нежели для хозяйствования?

«Он был делатель народной жизни... десятки людей работали и кормились вокруг него. И он понимал широту своей службы, ничего не жалел для работников, не трусился над богатством. Да по сути сам себе от этого богатства немного и брал» — к этим рассуждениям Ирины о своем тесте присоединяется писатель. Невозможно представить себе, чтобы Успенский взглянул на Мясникова как на «делателя народной жизни», хотя вокруг него кормятся не десятки, а тысячи людей. И самодовольный Иван Кузьмич тоже любит послушать о себе: «благодетель», «кормилец», — и Успенский, не без иронии, правда, пишет, что это, пожалуй-таки, и «справедливые прозвища», настолько тяжела жизнь в той глухой местности, что оживил Мясников.

Отношения Мясникова с работниками, как мы сейчас бы сказали, классические отношения купли-продажи. Есть рынок рабочей силы — в переизбытке. Есть наниматель — Мясников: «Полтина в сутки пешему и рубль конному». Хочешь — иди, хочешь — нет. Обнищавшие распясовцы с радостью бегут, кормятся и славят благодетеля: «Голова... наш Кузьмич!», «Довольно чисто поворачивает делами, надо сказать прямо, — себе имеет пользу, да и нашему брату способно», «Хлеб дает бедному, во-от!»

Отчего ж безраздосное впечатление на читателя производят эти словословия, беспристрастно воспроизведенные автором? Не оттого ли, что разговоры идут в кабаке, первым делом Мясниковым и построенном, что заработанные рубли и полтины, в сущности, слишком скудны, чтобы завести на них собственное дело, и все, кто был приманен мясниковским рублем, кто кормится вокруг него — на мельнице, фабрике, на крахмальном заводе, — навсегда останутся наемными работниками, которым от благодетелей Мясникова — едва прокормиться.

Марксистская критика квалифицировала точку зрения Успенского на Мясниковых как народническую реакцию на нарождающийся капитализм, ценя в этой реакции критику эксплуатации человека человеком и высокомерно пеняя народникам на непонимание ими способа, которым только и можно избавиться от эксплуатации.

Способ этот, как уже говорилось выше, был проверен и осуществлен в ходе практического эксперимента и теорий не подтвердил. Подтвердились совсем другие теории

— и Солженицын пишет своего Томчака во славу экономического либерализма, но и во славу цивилизованного хозяина, руководящегося в своей деятельности если и не собственно протестантской этикой, то этикой христианской. Все получается у Томчака — и богатство заработано самым честным путем, руками: был простым чабаном в Таврии, «пас чужих овец и телят», приехал на Кавказ наниматься батрачить, и только через десять лет дал ему хозяин «десять овец, телку и поросят» — с того завертелось все его сегодняшнее богатство. Тратится не впустую, а идет на расширение же дела: «...покупал он... опережая всех экономистов... дисковые сеялки от Симменса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локобилиями». Дело не просто расширяется, но постоянно совершенствуется, все технические новинки тащит к себе Захар Томчак, хозяйство ведет по последнему слову науки. Работники его живут с ним в мире и дружбе, и Томчак заботится о них, от военной службы вот освобождает, говорит с ними тепло, «как обязанный им не меньше, чем они ему».

И если бы все жили как Томчак с работниками, если б общество строилось на высоких этических принципах и они распространялись бы на хозяйствование, если б отношения сотрудничества связывали все классы общества, то и революции, конечно, никакой бы не было. Зачем она Томчаку? Его работникам? Зачем инженерам Архангородскому и Ободовскому, занятым практическим делом — промышленной модернизацией России, и прозорливо осознающим, что производство не бывает капиталистическим или социалистическим, но лишь таким, которое создает национальное богатство, а богатство это в революции не создается.

Но революция, однако, произошла, и в числе прочих причин была, видно, и та, что отношения реальных Томчаков со своими работниками складывались не совсем так, как в солженицынском романе. Должно быть, Томчаки были не совсем такие, как увиделось Солженицыну, а скорее такие, как виделось Успенскому, герой которого уж никакой не этикой руководствуется в своей деятельности, а погоней за наживой. Не интересуют его ни обязанности перед работниками, ни обязанности перед отечеством, ни прогресс и модернизация экономики — интересуется лишь собственный кошелек. Можно, конечно, осудить Успенского за то, что не додумался до понимания простой истины, что рынок тем и хорош, что личный интерес Мясникова служит всему обществу. Что напрасно он с неприязнью рисует, как Иван Кузьмич все «скупает, толчет, мелет и продает», напрасно невзлюбил доставленный предпринимателем по железной дороге паровик и назвал его чудовищем. Этот паровик-то, установленный на фабрике, дал людям работу и хоть скудное, но все же пропитание, и никакие радикальные меры перераспределения богатства, никакие революции не помогут накормить людей, а вот будет богатеть Кузьмич — будет побольше платить и работникам.

Но есть точка зрения экономики. И есть — непосредственная нравственная реакция. Толстой, например, считал безнравственной ту роскошь, в которой живут высшие классы, и, случалось, подсчитывал, сколько надо работать мужику, чтобы заработать сумму, пущенную барыней на платье, полагая, что бедные оттого так бедны, что богатые не стыдятся расточать. Если бы ему объяснили экономисты: «Наш анализ приводит к выводу, что в современных условиях рост богатства не только не зависит от воздержания состоятельных людей, как обычно думают, но скорее всего сдерживается им» (Дж. М. Кейнс, «Общая теория занятости, процента и денег»), что — Толстой одобрил бы тотчас роскошь? И если б Успенскому доказали, что Мясников — объективно прогрессивное явление, он тотчас бы возлюбил Мясникова?

Сегодня мы наблюдаем, как сталкиваются разные точки зрения на рынок.

Для иных это формальный механизм, который не должен интересоваться ни происхождением капитала, ни моральными качествами его обладателя. Да, нынешний бизнесмен вульгарен, хищен, криминален, капитал его заработан спекуляциями, и он не склонен вкладывать деньги в производство — но что делать? Идет эпоха первоначального накопления, механизм рынка запущен, погодите — все образуется. И не осуждайте вы «крутых ребят» с их культом баксов и стремлением добыть их любой ценой. «Если страна хочет двигаться по пути, который называется «экономический прогресс», она должна заболеть этим слепым, безумным, нелепым культом богатства, слепой завистью к «золотым телятам» — дельцам и желанием подражать им, принять систему их ценностей... тут должна быть поистине язычески-исступленная вера в похабную мощь денег» (Радзихов-

ский Леонид, «Новые богатые. Кто еще хуже богатых? Только бедные». — «Столица», 1993, № 6).

Этой точке зрения противостоит не только идея строжайшего регулирования экономики, плана, не только уравнилельская реакция — богатство, мол, всегда криминально, пусть лучше все будут бедны. Существуют сторонники рынка и даже, казалось бы, усиленные его пропагандисты, которые начинают напоминать, что «вера в похабную мощь денег» — барьер на пути к первоначальному накоплению, ибо порождает такое явление, как «торгашеский феодализм» (термин Э. Ю. Соловьева. — *А. Л.*)... атмосферу паразитарного стяжательства, основанного на ростовщичестве, спекулятивной торговле, открытом грабеже общества, силовой монополии», и что отнюдь не погоня за наживой, «а высокие, жесткие и аскетические требования протестантской этики» сформировали рынок в Англии и США.

Эту обширную цитату я выписала из статьи Евгения Старикова «Базар — не рынок» («Знамя», 1993, № 6), возражающего Радзиховскому, и не только ему, разумеется, а самой идее «тотальной аномии» (отсутствию всяких норм поведения), которая выступает в связке с идеей «иступленной веры в похабную мощь денег» — и больше ни во что.

Характерно, что в своих нынешних выступлениях Солженицын осуждает хищническое растаскивание природных богатств, саму атмосферу аморального стяжания в современной России и в суждениях о безнравственности «новых капиталистов», номенклатурных приватизаторов и сочувствии к обнищавшим гораздо дальше от неолиберальной экономической доктрины, чем в «Красном Колесе». Легко можно предположить, что, случись ему писать повесть ли, рассказ ли из современной жизни, места для любования рыцарем свободного предпринимательства там бы не нашлось, скорее писатель осудил бы страсть к наживе, не скорректированную высокими этическими требованиями. А носителей высокой этики предпринимательства, пожалуй, не разглядел бы в нынешнем времени. Как не разглядели их в своем времени ни Достоевский, ни Гоголь, ни Толстой, ни Успенский, ни Чехов.

Сказанное отнюдь не упрек Солженицыну. Историческая концепция «Красного Колеса» в значительной мере предполагает ретроспективный взгляд на историю, а такой взгляд включает и элементы социального конструирования. Томчак, идеал трудовой и предпринимательской деятельности, — упущенный шанс России? Возможно, никогда не бывший шанс.

И если даже стать на точку зрения морально индифферентного экономического либерализма и признать общественную полезность нынешних хищников с их культом денег, то остается такая вещь, как разделение сфер влияния между экономикой и литературой. В конце концов, литература всегда напоминает о внеэкономических задачах человека, и если общество живет американской мечтой, то литература напомнит об американской трагедии.

Вообще можно бросить беглый взгляд на мировую литературу и заметить, что культ богатства ей не слишком свойствен. Мир может двигаться страстью к наживе, жажда богатства может толкать человека на подвиги и преступления, но литература всегда склонна с недоверчивой иронией смотреть на богача. Вот он в облике Трималхиона безобразничает на бесчинном пиру. Вот он, в средневековой легенде, умирает, и в теле умершего не оказывается сердца. Открывают сундук с золотом — и, конечно, обнаруживают сердце в сундуке. Вот он, мещанин во дворянстве, хочет деньгами купить то, что достается по праву рождения. Вот он, бессовестный финансист Каупервуд, спекулируя на бирже, создает богатство из ничего.

Культуры различны и различны причины осуждения богатства, но сам факт осуждения — почти неизменен.

Рождение капитализма, которое сегодня традиционно связывают с протестантской этикой, вовсе не приводит к тому, чтобы необходимые для праведного накопления богатства качества стали предметом восхищения литературы. И в то самое время, когда Адам Смит пишет свой знаменитый трактат о богатстве народов, Голдсмит создает знаменитую же «Покинутую деревню», утверждая, что там, где накапливается богатство, погибает земля и вырождаются люди. Да и много ль хоть в процветающей Англии найдется Грандисонов от бизнеса? Разве что Робинзон Крузо; но для того чтобы пропеть этот гимн человеческой предприимчивости, Даниэлю Дефо потребовалось поместить героя на необитаемый остров. И вовсе не случайно. Ведь сам Робинзон рассматривает кораблекру-

шение как возмездие за грехи, совершенные в погоне за богатством, а человек, поставленный в условия конкурентной борьбы с природой, сам по себе много симпатичнее, чем поставленный в условия борьбы с человеком. Недаром остальные свои книги о героях, столь же одержимых жадной стяжания и желанием подняться снизу, Даниэль Дефо предваряет утверждением, что перед читателем не пример для подражания, а предостережение. Однако и предисловие не помогло — книги забыли.

А литература самой предприимчивой нации на свете — американцев? Ее героем станет благородный дикарь Кожаный Чулок, она породит сыщика Дюпена и маленького оборванца Гека Финна, но мы не найдем преуспевающего добродетельного бизнесмена не только среди героев Хемингуэя, Сэлинджера и других «бунтарей» против истэблишмента, но и среди персонажей, гораздо более влюбленных в саму деловую Америку Драйзера или Дос Пассоса.

Даниэл Белл с грустью заметил, что ни один из хоть сколько-нибудь значительных писателей XX века, романтик или традиционалист, правый или левый, демократ или сноб, и не подумал защищать предпринимательство, не говоря уж о более традиционных ценностях, на которых основано современное капиталистическое общество, — трезвости, бережливости, расчетливости.

Тому есть некоторое объяснение в самом языке литературы как знаковой системы — ей сподручнее изобразить обман, надувательство, воровство, чем простое банальное приращение; она склонна видеть в богаче существо потребляющее и живописать это потребление насмешливо (от пира Трималхиона до пиров Великого Гэтсби).

Но, видимо, еще более фундаментальная причина та, что литература по самой своей сути есть носительница идеала и она сверяет с ним реальную картину мира. И тогда она либо рассказывает о том, как люди себя должны вести (героический эпос, легенда, наставление, трагедия), либо о том, как они себя ведут на самом деле, — не должным образом (все это можно занести в обширную графу «от романтизма к реализму»). Именно литература напоминала о ценностях духа и восставляла на сугубый практицизм — не только, впрочем, XX века.

И хотя задачи нравственного учительства ныне часто сводятся к морализму и он успешно атакуется (проповедничество, мол, дело церкви, а литература — самовыражение и игра), литература никогда не откажется окончательно от высоких задач просто из инстинкта самосохранения. Ибо стоит ей добровольно согласиться занять место в дальнем уголке, как выяснится, что из этого уголка ни ей не видно, что происходит в середине зала, ни она не видна.

И маловероятно, что именно сегодня литература столь радикально изменит самой себе, что откажется не только от своих вековых задач и принципов, но даже от элементарной способности подвергать ироническому переосмыслению стереотипы нашего сознания.

Вот почему, я думаю, литература не откликнется на раздающиеся тут и там призывы исправить вековую ошибку русской классики, а также искупить грех соцреализма и изобразить наконец во всей его привлекательности подлинного радателя прогресса — предпринимателя и бизнесмена. (Один из таких призывов я слышала собственными ушами на «круглом столе», собранном попечением нескольких меценатов, и меня поистине умилила формулировка «запечатлеть образ молодого предпринимателя», прозвучавшая из уст человека, манера выражаться которого явственно выдавала недавнего партийного идеолога областного масштаба, — точно так же он в свое время призывал запечатлеть образ «молодого строителя коммунизма».)

«Образ молодого предпринимателя» — строителя передового общества на сегодня нашел отражение только в одном, правда довольно обширном, романе. Я имею в виду роман Бахыта Кенжеева «Иван Безуглов» (Знамя, 1993, № 1 — 2). Были высказаны мнения, что это пародия на соцреализм и разновидность соцарта, — но соцреализм здесь явно ни при чем.

Оригинала, который пародирует Кенжеев, в природе не существует. Есть, однако, социальный заказ, есть, наконец, образ, создаваемый усилиями прессы (достаточно вспомнить хоть серию номеров «Столицы» с поистине житийными описаниями рыцарей современного бизнеса). Есть масса сервильных статей, журналистских портретов, по видимому оплаченных заказчиками и удовлетворяющих их эстетическому канону, но выставленных для всеобщего обозрения. Канон этот включает бедное детство и лишения, упорную работу, честность, сверхличные цели (как правило, большинство портретиру-

емых или интервьюируемых предпринимателей утверждают, что стремятся к богатству ради процветания страны, ради того, чтобы обеспечить работой других людей, чтобы помогать им и т. п.).

Вот и Иван Безуглов у Бахыта Кенжеева занят не просто обогащением, а превращением своей «несчастной, разоренной коммунистами страны в процветающую державу». И антагонисты у него, конечно, «гнусные большевики», «бывшие политруки», занятые отмыванием партийных денег. Это они готовы торговать стратегическим товаром (красной ртутью!), это они хотят вовлечь в свои мерзкие дела кристально честного главу брокерской фирмы, а когда благородный Иван гордо отвергает сомнительную сделку, начинают ему мстить: заманивают в ловушку, похищают любимую девушку, срывают выгодные контракты и даже покушаются на жизнь (впрочем, последний эпизод уже не месть, а вполне объяснимое стремление отнять миллион долларов наличными).

Разумеется, Иван Безуглов, рыцарь без страха и упрека, гнусных политруков одолевает, их интриги разоблачает и может вернуться к своей деятельности на благо процветания разоренной страны и даже больше — всего мира. Ибо без деловитости и хватки Ивана, умеющего связывать длинные цепочки товаров и придумывать невероятные, требующие высокого интеллекта комбинации, замрет и мировая деловая активность. Ну в самом деле — как проживет Мексика без российского оконного стекла, которое доставляется туда зафрахтованным Иваном парохомом? А из Мексики Иван вывозит не что-нибудь, а кактусы, без которых просто задыхается Южная Корея, и кроме Ивана некому предотвратить нависшую над Кореей беду.

Откликнулся Бахыт Кенжеев и на другое требование времени — исправить ошибку русской литературы, третирующей капитал. Вся она — по крайней мере поэзия — у него в услужении. В прямом смысле. Василий Жуковский, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев — имена подчиненных.

Что же касается прозы и даже кинематографа, то они если не в услужении у Ивана, то прямо зависят от его суждений или от его денег, поэтому сценарист, этот длинноволосый и неопрятный представитель богемы, уродливое порождение коммунистического режима, получит совет быть поближе к жизни и разглядеть тех, кто служит отечеству в это трудное время. А служит, как мы помним, Иван Безуглов, а не пораженная «душевной пустотой» творческая интеллигенция.

А что? Интеллигенция последние годы так себя бичует и так от себя отрекается, так горячо провозглашает свой конец (в очередной раз поет о «счастье своего заката»), что, пожалуй, и впрямь готова увидеть в Безугловых класс-мессию, спасителя демократии и цивилизации, права и рынка и бухнуться в ноги удачливому брокеру, как полвека назад она едва не распласталась перед другим классом. И как ни велики просчеты романа Кенжеева, а утешает, что, начав с пародии, литература, надо полагать, пресекла рождение оригинала.

Что ж, пусть новые хозяева жизни проводят свои конкурсы на звание лучшего делового человека, пусть награждают себя орденами из золота, пусть рисуют гербы, покупают газеты и телерадиокомпании, легкие журналистские перья и общественное мнение, пусть даже объявят конкурс на лучший роман о деловом человеке (на рассказ уже объявлен). Литература все-таки знает, что «патент на благородство» не золотом покупается, и уж по крайней мере сама она не будет раздавать эти патенты. Либо — не будет литературой.



А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА



«А ВЛАСТЬ ЭТА НЕ ОТ БОГА»

«Соавторская» обработка художественного текста в «Тихом Доне»

Иа суд читателя предлагается новый этап работы, посвященной «Тихому Дону», в пользу его авторства¹. Но прежде чем перейти к изложению, мы вернемся немного назад и расскажем, как появилась у нас сама идея этого исследования

Поиск истоков «Тихого Дона» начался для нас самих довольно неожиданно. Мы обратили внимание на вставленные Шолоховым в повествование фрагменты воспоминаний донского атамана П. Н. Краснова. Включение в художественный текст этих заимствований было настолько неорганично, что помимо разрыва в хронологию и последовательности событий создавало множество противоречий и исторических анахронизмов. Особый интерес вызвали изменения, внесенные в исходный текст мемуаров. Они, несмотря на отсутствие шолоховских рукописей, позволили заглянуть в творческую лабораторию Михаила Александровича. Оказалось, что М. А. Шолохов слабо знал Донскую область, ее географию и историю. А неквалифицированная и тенденциозная обработка мемуаров показала явную нехватку образования и, по большому счету, общей культуры. Это и стало для нас ключом к загадкам «Тихого Дона».

Прежде всего мы последовательно изучили все случаи, когда Шолохов вводил в текст романа заимствования из книг других авторов, опубликованных в 20-е годы, и полностью подтвердили картину, возникшую при изучении заимствований из мемуаров атамана Краснова. Таких включений достаточно, чтобы говорить о сложном составе и неоднородности текста, разном времени создания отдельных его частей. Появляясь с середины четвертой части «Тихого Дона», они нарушают композицию и служат как бы средством латания дыр в художественном повествовании. Творческий портрет автора, собранного и внедрившего в текст заимствования, в корне отличен от образа автора — создателя исторической донской эпопеи, энциклопедичность познаний и талант которого раскрываются перед читателем буквально на соседних страницах.

В результате в первой части нашего исследования мы, как нам кажется, смогли дать ответ на основной вопрос многолетней дискуссии: был ли Шолохов автором «Тихого Дона»? Ответ оказался неожиданным: да, был, но не единственным. Над текстом романа, известным нам сегодня, Шолохов действительно работал. Но в основу опубликованного им текста положен другой «Тихий Дон», написанный другим автором. Изучаемый текст не составляет органически цельного художественного произведения! Естественно, такой вывод не дает окончательного ответа на главный дискуссионный вопрос, а лишь позволяет сделать первый шаг — оценить сложность задачи и наметить последовательность ее разрешения. Обнаружив в структуре текста соединение обрывков разных сюжетных линий с помощью заимствований, мы подошли к новой проблеме — к вопросу об однородности и цельности основной части текста.

Если в основу собственно художественного текста была положена чья-то рукопись, то, прежде чем взяться за поиски этого неизвестного автора, необходимо решить одну промежуточную задачу. Мы должны четко себе представлять — можно ли судить о «неизвестном» авторе по опубликованному варианту текста или исходный художественный текст тоже подвергся значительной и обширной обработке и переделке. В последнем случае не-

¹ См.: А. Г. Макаров, С. Э. Макарова, «К истокам „Тихого Дона“» («Новый мир», 1993, № 5, 6).

обходимо достоверно определить характер и основные приемы «соавторской» работы над текстом, чтобы в дальнейшем иметь возможность восстановить (хотя бы в общих чертах) первоначальный вид «Тихого Дона».

Среди множества способов, которыми «соавтор» мог исправлять чужой текст, мы хотели бы остановиться на двух основных типах его вмешательства. Первый — это изъятие и перестановка отдельных глав, эпизодов, фрагментов для изменения фабулы, композиции, сюжета романа. Из-за ограниченного объема журнальной статьи мы не можем остановиться на этой стороне «соавторской» работы подробно. Приведем лишь один яркий пример предполагаемых изъятий и перестановок.

Читателям, вероятно, памяты первые фронтовые эпизоды Евгения Листницкого из третьей части романа: фронтовые будни полка, появление будущего большевика Бунчука, ранение Листницкого в бою и последующий отъезд домой. Вот здесь-то внимательное прочтение текста и приводит к удивительным открытиям. Оказалось, что все боевые эпизоды Листницкого в третьей части, обычно относимые к августу 1914 года, описаны в а ю т события Брусиловского прорыва в мае — июне 1916 года! Становится понятно, почему в начале четвертой части (октябрь 1916 года) среди окружающих Листницкого действующих лиц мы находим, несмотря на два с половиной года кровопролитной войны, все тех же людей, что и в мнимом августе 1914 года. Грубейшая шолоховская подтасовка указывает нам сразу на два важных факта: изъятие обширного эпизода из третьей части (участие в боях Листницкого в августе 1914-го) и наличие в запасе у Шолохова значительных по объему г о т о в ы х отрывков, не попавших в опубликованный текст.

Ко второму типу «соавторских» вмешательств относится исправление или дополнение отдельных художественных образов с целью придания им иного звучания, иного значения — для корректировки воздействия художественного текста на читателя. Наиболее заметно «соавторское» редактирование на примере развития в романе образа одного из центральных персонажей, Григория Мелехова.

Несомненно стремление любого автора к цельности и внутренней непротиворечивости своего повествования. Поэтому вопрос о единстве текста романа неотделим от исследования судьбы Григория, отразившей сложность ориентации казаков в роковые для родины минуты.

Непоследовательность и противоречивость в построении образа Григория Мелехова отмечались исследователями давно. Однако известный субъективизм, который всегда присутствует в оценках художественного явления, не позволял выработать единый подход. Поэтому в своей работе мы сделали особый упор на поиск более объективных доказательств «соавторских» искажений художественного образа.

«Тихий Дон», историческое повествование о казаках верхнедонского хутора в годы Нового Смутного Времени, имеет ряд сквозных черт. На протяжении всего повествования казаки составляют некое прочное целое. Все они действуют заодно, осознавая и храня свою общность, отстаивая общие интересы. Лишь немногие, порывающие связь с кругом казачьей жизни или так и не вошедшие в него, отторгаются по ходу событий и выталкиваются во внешний мир из спаянной казачьей общины.

В Григории Мелехове воплощены дорогие для автора черты казака — коренного землероба и доблестного воина. Его трагическая судьба отражает судьбу донского казачества, вставшего преградой на пути разрушительных сил «углубленной» революции и заплатившего дорогую цену за верность отчизне. Его идейные сомнения и колебания не носят случайного характера, не порождены авторским произволом, но последовательно отражают настроение казачества. Вместе с основной массой казаков Григорий сначала поддается соблазнительной пропаганде «мира» и «классовой борьбы», но быстро отходит от «пролетарского» дела, навсегда покидает ряды красных. История участия донского казачества в освободительной борьбе против большевистской диктатуры (как это имело место в реальной жизни, а не в книгах, написанных позднее самими палачами) составила в нашей работе опорный параллельный ряд для анализа цельности художественных образов романа, как они известны по опубликованному тексту, прежде всего образа Григория Мелехова.

А подходов к задаче мы избрали несколько. Это и проверка исторической достоверности и правдоподобности тех или иных эпизодов, и последовательное сравнение различных эпизодов между собой, и изучение эволюции отдельных эпизодов от ранних редакций к более поздним. Дополняя общую картину изучением творческих приемов Шолохова, его языка, лексики и т. д., мы попытались с разных сторон высветить общее направление в работе М. А. Шолохова над образом Григория Мелехова.

ЗА ЧТО СРАЖАЕТСЯ ГРИГОРИЙ МЕЛЕХОВ

Смутное время России — историческая основа авторского повествования в «Тихом Доне». Новый строй является нам и в образе разнузданной черни — прежде всего солдатни, — и в образе сознательных разрушителей своей родины. И тем и другим на страницах «Тихого Дона» противостоят люди, сохранившие верность родине, не дрогнувшие в минуту общего падения духа, готовые отдать за нее жизнь.

И между этими двумя полюсами смуты находится растерянная, потерявшая поначалу жизненные, а подчас и нравственные ориентиры основная масса казаков. Лишь постепенно развеивается революционный туман и жизнь дает свою меру словам и посулам.

На германской войне Григорий честно и доблестно выполнял свой долг, стал полным «крестовым» кавалером. Наступил «февральский переворот»... В опубликованном тексте «Тихого Дона» из судьбы Григория Мелехова выпал 1917 год. Однако в ранних рукописных вариантах романа, недавно ставших известными, этот разрыв оказывается мнимым: один из центральных персонажей становится в семнадцатом году явным «большевиком» — членом полкового комитета². А зимой 1918 года Григорий вместе с Подтелковым участвует в свержении Областного правительства Каледина. Лишь безвинная кровь убитых Подтелковым пленных офицеров-чернецовцев заставила Григория очнуться и отойти от активного участия в установлении большевистской власти на Дону.

Когда весной 1918 года на Дону вспыхнули первые разрозненные восстания против большевиков, Григорий встал в ряды казаков с явной неохотой. Лишь постепенно борьба с большевиками превращается для него в борьбу за родину, «за право на жизнь». Пришедшая зимой 1919 года на Дон волна красных, начавшийся террор против казачества и разрушение родного края окончательно определили выбор казаков хутора Татарского и самого Григория.

Дальше — ставшая легендой трехмесячная, почти безнадежная борьба повстанцев и их победа, соединение с Донской армией, освобождение донской земли... Поход на Москву не удался, донская земля зимой 1920 года снова оказалась под властью большевиков, но в конце этого крестного пути казачество осталось единым перед лицом врага. В отступление уходят все казаки, борьба продолжается до конца, до полного исчерпания сил. Один за другим погибают казаки Татарского, но никто из них не помышляет о прекращении борьбы, не предлагает сдаться или перейти к красным.

После всех метаний и заблуждений казаки «Тихого Дона», так же как реальные бойцы Донской армии 1919 — 1920 годов, выбрали свой путь, путь борьбы, и прошли его до конца. Прошел этот путь от хутора Татарского и станицы Вешенской до Кубани и отрогов Кавказа и Григорий Мелехов...

«А власть твоя... поганая...»

«Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий увидел... в окно, как в снегу, пятная его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь.

— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!» (VI, 16, 379)³

В таком облике пришли на казачью землю новые хозяева. Со злобой в душе, разнузданностью в действиях, жестокие и бессердечные, вызывая поначалу лишь удивление у казаков:

«Я тебе вот что скажу, товарищ... Негоже ты ведешь себя: *будто вы хутор с бою взяли*. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты *как в завоеванную сторону пришел*... Собак стрелять — это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро»⁴ (там же, 380).

Итак, в январе 1918 года после бессудной расправы Подтелкова с пленными чернецами Григорий Мелехов ушел из рядов красных и вернулся в родную среду. Теперь,

² См.: Л. Колодный, «Исток „Тихого Дона“» («Московская правда», 20.5.90, стр. 3). У Шолохова Григорий Мелехов здесь выступает еще под другим именем.

³ Цитирование «Тихого Дона» везде, если не оговорено особо, дается по первому полному изданию (М. «Художественная литература». 1941), как и в предыдущих наших публикациях.

⁴ Курсив в цитатах здесь и далее наш.

спустя год, красные сами пришли в его дом. Григорий снова оказался перед выбором: смириться, подчиниться или встать на защиту родного края. Его раздумья, поиски своего пути наиболее полно раскрыты в разговоре с представителем новой хуторской власти Иваном Алексеевичем Котляровым вечером 24 января, через несколько дней после прихода в хутор Красной Армии.

Прежде всего Григорий замечает в действиях новой власти обман рядовых казаков. Ее посулы на деле обернулись для них еще большим неравенством.

«Ты говоришь — равнять... Этим *темный народ* большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Вздонный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. *Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они — куда равенство денется?.. Нет, привада одна!*» (там же, 20, 392)

Что же несет казакам новая власть, по мнению ее представителя, главы хуторского ревкома Котлярова? Идеи братства? Свободу? Права? Для Ивана Алексеевича важнее другое — его собственное положение, близость к власти: «Мне руку, *как ровне*, дал, посадил...» (там же, 391)

Для Григория же проблема новой власти видится много сложнее, ибо это вопрос для него не личный (как и при какой власти ему легче приспособиться), а общий — решается судьба народа и его родного края. Поэтому-то и не могут найти общего языка глава новой хуторской власти образца 1919 года и бывший боец красной гвардии, устанавливавший «советскую власть» на Дону в январе 1918-го.

Но Григорию необходимо высказать вслух свои мысли, разрешить сомнения, и он продолжает этот все более опасный для него разговор:

«— А власть твоя — уж как хочешь — а *поганая власть*. И ты хвалишь ее, как мамаша: «Хучь сопливенький, да наш»⁵. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим: *чего она дает нам, казакам?*

— Каким казакам? Казаки тоже разные.

— Всем, какие есть.

— Свободу, права...

— Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать! — перебил Григорий. — Земли дает? Воли? Сравняет? *Земли у нас хоть заглонись ею. Воли больше не надо*, а то на улицах будут друг дружку резать. *Атаманов сами выбирали*, а теперь *сажают*. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал? *Казакам эта власть окромя разору ничего не дает! Мужичья власть*, им она и нужна...» (там же)

Как свидетельствуют доводы Григория Мелехова, в казачестве трудно укоренить общие лозунги «воли! земли!», какими удалось склонить на сторону большевиков миллионные массы крестьянства. Понятие воли для казаков — исконное, собственной кровью добытое, «монополично» закрепленное. Вопрос о земле также не стоит остро: огромные плодородные пространства — только работай.

Итак, Григорий сформулировал три основных вопроса, волновавших казаков и бывших для них мерой отношения к происходящему:

земля. Казаки имели достаточно земли и не нуждались в ее переделе;

воля, или, точнее, личная свобода. Ограничения личной свободы в среде казачества определялись стремлением не допустить общество до анархии и сами по себе не были обременительными в повседневной жизни;

вопрос о власти, и в частности о самоуправлении казаков. При старом порядке вещей казаки имели реальную возможность участвовать в местном управлении. «Атаманов сами выбирали».

Чувствуется, что рассуждения Григория глубоко продуманы, укоренены в опыте казачьей жизни. Ведь Григорий сам увлекался на фронте большевистскими идеями, но кровная связь с родной землей взяла верх:

«Ломала и его [Григория] усталость, нажитая на войне... Но когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плеть из краснотала

⁵ Здесь и далее жирным шрифтом выделены слова, которые имеются лишь в самых ранних журнальных вариантах и из последующих изданий исключены.

ясли, а когда разденется и обсохнет земля — выедет в степь, держась наскучившимися по работе руками за чипиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки: представлял себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема... — тепело на душе... Мира и тишины хотелось... Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь» (V, 13, 274).

Со временем эти чувства еще сильнее утвердятся в его сознании. Невозможность мирно трудиться на родной земле, ее разорение и опустошение вызовут у Григория резкое неприятие непрошенных хозяев и приведут на путь непримиримой борьбы с большевиками.

«И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками... И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полегший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел...» (VI, 9, 362)

Трудно укоренить в донских степях идеи «пролетарской революции». Остается использовать старое средство — насилие, и Григорий хорошо чувствует это. Его же собеседник Котляров далек от насущных казачьих проблем. Неопределенная идея равенства туманит его сознание, ослепляет, развязывает руки:

«— Богатым казакам не нужна, а другим?.. А рабочих куда денешь?.. Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному! А не дадут — с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю...»

— Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, оттого, может, и родит наш чернозем.

— Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять — так равнять!..» (там же, 20, 391)

Перед нами две противоположные, непримиримые линии. Одна отражает интересы казачества в целом, приход красных рассматривается как завоевание и насилие, покушение на свободу и жизнь. Другая представлена казаками, по тем или иным причинам порвавшими с казачьей средой, оторвавшимися от земли. Поэтому они, такие, как Иван Алексеевич и Кошевой, усвоили идеологию и лозунги революционной пропаганды, пошли на сотрудничество с новой властью.

«...не покривил душой перед собой»

Борьба, начатая сперва с явной неохотой, постепенно, ожесточаясь, мобилизует в Григории все его физические и душевные силы, становится смыслом и содержанием жизни. Кульминация в его судьбе — минута, когда, откликаясь на призыв восстать за честь и свободу родины, Григорий Мелехов принимает одно из важнейших решений в своей жизни.

Ниже мы приводим отрывок из главы 28 шестой части в разных редакциях. Текст самой ранней редакции был настолько крамольным для того времени, что уже при публикации в журнале «Октябрь» он подвергся существенной правке. Все изменения в текст, судя по свидетельствам очевидцев, внес сам М. А. Шолохов⁶.

«Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. «Теперь ему уже казалось, что» извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий: «и, до края озлобленный, он думал» у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь, и бездумно надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее...»

Проба сделана: пустили на войсковую землю «красные полки» вонючей Руси, пошли они, как немцы по Польше, как казаки по Пруссии. Кровь и разорение покрыли степь. Испробовали? А теперь за шашку!

Об этом Григорий думал «, опалемый слепой ненавистью, думал Григорий», пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...» Но он «со злостью отмахнулся от этих мыслей» усмехнулся, не покривил душой перед собой: «Мы все царевы

⁶ «Рукописи «редкостно взыскательного к себе» писателя (Шолохова) поступали в издательство «выверенными с исключительной тщательностью» (Ю. Лукин, «Заметки редактора». — «Литературная газета», 15.11.38, стр. 3).

помещики, на казачий пай до двенадцати десятин падает, побереги землю!» Ясен «, казалось,» был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях...»⁷

В словах Григория о новой власти обращает на себя внимание исчерпывающий и продуманный характер оценок. Он вспоминает старую, хорошую жизнь, критически оценивает как деятельность новой власти, так и идейное обоснование ее права вершить судьбы, высказывает неверие ее посулам, а главное — видит нескончаемое разрушение разумного и естественного течения жизни, насильственное вторжение в нее чуждых и враждебных сил.

До начала Верхне-Донского восстания в эпизоде с Котляровым он думает, в сущности, то же самое. Власть большевиков — поганая, мужичья, окромя разору ничего не дает; большевики вторглись в жизнь казаков врагами, отняли от земли, атаманов назначают, землю прадеды завоевали, своей кровью полили; земли много, хватает на всех. В итоге «бездумно надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь... Испробовали. А теперь — за шашку!...»

Для понимания выбора, который делает Григорий, очень важно упоминание о новой власти как о власти м у ж и ч ь е й. Этим автор подчеркивает существовавшее у казаков чувство определенной отчужденности от общей массы русского населения — местный «сепаратизм». Для Григория пришедшая на Дон волна завоевателей — это прежде всего «полки вонючей Руси», стремящейся отнять главное достояние — землю. Он реально осознает внутреннее единство казачества, когда мысленно отбрасывает деление борющихся сторон на «красных» и «белых» «...мы все цареви помещики»

«Матросню!.. Всех!.. Ррублю!..»

Среди многих эпизодов участия Григория в боях во время восстания картина боя с матросами под хутором Климовским — одна из самых значительных и выразительных «Григорий полуобернулся к сотне: «Шашки вон! В атаку! Братцы, за мной!..» (VI, 44, 439) Мы встречаем здесь и отчаянную решимость, и яростную, бьющую через край энергию, сплавленную с ненавистью к врагам казачества. Но одно обстоятельство выделяет этот бой из всех остальных.

Конная атака повстанцев встречает такой страшный отпор со стороны обороняющихся матросов, что казаки не выдерживают и поворачивают назад, бросая своего командира на произвол судьбы. «В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся... Сотня, повернув коней, бросив его, Григория, скакала назад». Григорий оказался перед выбором: отступить под напором превосходящей силы или... нечеловеческим напряжением превозмочь и одолеть врага. После недолгого замешательства он выбирает второе.

«В непостижимо короткий миг... он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за пятым.. Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни...

— Куда?! Убьют!..

Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул:

— Пустите, гады!.. Матросню!.. Всех!.. Ррублю!..» (там же, 440)

Сверхчеловеческие усилия Григория, его самозабвение в бою приводят к надрыву, истерическому припадку.

Автор несколько раз на протяжении романа рисует отношение Мелехова к тем, кто находится по другую сторону фронта. Здесь, среди «красных», мы встречаем и старого унтера из саратовских крестьян, и казака-хоперца. А ранее, на германском фронте, он сталкивался и с немцем, и с чехом, и с австрийком. Были и тяжелые переживания по поводу первого убитого, и спокойное, взвешенное отношение к врагу. Всегда Мелехов видел во враге человека, его человеческую природу, старался хоть как-то понять его душу. Лишь однажды чувство ненависти ослепляет и захлестывает на мгновение Григория, и он кричит в припадке: «Матросню!.. Всех!.. Ррублю!..»

Этот внезапный взрыв открывает нам нечто очень значительное в авторском построении. Для Григория Мелехова враг, с которым ведется беспощадная борьба, это не мужик (саратовский или пензенский), не предатель и изменник казачества вроде Мишки Коше-

⁷ «Девятнадцатая година», неопубликованный отрывок из «Тихого Дона». М. «Огонек». 1930, стр. 21 — 22 (Б-ка «Огонек», № 550). Ср.: «Октябрь», 1932, № 2, стр. 8. Слова, добавленные Шолоховым при позднейших редактированиях, помещены в угловые скобки, удаленные — даны жирным шрифтом.

вого, не иногородний, как какой-нибудь Валет. В своей борьбе Григорий защищает нечто большее, чем землю, на которой живет, чем свое достояние, свободу или даже жизнь. Навдигающаяся на него сила грозит разрушить сам окружающий мир. Грозит втоптать в землю и уничтожить создававшиеся веками основы самой жизни. А «мужики», «иногородние» и прочие — только слепое орудие в руках этой сатанинской силы. Поэтому-то она и рождает в душе Григория слепую, безотчетную ненависть, а ее олицетворением становится «матросня», особо отличившаяся в годы гражданской войны на попрание кровавого установления «новой жизни».

Этот эпизод органично входит в развитие сюжетной линии Григория Мелехова. Тем ярче контраст со вставленным здесь же небольшим фрагментом, полностью противоположным остальному тексту, отрицающим и пафос борьбы, и мотивацию поступков центрального персонажа:

«Кого же <? Кровных> рубил!.. <Своих!> — И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — <Своих!> Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога... в бога мать... Смерти... предайте!..» (там же)

Странное чувство возникает при чтении этого отрывка. «Поганая власть», «мужичья», которая казакам «окромя разору ничего не дает», является на Дону в лице вооруженных матросов. Каким образом Григорий, проникшийся «злостью к большевикам», которые «вторглись в его жизнь врагами», «отняли его от земли», защищая унаследованную от прадедов, политую их кровью землю, потерявший уже в этой борьбе родного брата, может называть матросов своими, кровными?! В начале восстания именно эти матросы составляли часть «полков вонючей Руси», которых пустили на Дон, и в результате — «кровь и разорение покрыли степь».

Может быть, Шолохов хочет протянуть связующую нить к тем временам, когда Григорий Мелехов, впитавший основные «классовые» идеи большевистской пропаганды, зимой 1918 года вместе с Подтелковым боролся против власти Донского правительства? Напрасный труд. Первая же кровь пленных офицеров-чернецовцев на донской земле оттолкнула Григория от большевизма. Год спустя в споре с Иваном Алексеевичем он скажет, вспоминая словесный туман недоброй памяти семнадцатого года: «Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать!»

Нет, логичнее предположить иное: слова о «своих» — чужеродная «соавторская» вставка. В пользу этого говорит и сравнение разных редакций этого эпизода. Слова, изъятые из поздних редакций «Тихого Дона», определенно указывают на попытку некоторого смягчения Шолоховым вставного фрагмента, поскольку несовместимость с основным текстом, противоположность его общему духу слишком явно бросается в глаза.

Можно было бы привести и другие примеры аномалий в тексте, но мы сознательно не станем расширять объем рассматриваемого материала. Сравнение разных отрывков показывает чужеродность таких «большевистских» всплесков в поведении персонажей «Тихого Дона», идейную и лексическую близость «соавторского» фрагмента традиционной большевистской пропаганде, разрушение «добавлениями» логики внутренних переживаний героев, осмысления и обоснования ими своего поведения.

«Овцы погибшие быше людие мои...»

В «Тихом Доне» олицетворяет старые казачьи традиции дед Гришака, фигура которого сопутствует на протяжении всего повествования Григорию Мелехову: у старого воина должно перенять эстафету верного служения тихому Дону молодое поколение казаков.

В дни общего развала, шатания и неустойчивости казаков он единственный после прихода в хутор «красных» открыто демонстрирует верность казачьему долгу и бесстрашие перед лицом новой, «безбожной» власти.

«— Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При советской власти нельзя, закон возбраняет.

— Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то!.. Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная!.. Твой-то остались?.. Наказному, небось, присягали. Войску нужна подошла, а они остались при женах» (там же, 19, 389).

Таким же гордым и непреклонным встает перед читателем седой старец дед Гришака в заключительной главе шестой части «Тихого Дона», когда он, отказавшись спастись за

Дон от наступающих красных карательных отрядов, сталкивается на пороге своего дома с отщепенцем Мишкой Кошевым, пришедшим сжечь его родной курень.

«А ты что же это? В анчихристовы слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков?...» (там же, 65, 500)

Однозначно и последовательно отношение деда Гришаки к представителям новой власти. Тверда его личная позиция — вплоть до последних мгновений его земной жизни.

Особое место в романе занимает одна из центральных сцен в повстанческих главах — разговор Григория Мелехова с дедом Гришакой на Пасху, в самый разгар восстания. Ранее мы были уже свидетелями мучительных раздумий Григория и возникшей в его душе решимости подняться на борьбу за донскую землю, видели и его героическую энергию в этой смертельной схватке.

На Пасху же в кульминационный момент борьбы происходит как бы встреча двух поколений казаков. Устами деда Гришаки автор вводит в текст «Тихого Дона» тему библейских пророчеств. Вопрос о причинах происшедшего, о том, почему распалась такая, казалось, крепкая старая жизнь, в глубине души волнует многих казаков. Сопоставление событий, развернувшихся на донской земле, с библейскими как бы устанавливает для них меру и масштаб. Но, главное, оно указывает на возможные причины происшедшей катастрофы: «Овцы погибшие быше людие мои, пастыри их совратиша их...»

«Григорий вошел в горенку... Дед Гришака, все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны Дед Гришака держал на коленях Библию...

— Вот я и говорю. А через чего воюете? По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что *супротив бога шел*, народ бунтовал супротив власти. *А всякая власть от бога*. Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная. Я ему ишо тогда говорил: „Мирон! Ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех!“» (там же, 46, 446).

Удивительная метаморфоза (подмеченная еще Р. А. Медведевым)! Нарушено психологическое и символическое единство образа. Апология советской власти в устах деда Гришаки полностью выпадает из единого ряда:

старый казак не может считать советскую власть законной после начала восстания, если еще раньше даже под угрозой смерти не боялся бросить ей вызов, демонстративно шагая в церковь с «царскими» крестами на груди;

дед Гришака не мог одергивать сына, Мирона Григорьевича, чтобы тот «не подговаривал супротив власти», поскольку сам открыто бросал этой власти вызов и законность ее не признавал;

старик неоднократно показан читающим Библию, размышляющим над ней. Попытка оправдать дьявольскую, «анчихристову» власть («Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная») для него совершенно невероятна;

в главе 46 дед Гришака заговорил совсем другим языком, который типичен скорее для деда Щукаря, чем для сдержанного и молчаливого, полного чувства собственного достоинства старого казака.

Грубое «соавторское» вмешательство в текст еще заметнее там, где дед Гришака разъясняет Григорию пророчества из Книги Иеремии:

«„Овцы погибшие быше людие мои, пастыри их совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам: с горы на холм ходиша“.

— Это к чему же? Как понять? — спросил Григорий..

— К тому, *поганец*, что *бегать вам*, смутителям, *по горам*. Затем, что вы не пастыри казакам, а сами *хуже бестолочи-баранов*, не разумеете, что творите...» (там же, 447)

Этот отрывок представляет исключительный интерес, поскольку здесь явственно выступает раздвоение текста: фрагмент не мог быть написан лишь одним человеком. С одной стороны, привлечение библейских пророчеств из Книги Иеремии не случайно: в них описано похожее и тоже катастрофическое время в истории Израиля (государство политикой своих вождей разрушено, а народ — то, что от него осталось, — рассеялся); направленность библейских изречений вполне ясна — это слова о лжепастырях, которые совратили народ и увели его в пропасть. (Для лучшего понимания текста приведем эти же строки из синодального перевода Ветхого завета: «Народ мой был как погибшие овцы; пастыри их

совратили их с пути, разогнали их по горам; скитались они с горы на холм...» /Иер. 50, 6/) С другой стороны, вложенный в уста деда Гришаки («со») авторский комментарий к этим строкам свидетельствует о непонимании писавшим смысла пророчеств, форма же комментария скорее вызывает все те же ассоциации с дедом Шукарем и его байками.

Для многих поколений верующих, читавших Библию (а следовательно, и для деда Гришаки), выражение «скитающиеся по горам» имеет вполне определенный и хорошо понятный применительно к ландшафту Палестины смысл. Но о каких горах может идти речь в «Тихом Доне», когда шолоховский дед Гришака говорит Григорию: «...бегать вам, смутителям, по горам?»

И дальнейшее прямо-таки анекдотично:

«Слухай дале: — Забыша ложа своего, вси обретающая их снедаху их.

— И это в точку! Вша вас не гложет зараз?

— От вши спасения нету, — признался Григорий...»⁸ (VI, 46, 447)

Дед Гришака в романе неоднократно читает Библию, размышляет над вопросами жизни и смерти. И его кончина предстает как пример непоколебимого противостояния несправедливой, «анчихристовой» власти. Она венчает готовность честно исполнить свой долг и пройти по предначертанному пути до конца.

«После выстрела [Кошевого] дед Гришака упал навзничь, внятно сказал:

— Яко... не своею си благодатию... но волею бога нашего приидох... Господи, прими раба твоего... с миром...» (там же, 65, 501)

Вероятно, здесь, в эпизодах, связанных с дедом Гришакой, мы сталкиваемся с еще одним случаем того, что обрабатывавший и дописывавший первоначальный текст «соавтор» порой плохо понимал смысл отдельных мест в тексте, а чувства и представления персонажей, по всему судя, были ему глубоко чужды.

«Вези... пока помру...»

Ключом к пониманию образа Григория являются финальные эпизоды освободительной борьбы на Кубани весной 1920 года — заключительные главы седьмой части «Тихого Дона». Приходит к концу борьба донского казачества (в восьмой части мы встречаем лишь отдельные эпизоды из частной жизни казака Григория Мелехова, не более того), и можно уже подвести ее итог.

После всех колебаний Григорий Мелехов, как мы знаем, сделал свой окончательный выбор, и этот выбор привел его зимой 1920 года на Кубань...

«Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему... То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков *иссякло стремление защищать родные станицы*, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, — на Кубани уже не смогут удержаться... Война подходила к концу...

Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него *рождалась смутная надежда* на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собою силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части...

В станице Кореновской он почувствовал себя плохо... Врач осмотрел Григория... уверенно заявил:

— Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие...

— *Дождаться красных?* — криво усмехнулся Григорий...

— Вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это, оно — меньшее.

— *Нет, я уж как-нибудь поеду*, — *решительно* сказал Григорий» (там же, 27, 613, 616 — 617).

В минуту ставшего уже почти явным поражения в долгой и кровавой войне Григорий Мелехов ни разу не усомнится в ее необходимости, не обронит слов сожаления по поводу того, что казаки подняли знамя в этой оказавшейся для них смертельной борьбе. Григорий

⁸ Сравните этот же текст в синодальном переводе: «...забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожарили их...» (Иер. 50, 6 — 7)

связывает прекращение серьезного сопротивления не с правотой, справедливостью дела, за которое воюют «победоносно наступающие красные части». Нет, причину он видит в другом: «...у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы...»

Но, значит, раньше такое стремление было! Значит, защитой родных станиц — родной донской земли — было вызвано участие казаков, самого Мелехова в жестокой и почти безнадежной борьбе! Страшная цена: гибель большинства хуторян, оставление самого хутора, смерть почти всех членов семьи Мелеховых — такова плата за верность старому укладу жизни, за мужество, проявленное при его отстаивании.

Больной, находящийся на грани смерти, потерявший в жестокой борьбе все самое дорогое, Григорий Мелехов, быть может, в одно из последних осознанных мгновений жизни подтверждает верность своему выбору. Завет верности казачьему долгу, родине, тихому Дону... Решение разделить общую судьбу...

«Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархати-сто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одурающе пахло нагретой землей, травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно-уменьшенное, далекое...»

Прохор... снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных Прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос:

— Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?

На лице Григория отразились страдание и тревога; еще раз он *собрал в комок волю*, прошептал:

— *Вези... пока помру...*

По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и *успокоенно закрыл глаза*, как облегчение принимая беспомощность, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира...» (VII, 27, 616)

Как завещание звучат на Кубани в повозке отступающего казачьего обоза его слова — еле слышный ответ верному спутнику на дорогах войны Прохору Зыкову: «Вези... пока помру...»

Тема верности в самом широком понимании этого слова близка автору. Не случайно эпиграфом к «Тихому Дону» взяты слова старинной песни «Ой ты, наш батюшка, тихий Дон!». В песне рассказывается о девушке, которая отвергла все попытки увлечь себя и поплатилась за это. Сохранила верность, пожертвовав жизнью.

Идея верности, даже ценой собственной гибели, — одна из сокровенных мыслей автора, стержень, на который нанизываются события и судьбы основных персонажей.

Когда в ночной степи внезапно зазвучит мужественный грубоватый голос запевалы, Григорий, лежа в повозке, почувствует, будто в него вдохнули жизнь. Следя за виртуозным пением подголоска как за движением самой жизни, казаки, отступающие за Дон, на Кубань, чувствуют прилив надежды! Кульминационный момент повествования: заканчивается лишь этап, трагический и тяжелый, в судьбе тихого Дона...

Как внешняя и мощная сила большевизм сломал старинный уклад жизни. Победила сила, но дух казачества сломить она не смогла! Все казаки уходят в отступ, не находя себе места в разоренных, развороченных непрощеными гостями жилищах, уходят, лишь бы не оставаться под ненавистной властью. Все так же сжимаются их сердца при звуках родной донской песни, все так же тянутся невидимые нити к родной земле. Вот поразительный итог эпопеи.

Старая легенда рассказывает о взятии турками Константинополя: при появлении неверных в храме святой Софии служивший литургию священник вошел в стену — он должен выйти из стены и возобновить службу, когда над святой Софией вновь воссияет крест.

Так и в романе — в темноту ночи со старинной песней уходит казачий полк. В душе казаков — шемящая боль утраты. Но бьется сердце в надежде на возрождение тихого Дона, родного их края. Это, по нашему мнению, и есть истинный конец романа — глава 28 седьмой части!

История жизни и борьбы хутора Татарского закончена. Ушел вдаль, за горизонт казачий полк — и мы уже семьдесят с лишним лет в минуты внутренней тревоги и надежд напряженно вслушиваемся: не слышен ли снова цокот копыт, не настала ли минута возрождения?

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ «СОАВТОРСКИХ» ФРАГМЕНТОВ

Границы авторского текста

Пусть не покажется произвольным высказанное выше утверждение, что эпизодом со старинной казачьей песней о Ермаке⁹, которую слушает Григорий Мелехов в обозе отступающих на Кубань казаков (глава 28 седьмой части), прерывается нить авторского повествования. Мы действительно обнаруживаем несколько признаков радикального разрыва между текстом первых семи частей «Тихого Дона» и заключительными страницами седьмой части, а также всей восьмой частью.

Глава 28 седьмой части завершает рассказ о судьбе Григория Мелехова, сражающегося против установления большевистской диктатуры на Дону. Обрыв в этом месте авторского повествования означает совпадение границ художественного пространства «Тихого Дона» и его временных рамок (и в первую очередь — судьбы одного из центральных персонажей романа, Григория Мелехова) с историей героического двухлетнего участия донского казачества в освободительной войне 1918 — 1920 годов и защите Дона от большевистской диктатуры.

1. В главе 28 имеется явная логическая неувязка в развитии судьбы персонажей. Разные части текста не стыкуются между собой, противоречат друг другу. В начале главы прямо утверждается, что:

«За всю дорогу, до самой станицы Абинской, Григорию *запомнилось только одно*: беспросветной темной ночью очнулся он...» (там же, 28, 617)

Но сразу после эпизода с песней, отделенные многоточием, стоят следующие слова:

«И еще, как сквозь сон, *помнил Григорий*: очнулся он в теплой комнате... из соседней... донесся взрыв безудержного мужского хохота» (там же, 618) —

и далее самогонка, пьяные речи, брань и т. п.

Здесь при соединении отдельных фрагментов текста Шолохов ошибся. Плохо представляя географию «Тихого Дона», он не придал особого значения расположению на Кубани упоминаемых в тексте станиц. От станицы Кореновской Абинская станица лежит на юг, за Екатеринодаром, существенно дальше — около Новороссийска. Поэтому «еще помнить» что-либо о пребывании в Екатеринодаре Григорий не мог, если действительно ему «за всю дорогу до самой станицы Абинской... за помнилось только одно...».

Неинтересно подробно разбирать, что дальше в тексте наговорено «плачущим пьяным голосом» Прохора Зыкова, Харлампия Ермакова, Платона Рябчикова и других персонажей, как на смотре собранных вокруг... Впрочем, вслед за Харлампием Ермаковым и нам хочется предусмотрительно воскликнуть: «Возьми у него бутылку! Выльется!» (там же, 619). Но внимание наше задерживается на словах Рябчикова: «Екатеринодар заняли! Скоро пыхнем дальше! Пей!» — которые еще раз твердо указывают на простой и очевидный факт — Шолохов не представил, что станица Абинская лежит по пути отступления казаков далеко за Екатеринодаром. По этой-то причине он и дополнил повествование после эпизода с ночным обозом на пути в Абинскую картинами пьянства казаков в Екатеринодаре, хотя по прямому смыслу предшествующего текста казаки слушают ночью песню о Ермаке, уже оставив Екатеринодар позади. Не зная точного местоположения Абинской, Шолохов не смог без неувязок пристыковать собственную концовку к главе 28.

2. Немотивированные изменения в поведении персонажей, их мыслях, взаимоотношениях наблюдаются все чаще и чаще примерно с середины описания восстания. Подробнее этот вопрос будет рассматриваться ниже.

3. Путаница в персонажах. Описывая новую пьянку казаков в Новороссийске, Шолохов среди собутыльников Григория несколько раз называет Петра Богатырева: «В комнату... вошли Прохор, Харламбий Ермаков и... Петр Богатырев» (там же, 618). По прямому смыслу подразумевается командир повстанческой бригады Григорий Богатырев. Его двоюродный брат Петр упоминался только в главе 53 шестой части: он первым прилетел

⁹ Выбор именно этой песни не случаен. Часть казаков хутора Татарского служит в 3-м Донском казачьем полку, который носит на своих знаменах заветное для казаков имя Ермака Тимофеевича, и в его составе вступает в войну в самые первые ее дни! Казак этого же полка Козьма Крючков первым из защитников России в 1914 году получил солдатский Георгиевский крест.

к повстанцам на самолете из-за Донца и установил с ними связь донского командования. Мы видим, что этих двух братьев и спутал «соавтор».

Не менее наглядно предстает и произвольная трактовка реальных исторических лиц:

«Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд... сказал: „Просить будут все эти Деникины и другие б... и то не поеду!“» (там же, 622).

Для Шолохова Петр Богатырев, очевидно, фигура абстрактная, в связи с ним не возникает никаких конкретных ассоциаций. В действительности облик Петра Богатырева не имел ничего общего с тем пьяницей и гулякой, которого изобразил «пролетарский писатель». Известна фотография Петра, напечатанная в 1919 году в «Донской волне». Очень молодой стройный офицер, вся грудь увешана крестами. Он первым прилетел в восставший округ и в этом крайне опасном предприятии проявил себя храбрым и преданным защитником Дона. И напрасно Шолохов вложил в его уста фразу о том, что, мол, не поедет он, Петр Богатырев, вслед за всякими там «Деникиными». Дальнейшая судьба Петра Богатырева сегодня известна. Он до конца сражался в составе Русской армии Врангеля, покинул Россию во время крымской эвакуации и умер спустя много лет в эмиграции!

4. Важную информацию об обнаруженных нами изменениях в повествовании и об их характере дает изучение хронологии последних частей романа. Мы встречаем в тексте следующие особенности:

прекращается датировка событий по старому стилю. Все даты художественного текста «Тихого Дона» (без заимствованных фрагментов) автор дает по старому стилю. Последняя такая дата (уход казаков хутора Татарского в отступление на Кубань в главе 25) исторически достоверна и дана по старому стилю: «Выезд назначен был на 12 декабря» (там же, 25, 604);

в тексте исчезают все православные календарные даты, столь часто встречавшиеся в предшествующих частях романа, составлявшие основу скрытой, «внутренней» хронологии и с удивительной точностью синхронизовавшие линии разных персонажей;

единственная конкретная дата в тексте глав 28 и 29 по сле эпизода с ночным обозом — дата пребывания Григория в Новороссийске во время эвакуации Донской армии. Она стоит уже в той части текста, где самогонка льется рекой, и дана по новому стилю¹⁰: «Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань» (там же, 619).

Одновременно с прекращением датирования событий по старому стилю и исчезновением православной хронологии наблюдается одно принципиальное изменение в поведении персонажей «Тихого Дона». С самого начала книги автор многократно, в самых разнообразных формах показывает православный мир тихого Дона с его глубоко укоренившимися обычаями, православным воспитанием казаков, их собственным видением и мировосприятием. Вот, например, реакция Петра Мелехова на уход Вешенского полка с фронта в январе 1919 года:

«Отступать, значит?... — Петро встал, *крестясь* на мутные, черного письма иконы, смотрел сурово и горестно. — *Спаси, Христос, наелся*» (VI, 13, 374).

Подобных примеров множество...

« — Наши бьют али кто?..

— Красные, дед! У наших снарядов нету.

— Ну, *спаси их царица небесная!* — Старик... снял старенькую казачью фуражку; *крестясь на ходу, повернулся на восток лицом*» (там же, 59, 481).

У автора казаки никогда не забывают по православному обычаю перекреститься — входят ли они в курень, садятся за стол и т. п.:

«К отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, *крестился на иконы* и присаживался...» (там же, 53, 467)

Проявления радости или тревоги в душах казаков неразрывно связаны с православной традицией. Вот тревожные минуты ухода близких на войну:

«Разбудили спавшую Дуняшку. *Помолясь*, всей семьей сели за стол...

— *Храни тебя царица небесная!* — иступленно зашептала Ильинична, целуя сына. — Ты ить у нас один остался» (VII, 8, 530, 533).

¹⁰ Новороссийская эвакуация закончилась 14/27 марта 1920 года.

«Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя опустился на колени, *положил два земных поклона, — крестясь на иконы, сказал: „...Ну, храни вас Господь!“*» (там же, 21, 590).

Итак, православная тема передана исторически достоверно и играет у автора важную роль в раскрытии духовного мира тихого Дона. Эпизоды, в которых она возникает, встречаются в тексте шестой и седьмой частей практически равномерно вплоть до самых последних глав седьмой части, когда этот мотив полностью исчезает из текста. Ни в мыслях, ни в действиях казаков мы уже не встречаем «веры Христовой», лишь иногда в лексике персонажей промелькнет то или иное общеупотребительное слово или выражение.

Параллельно с православной темой примерно в тех же границах текста мы встречаем в самых разных случаях конкретные, исторически достоверные упоминания о р г а н о в к а з а ч ь е г о в о й с к о в о г о у п р а в л е н и я. Называются представители хуторской, станичной или окружной власти, те или иные их распоряжения, приказы и сообщения, распространяемые через эти же органы местной власти и т. д. Притом центральные персонажи действуют в соответствии с требованиями этих властей (как, например, при мобилизации Пантелея Прокофьевича в конце августа или при организации отступления из хутора в декабре, когда Григорий был вызван в станичное правление).

Духовная и социальная стороны того мира, в котором живут казаки «Тихого Дона», упорядочены: закон духовной жизни определен православием, а порядок и защита донской земли обеспечены стройной войсковой организацией, с выборными атаманами и строгой дисциплиной. В самом конце седьмой части эти особенности из авторского повествования исчезают. Однако в восьмой части романа мы не обнаруживаем взамен каких-либо картин новой жизни, даже отдаленно напоминающих более подробнейшее и удивительно точное изображение старого казачьего мира первых частей «Тихого Дона». Это тем удивительней, что именно этот период начала 20-х годов был хорошо знаком агенту новой власти на Дону, молодому продработнику М. А. Шолохову!

Язык мой — враг мой!

(Изменения речи персонажей в седьмой и восьмой частях)

Начиная с главы 28, казаки все настойчивей наделяются такими чертами, как беспробудное пьянство в тяжелые минуты отступления Донской армии, отрицание всякого смысла за освободительной борьбой, которую эти же казаки вели на протяжении последних двух лет, равнодушные к собственной славной истории, короче говоря, полное моральное разложение. Эти черты возникают в тексте не вдруг. Приведем ряд характерных примеров, заметив лишь, что подобные черты после главы 28 становятся д о м и н и р у ю щ и м и.

Первый пример — циничные (иначе не скажешь) разглагольствования Григория Мелехова:

«Ха! Совесть! Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизнь похитнулась... Людей убиваешь... Неизвестно для чего всю эту кашу... Зараз бы с красными надо замириться и — на кадетов» (VI, 46, 448).

Вздорность подобных сентенций, время от времени навязываемых Шолоховым персонажам «Тихого Дона», легко обнаруживается при сравнении с тем, что написано рядом, на этих же страницах, — например, с воззванием окружного совета к казакам и откликом на него:

«Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять... Они стреляют только тем, что отобьют у проклятого врага. Сдайте все, что есть в ваших хозяйствах годного на литье пуль. Снимите с веялок свинцовые решета...» Через неделю по всему округу ни на одной веялке не осталось решет» (там же, 38, 422).

Одна из любимых шолоховских тем — ненависть Григория к «генералам» и «офицерам» Но его собственные отношения с близкими ему казаками, с которыми он прошел многие годы кровавой войны германской и гражданской, под пером Шолохова становятся точной копией той «офицерской» спеси, грубости и отчужденности, какую шолоховский Григорий приписывает офицерам:

«Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко...

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь?.. Кто должен коня мне подать? Прова чертова! Все жрешь, никак не нажрешься!.. Дисциплины не знаешь!.. Ляда чертова!

- Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях!.. Ну, чего шумишь-то?..
 — Как ты со мной обращаешься?.. Я тебе кто есть?.. Езжай пять шагов
сзади!..» (VII, 10, 539)

Бросается в глаза любопытное изменение лексики в речах персонажей. Например, постоянное поминание ч е р т а, да и вообще различные ругательства, которые Шолохов не жалея раздает по самым разнообразным адресам. «Черт» в э т и х э п и з о д а х не сходит с уст Григория либо других казаков, хотя в «Тихом Доне» многократно показана существовавшая у казаков православная традиция, когда даже простое упоминание черта считалось грехом:

- « — Кто это, насупротив меня...
 — А черт его знает...
 — К черту, — побагровев, ответил Секретев. — Сволочь проклятая. Ломается как копеечный пряник, попрекает...» (там же, 7, 524)
 «Да разве же так она, война, прикончится? Черт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор»; «Вот веселая жизнь заступила, да черт ей рад!»; «А черт их удержит! Растряслись по хуторам...»; «Дударев не управится. Ни черта ничего он не понимает» (там же, 9, 534 — 536).

Нельзя отнести появление «черта» в речи персонажей к последствиям длительной войны — «чертовщина» возникает в тексте как бы отдельными очагами, в эпизодах, в которых «соавтор» рисует нам совсем иной образ Григория Мелехова.

Речь Григория Мелехова: характер эволюции

Проблема языка в романе «Тихий Дон» обширна и многогранна. Для ее изучения требуются усилия специалистов разных областей знания: филологов, психологов, этнографов и т. д. Не претендуя на исчерпывающие результаты, мы взяли для сравнительного анализа лексики разных частей «Тихого Дона» прямую речь одного из основных персонажей, Григория Мелехова, которого мы встречаем в повествовании с первых до последних страниц. Отслеживалась такая важная характеристика, как частота употребления в прямой речи диалектных слов. Удалось установить следующее.

В книге 1 «Тихого Дона» количество диалектных слов в речи Григория незначительно. Большинство из них, по Словарю Даля, указывает на Донскую область как на территорию распространения либо обладает общепризнанным, общеупотребительным значением. По количеству диалектных слов книга 2 практически не отличается от первой. Расширяется спектр их употребления. За исключением двух слов все они тоже встречаются в Словаре Даля.

Умеренное использование диалектных слов в первых двух книгах, наличие их в Словаре Даля свидетельствует о хорошем литературном языке автора и его знании местных речений. Немногословие Григория, отсутствие в его речи вульгарных слов и жаргонизмов определенным образом характеризуют главного героя, придают его характеру целомудренность, сдержанность, разумность. Рассуждения больше в мыслях, чем в речах, — одна из особенностей его склада. В целом по количеству и типу встречаемых диалектных слов в первых двух книгах романа прослеживается единая рука автора, рисующая образ Григория близкими лексическими средствами.

В книге 3 значительно увеличивается количество диалектных слов, расширяется спектр их использования в речи Григория Мелехова. Большая часть их повторяет уже присутствующие в книгах 1 и 2. Например, «гутарить», «зараз», «ежели» и др. Однако их употребление учащается. Начиная с главы 46, в речи Григория появляются вульгаризмы, жаргонизмы — речь засоряется, становится многословней: «похитнулась жизнь», «могешь», «шутейно», «скользь» и т. п.

Книга 4 по количеству и характеру используемых диалектных слов резко отличается от книг предыдущих: увеличивается их число, учащается использование ранее употребленных слов в 1,5 — 2 раза («гутарить», «зараз», «ежели», «пушай», «кишо как» и др.); спектр диалектных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, откровенных ругательств становится настолько широк, что полностью выпадает из схемы их распределения в предыдущих книгах; появляется значительное число вульгаризмов, практически не повторяющих друг друга; подразумеваемый смысл используемых вульгаризмов неестествен, и введение их в разговорную речь противоречит языковой практике первых частей романа (например, «выщелкнуться», «продерет и так», «ты мне дурочку не трепи» и т. д.); появляется ряд диалектных слов, характерных для северных говоров («совесть не зазревает», «балабон» / тверской говор / и др.).

Из диалектных слов, используемых в речи Григория Мелехова только в книге 4, лишь незначительная часть имеется в Словаре Даля. Однако Шолохов в своем словаре диалект-

ных слов в конце книги объяснения им не дает. Видимо, он считал эти слова доступными и вполне понятными: из 94 диалектных слов, встречаемых в речи Григория, Шолохов поясняет только два

Итак, речь Григория в последней четверти книги 3 и в книге 4 резко отличается от предыдущих книг Обилие вульгаризмов, жаргонизмов, слов с непонятным значением и смыслом, сомнительного происхождения, «исковерканных» слов, ругательств и т. п. рисует нам портрет как иного Григория Мелехова, так и другого автора романа. Например, только в четвертом томе «Тихого Дона» встречаются: «хреновина» (один раз), «пьяная сволочь» (два), «под разэтакую мамашу» (один), «сковородник обломает» (один), «дерьмо какое» (один), «не лапай кобуру» (один), «копти на все четыре стороны» (один) и т. д.

В тексте распределение выделенных нами диалектных слов существенно неравномерно. Слова, имеющиеся в Словаре Даля, встречаются более или менее равномерно на всем протяжении романа. В то же время значительное число диалектизм (точнее, вульгаризмов, жаргонизмов, ругательств) в седьмой части встречается в предполагаемых «соавторских» эпизодах. Это прежде всего главы 6, 7, 9 — 11, 28 — 29 седьмой части романа и вся восьмая часть.

Чтобы дополнить полученную картину, мы одновременно обследовали еще одно произведение Шолохова, «Поднятую целину», по тому же параметру — частоте использования диалектных слов в речи персонажей. Для сравнения была взята речь Макара Нагульнова — в некотором смысле аналога Григория Мелехова при всей условности такого сопоставления. Оба персонажа простые казаки-землеробы, близкие по характеру, темпераменту, социальному положению. Сравнение речи этих персонажей дало следующие результаты: язык Макара Нагульнова по обилию диалектных и деформированных слов, вульгаризмов близок к языку Григория Мелехова из «вставных» шолоховских эпизодов седьмой части романа. В обоих случаях Шолохов использует большое число «новообразований» по одному-два раза,

для изобретения этих неологизмов Шолохов часто использует искаженные формы общеупотребительных слов и выражений;

в первых частях «Тихого Дона» (1 — 5) широкого применения такой языковой практики не наблюдается.

Все это подтверждает вывод относительно сложносоставного характера текста «Тихого Дона» и участия в его создании различных авторов.

Обобщим сделанные выше наблюдения и сформулируем некоторые выводы относительно заключительной, восьмой части романа.

Сужается художественное пространство. В первых семи частях действие всегда прямо или косвенно связано с широким историческим пространством: Россией начала XX века. Связи эти, от мелких деталей быта, характеристик персонажей до конкретных исторических событий, введенных в текст в полном соответствии с географией, хронологией, создают довольно жесткий каркас текста, противостоящий произвольному его изменению или редактированию.

К восьмой части описываемый круг жизни сжимается до пределов отдельного хутора, отдельной семьи и т. д. и существует как бы в стороне от остального бытия.

Почти исчезает историческое время. Отсутствие жесткого исторического каркаса не дает однозначно связать художественные эпизоды с внешними событиями. Мы, таким образом, не можем эти события надежно датировать и проследить, не обнаруживается ли разрывов и перестановок отдельных фрагментов, сделанных рукой «соавтора». Содержание художественного текста, по сути, позволяет привязать его к любым внешним событиям, любому времени, производя при этом в тексте лишь минимальные редакторские изменения.

Сужается авторское мировидение. Если в первых семи частях автор создавал впечатляющую картину народной жизни, то в восьмой части мы имеем в лучшем случае фрагментарное и порой нелогичное, противоречивое изображение жизни нескольких лиц. Ни о судьбе хутора Татарского, ни о судьбе донского казачества после окончательного установления большевистской власти мы ничего не узнаем.

Особое место занимают в восьмой части несколько глав, завершающих историю любви центральных персонажей «Тихого Дона» — Григория и Аксиньи. Именно художественная сила и выразительность этих страниц неоднократно приводились в дискуссиях как веский аргумент в пользу авторства Шолохова. С нашей точки зрения, эти действительно значительные страницы «Тихого Дона» скорее всего относятся к более раннему времени и искусственно перенесены «соавтором» на весну 1921 года, на время после отступления на Кубань в 1920 году.

У нас нет возможности здесь подробно обсуждать этот вопрос. Можно указать лишь на такое важное противоречие: Григорий предлагает Аксинье (весной 1921 года) бежать от власти большевиков на Кубань. Такой план мог бы иметь место, например, весной 1918 года, но никак не 1921-го! Тогда, в 1921-м, можно было бы спастись бегством на север, на восток, даже на запад, но не на Кубань. Там продолжалась еще война, и вся территория Северного Кавказа была буквально забита войсками Кавказского фронта, боровшегося с повстанцами-казаками. Это, наряду с разрывом в хронологии романа, в связи с изложением, дает веские основания, чтобы подтвердить сделанное выше предположение о возможном финале авторского повествования в главе 28 седьмой части «Тихого Дона». Эпизод с ночным обозом, когда казаки затаенно слушают старинную казачью песню, завершает связный, осмысленный рассказ автора «Тихого Дона» о жизни, трагической судьбе, гибели донского хутора и его казаков.

СИСТЕМА «СОАВТОРСКОЙ» ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА

Эволюция отдельных фрагментов текста

Эта проблема может быть сведена к следующим двум аспектам:

- выявление в тексте мест, удаленных Шолоховым, и мест, добавленных им в позднейших изданиях;
- сопоставление изменений, вносимых Шолоховым в разные фрагменты, и их типологизация.

В последнем случае мы можем соотнести этот вклад Шолохова с общей направленностью исходного текста.

Григорий Мелехов

Во внутреннем монологе Григория Мелехова в начале Верхне-Донского восстания выражены его главные мысли и чувства. Изменения, которые вносились со временем в этот эпизод, безусловно, не случайны, имеют целенаправленный характер.

И з ъ я т и я

1. Шолохов устраняет резко отрицательные отзывы о красных («полки вонючей Руси», «пошли как немцы по Польше»).

2. Снимает негативную характеристику прихода на Дон Красной Армии — «кровь и разорение покрыли степь».

Уместно здесь вспомнить фразу Григория из разговора с Иваном Алексеевичем, характеризующую его отношение к новой установившейся на Дону власти и также удаленную из текста в позднейших изданиях: «И ты хвалишь ее [власть] как мамаша: „хучь сопливенький, да наш“».

3. «Мы все царевы помещики...» — эти слова, подчеркивающие сознание единства всех казаков, отсутствие «классового» расслоения, удалены.

Изъятые слова объединяет осмысленное и продуманное отношение Григория к жизни.

Д о б а в л е н и я

1. Смягчается характеристика Красной Армии.

2. Во всех добавлениях подчеркивается мысль, что причина недовольства стоит вне общих жизненных вопросов казачества.

3. Вставленные слова («опалемый ненавистью», «озлобленный» и т. д.) как бы переориентируют ситуацию, указывая на то, что причины, приведшие к восстанию казаков, имеют прежде всего личные мотивы и носят временный характер — впрямь до минуты, когда исчезнет предубежденность и казаки очнутся, вернуться в лоно «родной» власти.

4. Добавленные Шолоховым слова призваны подчеркнуть бессознательный, основанный на эмоциях, в какой-то мере случайный образ действий Григория Мелехова, толкнувший его на участие в восстании.

В результате шолоховского редактирования текста происходит заметное изменение образа Григория Мелехова, героя, через поступки, действия и мысли которого нам дано понять мотивацию, психологию, характер действий всего казачества в гражданской войне на Дону. Вводя в мотивацию Григория случайные и эмоциональные элементы («до края озлобленный», «опалемый слепой ненавистью», «со злостью отмахнулся... от мыслей»), Шолохов снижает значимость изображаемого до судьбы отдельного,

частного лица. Этому же эффекту способствует максимальное смягчение характеристики новой, «чужой» власти. Устраняются такие ее черты, которые вряд ли позволили бы Григорию в последующих эпизодах назвать эту кровавую власть своей.

Мишка Кошевой

На противоположном крае казачьего мира в «Тихом Доне» показан Мишка Кошевой, один из немногих персонажей — сторонников советской власти на Дону. Как же изображен этот представитель красных, или, если взять шире, кто реально противостоит Григорию Мелехову и всему казачеству на донской земле в кровавой драме гражданской войны? И еще один вопрос неразрывно связанный с первым: как изменялся образ Кошевого в процессе редактирования текста?

Возьмем эпизод яростной расправы казаков с Кошевым в самом начале восстания на хуторе Татарском. Сцены восстания, в которых показан образ «большевика» Мишки Кошевого, впервые появились на страницах провинциальных изданий (например, ростовского журнала «На подъеме») и настолько шли вразрез с господствующими пропагандистскими клише 20-х годов, что уже в ст о л и ч н о й журнальной публикации подверглись значительной правке. Сразу бросается в глаза однонаправленность изменений, вносимых в образы Григория Мелехова и Мишки Кошевого. Фактически Шолохов стремится сгладить драматическую основу «Тихого Дона» — борьбу казачества как единого целого за свою свободу и землю.

РАННЯЯ ЖУРНАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

(«На подъеме», 1930, № 6, стр. 15—16)

Выстрел Емельян, не роняя из рук вожжей, упал с саней

И на миг не пришла Кошевому в голову мысль о защите. Он тихо слез с саней, не глянув на Емельяна, отошел к плетню. Кошевой без крика лег лицом вниз, ладонями закрыв глаза, упал не от боли... А скорее от страха...

РЕДАКЦИЯ 1941 ГОДА

(VI, 27, 403—404)

Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал...

< — >

..Кошевой прыгнул с саней...

< — >

От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза

(Мать Кошевого обращается к сыну)

Уходи. Иди куда хошь. Нехай убьют, но не на моих глазыньках. Уходи. Не хочу тебя тут зрить!

Уходи. Христа-ради уходи, Мишенька! Уходи! Найдут тут тебя

Итак, в самом раннем журнальном варианте фраза «И на миг не пришла Кошевому в голову мысль о защите» подчеркивает покорность и малодушие Кошевого: он униженно молит о своем спасении тех, кого еще накануне мог лишить жизни. Шолохов изымает из текста эту фразу и еще одну, где также содержится прямое указание на испытываемый Кошевым в минуту опасности с т р а х

В другом эпизоде (смерть Петра Мелехова) обращенные к Петру слова Мишки Кошевого, уже запачкавшегося в крови своих казаков: «Мы вас, гадов, врагов, без слез наворачиваем», — слишком выпукло рисовавшие жестокость и бессердечие «большевика», опущены при последующих публикациях.

В первоначальном тексте «Тихого Дона» родная мать изгоняет раненого сына, не желая иметь с ним дела после всех совершенных им преступлений против своих, казаков. В этой сцене автор показывает отторжение казачьей средой отщепенцев, сторонников «новой жизни». И конечно наиболее явные черты такого рода при редактировании изымаются из текста и заменяются нейтральными.

Мы видим, что при редактировании последовательно убирались или сглаживались непривлекательные, негероические черты адепта новой веры: ненадежность и малодушие в минуту опасности и жестокость и бессердечие в минуту торжества.

Оговоримся сразу, что переделка текста под давлением явной или скрытой партийной цензуры была широко распространена во все годы коммунистической власти. В принципе, изучая только изменения, которые последовательно вносил в текст Шолохов, мы не можем точно ответить на главный вопрос нашего исследования: стремился ли Шолохов приспособ-

собрать текст к текущим требованиям «литературной власти», или он переделывал чужой текст в соответствии с заданным замыслом и тогдашней политической конъюнктурой? Получить ответ можно, лишь расширив круг изучаемых вопросов.

Чужеродные фрагменты текста

Органичность отдельных фрагментов текста, последовательность (или прерывистость) развития действия романа прослеживаются при изучении какой-либо сквозной существенной характеристики. Для казаков зимой и весной 1919 года не было вопроса более злободневного, чем отношение к новой, большевистской власти на Дону, начавшей проводить рассказывание.

Обратимся к деду Гришаке и сопоставим между собой различные эпизоды, в которых старый воин выражает свое отношение к новой власти.

ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ. ФЕВРАЛЬ 1919

Я верой-правдой своему белому царю служил. *А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал!*...

Митюшку проводили мы в отступ. *Сохрани его, царица небесная!*.. Твой-то остался? Наказному, небось, присягали. *Войску нужда подошла, а они остались при женах.*

НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ. МАЙ 1919

В *анчихристовы* слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты... *супротив наших казаков?*

ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ. АПРЕЛЬ 1919

А всякая власть от бога. Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная.

Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти... А через чего воюете? По божьему указанию все вершится.

Я ему... говорил: «Мирон! Ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех!»

Следует добавить, что оценка событий глазами других персонажей обнаруживает единое и последовательное отношение казаков к советской власти.

Мирон Коршунов: «*Вот эта чертова власть. Она всему виновата. Да разве это мысленное дело — всех сравнять?.. Хозяйственному человеку эта власть жилы режет*».

Григорий Мелехов: «...власть твоя... *поганая власть. Казакам эта власть окромя разору ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Чего она дает нам, казакам?.. Всем, какие есть...*»

Реплики деда Гришаки, которые мы встречаем в эпизодах начала и конца восстания, соответствуют целостной концепции автора. А отсюда со всей очевидностью следует, что беседа Григория со старым казаком на Пасху (апрель 1919 года), как она преподана Шо-лоховым, чужеродна основному тексту.

«Аномалии» в тексте: попытка реконструкции работы «соавтора»

В то же время сравнение отдельных аномальных эпизодов обнаруживает и определенное сходство между ними, прежде всего во внутренней структуре. В «пасхальном» фрагменте затронуты те же вопросы, что и в февральском, но освещены они иначе. Среди этих вопросов такие важные, как законность новой власти и оправданность борьбы с нею.

ФЕВРАЛЬ МАЙ

<1919>

АПРЕЛЬ

«Эта» власть:

А власть эта не от бога
Я их за власть не сознаю

—————> А всякая власть от бога...
—————> ..а все одно богом данная.

Воля божья:

Митюшку. сохрани его, царица небесная!

—————> Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел.

Законная власть.

Наказному, небось, присягали
Войску нужда подошла

—————> Народ бунтовал супротив власти.

Через что все вершится:
Вот эта чертова власть. Она всему виновата.

———> По божьему указанию все вершится.

Антихрист:

В анчихристовы слуги подался? Красное звездо... навесил.

———> Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная.

Супротив кого:

[Кошевому]:

...ты... супротив наших казаков?

[Миру Григорьевичу]:

———> Ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти...

Видно, что «пасхальный» фрагмент построен как зеркальное отражение, инверсия других эпизодов той же сюжетной линии. Практически каждый важный вопрос, понятие, чувство из уже затронутых ранее воспроизводятся здесь. Однако трактовка их либо прямо противоположная, либо упрощенная, примитивная. Зеркальная структура фрагмента, конечно, исключает случайность совпадений и указывает на искусственность и вторичность этого фрагмента по отношению к основному тексту и, следовательно, подтверждает «соавторское» участие в формировании известного нам текста «Тихого Дона». Дополнение текста эпизодами, написанными с прямо противоположных позиций, служит главным источником появления в романе «неразрешимых» противоречий.

Та же зеркальная инверсия обнаруживается в эпизоде боя под Климовкой. Если в начале фрагмента написано: «Он *забился* у них в руках, *крикнул*: ...— Матросню!.. *Ррублю!*..» — то последующее добавление Шолохова, которое явно выпадает из общего текста, конструируется таким образом: «Кого же *рубил!*.. — И впервые в жизни *забился* в тягчайшем припадке, *выкрикивая!*...» Мы видим, что «аномальный» фрагмент построен так же, как и первичный. Использованы те же ключевые слова «забился», «крикнул», «рубил», но при этом в полученный текст вложен совершенно иной, прямо противоположный смысл.

Хорошей иллюстрацией шолоховского метода инверсии служит рассматривавшийся уже эпизод с толкованием дедом Гришакой Священного Писания:

Овцы погибшие быше людие мои
(Народ мой был как погибшие овцы)...

...а сами хуже бестолочи-баранов...

...*пастыри* их совратиша их
и *сотвориша* сокрытися по горам:
с горы на холм *ходиша* (скитались они с горы на холм).

...вы не *пастыри* казакам...
...не разумеете, что *творите!*...
...*бегать* вам, смутителям, по горам.

Забыша ложа своего (забыли ложе свое), *вси*
обретающая их снедаха их... (все, которые
находили их, пожирали их...)

...*вши* вас не *гложет* зараз? — От *вши* спасенья нету, — признался Григорий.

Очевидно, что речь деда Гришаки строится на чисто механическом перевертывании библейского текста: «пастыри» — «не пастыри»; «овцы» — «хуже баранов». А превращение «вси» (все) во «вши» обнаруживает недостаточно ясное понимание внутреннего смысла обрабатываемого текста.

Повторы в тексте: метод работы «соавтора»

В тексте мы сталкиваемся с многообразным повторным использованием тех или иных его исходных элементов — от целых фрагментов до отдельных слов и словосочетаний, — причем Шолохов может и заимствовать их из книг других авторов, и брать из самого художественного текста, из других его мест, и вводить от себя.

Исправляя эпизод начала восстания, Шолохов многократно вводит одни и те же словосочетания: «Ясен, *казалось*, был его путь» — «Теперь ему уже *казалось*, что извечно не было...»; «...до края *озлобленный*, он думал...» — «...*опалляемый* слепой *ненавистью*, думал Григорий».

Неразборчивость в художественных средствах и явное нарушение жизненной достоверности хорошо видны на примере того, как Шолохов вводит в роман тему большевизма. Впервые Григорий Мелехов знакомится с «идеями» в самом начале войны, в глазной больнице, из разговоров с Гаранжей. «Изо дня в день *внедрял* он [Гаранжа] в ум Григория досель неизвестные тому истины...» (III, 23, 158) — и тому подобное в духе пропагандист-

ских штампов 20-х годов. «Странно» не только то, что Григорий не возражает малограмотному, нахватавшемуся большевистских словечек («хвабрыкант») Гаранже, но прежде всего то, что таких возражений — «не было их и нельзя было найти».

Оставляя в стороне многие внутренние противоречия текста этой главы, укажем лишь на одно «необъяснимое» обстоятельство: спустя почти три года, в 1917 году, точно такими же словами казак Лагутин будет убеждать в правоте «большевистских идей» офицера и монархиста Евгения Листницкого!

Гаранжа забивал его [Григория] в тупик простыми, убийственно-простыми вопросами...

...несложными убийственно-простыми доводами припер его [Листницкого] казак к стене.

...был бессилён противопоставить ему [Гаранже] возражения, не было их и нельзя было найти.

...понимал, что бессилён противопоставить какой-либо веский аргумент...

...сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи...
(III, 23, 158)

...заворошилось наглухо упрямое сознание собственной неправоты.
(IV, 12, 211)

В заключение можно сформулировать несколько предположений. Текст некоторых фрагментов вторичен, то есть создавался на основе механической переделки фрагментов основного текста. При этом использовались методы:

зеркальной инверсии, когда сохранялась и перенималась внутренняя конструкция первичного текста;

удвоения текста, когда объем формируемого текста увеличивался за счет повторения в новом месте и несколько иной форме уже имевшегося содержания;

сохранения в новосозданных фрагментах лексики заимствуемых и «размножаемых» эпизодов.

Опять-таки можно определенно говорить о реальности «соавторского» участия в переработке и редактировании текста «Тихого Дона».

ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ «ТИХОГО ДОНА»

«...с великой душой служил советской власти»

Непрерывная линия авторского повествования о том, как «край родной восстал за честь Отчизны; за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...», обрывается в конце седьмой части «Тихого Дона». Наши умозаключения были бы неполными, если бы хотя бы бегло не спроецировали их в восьмую часть. Выше уже говорилось, что ядро восьмой части — завершение истории любви Григория и Аксиньи — следует отнести к более раннему времени повествования (1918?) и что в 1921 год эпизоды эти перенесены искусственно, рукою «соавтора». Проследим теперь, как завершается в заключительной, восьмой части романа развитие образа Григория Мелехова.

Поздней осенью 1920 года Григорий Мелехов возвращается домой с врангелевского фронта¹¹. О его судьбе в последний год жизни, об отношении к прошлому, к установившейся советской власти мы достаточно подробно узнаем из его мыслей и рассуждений.

Прежде всего мы сталкиваемся с совершенно иным отношением к войне. Место сознательного защитника родной земли занял безучастный, сторонний наблюдатель:

«И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело — восьмой год с коня не слезил! Во сне и то чуть не каждую ночь эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают...»

«Бойтся, что восстание буду подымать, а на черта мне это нужно, — он и сам, дурак, не знает... кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы» (VIII, 7, 657, 658).

¹¹ Очередная историческая несообразность Шолохова, когда он пишет об участии Григория в составе Первой Конной в боях с врангелевцами. Первый бой армии, переброшенной с польского фронта, имел место во время наступления с Каховского плацдарма 30 октября. А уже «в начале ноября» Григорий «после ранения» оказался в родной станице. Совершить свой путь в такие сроки Григорий мог в то время разве что на ковче-самолете.

Перед нами совершенно другой человек, из другой эпохи, с иным набором мыслей и чувств! Своя казачья власть превратилась для Григория в ихнюю власть «генералов». Если раньше красные «вторглись в его жизнь врагами», надо «бездумно биться» с теми, кто «казаков продал», то в восьмой части «Тихого Дона» после чудесного преобразования Григорий заявляет, что он «с великой душой служил советской власти».

За что же сражается Григорий Мелехов?

ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ

Чего она даст нам, казакам?

В ВОССТАНИЕ

Они вторглись в его жизнь врагами.. Бездумно биться с теми, кто хочет отнять жизнь, право на нее..

ВЕСНА 1919 ГОДА

Матросню!
Всех!..
Пррублю!..

ОСЕНЬ 1920 ГОДА

Да чтоб я *ихнюю власть* опять устанавливал? Генералов Фицхеллауровых приглашал? Я это дело спробовал раз, а потом год икал, хватит, ученый стал, на своем горбу все отпробовал!

ОСЕНЬ 1920 ГОДА

Недавно, когда подступили к Крыму, довелось *цокнуться* в бою с корниловским офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-англицки, под ноздрями две полоски, *как сопли*, — так я его с таким усердием навернул, *ажник сердце взыграло!* Полголовы вместе с половиной фуражки остались на бедном полковничке... и белая офицерская кокарда улетела. Вот и вся моя приверженность!

Дело не только в том, что разрушается цельность образа верного сына Дона. Григорий Мелехов в разное время будто бы бездумно рубит налево и направо всех, кто по стечению обстоятельств попадает ему под горячую руку, а потом, когда нужно («соавтору»), или раскаивается в содеянном («Кого рубил?.. Своих!»), или вспоминает об этом с удовлетворением. «Соавтор» дорисовывает образ отменного садиста, смачно и с подробностями рассказывающего о расправе над корниловским офицером. Достаточно сравнить эти слова с описанием первого боя Григория на германской войне в Галиции, вспомнить чувства, которые испытал Григорий к первому убитому им человеку, чтобы усомниться (даже с учетом всего происшедшего впоследствии) в возможности подобной метаморфозы.

«...промежду офицеров был, как белая ворона»

В монологах восьмой части Григорий не раз повторяет мысль о вредности офицерства как такового и пытается при этом, оправдывая себя перед «родной» властью, свести к случайности и свое собственное офицерство, и участие в борьбе на стороне «белых». Интересно, что в конструкции этих проклятий по адресу «офицеров» встречается «традиционная» инверсия

ЗИМА 1919 ГОДА

[Иван Алексеевич]
Мне руку, как ровне, дал

ОСЕНЬ 1920 ГОДА (VIII, 7, 658)

Кровью заработал этот *проклятый* офицерский чин, а промежду офицеров был, как белая ворона. Они, сволочи, и за человека меня *сроду не считали*. Руку *гребовали* *подавать*... да чтобы я им после этого Под раззетакую мамашу!

Грубая и вульгарная, ни на чем не основанная исторически брань, адресуемая русскому офицерству, может быть соотнесена лишь с агрессивной и лживой советской пропагандой, сеявшей ненависть ко всем силам общества, способным оказать сопротивление новой власти. Ранее в тексте мы встречаем иное отношение Григория Мелехова к своему офицерскому званию

Когда во время отступления на Кубань зимой 1920 года ночью неизвестные будут рваться в хату, где Григорий остановился вместе с Аксиньей, он с твердостью скажет испрошенным гостям:

«— Я — сотник девятнадцатого Донского полка... Вы что это, милые станичники, развоевались?..

— Слухай ты, ваше благородие, или как там тебя... Мы видим, что *офицер из тебя лихой*» (VII, 26, 610).

Упрощенная и примитивная трактовка офицерства тянется у Шолохова еще от эпизодов сельской части с участием «генерала Фицхелаурова». В разговоре начштаба Копылова с Григорием Мелеховым очень ярко отразились шолоховские представления об офицерах:

«Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься... неотесанным казаком. Ты *не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься*, лишен всех тех необходимых качеств, которые *присущи воспитанному человеку*. Например: вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, *как это делают все культурные люди*... И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты просто пробка!» (там же, 10, 539 — 540)

Григорий в своих антиофицерских речах постоянно подчеркивает, что он «сын хлебороба», «безграмотный казак», «какая я им родня». Здесь и проявляется незнание Шолоховым донского казачества. В действительности между рядовыми казаками и казачьими офицерами не существовало пропасти: офицерские кадры готовились здесь же на Дону, в Новочеркасском военном училище. Практически каждый здоровый и грамотный казак мог в него поступить. И хотя Григорий такого училища не кончал, вряд ли у него могло быть чувство ущербности по отношению к более образованным офицерам¹².

Узы, связывавшие рядовых и офицеров, в донских полках оказались в 1917 — 1919 годах намного прочнее, чем в остальной армии, — почти не было случаев выдачи своих офицеров, сохранялась некоторая дисциплина и т. д. Из Новочеркасского училища вышли и будущие защитники тихого Дона, лихие казачьи генералы Секретев, Мамонтов, Гусельщиков и многие, многие другие. Кстати, все они были самого простого происхождения.

И опять мы встречаем повтор при создании нового эпизода. Сравните две реплики Григория:

ИЮНЬ 1919 ГОДА
(после встречи с Фицхелауровым)

Я б его потянул клинком через лоб, ажник
черепок бы его хрустнул!

ОСЕНЬ 1920 ГОДА

Я его с таким усердием навернул, ажник
сердце взыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки остались на... полковничке.

Подведем некоторые итоги тому, за что же сражается на донской земле Григорий Мелехов. Две различных, не пр и м и р и м ы х линии находим мы в тексте. Одна выражена словами: «заблудились мы, когда на восстание пошли», «замириться и на кадетов», «не болел душой за исход восстания» — и заканчивается многочисленными изъявлениями ненависти к офицерам. Другая — эпизод отступления казаков на Кубань в феврале 1920 года — показывает Григория Мелехова как активного, сознательного и думающего участника сопротивления. Прочитав снова важные для понимания его образа места: «Он понимал, что *настоящее, серьезное сопротивление кончилось*», «...иссякло стремление защищать родные станицы», «*И все же* временами у него *рождались смутная надежда* на то, что опасность заставит... силы белых объединиться, *дать отпор* и опрокинуть победоносно наступающие красные части».

Находясь на пороге смерти, он продолжает анализировать ход борьбы, реально и трезво прогнозирует ее исход. И вместе с тем разделяет судьбу казачества, остается в рядах защитников Дона до конца.

¹² Об отношениях офицеров и рядовых казаков, отсутствии между ними отчужденности писал, в частности, Федор Крюков в «Донских ведомостях» в ноябре 1919 года в статье «Старший брат и младший брат»

«СОАВТОРСКАЯ» РАБОТА НАД ТЕКСТОМ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Изучение текста «Тихого Дона» выявило многочисленные аномальные места, искажающие единое художественное поле или явно из него выпадающие. В каждом отдельном фрагменте, как в случае с «идеями» Гаранжи или с толкованием Библии дедом Гришакой, можно пытаться найти разные оправдания или объяснения наблюдаемого отклонения. Однако, рассматривая все эти случаи совокупно и сопоставляя их с последовательным, цельным движением повествования, можно прийти к ряду обобщений. Прежде всего — насчет характера редакторских вмешательств в текст.

Связанные восдино судьбой Григория Мелехова, несомненно олицетворяющего в глазах автора само казачество и его трагическую участь, аномальные отрывки обнаруживают прежде всего свою чужеродность по отношению к основному массиву текста. Выраженные в них чувства и внутренние раздумья, отношение к событиям и даже сама лексика героев — все чуждо, подчас противоположно тому тексту, в который эти фрагменты введены.

Чужеродность фрагментов приводит к нарушениям логичности повествования и внутренней логики художественных образов, к появлению в тексте явных или скрытых противоречий. Так, героика вдруг ненадолго сменяется предательством, на смену внутренним мучительным раздумьям над жизнью приходит безоговорочная любовь к «родной» власти и столь же безоговорочная ненависть к «генералам» и «офицерам», вместо чистой народной речи — ругань и жаргон городских низов 20-х годов. Вместо сознательного и бесстрашного защитника родины — вояка-садист, которому будто бы все равно, когда, где и кого рубить.

Очень важно, что эти нарушения и искажения художественного поля носят вполне локальный характер. Не найти ни продолжения в последующем тексте встречающихся в этого рода отрывках идей и образов, ни каких-либо оснований на предшествующих страницах романа для такого кратковременного поворота темы. В каждом подобном случае решается как бы локальная задача по «исправлению» или «дополнению» текста.

Пути и методы решения М. А. Шолоховым этих «частных» задач довольно стереотипны. Здесь мы уже указывали на тот же самый: новообразованный фрагмент возникает, как правило, на основе исходного, базового фрагмента текста, отталкиваясь от содержания или лексики которого Шолохов и создает свои дополнения.

Несовместимость авторского и соавторского текстов гораздо глубже частных противоречий. С самого начала мы видим в Григории Мелехове не просто цельную натуру: за всеми его человеческими слабостями и внутренними коллизиями все-таки стоит не разрушенный еще мир старой русской дореволюционной жизни, в котором люди имеют целостное мировоззрение, устоявшиеся понятия о вере, семье, родине и воинском долге. Именно эта нравственная основа, на которой строилась жизнь человека в России, и отсутствует в тех спорадических «блуканиях» Григория Мелехова, на какие обрекает его Шолохов своими добавлениями.

Осознанное отношение к жизни, стремление разобраться и своим умом понять происходящее дополняются твердой волей и решимостью отстаивать с вой в обор. Защищая свое чувство у Аксиньи ценою разрыва с семьей, отечество — от внешних врагов, рискуя жизнью на фронте, родную донскую землю — от безжалостного порабощения, Григорий осознанно и неуклонно следует выбранному им пути.

Психологизм редакторских включений идет вразрез с психологией персонажей «Тихого Дона». Шолохов выдвигает на передний план бессознательность и случайность действий героев, полную зависимость их поведения от внешних обстоятельств; отсутствуют либо прямо отрицаются моральные основы поведения и выбора своего пути; персонажи постоянно понуждаются мысленно оправдываться перед «родной» властью. Более того, в добавленных фрагментах у Григория Мелехова теряется цельное отношение к жизни — шолоховская характеристика «от белых отбился, к красным не пристал» вполне точно передает важнейшую черту, привнесенную соавтором в его характер: аморфность.

Метания в поведении Григория Мелехова, потеря им твердости духа и нравственной опоры рисуют нам в рассмотренных фрагментах не просто другого человека — человека иной эпохи. В его сознании на переднем плане мы встречаем набор идиологических и пропагандистских большевистских штампов (порой напрашивается явная аналогия со сценами ряда известных фильмов 20 — 30-х годов)¹³, причем

¹³ Совершенно права И. Н. Медведева-Томашевская, первой указавшая на подмену в тексте художественных образов пропагандистскими клише и одновременное радикальное изменение лексики (о котором мы подробно сказали выше)

штампов более позднего времени: второго послереволюционного десятилетия. Григорий Мелехов шолоховских дополнений — это герой советской литературы, среди создателей которой был и молодой тогда, начинающий «донской» писатель М. А. Шолохов.

Принимая во внимание и результаты первой части исследования, зададимся вопросом: что же нового можно сказать о «тайнах» «Тихого Дона», о предыстории создания текста и его авторе (авторах?)?

Фундаментальный вывод, который можно сделать на основе проделанной части исследования, относится к тексту романа, его структуре и составу. С первых же глав в тексте обнаруживается обширный слой, обязанный своим появлением другому автору — соавтору. Его работа над текстом сводится к исправлению и редактированию исходного авторского текста, а также дополнению этого текста фрагментами и эпизодами, либо взятыми из книг других авторов 20-х годов, либо написанными непосредственно соавтором. В самых различных случаях соавторской работы наблюдается и нечто общее. Это не просто многочисленные ошибки при описании Донской области, исторических событий, психологии и быта казачьего мира. Соавтор раскрывается нам как человек, далекий от казачества, Дона. А постоянная тенденциозная обработка и нивелировка текста в духе большевистской идеологии и пропаганды выставляет соавтора, помимо всего прочего, неким представителем новой власти, проводником ее идей и установок.

Таким образом, М. А. Шолохов, создав «свое» произведение, во многом уничтожил и разрушил художественный мир первоначального «Тихого Дона». Получившийся гибрид в силу раздвоенности авторской мысли, расщепленности идейной и психологической основы ведет к сбою читательского сознания, особенно когда речь идет о новых поколениях читателей, ориентированных на «Тихий Дон» как на классическое произведение русской литературы XX века. Ведь данный текст оставляет открытым вопрос: на чьей же стороне была правда? Кто виновен в том мученическом пути, которым идет наш народ по сей день?

Еще один фундаментальный результат дает попытка освободить текст «Тихого Дона» (хотя бы мысленно) от соавторских наслоений. Авторский текст в этом случае распадается на несколько полунезависимых произведений. Так, например, предвоенные главы «Тихого Дона» написаны человеком, у которого еще не выработалось в результате многолетней войны и революции катастрофического сознания и видения мира. Начало мировой войны (третья часть романа) описывается скорее в героической тональности, мы еще не сталкиваемся ни у персонажей, ни у самого автора с чувством усталости и безнадежности, которым (после двух лет кровопролитной борьбы) окрашено повествование в четвертой части романа.

И наконец, революция и гражданская война — показанные совершенно другими глазами, чем довоенный казачий мир или же первые месяцы германской войны. Однако самое важное заключается в том, что в тексте «Тихого Дона» по мере развития повествования о событиях гражданской войны обнаруживаются радикальные изменения фабулы и сюжета.

Все это может означать, что автор писал свой «Тихий Дон» одновременно, синхронно с изображаемыми в нем событиями. В соответствии с ними автор неоднократно корректировал текст и даже радикально менял ход повествования. Основной объем «Тихого Дона» создан не позднее 1918 — 1919 годов, но подробный разговор об этом — в следующей части нашей работы.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ



ВОЗВРАЩЕНИЕ

*Полемические заметки о реализме и модернизме**

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

А. Платонов, «Возвращение».

Ие странно ли, что сейчас, в конце века, когда все устали и всем, кажется, «все равно», русской критикой зачем-то вновь поднят проклятый вопрос о реализме и модернизме? Как будто все вернулось назад, в классический «рубеж веков». И «Золотой век» Ерофеева и Салимона — это «Золотое руно» Белого и Блока. И стало быть, выступление Солженицына в «Новом мире» (1993, № 4) против постмодерна — это вставший из гроба старик Михайловский с его ворчанием насчет «декадентских игл», которые «в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы» («Русское богатство», 1898, № 10). А статья Н. Лейдермана и М. Липовецкого о постреализме, как писали бы в тихие годы, «намечает новые пути развития литературы».

Я бы не стал спорить со статьей Лейдермана и Липовецкого и с радостью принял бы ее в качестве «еще одной версии», если бы не действительно принципиальное положение, прозвучавшее в ней мимоходом. Возможно, что авторы и сами не придавали ему особого значения. Вот это место. Объяснив нам, что такое постреализм как форма бытия литературы, критики, между прочим, пишут: «Эта, постреалистическая, концепция человека и мира требует капитальной переориентировки всей системы этических и онтологических координат культуры».

Хочется спросить: и только? Ничего б о л ь ш е менять не требуется? Ну, скажем, отношения между полами, детей и родителей, национальность, выбор пищи, законы, язык... и конечно, не по форме, но «капитально». Если уж постреализм требует...

Разумеется, Лейдерман и Липовецкий ничего такого не думали. Выражение возникло не из головы, оно висело на кончике пера и «капнуло» в случайном месте. Авторы тут же оговорились: «Вернее, само становление этой концепции «проявляет» происходящие в глубине сдвиги» — и т. д., то есть не курица от яйца, но яйцо от курицы. И тем не менее фраза не случайна. Ее притянуло, как магнитом, силовое поле этой статьи, и вынуть ее нельзя; она вернется вновь и будет висеть в воздухе, ибо она «своя» в этом контексте. Ее появление вытекает, как писали ранние марксисты, из «непререкаемости» собственного процесса.

В чем же дело?

* Полемические заметки П. Басинского продолжают разговор, начатый в журнале М. Липовецкого и Н. Лейдерманом («Жизнь после смерти». — «Новый мир», 1993, № 7).

В основе статьи Лейдермана и Липовецкого — мысль о «конце реализма». Мысль не нова, ее с разной степенью категоричности высказывали еще Е. Замятин и О. Мандельштам (о чем авторы статьи пишут); о конце классического реализма писали В. Шаламов в тезисах о «новой прозе», а на Западе, например, В. Вульф Новизна статьи Лейдермана и Липовецкого, собственно, в том, что они предлагают свою версию «жизни после смерти», увидев такую возможность в «новом реализме», или «постреализме», или «экзистенциальном реализме» «Мутация» реализма в XX веке — такая же неизбежность, как и глобальные изменения в человеческом сознании, связанные прежде всего с «утратой смысла». Новый реализм и должен «проявлять» новую реальность, вместо того чтобы консервировать старую систему этических и эстетических ценностей, которая в XX веке не работает. В сущности, «мутация» реализма уже состоялась, и авторы всего лишь берутся описать этот сложный процесс, который, впрочем, не только не завершился, но и является единственной гарантией нашего литературного будущего.

Читая Лейдермана и Липовецкого, я постоянно ловил себя на мысли, что где-то уже встречал подобную логику и, стало быть, прежде чем спорить со статьей по существу, необходимо выявить ее типологию. Наконец я понял, что в основе статьи лежит не факт, но образ, притом чужой. Это образ «мертвого Бога», который неожиданно сместился из религиозно-философского пространства в пространство эстетическое, но сохранил свое силовое поле, свою логику, для статьи определяющие. «Реализм умер», и на его месте образовались пустота, провал, Ничто. И вот задача человека (писателя) восполнить этот провал. «Только так: «из себя», собой заполняя пустоту, человек находит смысл. Ибо только так он может оправдать свою духовную сущность...» — пишут авторы.

Конечно, велико искушение упрекнуть их в том, что они со страстью неопитов повторяют азы европейского экзистенциализма (Г. Марсель, Ж. П. Сартр, А. Камю). И почему бы просто не обратиться к «Мифу о Сизифе», вместо того чтобы изобретать велосипед? Мне также непонятно, почему Лейдерман и Липовецкий игнорируют опыт русской религиозной философии XX века, предлагавшей иные возможности преодоления кризиса сознания и сказавшей свое слово в области литературы.

Но даже не это главное. Как понимают авторы статьи слово «реализм»? И что мы все понимаем под этим словом?

Известно, что в пушкинскую эпоху этого термина не было. Например, Пушкин-критик обходился без него, в случае необходимости прибегая к другим выражениям — «благородная простота» и прочим. Впервые понятие «реальная поэзия» возникает в статье В. Белинского 1835 года «О русской повести и повестях г. Гоголя», в которой он вслед за С. Шевыревым разделил литературу на два типа: реальную и идеальную.

Собственно, определение, которое дает Белинский русскому реализму в своей статье, является настолько емким и точным, что к нему и по сей день нечего добавить. Вот оно: «...простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния». И хотя последние слова (о «комическом одушевлении») как будто относятся только к повестям Гоголя, они также, я думаю, отражают эмоциональный фон всего русского реализма в его самых чистых образцах (от Пушкина до Казакова). Мягкая ирония, сопряженная с грустью, как следствие любовного отношения к миру, несмотря на все его тяготы и кошмары, пронизывает поэзию и прозу Некрасова, Тургенева, Толстого, Лескова, Чехова, Гумилева, Есенина, Шмелева, Зайцева, Заболоцкого, Твардовского, Солженицына, Рубцова, Астафьева, Шукшина, Чухонцева.

Интересно, что именно Белинский, который в будущем занял атеистическую позицию, в статье о Гоголе впервые предложил и духовное обоснование русского реализма. Он писал, что в подлинном творении художника «нет подделок и изысканности; ибо тут не было расчета вероятностей, не было соображений, не было старания свести концы с концами; ибо это произведение *не было сделано* (здесь и далее в цитатах курсив мой. — Л. Б.), не сочинено, а создано в душе художника как бы наитием какой-то высшей, таинственной силы, в нем самом и вне его и находившейся...». Больше того: Белинский вставал на защиту — подумать только! — «свободы творчества» от «лица творящего», то есть не цензуры, не общества, не режима, не толпы, но самого писателя, который бы, допустим, решил, что его талант является его собственностью и он волен ее использовать как ему угодно в целях самовыражения

Впрочем в статье Белинского было и другое, а именно то, из чего затем развился его девиз «Кто в России сходил с пути чистого отрицания, тот падал» — и что послужило

основанием для «реальной критики» Чернышевского и Добролюбова с их грубым использованием русского реализма в служебных целях политической борьбы. (Характерный случай — статья Чернышевского «Русский человек на gendex-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“», в которой об истинном содержании повести не было сказано ни слова, зато помещикам крепко досталось на орехи.) Белинский с сочувствием писал о «характере новейших произведений», в которых «жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии... как будто *вскрывают ее анатомическим ножом...*».

Попытка литературно-анатомического изучения действительности будет заявлена спустя девять лет в известном сборнике «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцию Н. Некрасова» (ч. I, СПб., 1844 / вышла в свет в 1845-м, и тогда же вышла ч. II/), предисловие к нему напишет сам Белинский и он же посвятит ему две хвалесные заметки. Так появилось (с подачи Ф. Булгарина) если не течение, то понятие о «натуральной школе», которая ставила себе задачей показать социальные типы людей в заданных социально-бытовых условиях, то есть высокая планка русского реализма как духовного и эстетического течения XIX века была опущена вниз (другое дело, что литература в своих высших образцах развивалась в совсем ином, не «физиологическом» направлении). Но только спустя полвека понятие ножа (агрессивный способ постижения мира через его «вскрытие», «взламывание») будет осмыслено не в «анатомическом», а прямо — в «хирургическом» ключе. Все лишнее, больное из жизни должно быть удалено, и чем скорее, тем лучше, а литература в этом деле первая помощница — вот лозунг молодого Максима Горького, о котором он объявил в письме Брюсову, как бы между прочим заметив о Бунине: «...не понимаю — как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо?»

Все это известно. Напоминаю лишь затем, чтобы показать, что в судьбе русского реализма всегда возникали течения, которые, имитируя внешнюю оболочку реализма с его условием «истины жизни», на деле искажали его духовную сущность, подменяли любовь к жизни сначала «изучением» ее, а затем и «враждой» к ней. Что же помешало этим течениям заглушить источники русского реализма? Художественная практика. Это хорошо можно видеть на примере Горького, лучшие вещи которого, как правило, вступали в противоречие не только с социально-политическими догмами писателя, но и с его психологией, и с его безбожием как жестом вражды против «неправедного», по его мнению, Божьего мира («Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...»). Конечно, он желал «исправить» людей. Но в то же время, изображая в них и святое и смрадное, он однажды признался: «...я не вполне определенно чувствую: хочется ли мне, чтоб эти люди стали иными?» («Вместо послесловия» в «Заметках из дневника»).

Но вернемся к истории русского реализма. В казенной науке было принято писать, что теория реализма после Белинского получила новое развитие в работах Чернышевского и Добролюбова. Я думаю, что это заслуга не их, а Н. Страхова. Кажется, он был единственным из серьезных национальных критиков, кто не отшатнулся от понятия «реализм», когда оно с легкой руки Писарева оказалось синонимом «нигилизма», то есть отрицанием идеализма любого рода. (Например, Конст. Леонтьев в «Византизме и славянстве» писал: «Материализм всегда почти сопровождает реализм; хотя реализм сам по себе еще и не дает права ни на атеизм, ни на материализм. Реализм отвергает всякую систему, всякую метафизику; реализм есть отчаяние, самооскопление, вот почему он упрощение!») Еще раньше Ап. Григорьев указывал на «повсеместное господство так называемого реализма» и хотя не отрицал известных заслуг Белинского и его школы, все-таки видел будущее за идеализмом.)

Н. Страхов углубил понятие о русском реализме, заявленное Белинским. Он взял только одну его сторону — народность, и показал тесную связь эстетики русского реализма с национальным характером. Впрочем, рассуждение Страхова в статье «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» заслуживает, чтобы его привести:

«Мы, русские, вообще — люди серьезные и не любим ничего внешнего, никакой риторики, никакой шумихи и высокопарности. Для нас кажется лишним всякий избыток в проявлении внутреннего чувства. Тем более нам противно всякое выражение, преувеличенное в сравнении с содержанием. Мы — народ скептический и насмешливый и вместо того, чтобы находить наслаждение во внешнем излиянии внутренних движений, готовы подсмеяться даже над самым искренним и истинным их выражением... Постоянно

колеблясь между этим цинизмом и этим энгуизмом, мы, очевидно, можем быть удовлетворены только *совершенной правдою и простотою как в жизни, так и в художественных произведениях*.

В положении о «совершенной правде и простоте», которое Страхов предлагает в качестве ведущего принципа русского реализма, самое главное не вопросы языка и стиля, но — отношение к миру в целом. Известно, например, что Л. Толстого возмущала фраза молодого Горького «Море смеялось», которая одно время сводила с ума его горячих поклонников (хотя это всего лишь скрытая цитата из «Заратустры» Ницше — «хохоты моря»). Позже Г. Адамович писал по этому поводу: «Толстого эта фраза возмущала и корбила. Не только потому, конечно, что Толстой был стилистом иной школы, но и потому, что его постижение природы было слишком органично и правдиво. Если бы Горький природу чувствовал, он пренебрег бы литературным кокетством. Море не «смеется», — надо, значит, сказать как-то иначе. Словесный оборот выдает Горького с головой».

Итак, что же такое русский реализм как не просто литературное течение, но и — духовное понятие? Это степень доверия к Божьему миру и его сокровенному смыслу. Задача художника не «изучать» жизнь и людей, ни тем более «изменять» их (диалектика любого извращения русского реализма — от «натуральной школы» до «соцреализма»), но благородно и прозрачно отражать их замысел (не художником сочиненный) в тех самых формах, в которых этот замысел уже состоялся в мире. Этот реализм можно назвать наивным (а именно так его называл, например, М. Пришвин), можно даже назвать глупым (если угодно), но все-таки он является стержнем нашей литературной традиции от «Фелицы» Державина и «Капитанской дочки» Пушкина до рассказов Шукшина и «Царь-рыбы» Астафьева. И если русский писатель мучается из-за того, что замысел мира ему непонятен или даже враждебен (а такие чувства посещали всех крупных художников), это вовсе не отрицает вышесказанного, а лишь подчеркивает трудность самой задачи.

В то же время можно сказать иначе: чем менее писатель доверяет высшему замыслу, полагаясь в своем опыте на собственный произвол, тем менее он является «реалистом» в строгом смысле. Именно здесь, в онтологической области, лежит граница между реализмом и модернизмом, не где-то еще; и каждый художник находит ее сам, интуитивно, и сам же ее в каких-то случаях теряет, иногда навсегда.

На этом основании интересно по-новому оценить путь русской литературы в XX веке, не с точки зрения прогресса или, напротив, регресса литературной формы, а исходя из невероятно запутанного комплекса отношений каждого писателя и меняющейся реальности (которую сам же человек дерзнул изменить). Собственно, реализм в XX веке — это огромная редкость, как, например, незагаженные озера, нетронутые леса и стихийно верующие старухи в русских деревнях. Но если отравленный химией водоем никому не придет в голову называть чистым и ловить в нем рыбу, то писать о «мутации» русского реализма как о чем-то естественном, законном и даже необходимом почему-то считается приличным. Никто не будет, находясь в здравом уме, покупать пищу, отравленную радиацией. А вот скрещивать реализм и модернизм не только можно, но и полезно для обоих, считает Марк Липовецкий. Вдруг что-то интересное получится!

Ну а как же опыт «рубежа веков», 20-е годы, андерграунд, эксперименты «новой волны» и «русский постмодерн»? Разве все это было ложью? Конечно, нет. Но я думаю, что весь путь русской литературы в XX веке, который Лидия Гинзбург точно называет поисками реальности, в сущности, и есть процесс осознания русского реализма как единственной ценности, принадлежащей нам в этой области, как своего рода национальной валюты. Эпоха кризиса тем и хороша, что позволяет оценить утраты, для того чтобы, вернув потерянное, пользоваться им уже сознательно, как умный хозяин. Но сначала надо понять, что любые «поиски реальности», какими бы талантливыми они ни были и какими бы писательскими муками ни было за них заплачено, все-таки еще не истина, но только признание ее утраты (подобно тому как «богоискательство» — это прежде всего следствие потери нормального религиозного чувства, замечательно выраженного словами героини Н. С. Лескова: «Я всегда верила и верую в Бога просто, как велит церковь, и благословляю Провидение за эту веру»).

Что же происходило с русским реализмом в XX веке? Авторы статьи «Жизнь после смерти» пишут о кризисе реализма на рубеже веков, о поиске новых форм выражения и новых путей освоения мира, лежащих за пределами традиционного реалистического искус-

ства. Вроде бы это верно. «Мягкой» революции, которую произвели в прозе Чехов, в поэзии — поздний Фет, оказалось недостаточно, 80-е годы проходят под знаком уныния и скуки, всеобщего ожидания какого-то «взрыва»; и вот в 90-е появляются Д. С. Мережковский и М. Горький, а в начале 900-х — А. Блок и Леонид Андреев. Прозе Горького и Андреева публика отдаст предпочтение перед Чеховым и Буниным; пьесы «На дне» и «Жизнь человека» производят фурор, а, например, «Дети Ванюшина» проходят незамеченными. Наконец, в 10-е годы прямое хулиганство русских футуристов принимается как нечто вполне естественно, во всяком случае имеющее право быть в литературе, освященной именами Пушкина и Толстого.

Казалось бы, кризис наличио. Вот только был ли это кризис самого реализма, который, как уверенно пишут Лейдерман и Липовецкий, не сумел постичь «бездны» мира, «оказавшегося сложнее, таинственнее и страшнее, чем его полагала прежняя реалистическая парадигма»; или это был кризис публичного сознания, которое в ожидании чего-то нового, доселе неизведанного согласилось на множество мелких и крупных подмен, предавая свое великое прошлое во имя сомнительного будущего? И так ли уж не способен оказался русский реализм к постижению новой, невиданной реальности, а главное — ставил ли он себе эту задачу: постигать «бездну», в которую падала Россия? Наверное, сегодня не надо доказывать, что русская литература (и, конечно, не только Достоевский, которого авторы статьи традиционнo объявляют предвестником нового реализма) и з н а л а и п и с а л а об этой «бездне» прежде, чем она открылась; что сейчас уже нельзя говорить о прогрессе в литературе в этой области. Не говоря уж о романах «Бесы» и «На ножах», в «Обрыве» и «Отцах и детях» о грядущей трагедии русской революции, а также об ее несомненной бесплодности во всем, связанном с областью духа (то есть с единственной подлинной бездной), сказано не меньше и даже больше, чем в любых произведениях, написанных на рубеже веков.

И не случайно наиболее глубокие критики новой литературы вовсе не считали, что традиционная «парадигма» в чем-либо не состоялась, что ее удел только золотое прошлое, но не таинственное, полное «бездн» настоящее, а тем более — туманное будущее; в критике рубежа веков вопрос ставился с о в с е м н е т а к, как он прочитан авторами статьи в «Новом мире». Если мы в качестве примера возьмем принципиальную работу Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892), с появления которой условно начинается русский символизм, мы никак не обнаружим в ней недоверия к традиции, но напротив — признание ее в качестве вершины, на которую следует подняться современной литературе. «Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности, — утверждал Мережковский. — Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего кроме отвращения, как все мертвое, не могут возбудить». Не надо иметь слишком чуткий слух, чтобы услышать в этих словах эхо мыслей раннего Белинского и Страхова об «истине жизни». «Символами могут быть и характеры, — уточнял далее автор. — Санчо Панса и Фауст, Дон Кихот и Гамлет, Дон Жуан и Фальстаф...» И наконец: «Тургенев — великий русский художник-импрессионист»; «Гончаров из всех наших писателей обладает вместе с Гоголем наибольшею способностью символизма».

Возьмем ли мы статьи И. Анненского, А. Белого, А. Блока, В. Брюсова, З. Гиппиус, Эллиса, Вяч. Иванова, М. Волошина, Н. Гумилева, М. Кузмина, обратимся ли мы к публицистике и критике со стороны знаньевцев (М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, В. Вересаев), не говоря уж о народнической критике (Н. К. Михайловский, А. Скабичевский, М. Гельрот, М. Протопопов), ни тем более о консервативном лагере (М. Меньшиков, Н. Стецкий, В. Розанов), — мы не встретим мыслей о какой-то неполноценности русского реализма по отношению к современным «безднам». (Инвективы Горького в адрес Достоевского и Толстого как проповедников, а также «Розанов против Гоголя» не в счет, ибо первые носили больше политический характер, а второй сюжет есть сам по себе «литература», как и почти все, что написано Розановым.)

Борьба за классику — за преемство, за место под солнцем, то есть перетягивание одеяла, — да, было! Схватка между декадентами и народниками, между символистами и реалистами за наследство, за собственную легитимность в контексте русской литературы — было! И вопрос, в сущности, в том, кто же был менее не прав в этом споре и чья подмена оказалась более крупной. (Самой мелкой из подмен, как ни странно, следует признать нахальные выходки футуристов, которые призывали отменить русскую

классику. И в своем роде они были правы: если «сбросить Пушкина и Лермонтова», на их место непременно должен встать Маяковский с наганом, ибо остальным будет стыдно здесь стоять.)

Вообще вопрос о литературе «рубежа» и русском реализме не есть вопрос о приоритетах. Вернее, с приоритетами все как раз более или менее ясно: серебряный век занимает по отношению к золотому все-таки подчиненное положение. Это грандиозный закат русской литературы, «вечерняя заря искусства», когда «солнце уже закатилось, но небо нашей жизни еще пламенеет и сияет его лучами, хотя мы уже не видим его» (Ницше). Если наложить на историю литературы схему органического развития, предложенную Конст. Леонтьевым, серебряный век можно назвать следующим периодом после высшей точки развития, то есть времени «цветущей сложности», каким являлся XIX век. На рубеже веков наступила короткая эпоха «смесительной» сложности, а за ней длительный период «смесительного упрощения» — неизбежное следствие демократизации русской культуры.

Внешней пестроте художественной и философской жизни рубежа веков, не сравнимой ни с чем ни до, ни после нее, тем не менее сопутствовала относительная (в сравнении с XIX веком) бедность духовная и даже эстетическая. Русская литература расщепляется на множество вариантов и... мелеет, ибо теряет в целом — в простоте, безыскусности, сосредоточенности и наконец в главном: в чувстве «совершенной истины жизни», без которого невозможна ответственность писателя перед замыслом мира, а подлинная свобода творчества опрокидывается в свою противоположность — в «самовыражение» или в безграничную свободу «лица творящего».

А как же формальные достижения литературы «рубежа», неужели и здесь — бедность? Поставим вопрос иначе. Является ли, скажем, проза Бунина прогрессом по отношению к прозе Толстого, Лескова, Чехова или даже Эртеля? Ответить на этот вопрос объективно, пожалуй, нельзя. Кому-то старомодный Эртель, не говоря уж о Лескове, доставит больше именно наслаждения, чем «Легкое дыхание» и «Жизнь Арсеньева». Мода на Бунина, хотя и была поздней и, стало быть, более крепкой, все-таки в конце концов миновала, и сегодня кому-то больше нравится Набоков, а кому-то — поздний Шмелев. Все это, словом, очень зыбко. Но вот что несомненно: в прозе Бунина стилистическая традиция русского реализма как бы впервые «смотрит на себя в зеркало», осознает свою внешность как некую ценность, которая дорогого стоит. Представьте себе, что Толстой, изобретя удачное сравнение (глаза девушки блестели, как мокрая смородина), вдруг восхитился и стал бы сознательно украшать свою прозу такими редкими находками. Не подлежит сомнению заслуга Бунина, заставившего весь европейский мир признать не только духовную, философскую, но и стилистическую ценность русской прозы (следующий шаг за Буниным сделал Набоков), но нельзя не признать, что, «увидев себя в зеркале», русская стилистическая традиция что-то неволью потеряла, стала более однообразной, предсказуемой, сделанной и лишилась очарования первой любви. Проза Бунина безусловно обладает внезапным магнетизмом, который вечен и будет всегда волновать истинный художественный вкус, но вслед за этим неизбежно будет наступать остывание, сменяемое любопытством: а как это произошло и «как это было сделано»? Смотреть в зеркало, вообще говоря, опасно.

Литература «рубежа» все же светит отраженным светом. Что такое «Петербург» А. Белого как не гениальный конспект русской классики с заметками на ее полях, написанный чудакватым студентом-филологом «Боренькой Бугаевым»? Что такое «Митина любовь» если не скрытая полемика с «Крейцеровой сонатой»? Что такое «Рассказ о семи повешенных» если не «Люцерн» Толстого, переписанный на модную политическую тему о «стольпинских галстуках» и внезапно превращенный из апологии милосердия в апологию государственного терроризма? И наконец, кем являлись писатели этого времени, включая будущего отца соцреализма Максима Горького, как не персонажами Достоевского? И не случайно, может быть, единственным формальным достижением этой литературы оказались именно побочные жанры: происходит неслыханный расцвет литературной критики, публицистики, мемуарной прозы, эпистолярного, дневникового жанров; и наконец появляется Розанов с его «комментарием», этим последним произволом в области формы, за которым искать свободы дальше стало уже бессмысленным занятием.

Но остается еще вопрос: а не являлась ли духовная и художественная пестрота рубежа веков наиболее точным зеркалом русской жизни в период, когда эпоха «потекла»? Это так... если смотреть на литературу как на слепок общественной жизни, если забыть об ее

высшей задаче — хранить в себе «совершенную истину жизни», защищать ее от любого рода подмен. Исторической функции этой литературы как памятника своей эпохи никто не станет отрицать. Но какое произведение о революции в конце концов оказалось самым глубоким исследованием ее? «Красное Колесо» Солженицына. Какой роман о гражданской войне будет читаться и через сто лет и больше? Очевидно, «Тихий Дон», или «Солнце мертвых», или «Белая гвардия». И наконец, какая вещь хорошо или плохо, но в самой полной форме отразила эпоху «рубсжа» в целом? Мы все-таки назовем «Жизнь Клима Самгина». В чем же бессилие реализма перед минувшей эпохой?

По истечении времени выясняется, например, что поэма Блока «Двенадцать» потому и несет в себе истинную трагедию революции, что она оказалась, в сущности, весьма традиционной и по форме и по смыслу; что в ней виден главный конфликт в литературе тех лет, о котором писал А. Якобсон: «Воображение поэта распалось угольями жгучих идей, но человечность коренилась в его природе». И не случайно последним выдохом самого честного поэта революции стала его молитва к Пушкину, к его «тайной свободе».

Еще недавно было принято считать, что эпоха 20-х годов была пусть и мимолетным, но все-таки периодом возрождения русской литературы, периодом «цветущей сложности», где наметились пути обновления ветхой литературной традиции. Собственно, идея «новой волны» в прозе (В. Пьешух, Е. Попов, В. Нарбикова, Т. Толстая и другие) — может быть, невольно — выросла из этого времени с его праздничным ощущением свободы творчества на чистых, еще не испсанных полях литературы. В статье «Что такое социалистический реализм?» А. Синявский еще в 50-е годы предвидел, что скучная академическая литература, в которую выродился некогда агрессивный соцреализм, в конце концов сменится «фантастическим» направлением в прозе. Праздник придет на смену будням. Праздник и в самом деле прошумел. Его хронографом стал Марк Липовецкий, и он сам же поставил в своей работе точку, убедительно, на мой взгляд, доказав, что литература «новой волны» оказалась весьма мелкой, что ее приемы быстро оскудели, что ее амбиции были выше ее настоящих возможностей (см. «Литературная газета», 11.11.92).

К диагнозу Липовецкого, собственно, нечего добавить. Тем страннее было увидеть в помянутой новомирской статье сочувственную ссылку на Е. Замятина: «Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, нет этого ограниченного, неподвижного мира, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство...» («О литературе, революции, энтропии и о прочем»). Замятин же писал (в 1923 году): «...сегодня, когда точная наука взорвала самую реальность материи, у реализма нет корней, — он удел старых и молодых старцев» («Новая русская проза»).

В научной логике авторов статьи «Жизнь после смерти» нет логики. Иногда кажется, они подкрепляют цитатами свое теоретическое здание, не сообразуясь ни с местом, ни с временем, из которого берется этот опорный материал, — лишь бы не рухнули крыша и стены. Я всегда думал, что наивно-сциентистские мысли Замятина, относящиеся к 1924 году, о «синтезе» следует понимать т о л ь к о в контексте смутного времени 20-х годов, как и его прогнозы о «фантастическом реализме», перехваченные Синявским тридцать с лишним лет спустя, как и, наконец, его странную фразу: «...я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое», которая, будучи вынутой из контекста статьи, может ведь и так пониматься: он боится, что русская литература в будущем станет слишком традиционной.

Сегодня читать статьи Замятина (и Шкловского, и Тынянова, и даже Воронского) безусловно интереснее, чем общий поток словесности 20-х годов. Это была именно с л о в е с н о с т ь, а не литература, нечто «без божества, без вдохновения», но с поразительным мальчишеским азартом сотворенное, какой-то неряшливый памятник неряшливой эпохи. Не будем касаться очевидностей вроде «Кузницы», РАППа или ЛЕФа с их громкими претензиями (ничем не обеспеченными) и прямыми доносами по начальству. Возьмем самое культурное ядро литературы этой эпохи, попутчиков, — что же мы видим? В массе своей прозу и поэзию 20-х годов перечитывать невозможно, поскольку она пронизана, как ядом, враждебностью к жизни, плохо скрытой внешним ощущением ее праздничности, цветистой неразберихи. Иного и быть не могло, ибо праздник гулялся на крови и костях не-

давнего прошлого, и это самочувствие не покидало ни одну душу, еще окончательно не разложенную поздним советским цинизмом.

Метания прозы этого периода от «фантастического» направления (В. Кавсрин, Л. Лунц, М. Слонимский, И. Эренбург, А. Толстой с его «Аэлитой») к «наивному» или «бытовому» реализму не назовешь случайными. Первое было прямым бегством от жизни, а второй — очевидной подменой подлинного реализма своеобразным эстетством, духовная природа которого все еще остается невыясненной. Проза о гражданской войне (Вс. Иванов, И. Бабель, А. Серафимович, А. Фадеев, В. Бахметьев и другие) весьма мастеровита, красочна, жизнеподобна, но именно это и мешает поверить в ее правдивость. Все слишком преувеличено, как в прозе Леонида Андреева, который недаром был тайным кумиром 20-х. О прозе Вс. Иванова сам же Замятин писал с иронией: «Чтобы Вс. Иванов много думал — пока не похоже: он больше нюхает. Никто из писателей русских до сих пор не писал столько ноздрями, как Вс. Иванов. Он обнюхивает все без разбору, у него запахи: «штанов, мокрых от пота», «пахнувших мочой Димитриевых рук», псины, гниющего навоза, грибов, льда, мыла, золы, кумыса, табаку, самогона, «людского убожества» — каталог можно продолжить без конца» («Новая русская проза»).

Самый умный и чуткий из критиков-марксистов Ал. Воронский первым почувствовал в этой литературе симптом нового, советского мещанства, тем более страшного, что прежнее, «буржуазное» мещанство было утоплено в крови. «Любовь эта к материи, к плоти бывает грубовата, даже подозрительна... в этом сквозит уже мещанин нового времени, который тоже по-своему ценит лишь материальное и презрительно относится к духовным ценностям»; «...но в общем, — писал неисправимый марксист, — это пока нормальная, здоровая реакция против прежних потуг открыть потусторонние миры, божественную стихию, против некротомии в искусстве...» («Искусство видеть мир»)

И что же на деле осталось от литературы 20-х? «Епифанские шлюзы» Платонова, «Белая гвардия» Булгакова, «Черный человек» Есенина, проза Зощенко и Замятина, стихи Пастернака и Мандельштама... Это целый литературный материк. Но о каком «постреализме» и вообще о каком «новом реализме» может здесь идти речь, если все это потому и сохраняет значение в наши дни, что все-таки питалось прежней русской культурой, а потому вступало в противоречие с «праздничной» эпохой, напоминая о простых человеческих истинах. Замятин-прозаик, конечно, ближе к Лескову, чем к Эйнштейну.

Ну а как же Андрей Платонов? Разве его романы «Чевенгур» и «Котлован» не доказывают ясно правоту слов о «синтезе» и о конце старого реализма? Я думаю, что говорить о Платонове, не учитывая весь его путь, выхватывая из него середину, неверно в такой же степени, в какой прежде писали о Блоке, используя по мере надобности нужные из него цитаты. Платонов шел от «Епифанских шлюзов» и «Сокровенного человека» через опыты «новой прозы» 20 — 30-х годов к патриархальной простоте рассказа «Возвращение», созданного уже после войны. Это, конечно, весьма жесткая схема его пути, но она о чем-то говорит. В судьбе Платонова есть общее с судьбой Заболоцкого: эти писатели р о с л и через эпоху, менялись вместе с ней, в этих судьбах мы и в самом деле отыщем ключ к пониманию того, что же случилось с русским реализмом в XX веке.

Конечно, рассказ «Возвращение» нельзя считать ни венцом литературной эпохи, ни началом какой-то новой художественной традиции. Да и в судьбе Платонова он как будто занимает самое скромное место. Но его появление после войны глубоко символично. Это символ всей нашей литературной (не только литературной) жизни в XX веке. Это возвращение русской литературы через эпоху великих искушений, через огромные потрясения и усталость к «истине жизни», заключенной прежде всего в с е р д е ч н о м отношении к миру (см. в этой связи важную работу И. А. Ильина «Путь к очевидности» — глава I «Бессердечная культура»).

С рассказа «Возвращение» начинается возрождение русской литературы после мертвого сезона соцреализма. Этот процесс еще не только не описан, но и не понят и не оценен по достоинству. После всех мучительных испытаний века наша литература возвращалась в свой дом — в русский реализм. Появление «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, документальной прозы 40 — 50-х годов, «Одного дня Ивана Денисовича», деревенской прозы, Ю. Казакова, Вик. Курочкина, В. Шукшина и даже таких, казалось бы, случайных вещей, как «Дом с башенкой» Ф. Горенштейна, «Шура и Просвирняк» М. Рощина, повестей В. Богомолова... — надо иметь слишком чужое зрение, чтобы не заметить в этом чудо такое же, как рост травы через бетон. Сегодня об этом еще сложно писать. Тем более сложно доказывать. Но я убежден: со временем вдруг обнаружится, что «Трали-вали» Казакова,

или «Алеша бесконвойный» Шукшина, или «Василий и Василиса» Распутина стоят выше целых эпох литературных исканий (даже и в эстетическом смысле, то есть с позиции чувства красоты). Потому что в них есть прямое дыхание истины.

В этом плане уже как-то неинтересны споры о новой и старой литературе. «Самые большие открытия модернизма остались позади, в первой половине века, — пишет Л. Гинзбург и напоминает: — Модернизм насчитывает по меньшей мере сто лет» («Литература в поисках реальности»). Что же делать, если мы были задержаны в литературном развитии на тридцать лет и наша литература еще не нагулялась на волюшке, еще не вычерпала до конца миску с чечевицей модерна. Пусть себе догуляет и пусть довычерпает! Модернизм уже старый, как и весь XX век. Он уже объявил себя постмодернизмом и согласился устами Вяч. Курицына... включить христианскую систему ценностей в «богатый вариантами постмодернистский космос» («Литературная газета», 14.10.92). Это — логика поражения!

Я думаю, опасность в другом. А именно: в «мутации» реализма, о которой пишут Лейдерман и Липовецкий. В самом деле, почему бы не установить какой-нибудь «консенсус» между реализмом и модернизмом, не «поженить» их и не произвести на свет Божий нечто в новом роде? Такая мысль носится в воздухе и кажется вполне законной ввиду общей усталости века и всеобщего ослабления воли. Тем более что реализм тоже устал и нуждается в обновлении. Тем более (и это, увы, тоже важно) публичная мода ему не поворачивает и какой-нибудь «Змеесос» Егора Радова заметят скорее, чем прозу Петра Алешковского или Светланы Василенко.

Почему бы и нет?

Между модернизмом и русским реализмом лежит граница, переступать которую, во всяком случае, нельзя. Вернее, модернизм этой границы просто не видит, не знает о ней (в этом глупое его счастье), он живет только «по сю сторону», и потому вопрос в этом случае снимается. Реализм ее видит, знает о ней, и перебежка на «ту сторону» будет уже чистой воды предательством. Граница пролегает через понятие «свобода творчества». Модернизм видит в мире и в слове м а т е р а л для творчества. Даже если он не агрессивен в отношении к миру, не старается изменить мир, а признает его таким как есть и даже на все согласен, лишь бы оградить автономность своего творчества, он все же органически не доверяет миру, не любит его, не знает о его замысле и даже просто б о и т с я его. Движителем его творчества является более или менее сознательный пессимизм: желание сотворить хоть какое-то подобие собственного мира из кусков мертвой реальности — или мертвых культур, как в случае с постмодерном. Когда я пытаюсь увидеть его в личности, мне почему-то вспоминается дворовый идиот, который вслух на скамейке читал газеты (картинка детства), взмахивал руками, сердился, смеялся, плакал, тряс головой, сучил ногами... Что-то такое происходило в его мозгу. Он к л е л непостижимые для него куски жизни в какую-то новую собственную организацию. Он был совершенно свободен, над ним не тяготела никакая воля. О таких говорят: он счастлив... но не дай нам Бог!

Реализм знает о замысле мира, чувствует его и берет на себя добровольное страдание правдивости: лепить не по собственной воле, но «по образу и подобию». Реалист обречен выжидать, пока «тайна» мира, «сердце» мира, «душа» мира не проступят с а м и в его писаниях, пока слова и сочетания их не озарятся с а м и внутренним светом, а если этого нет — игра проиграна и ничто ее не спасет. В реализме нет и не может быть никакой политики; все в конце концов встает на свои места: является человек, который как-то ставит рядом обыкновенные слова, а они звучат уже по-другому и смысл их совсем другой. И в этом — его счастье.

Любые средние фазы между реализмом и модернизмом ведут к гибели реализма. Его цели и смысл слишком точны и не терпят никакой относительности. Если художник согласился на произвол, на «самовыражение», значит, он потерял доверие к миру, к его замыслу и теперь его цели лежат совсем в другой области и его счастье — совсем другое.

Литература и искусство

О «КАФКАХ» ПОЛЬСКИХ, ЧЕШСКИХ И РУССКИХ

Б р у н о Ш у л ь ц. Коричные лавки. Санатория под клеписдрой. Иерусалим. «Гешарим». М. Еврейский университет. 1993. 256 стр.

В начале этого года вышла наконец на русском отдельным изданием книга прозы Бруно Шульца в переводах Асара Эппеля

Польская литература в прежние годы переводилась у нас обильно, качественно, даже разнообразно, но странным образом в число переводов не попадали не политэмигранты даже, что легко объяснимо, но три, может, самых значительных и, уж во всяком случае, самых оригинальных польских писателя XX века: Виткацы, Бруно Шульц, Витольд Гомбрович. Что характерно, всех троих в межвоенной Польше, несмотря на разницу в возрасте, происхождении, месте проживания, связывали узы если не дружбы, то приятны, понимание того, что в современной им литературной и культурной ситуации они — «другие», да просто — мистры

Но оказалось, что именно эти трое как никто почувствовали гнойный нарыв внутри своего бодрящегося времени, какой-то изъян в природе человека, обративший мир в наклонную плоскость, а затем в воронку. Двое первых оплатили счет собственной интуиции жизнью. Третьего война застала на экскурсионном пароходе, идущем в Аргентину. Экскурсия растянулась на двадцать лет

Бруно Шульц — писатель и художник-график, невольный гражданин трех империй, последовательно переводивших его из первого сорта в третий, вплоть до полного списания. Была еще, к счастью, пауза для жизни в послеверсальской Польше, в которую и укладывается его недолгая творческая биография. Весь свой век он прожил в родном Дрогобыче, небольшом прикарпатском городке, на улицах которого и был застрелен в ноябре 1942 года. Сам по себе факт практически безвыездной жизни писателя такого (европейского) класса в захолустье — факт знаменательный, во многом задавший характер как его прозе, так и писательской судьбе. Убогие стены этого провинциального мирка могло раздвинуть только воображение, выводящее за пределы линейного времени, — и оно правит пир в прозе Шульца. Следует от-

личать воображение от экстенсивного — безответственного вообще-то — фантазирования, направленного вовне. Фантастов много. Мастеров воображения, проникающих в глубь явления, в его скрытую потенцию и суть, гораздо меньше. И Шульц закладывает и возводит на литературной карте мира свой мистический и гротескный Дрогобыч с его опасной и непредсказуемой «улицей Крокодилов», запахами колониальных «коричных лавок», музейными миазмами «второй осени», с зимними «завирюхами», сравнимыми с космическими катаклизмами, с прогулками, длящимися вечность, с желаниями, что заплетают воздух тугими узлами и затем — будто пройдя сквозь руку фокусника — растворяются без следа, с беспокойными снами об упокоении, обретенном наконец в санатории под водяными часами, — и город этот оказывается не меньше чего бы то ни было в мире все, что есть во вселенной, сохранено и отпечаталось в его изотропной структуре

Странная субстанция использована для его строительства материя снов, энергия парадоксально выстроенных словесных рядов, сецессионная цветистость и шарм декадентской рефлексии (со всеми этими «экземплификациями», «транспозициями», «фебрильными грезами» и «эксцитациями» в авторской речи), но главное — с галлюцинаторной ясностью увиденная хищным глазом художника вещьность мира, на деле — обманчивое ветхое покрывало, оптический фокус, создаваемый интерференцией невидимых, но осязаемых, перетекающих волновых энергий, лежащих в основе мира, — единственно подлинных и реальных. Содействующий в этом последнем допущении, ставшем убеждением, магизм и есть ключ к его вегетирующему стилю, к миру, попавшему в плен бесконечной фабрикации материализующихся метафор, обращающихся на глазах в сор. И единственно что здесь важно — это сам длящийся момент, сам процесс трансформации, в котором и заключена искомая и ускользающая, утрачиваемая ж и з н ь.

Мотив трансформации, превращения и взаимопересечения «книги» и «мира» и трагической перманентной утраты смысла при этом и есть то, что связывает Шульца с современной ему новой европейской литературой. В частности, с Кафкой. Кафка при этом — особая тема. Расхожий трюизм, всеми ныне опровергаемый «Шульц — польский Кафка», — все же имеет некоторые основания для существования. Опровергатели исходят из стилистической непохожести Кафки и Шульца: лабораторно стерильного, пуриста в стилистическом отношении Кафки и варварски цветистого, неумеренного, «переразвитого» — всего на грани (и за гранью) дурного вкуса — Шульца, а отсюда следует и разница достигаемых ими художественных результатов. Что ж, это действительно так. Шульц сам многократно давал метафору своего стиля — одной из его составляющих, это сад-палисадник-пустырь где-то на задворках города, взбесившийся от послепопуденного зноя и разрастающийся буйно вспухающим бесстыжим мясом лопухов, бурьяна, бузины в припадке языческого (по-польски лучше — поганьского) плодородия. У Бабея есть где-то воспоминание, как мучительно описывал он разлагающийся труп: как всегда, переделывал раз десять, расписал на абзац все цветные пятна, и сукровицу, и вылезшие черные жилы, затем перечеркнул и написал: «На столе лежал длинный труп». Так вот, Шульц чаще всего похож на первую редакцию Бабея. Та же бешеная вещьность, педалирование материальности предмета описания, как бы призванное компенсировать немощность его экзистенции, подвергшейся разьедающему действию рассудка: еще немного и — аллегория, к а р и к а т у р а. По счастью, за редкими исключениями («Весна»), до этого не доходило.

Без сомнения, Шульц — явление не столь художественно бескомпромиссное и универсальное, как Кафка. И все же огромное количество черт связывает их и роднит, начиная с общего культурного пространства Австро-Венгерской империи, взятого во всей подробности его духовной проблематики, воспринятого при этом и представленного сквозь общую для обоих призму мазохистической личности, и кончая некой «сно-родностью» их творческого метода — это как два дополняющих друг друга подхода к описанию снов. Сердечник магнита, возбуждающий токи в текстах обоих, — в снах, в не исполненных желаниях, в фобиях и травмах. С некоторой натяжкой я бы рискнул утверждать, что они отличаются, как, скажем, ранний — экспрессионистский — Кандинский от позднего.

Ключевой фигурой мира обоих является Отец, конфликт с которым или утрата которого служат тем первым толчком, что понуждает каждого из Сыновей привести в движение свои творческие миры. На какой-то стадии этот конфликт с необходимостью приобретает религиозный характер, перерастает в конфликт с миром, с тем чтобы вернуть Отца. Одежды разные: у Кафки драма разыгрывается в беспощадных одеяниях ортодоксальных, с юридическим уклоном, категорий (Закон, Процесс, Замок), у Шульца скорее в цветастом хасидском халате, с живописанием и неким пантеистическим душком, — но конфликт один, характер травм очень близок.

И еще: оба эти мира не стоили бы ничего без подлинной страсти, без подробности и абсолютной достоверности заключенных в них личных оборотов их создателей и жертв. Странное дело, с громоподобной наивностью когда-то заметил Паскаль, что ведь мы любили писателя, художника. И совсем не за то, что он «хорошо пишет», — это лишь условие, необходимое, но недостаточное.

В мире Шульца разыгралась драма поражения отца — Иакова. В героическом противостоянии хаосу последний был умален и низведен до чучела кондора, до таракана, до кучки сора. Вследствие этого ничего поначалу не понимающий сын — Иосиф — оказался брошен на произвол сошедших с круга стихий, подвергнут безраздельной и беспрекословной, лишившейся формы женской власти, вовлечен в механизм прогрессирующего грехопадения, «уподления» мира, где место духа — осебежающе абсурдных идей отца — занял болезненный, потерявший ориентацию эротизм, а место Истории — погода и климат. Из мира оказался вынут стержень — рыцарь («Мой отец идет в пожарники»), и мир обернулся дешевкой, мистификацией, псевдоматерией. Так устроено, что Сын не может и не должен быть свидетелем позора Отца, иначе мир рухнет. Иосиф — это Гамлет, не отомстивший за низведение, унижение отца, за что и наказан неизбывной виной. Здесь истоки письма Шульца.

Оказавшись онтологически нищим — или еще точнее: ограбленным, — он проваливается в магию, в ворожбу. Он пишет две книги — «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой», которыми хочет вернуть Отца в его силе и где развивает апологию чуда, вселенского декалькомани, возвращенного рая, — или «гениальной эпохи», как называет он ее на своем артистическом жаргоне. Однако остаточный принцип реальности, чувство вкуса и вдруг откуда-то взявшееся — да! — мужество понуждают его тонко окрасить эти книги,

пропитать их во всю глубину животоорящей влагой комического, что придает им такое горькое и грациозное очарование.

Симптоматично появление переводов Шульца сейчас (даже если сделаны они были еще в 60-е годы). Действие некой скрытой закономерности видится в этом. Что вообще необходимо, чтобы переводчик заинтересовался автором и чтобы его перевод был воспринят читателем? Эдгара По, например, начали переводить и читать в России чуть ли не при его жизни, а его современника Гоголя переложили на английский лишь в XX веке, чтобы еще позднее числить его чем-то вроде «русского Кафки», что-то «в этом роде». Рискну предположить, что удачно своевременный перевод — словно ответ, подсмотренный в задачке, когда условия задачи уже поставлены твоей культурой на твоём языке, но соответствующего решения пока нет. Переводится ведь, в счастливом случае, не просто другое-далекое-новое, а как раз то, чего как бы не хватает здесь, на месте. Русская литература в каком-то смысле вернулась сейчас к тому месту, где она разошлась с мировой. Поэзия, потрепетав на встречном историческом ветру, сложила на время свои летательные части. Беллетристика спит вечным сном, что является ее естественным состоянием, позволяющим в любую эпоху и в любой стране фабриковать в неубывающем количестве свои стандартизированные грезы. За нее можно быть спокойным — она бессмертна. Проза же ведет монолог запойного пьяницы, очнувшегося в незнакомом месте: кто я? где я?! Это место очень похоже на раз уже описанное лет семьдесят назад Тыняновым в статье «Промежуток». Примерно в то же время, начиная мучить бумагу, Шульц думал примерно над теми же вопросами.

Шульц не реалистический писатель, он примыкает к тому ряду крупнейших прозаиков XX века, которые провели внезапную и стремительную операцию по захвату исконных территорий поэзии, смело введя языковую проблематику в плоть своей прозы, сделал упор на фактуру слова и долготу дыхания фразы, на сам характер высказывания, на языковую по преимуществу интуицию размера целого. Способ речи потеснил у них и перевесил традиционные прозаические «добродетели» — как то: фабула, персонажи — с их психологией, идеологией, диалогами, пространственно-временными и каузальными связями, завязками-развязками и прочим. Потерявшему восприимчивость, полуслепшему читателю дали новую оптику — вернули зрение: состоялось открытие нового полноценного способа бытования в языке литературного

текста. Набоков, Платонов, Джойс, Борхес, тот же Гомбрович растворяются в своем языке практически без остатка — он подлинный субъект их творчества, имеющий собственное бытие, свое словесное, вполне осязаемое, парадоксальное тело, свои гносеологические пределы. Переводить таких писателей невероятно трудно. Их переводчиков следовало бы производить в кавалеры и награждать по факту перевода медалями за отвагу.

Асаром Эппелем, переводчиком Шульца, проделан огромный — каторжный труд. Им был взят верный курс на сохранение во всей полноте словарного богатства Шульца и экстремум его стиля, когда из ряда синонимов, скажем, берутся лишь самые крайние, максимально экспрессивно окрашенные, почти вышедшие из повиновения — «неподзаконные» — слова. Многие решения Эппеля изящны; хотя, на вкус рецензента, кое-где в переводе можно было бы обойтись без экзотически звучащих для современного русского уха — и вполне обыденных для польского «эксцитации», «элоквенций», «арогантных контрапостов» и прочих «опытов языкового расширения». Помимо выписанных с большим чувством лирических пассажей наиболее удачными представляются переводы тех новелл, где прослеживается фабула, опосредование действием, где фраза укорочена и где в буйство не впадают предавшие «разнуданному партеногенезу» шульцевские описания. Именно здесь подстерегала — и подстерегла — переводчика опасность. Некая стратегическая ошибка при этом была, как кажется, допущена им — грех потери дистанции. Наведя фокус на слово и гонясь за ним, как за бабочкой, переводчик, поддавшись коварству близкого языка, дал втянуть себя в лабиринт его ветвящихся конструкций — и потерял ориентацию. Там, где у Шульца идут выходящие из-под контроля саморазрастающиеся описания, монологи с практически незнакомым русской литературе пафосом, с их головоломным синтаксисом (за которыми, между прочим, в польской словесности века иезуитской риторики и католической проповеди) и где Шульц всегда почти сводит концы с концами, переводчик зачастую теряет и начинает выдавать «близорукий» перевод, местами просто подстрочник. И возникают в русском переводе обороты типа «для цепляния и удержания кислородных струений» или о бабочках, «трепыхающихся в пламенном воздухе неуклюжими метаниями», — так же как скалькированные по польскому словообразовательным моделям «неологизмы» вроде: «сказанные голы», «выпространивается», «вымерещивая», «осолнцованная», «фантастилась»,

«нсукуноже учудовищенное» и т. д., и т. д. Но это частности.

Главное — после разрозненных публикаций в различных журналах Шульц пришел наконец к русскому читателю отдель-

ной книгой и практически в полном объеме. Будем читать этого странного писателя. Он того стоит.

Игорь КЛЕХ.

Львов.



«С ТОГО БЕРЕГА» О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Ж о р ж Н и в а. Солженицын. М. «Художественная литература». 1992. 192 стр.

Надо ли говорить, что любое значительное явление словесности, каждый не гаснущий творческий микрокосм существует в симфонии со своими исследованиями и толкованиями. Иногда тут, правда, неизбежны и переборы: так, перегруженный аллюзиями «Улисс» Джойса сразу по выходе стал гигантской поживой для интеллектуальной «саранчи» на много десятилетий вперед.

Но и творчество, органически сориентированное непосредственно на читателя, безусловно нуждается в *п у т е в о д и т е л е*, проводнике, популяризаторе, открывающем его не только потомкам, но уже современникам. Это тем более важно читателям, говорящим на ином, чем постигаемый ими автор, языке, живущим в ином мире, иной реальности. Монография «Солженицын» французского слависта Жоржа Нива, замечательного знатока и просвещенного энтузиаста русской литературы, вышла в Париже еще в 1980 году и заслужила высокую оценку в Европе. Переизданная в дополненном варианте теперь в России по-русски, она интересна нам сразу по двум причинам: по-первых, к стыду нашему, это вообще первая книга о Солженицыне на родине нашего великого соотечественника; во-вторых, она позволяет нам ознакомиться с самим «срезом сознания» современного европейца-русиста, с его углом зрения на нашу, как теперь говорят, ментальность, на нашу культуру в целом. Ибо Солженицын и впрямь не «просто писатель», но средоточие всей ее традиционной и новой проблематики

Дело не в том только, что Нива скрупулезно изучил биографию и творчество Солженицына и вот — вводит нас в его творческую лабораторию. Судя по его книге, он один из немногих в зарубежье читателей, который, кажется, улавливает те почти физически ощутимые духовно-нравственные эманации, что идут со страниц творений Солженицына (как и со многих страниц других русских классиков или же от икон). Линия, которую Сергей Аверинцев дерзновенно, но и логично протягивает от Андрея Рублева к Толстому и Достоев-

скому, тянется и далее — к Солженицыну. Ибо Солженицын укоренен в самой религиозной «инфраструктуре» нашей культуры, укоренен органично, не эклектично. В этом отношении Солженицын, быть может, вообще последний великий русский: чудом, из «первых рук» принял он то, что мы воспринимаем уже опосредованно и неотчетливо.

Жорж Нива сближает мировоззрение Солженицына разом и со славянофилами и с Владимиром Соловьевым. «Ничего нельзя понять ни в русских славянофилах, ни в Солженицыне, — утверждает Нива, — если не видеть религиозного источника их славянофильства. <...> Нация для Солженицына — это личность. Как у любого человека, у нации есть лицо и совесть». Для Солженицына, как и «для Соловьева, стать частицей своего народа означает стать деятелем Царства Божия, частицей иконы-нации; и первым к тому условием, как для нации, так и для личности, служит исповедание грехов. Есть нечто чрезвычайно важное в той настойчивости, с какою Солженицын напоминает о «даре раскаяния», отличавшем русскую жизнь, о «прошеном воскресеньи», о «волнах раскаяния», набегавших регулярно и оздоравливавших русскую жизнь».

Нива пишет о самом для нас, соотечественников Солженицына, актуальном и важном, поэтому с ним не только радостно соглашаться, но и интересно полемизировать. Так, недостаточно убедительной кажется параллель между Солженицыным и Константином Леонтьевым: различий тут гораздо больше, нежели сходства. Да, оба они видят не апофеоз, но энтропию — в космополитической нивелировке народов, переживают как катастрофу полную секуляризацию человеческого сознания. Но на этом сходство кончается. По Леонтьеву — красота прежде всего в эстетике, по Солженицыну — в этике. Леонтьев выстраивал теократическую утопию, видя будущую Россию как «Главу Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре» (и это при том, что большинство населения жило тогда просто-напросто в

неудовлетворительных, неблагополучных условиях). Солженицын бедой русской истории считает неоправданное географическое разрастание — в ущерб внутреннему обустройству души, земли, общества. Леонтьеву — после православия — ближе всего воинственность Корана (он и к православию как бы не прочь привить магометанский «дичок»); Солженицыну — на это не раз указывает и сам Нива — ближе буддизм и Конфуций. Леонтьев и оптинские кlobук и строгость, кажется, обращает на пользу своему идейному эстетизму. Солженицын проживает век в разумном самостеснении. Ну и так далее¹.

Непредвзятый и свежий взгляд позволяет Нива видеть творчество Солженицына под непривычным и новым углом зрения, например, сблизить его ранние драмы с «Горем от ума» Грибоедова. Многие считают Солженицына тяжеловесным патетиком, — Нива видит в нем выдающегося сатирика (страницы, посвященные солженицынскому «Телёнку...», одни из самых проникновенных и пронизательных в его монографии). Повсеместно мнение, что Солженицын кондовый традиционалист, «реалист, тяготеющий к соцреализму с обратным знаком» (Синявский). Нива же говорит о «неистовости», вложенной Солженицыным «в усилье поэтического обновления, которое своими языковыми формациями (очевидно, следовало бы сказать «своими словоформами». — Ю. К.) приводит на память Хлебникова», и утверждает, что «в конечном счете именно реформа литературного языка находится в самой сердцевине солженицынского творчества». И цитируя действительно гениальный солженицынский анализ слова «острог», восклицает: «Какое замечательное хлебниковское стихотворение!»

Солженицыну, восхищающемуся прозой Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, «и самому знаком принцип мощной поэтической

организации прозы, превращающий каждую главу в некую лирическую единицу, нередко расчленяемую на абзацы-стихи».

Самим Солженицыным подсказано и еще одно имя из его «родословной» — Замятин, считавший главной задачей русской литературы «сближение языков литературного и разговорного. Сближение это, — напоминает Нива, — осуществленное во французской культуре такими писателями, как Селин, прошло в России много этапов, начиная с лингвистического мистицизма футуриста Хлебникова, через коллажи Пильняка и до «Одного дня Ивана Денисовича»». О каком же «сближении» говорит Нива, ведь на первый взгляд язык вышеупомянутых авторов да и «Ивана Денисовича» кажется как раз необычным и далеким от разговорного? Но это только на первый взгляд. Мы просто привыкли к усредненному, посредственному литературному языку, который ощущается нами как «обычный» и натуральный. На деле же лингвистический взрыв многих писателей-новаторов, глядящих, так сказать, языку «в корень», ближе к жизни, чем унылый «реалистический» язык беллетристики, которую еще Мандельштам называл ползучей.

Язык Солженицына непринужденно меняется в зависимости от того, о чем повествуется. Словесная ткань его творений — симфония, пожалуй, не имеющая аналогов.

...У русской литературы Жорж Нива не в гостях, а дома, потому-то так свободны, пластичны, непринужденны и точны его филологические сопоставления. «Воротынец слышит между разрывами: «как знатоку» вместо «как на току». Так же Безухов слышит «сопрягать надо» там, где сказано было: «запрягать надо». Как и у Толстого, мужицкое слово раскрывает барину глубинный смысл жизни и истории».

Но как только разговор от поэтики, языка, фабулы, биографии Солженицына переходит собственно к его историософии, так Нива почему-то готов утверждать диаметрально противоположное Солженицыну.

Нива: «Солженицын формулирует резко и однозначно: это чужаки, пришельцы устроили у нас революцию, и главной ее жертвой стал русский народ»; «Парвус словно заряжен грехом ненависти к русскому народу, и, конечно, не случайно, что он еврей на все сто процентов»; Солженицын «отрицает русскость революции (<...>, не способен избежать давнего недостатка русской мысли — поклонения народу, который тем более свят, чем более замаран, осквернен».

Солженицын: «Виноваты все, включая простой народ, который легко поддался на

¹ Мистико-геополитические мечтания леонтьевского толка окончательно приобрили гротескную окраску у архиепископа Антония (Храповицкого), писавшего перед самой революцией как о деле, считай, решенном: «Не Европу только надо очистить от турок, а весь Православный Восток: Господень Гроб, Голгофу, Вифлеем, Дамаск, Бейрут <...>. Если это будет сделано, то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую губернию. Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской речи, для русской торговли и промышленности». Леонтьевская эстетизация воинственности с жутковатым комизмом преломляется ныне в публицистике неосоветских государственников — Т. Глушковой, А. Проханова и других.

эту дешевую заразу, на дешевый обман, и кинулся грабить, убивать, кинулся в эту кровавую пляску. Но все-таки более всех виноваты, конечно, правящие, потому что на них лежит историческая ответственность, они вели страну, и если они даже лично виноваты не больше других, то как правящие виноваты больше других».

«Тайный двигатель солженицынского творчества, — писал отец Александр Шмеман, — я назову зрячая любовь. <...> Не просто любовь, которая может быть, и так часто бывает, и слепой, и страстной, и непросветленной, которая как раз и создает идолов и которая во всех этих случаях уже не христианская любовь <...>. Но и не просто зрение, которое отлично может совмещаться и с неправдой, и с ненавистью, и с подозрительностью, про которое можно сказать: «Глазами своими будете смотреть и не увидите». Нет, именно зрячая любовь — таинственное сочетание любви и зрения, где любовь, очищенная «зрением» от всякой иллюзии, пристрастия, слепоты, становится подлинной любовью, а зрение, углубленное любовью, становится полным, способным вместить всю правду, а не разорванные ее обрывки, идолопоклонниками всех «лагерей» выдаваемые за целое. Именно такая зрячая любовь и лежит в основе солженицынского творчества, являет нам его как некое чудо совести, правды и свободы». Солженицыну «суждено, по-видимому, занять трагическое по своему одиночеству место экзорциста русского сознания, освободителя от всех идолов, пленявших и пленивших его».

Немецкий генштаб, заокеанские финансы и нерусские военные формирования сыграли в революции значительную и страшную роль, в социалистическом и большевистском руководстве преобладали евреи — ослеплять, а не осмыслять это, даже и малодушно. Но Солженицын не был бы великим писателем, если бы остановился только на этих данностях исторической эмпирики. Важней — не кто в этом соучаствовал, но — как это могло случиться. И он ищет революцию глубже — в самых основаниях российской истории последних столетий: в Петре, в расколе, в давно устаревшей общине

Целый клубок недоразумений и в утверждении Нива, что представление Солженицына «о русскости как о сочетании твердости с кротостью побуждает его к отказу от русского православия, слишком часто смирявшегося перед властью. Этому русскому «византизму» он, очевидным образом, предпочитает старую веру, старообрядцев Заволжья <...>». Прочитав такое, можно и впрямь подумать, что Солженицын сделал свой конфессиональный выбор

в пользу старообрядчества. Но если уж так определять наше христианство, то именно старообрядчество и есть «русское православие» — с его приоритетом национального над вселенским. Призыв Солженицына к покаянию перед старообрядчеством за гонения отнюдь не означает, разумеется, однозначного его предпочтения, русская церковь для Солженицына в высшем смысле едина, а не разъединена историческою драмой раскола.

Жорж Нива не только опытный филолог, но и добросовестный, скрупулезный фактолог, умеющий к месту припомнить и такой факт, который, казалось бы, давно забыт за ненадобностью, но приведенный исследователем — добавляет нюанс к событию. Тем более хочется указать на замеченную неточность: цитируемое в монографии письмо Солженицына (1988) адресовано соредакторам самиздатского религиозно-философского журнала «Выбор» Виктору Аксютину и Глебу Анищенко, а не отцу Глебу Якунину, как то указано у Нива.

А вот и откровенный исторический ляп: «Елизавета Вторая рвала преступникам ноздри». В русской истории две императрицы Екатерины, Елизавета же — одна: Петровна.

...«Читатель, — обещает в предисловии к книге Игорь Виноградов, — наверняка получит немало — чисто эстетическое — удовольствие и от того замечательного русского языка, которым написан текст, — перевод (при участии автора) выполнен давним другом и сотрудником Жоржа Нива по Женевскому университету Симоном Маркишем, которого, как и многих других замечательных людей, мы в свое время умудрились, увы, выжить на Запад, но талант которого не был, к счастью, потерян для русской культуры».

Но когда в первых же абзацах книги натыкаешься на утверждения, что «главный крик» Солженицына вернул его современникам, потерявшим память и речь, какой-то вкус к человеческой борьбе», что «Солженицын раскрыл нам глаза, наглухо зашитые идеологией, нечувствительные к террору», — охватывает тревога и за Нива и за его книгу.

«Обесчеловеченный подвал нашей планеты»; «распрямлены вновь обретшие изначальную едкость произведения»; «случай Солженицына не сводится к старому уравнению «русской идеи», скорее это своего рода отклонение от него»; «неосознанная радость остаться под замком»; «отдельный крик способен вызвать общую лавину»; «Солженицын был одержим глубинным убеждением некоей предопределенности»; «существо такого масштаба»...

Хрестоматийная идиома — трагический последний уход Толстого — назван бегством, «да и то надо признаться, что само бегство это скорее смехотворно».

Твардовский «бежит к приемнику, несмотря на свою телесность»; «Иван Денисович, который еще спал в солженицынских тайниках, был братом Василия Теркина: оба огрубелые и простые, но чистые!»; наконец, сам «писатель бросил на весы собственную смерть», у него «обнаруживается известная слабость к тюремному заточению»; «Солженицын — весь и всегда — дрожит в упоении борьбы», «наугад ищет жанров», укрывшись «в дальнем уголке русского пейзажа», «на берегу ручья, в котором так чудесно поют вешние воды».

Претензии не к автору книги, даже не к

ее переводчику, извиняемому слишком многими обстоятельствами, в которые тут не место вдаваться, но — к издательству «Художественная литература»: разве штат редакторов уже расформирован? Во всяком случае, имя одного из них — В. Скороденко — значится на последней странице. Но как же можно было выпускать в свет книгу, многие пассажи которой суть не перевод, а — подстрочник? Подстрочник, с которым особенно резко контрастируют обильные прекрасные цитаты из Солженицына — текст мастера.

Ибо, как точно замечает Нива, «Солженицын восстанавливает изначальную энергию слов». Его книги «дают нам увидеть Провидение в действии»

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



ВЕРНОСТЬ ЗДРАВОМЫСЛИЮ

Никита Струве. Православие и культура. М. «Христианское издательство». 1992. 337 стр.

В книге, открываемой предисловием Н. Поздняковой, собраны статьи Н. А. Струве, публиковавшиеся в «Вестнике Российского Христианского Студенческого Движения» (позднее — «Вестнике Российского Христианского Движения»); самая ранняя из них датирована 1957, самые поздние — 1991 годом. Особые разделы в книге отданы передовым статьям и некрологам; затем идут статьи на церковные, на литературные темы — и особо выделены статьи, посвященные спорам о Солженицыне. Очень полезны примечания, восстанавливающие контекст каждой статьи — как журнальный, так и более широкий, исторический. Они помогут ориентироваться читателю, встречающемуся с означенными материалами в первый раз. Да простит меня такой читатель: при всем желании, при всей натуге воображения я не смогу ни на миг взглянуть на книгу его глазами.

Этот голос так вошел в каждодневную жизнь моего поколения, моих сверстников и единовозрастов, сиречь родившихся лет через двадцать после Октября сынов Церкви из отечественной интеллигенции, как входит только домашнее, чуть ли не семейное. Нам нелегко было уразуметь, как много он для нас значил, настолько мы к нему привыкли. Наше согласие с ним почти обходилось без эмоций, ибо само собою разумелось; а когда и появлялось несогласие по тому или иному частному поводу, это было домашнее несогласие — как в семье, то есть внутри большого согласия, на котором семья и держится.

Голос был с нами и говорил вопреки географии, изнутри нашего бытия. Тридцать лет с лишком — из года в год, из десятилетия в десятилетие — голос откликался на то, что было общей нашей жизнью с рубежа 50-х и 60-х и поныне. От писем о Николае Эшлимана и о Глеба Якунина в ноябре — декабре 1965 года — до нынешних, послеперестроечных споров о Церкви. От кончины Ахматовой — до убийства о. Александра Меня. От появления «Архипелага ГУЛАГ» и высылки Солженицына за границу — до августовских дней 1991 года. Веха за вехой: парижские безумства 1968 года, появление Американской автокефалии, уход из жизни о. Александра Шмемана, Тысячелетие Крещения Руси, перемены в Москве, нежданная смерть А. Д. Сахарова... Иногда тому или иному номеру «Вестника» случалось дойти в брежневскую Москву до того или иного из нас, иногда нет, — но мы уже знали, что наши горести и надежды разделены, что наши события идут под аккомпанемент этого комментария, отзывчивого и здравомысленного, как хор в античной трагедии.

Только такой аккомпанемент и преобразует то, что могло бы быть просто предвкушением Ада, «скучищей неприличнейшей», в трагедию, в историю. В Аду нет трагедии, нет истории, потому что там не может быть ни здравомыслия, ни отзывчивости. Великий Дант погрешил противу реализма: какой уж это Ад, если Паоло и Франческа, Улисс, Фарината и прочие получают один за другим шанс излить свою

душу и бытъ выслушанными? Предвкусение Ада, не дантовского, а самого настоящего, мои соотечественники сполна пережили раньше, в те десятилетия, когда «железный занавес» был до того плотным, что никакого вскрика отсюда никто и нигде не услышит, а если даже чудом услышит и сочувственно отзовется, уж до нас-то его сочувствие ни за что не дойдет. В сем и состоит существо Ада, как со знанием дела разъяснял в свое время собеседник Адриана Лверкюна (а также оруэловский О'Брайен в последней беседе с Уинстоном).

Мы можем оценить, что нам давало изо дня в день присутствие этой отзывчивости, этой здравомысленности. В отличие от младшего поколения нам есть с чем сравнивать. Я отлично помню времена моего детства, то бишь позднесталинские, когда старорежимные интеллигенты, ничуть не расположенные, боже упаси, верить пропаганде, а порой, как мой отец (некогда доброволец в Трансваале, студент в Гейдельберге, сотрудник биологической станции под Неаполем), успевшие сами толком повидать мир до рокового 1914 года, все же рассуждали о загранице и о живущих там русских людях страшно отвлеченно, гадательно, неуверенно: то ли они вправду видели эту самую загнилицу, да и уехавших туда собратьев — как тот же отец мой, скажем, историка М. И. Ростовцева, своего собеседника летом 1917 года, в следующем году покинувшего пределы России, — то ли им это примерещилось? То ли виденное ими все еще где-то существует, то ли за годы, представляющиеся чуть не астрономическими световыми годами, куда-то делось либо подверглось какой-нибудь немислимой мутации? Где-то ведь были «движенцы», наши соотечественники, создавшие то самое Русское студенческое христианское движение, по имени которого вплоть до 1974 года назывался «Вестник»; а мы оставались их болью — кровной, конечно, но такой далекой, недостижимой, неосязаемой. География («геополитика») прикинулась онтологией: одни русские люди, не говоря уже о том, что просто — люди, стали для других «тем светом». И когда времена исподволь менялись, когда «железный занавес», продолжая красоваться на своем месте, начал испытывать процессы частичной дематериализации, подобные тем, какие описаны в заключительном абзаце набокковского «Приглашения на казнь», — еще нужна была кропотливая работа, направленная на внутреннее, духовное преодоление разрывов в историческом времени и геополитическом пространстве. Журнал должен был измениться, не изменяя себе; отказаться от ус-

таревшего названия, соблюдая верность лучшему, что было выработано энтузиазмом «движенцев». Еще до горбачевской поры, упреждая все внешние перемены, журнал фактически уже был не «эмигрантским», а просто русским журналом¹; но именно для адекватного соответствия этому своему назначению он должен был в меру сохранять «движенские» традиции. Другие журналы, возникавшие заново, не были связаны долгом перед традициями; «Вестник» — был. Не будем сравнивать, что плодотворнее, а тем паче — что «интереснее», у каждого свои вкусы; но работать внутри традиции — иной сюжет, чем начинать на пустом месте.

Да ведь и сама по себе фамилия Струве слишком много значит в истории русской культуры, чтобы носитель ее мог позволить себе при осмыслении нового — подчас ошеломляюще нового — опыта уйти от долга перед традицией, перед понятиями и правилами, воспринятыми по праву наследства. Чересчур неожиданные оценки не для него. Злоязычный противник имеет случай попрекнуть его за некоторую предсказуемость его реакций на события. Но это входит в условия выполнения задачи — держать постоянно находящуюся под угрозой связь поколений, связь времен. В настоящий момент такая позиция неизбежно вызывает растущее раздражение, порой даже сердитое недоумение; она для многих не просто неприемлема, а к тому же и непонятна. Но для того, кто ее избрал, нет пути назад. Можно только пожелать ему — максимальной последовательности.

Редко встречается нынче не только верность наследственному преданию, но и постоянство взглядов в рамках одной-единственной жизни. Происшедший на наших глазах переход номенклатуры на антикоммунистические позиции — лишь самый массовый, самый тривиальный, но отнюдь не единственный случай легкости, с которой меняются позиции. Легкость эта сплошь рядом свидетельствует вовсе не о корыстном ренегатстве, а о зле более тонком: об отсутствии корней. Для современного человека с руки любые крутые перемены, ибо у него утрачено чувство присяги. И поэтому уже сама по себе внутренняя спаянность статей, разделенных во времени, скажем, четвертью века, — для нашей поры поучительный пример. Подлинное постоянство

¹ Это не помешало одному московскому литературоведу предложить в одном альманахе: считать впредь Н. А. Струве — иностранцем «Стрювом». Случись это нынче, я, пожалуй, полюбопытствовал бы спросить у коллеги, что его побудило к такому решительному заявлению. Но в те времена спрашивать не хотелось.

возможно лишь для того, кто знает свое место в мире, помнит свою присягу, имеет корни. В самой несогласии с таким человеком мы обязаны уважать связность его образа мыслей.

Возможно, больше всего споров вызовет остро заявленная экклезиологическая позиция автора. Отметим, что она также весьма традиционна, поскольку укоренена в истории «парижского» русского Православия; может быть, об этом нелишне напомнить нашему читателю, не всегда знающему эту историю достаточно отчетливо.

Определенные проблемы связаны с соотношением — на уровне идей и на отличном от него уровне эмпирии — обоих понятий, именованных в заглавии книги. Волей исключительных обстоятельств в том кругу, в котором изначально сформировалось мировоззрение автора, Православие было перенасыщено культурой, а культура была перенасыщена Православием. Иные, по своему также исключительные обстоятельства сблизили в сознании, а паче того — в воображении подсоветской интеллигенции гонимую веру и гонимую культуру по признаку их общей несовместимости с господствующей идеологией, придали образам замученных поэтов черты христианских мучеников...

...Все это может показаться
Смешным и устарелым нам,
Но, право, может только хам
Над русской жизнью издеваться, —

как давно сказал Блок. Афоризм, кинутый некогда Мандельштамом на правах парадокса: «теперь всякий культурный человек — христианин», — воспринимался в коммунистической зоне, возникшей между «Вестником РХД» и его «здешними» читателями, едва ли не как простой трюизм.

Едва изменились обстоятельства, не могла не наступить бурная реакция. Против уклona к сакрализации культуры, как и следовало ожидать, ополчились и ревнители чистоты Православия, и ревнители автономизма культуры. В призывах поменьше принимать желаемое за действительное, вообще говоря, прозвучало немало правды; если бы только они, эти призывы, не оказывались чересчур созвучны модному азарту профанирования всего и вся! Как бы то ни было, для верующего носителя культуры, связанного двойным, хотя и неравновесным обязательством, задача синтеза не снимается оттого, что она оказалась куда более трудной, нежели могло мерещиться еще вчера. Поэтому я не могу не согласиться с протестом автора против проектов «развоплощения» христианства: «Развоплощенная религия не опасна, — писал Н. А. Струве в 1977 году, — она уже не «мал квас», который все тесто квасит,

не «соль земли», без которой пресен вкус жизни». Одна из лучших, наиболее точных по смыслу и выполнению статей посвящена проблеме гражданского поведения христианина: «Какими средствами бороться за Церковь?» Из нее даже трудно выбрать цитату — пришлось бы переписывать ее чуть не подряд...

Возражать в частности автору порой легко, слишком легко. Назовем в качестве примера предложение уже сейчас официально причислить к лику православных святых Франциска Ассизского, чей образ «православным... особенно близок». Кому не придет на ум, что Умбрийский бедняк, каким бы ни было его неоспоримое величие в истории католической духовности, лишь совсем недавно — после трудов Сабатье на Западе, после выхода перевода «Цветочков» у нас — стал любимцем некаатолической интеллигенции, именно интеллигенции, по своему вкусу выделяющей его среди его собратьев, между тем как за пределами интеллигентского круга его имя в православных странах просто неведомо. Вызывает сомнение перечисление признаков, по которым Франциск признается особенно близким — не Православию как вселенской вероучительной и духовной истине, но «православным», то есть носителям специфической этнокультурной традиции: и «космическое восприятие мира во Христе» окрашено у Франциска западным лиризмом, и его «юрродство» заслужило ему прозвание «скомороха Господня», непредставимое для восточной набожности. Действительно, с самого Франциска и первых францисканцев начинается характерно западное допущение в проповедь — смеха. О. Павел Флоренский был по своему логичен, относясь именно к Франциску с особенной резкостью. Важнее, однако, другое. По одному все еще авторитетному для многих православных мнению, высказывавшемуся такими людьми, как св. Игнатий Брянчанинов, о католической святости, вообще о святости вне конфессиональных границ Православия, абсолютно недопустимо говорить. Но если полнота Церкви нашей отложит это мнение и присоединится ко мнению, скажем, св. Димитрия Ростовского, без малого три века назад учившего о Кларе Ассизской как примере добродетели, возникнет вопрос не об одном Франциске. Франциск-то заслужил, чтобы мы говорили о нем отдельно. Но совместимо ли с его волей — получить прославление обособленно от собратий?

Сказать можно немало. Но я понимаю боль, породившую вроде бы даже наивное предложение Никиты Алексеевича, — и это согласие в чувстве, в мотиве важнее, чем вербальное расхождение..

Сергей АБЕРИНЦЕВ.

Политика и наука

ПРОВАЛ РЕВОЛЮЦИИ ИЗВНЕ

М. Тухачевский. Поход за Вислу. Ю. Пилсудский. Война 1920 года. М. «Новости». 1992. 319 стр.

İózef Piłsudski. Rok 1920. Michaił Tuchaczewski. Pochód za Wisle. Łódź. Wydawnictwo Łódzk. 1989. S. 237.

Почти одновременно в Польше и в России переизданы прочно забытые и в свое время изъятые в обеих странах из обращения работы о советско-польской войне 1920 года, написанные двумя ее главными действующими лицами — командующим Западным фронтом М. Тухачевским и маршалом Польши Ю. Пилсудским.

Казалось бы, безвозвратно канули в прошлое события этой войны, умерли и оба соавтора-оппонента. Так стоит ли возвращаться к их полузабытым историческим сочинениям? Но вот как польские, так и российские издатели вспомнили о них. Вспомнили не случайно и не напрасно. Они того заслуживают: проблематика их далеко не устарела.

Издание под одним переплетом работ руководителей двух противостоявших в 1920 году армий дает возможность нанести еще один удар по господствовавшим в нашей литературе идеологическим штампам в оценке тогдашней советско-польской войны. Хотя оба сочинения несоизмеримы (лекции Тухачевского почти в 4 раза меньше по объему, чем ответ на них Пилсудского), их содержание раскрывает цели и намерения советской России и Польши. Первая исходила из лозунга мировой революции и стремления перенести гражданскую войну за свои пределы (об этом говорит само название работы Тухачевского). Вторая защищала свою только что восстановленную национальную независимость.

Тухачевский в самом начале своих рассуждений о причинах возникновения войны фактически подтверждает обоснованность позиции Польши, признав, что ее правительство, опасаясь осуществления идеи «единой, неделимой, великой России», не смогло договориться с Деникиным перед его наступлением на Москву. Все лекции Тухачевского пронизаны классовой непримиримостью, о чем, в частности, говорит употребление им термина «белополяки», что предполагает наличие в Польше не меньшего числа их классовых врагов. Но ход событий показал, что против советских войск выступило в 1920 году подавляющее большинство польского народа, включая рабочих и крестьян, на классовую солидарность которых так рассчитывало советское руководство и ко-

мандование Красной Армии, решая вопрос о «походе за Вислу». Как известно, «революция извне» (так названа одна из лекций Тухачевского) не только не удалась, но и была невозможной. Уже зная это (лекции читались в 1923 году), Тухачевский ищет, однако, иные причины поражения своих армий под Варшавой (слабая вооруженность, недоукомплектованность, плохая обмундированность, недостаточная военная подготовка, дезертирство).

Какие же уроки извлекает Тухачевский из неудачи советских войск, столкнувшихся с патриотическим порывом польского народа отстаивать свою государственность? В случае разгрома Польши, считает он, классовая война неизбежно «стихийно перекатилась бы в пределы Центральной Европы». Однако тщетными оказались надежды его на готовность западноевропейского пролетариата к поддержке и восприятию революционной лавины с востока. Разговоры о пробудившемся у польских рабочих в связи с наступлением советских войск национальном чувстве Тухачевский нарочито связывает с его провалом. Он явно преувеличивает, когда заявляет о серьезных основаниях для надежд о начале революции в Польше.

В еще большей мере Тухачевский ошибается, полагая, что Германия лишь ждала соприкосновения с революционным потоком извне. Правда, он вынужден признать, что с переходом Красной Армией польской этнической границы в Польше очень успешно пошло формирование добровольческих частей, хотя и списывает это на призывы Ксендзов к национальной самообороне.

И все же Тухачевский заключает лекции выводом о том, что неудача его кампании 1920 года кроется в области стратегии, а не политики и что, следовательно, курс на перенос революции в сопредельные страны был правильным. Не удалось лишь вырвать из рук польской буржуазии армию. Случись это, полагает он, пролетарская революция в Польше стала бы фактом и революционный пожар охватил бы всю Западную Европу. При этом Тухачевский решительно отвергает роль национальных лозунгов, если речь идет о классовой войне, которой и был его «поход за Вислу».

Как же отреагировал Пилсудский на эти и другие рассуждения своего противника в изданной им в 1924 году книге? В ней сквозит явно пренебрежительное отношение к мнению Тухачевского, отдельное издание лекций которого он с издевкой именует книжицей, книжонкой, и не только потому, что она мала по объему. От сухих военно-оперативных штудий Тухачевского книга Пилсудского отличается живостью. По сути дела, это написанные с литературным блеском воспоминания о том, что происходило в тылу и на фронте, о планах и действиях его как главы государства и верховного главнокомандующего польской армии.

Пилсудский опровергает попытки Тухачевского выставить своего противника как лицо, подчиненное то генштабу Антанты, то мировому капитализму, и не щадит своего оппонента: лекции Тухачевского характеризуются как «ветряная мельница, вращающаяся вхолостую», а их автор — как человек узкого кругозора, стремящийся в агитационно-публицистическом увлечении «унизить своих противников», что отнюдь не повышает ценность его лекций. Пилсудский считает, что Тухачевский умышленно преувеличивает силы своего врага, что его расчеты соотношения сил, участвовавших в сражениях, полны ошибок. В то же время он признает, что в ходе войны ему так и не удалось избавиться от добровольческого характера польской армии и что во время битвы под Варшавой в Польше «царил невообразимый организационный хаос».

Тухачевского как военачальника Пилсудский считает человеком, склонным к абстрактному управлению войсками, отмечает отвлеченность его стратегического мышления, его «неспособность к широкому анализу», что и привело к провалу задуманной им операции. Вместе с тем Пилсудский не скрывает, что его противник более умело, чем польские генералы, использовал опыт первого ее этапа и критически отзывался о собственных действиях как верховного главнокомандующего. Он высоко оценивает подготовку Тухачевским наступления на Варшаву, воздавая должное его энергии, предвидению, воле и упорству как необходимым чертам полководца, оттеняя тем самым значимость своей победы над ним.

Описывая ход военных действий, Пилсудский не удерживается, однако, от соблазна изобразить дело так, будто советские войска наступали успешно лишь потому, что польские в это время отступали по приказу, а не под давлением противника. По его мнению, Тухачевский не ориентировался в действиях своих войск, кото-

рые вели себя нерешительно и даже испытывали страх. Анализируя действия польских и советских войск под Варшавой, Пилсудский выступает как сторонник маневренной войны, неліцеприятно характеризую польских генералов за их кордонное мышление. Из-за приверженности их к методам окопной войны, пишет он, тактические неудачи польских войск переросли «в стратегическое поражение».

С издевкой оценивая действия Тухачевского, который так и не смог ни окружить польские войска, ни нанести им решающий (таранный) удар, Пилсудский вместе с тем резко отрицательно характеризует польских генералов, которые не выполняли его приказы и распоряжения, считая войну проигранной и выступая за достижение мира на любых условиях. С похвалой отзываясь о темпах марша советских войск на Варшаву, Пилсудский трезво анализирует создавшуюся в результате этого обстановку в стране. По его мнению, государство зашаталось, польские войска откатывались назад, моральное состояние страны становилось угрожающим, а составленные им планы войны терпели крушение. Начавшийся в Польше процесс разложения Пилсудский считает самым большим успехом Тухачевского, его полководческого таланта, хотя и резко критикует его книжку за приукрашивание действий своих войск, подробно разбирая имеющиеся в ней ошибки и отклонения от исторической правды.

По мнению Пилсудского, разгром под Бродами Первой конной армии привел к тому, что поход Тухачевского за Вислу не мог получить поддержки с юга. Он полагает, что Тухачевский оказался доктринером и в оценке ситуации в Польше, и при осуществлении маневра своих войск севернее Варшавы.

Подробно пишет Пилсудский о своих переживаниях перед решением о контрударе польских войск во фланг наступающей Красной Армии и принятии на себя непосредственного командования ими. Он, по сути дела, непрозвально сравнивает себя с Наполеоном и высоко ставит себя как военачальника, хотя (явно кокетничая с читателем) именует свой план контрудара абсурдом. Подробно анализируя свои промахи — военные и политические, — Пилсудский отмечает помощь, которую население оказывало его армии. Оно «относилось к Советам... с глубоким недоверием, а часто и с явной неприязнью», видя в установлении их власти возврат к старым царским порядкам.

Нельзя не согласиться с Пилсудским, считающим, что Тухачевский вел свои войска во имя революции, хотя в Польше не

существовало внутренних условий для нее, что советская Россия вступила в войну ради навязывания полякам силой своего строя, не считаясь с тем, что Польша только что стала жить самостоятельно и народ ее ненавидел прежние порядки. Тухачевский в представлении подавляющего большинства польского народа нес на советских штыках именно эти порядки. Поэтому русская революция не встретила в Польше отклика, хотя правительство страны, напоминает Пилсудский, возглавляли тогда руководители крестьянской и рабочей партий — В. Витос и И. Дашиньский.

Заявляя о том, что он никогда не был сторонником материалистического понимания истории, Пилсудский решительно отвергает ссылки Тухачевского на роль в событиях 1920 года Антанты, капиталистов всего мира, заговора империалистов, наконец, французского генерального штаба и при этом подчеркивает неординарность Тухачевского как военачальника. В словесном поединке с Тухачевским он явно выигрывает.

В заключение Пилсудский пишет, что когда он сам вершил дело войны, то одерживал победы эпохального значения. В случае с войной 1920 года он, пожалуй, прав, ибо поражение советских войск в ней действительно имело всемирно-исторические последствия. Попытки экспорта революции («революции извне») и порядков, существовавших в советском государстве, не могли иметь успеха ни в 1920 году, ни позднее, уже после второй мировой войны. Вот первый главный урок советско-польской войны, о которой повествуют Тухачевский и Пилсудский. Второй ее урок в том, что наши полководцы, показавшие себя мастерами гражданской войны, в межгосударственных войнах не могли добиться победы, что и произошло с Тухачевским в 1920 году. То же повторилось в 1941-м с Буденным, Ворошиловым и Тимошенко. И третий урок состоит в том, что при столкновении классово-войны с национальной решающее значение приобретает исторический опыт. В 1920 году поляки, незадолго до этого восстановившие свое национальное государство, видели в Красной Армии прежде всего русскую военную силу, подавляющую в прошлом польские восстания и охранявшую режим русификации, установленный на польских землях царизмом. Тухачевский не понял этого. Пилсудский же готовился к такому повороту событий задолго до 1920 года, вынашивая планы общенационального восстания. Между прочим, изменение характера советско-польской войны в 1920 году поняли многие бывшие царские генералы (А. А. Брусилов и другие) и офицеры как

только началось наступление польских войск на Украине весной 1920 года, завершившееся захватом Киева, что в свою очередь вызвало ответную реакцию Москвы...

Русское издание книги снабжено предисловием нашего военного историка В. Дайнеса и послесловием польского историка М. Лечика. Первый считает, что лекции Тухачевского содержат объективный анализ операций Западного фронта в 1920 году. Указывая на то, что Польша с самого начала вела агрессивную войну, В. Дайнес, однако, не решается таким же образом квалифицировать действия Красной Армии после вступления ее на этнически польскую территорию. Более того, он, противореча себе и очевидным фактам, полагает, что идеи мировой революции не находили отражения во внешней политике советского правительства. Но вот как представляло оно себе тогда независимую Польшу: под нею подразумевалась советская республика. В то же время В. Дайнес подчеркивает враждебное отношение польского населения к советским войскам и ошибочность оценки Польревкомом внутреннего положения в Польше, осуждая действия Тухачевского при возобновлении мирных переговоров с Польшей. Вряд ли верно, однако, списывать, как это делает В. Дайнес, вину за расширение конфликта только на военных работников, якобы не подка завших ЦК РКП(б) решения не переходить этническую границу Польши.

Подобные утверждения автора предисловия звучат особенно неубедительно ныне, когда опубликованы ранее засекреченные партийные документы, связанные с советско-польской войной 1920 года. В частности, передано огласке заявление В. И. Ленина в не публиковавшейся до сих пор части его доклада на IX партконференции, где он говорит о том, что необходимо было «прощупать штыком готовность Польши к социальной революции», «прощупать, какова готовность польского рабочего к революционному действию» («Исторический архив», 1992, № 1, стр. 17, 16). Итак, Дайнес не смог полностью отбросить прежние историографические клише и дать объективный анализ действий советского руководства в 1920 году, хотя и пытался следовать этому требованию.

Автор же послесловия М. Лечик считает, что Тухачевский в силу своего возраста принимал желаемое за действительное, когда читал свои лекции. Однако здесь скорее сыграла свою роль не молодость (ему было тридцать лет), а обстановка 1923 года с ее ожиданиями новой революционной волны в Западной Европе, особенно в Германии. Отсюда и увлеченность Тухачевского идеей подкрепления социального

взрыва в европейских странах революционной лавиной извне.

Конечно, М. Лечик прав, подчеркивая, что летом 1920 года решалась судьба вновь обретенной Польшей независимости и поэтому налицо был порыв поляков защитить ее. Но вряд ли он прав, полагая, что в начале 1920 года в России нарастала контрреволюция, сплывавшаяся «вокруг непрерывно пополняющего свои силы Деникина». В действительности именно в это время Деникин был разбит. На той же странице М. Лечик сам пишет о поражении Деникина на рубеже 1919 — 1920 годов.

Характеризуя отношения между Польшей и советскими республиками в 1918 — 1920 годах, М. Лечик не высказывает своего мнения о польских планах мирного их урегулирования на основе возвращения к границам 1772 года, указывая, впрочем, на исторические предпосылки в решении территориального вопроса и на то, что Польшу не устраивала восточная ее граница (этническая!), предложенная конференцией в Спа в июле 1920 года...

Что касается польского издания этой же книги, то оно сопровождается обширным послесловием Анджея Гарлицкого, автора фундаментальной монографии о Ю. Пилсудском (Варшава, 1989). Гарлицкий подробно анализирует внутреннюю политическую обстановку в стране в период советско-польской войны, взаимоотношения Пилсудского с правительством, сеймом, лидерами ведущих партий. Динамика этих отношений все время менялась и обострялась в ходе успешного поначалу наступления армий Тухачевского на Варшаву.

А. Гарлицкий напоминает, что книга-ответ М. Тухачевскому создавалась Ю. Пилсудским в период, когда он удалился в добровольную отставку в свое подваршавское имение, не найдя общего языка ни с правительством, ни с сеймом. Поэтому «Год 1920» — это своего рода политическое его кредо, изложение своих взглядов относительно модели независимой Польши. Опасаясь развала только что восстановленного государства и стремясь сохранить его путем введения диктатуры, он ждал очередного правительственного кризиса, чтобы прийти к власти с помощью армии, что и произошло в мае 1926 года. В этой сложной политической игре, как отмечает А. Гарлицкий, книга «Год 1920» служила для Пилсудского определенным козырем — ей

предстояло сыграть важную роль в борьбе за власть».

Что проблематика рецензируемой книги не утратила своего значения (о чем уже упоминалось выше), свидетельствуют и материалы специальной научной сессии, состоявшейся в Институте истории Польской академии наук (сентябрь 1990), приуроченной к семидесятилетию «Чуда на Висле»¹. Польские ученые-историки достаточно четко выявили тот сложный баланс различных политических сил в Европе, в рамках которого разворачивались события войны 1920 года. Едва воцарившийся на этом континенте мир грозил разрушиться, втянув в смертоносный водоворот сопредельные страны.

Ныне, когда хрупкие стены общеевропейского дома сотрясаются от межнациональных, религиозных, идеологических и прочих локальных войн и конфликтов, книга военачальников некогда враждовавших друг с другом армий воспринимается не только как голос из прошлого, но и как предупреждение на будущее.

Несколько слов о качестве перевода книги Пилсудского. Почему-то изменено само ее заглавие («Год 1920»). Особенно не повезло географическим названиям: Козатынь вместо Казатин (стр. 115); Хвастов вместо Фастов (стр. 119); Вильна вместо Виляя (стр. 192); Стир вместо Стыри (стр. 212); Влоцлавск вместо Влоцлавок (стр. 255); Аквизгран вместо Аахен (стр. 281) и т. д. Не лучше обстоит дело и с фамилиями многих исторических лиц, фигурирующих в книге: начальник французского генерального штаба генерал Вейган превратился в Вейганда (стр. 222), маршал Франции и маршал Польши Ф. Фош — в Фоха (стр. 306).

Здесь приведен далеко не полный перечень всех огрехов и ляпов, допущенных в столь ценном и полезном издании. А ведь все эти фамилии, географические названия есть в любом энциклопедическом словаре и справочнике. И странно, что ни у переводчика, ни у редактора до этого не дошли руки!..

И. СОЗИН,
кандидат исторических наук.

¹ «Wojna polsko-sowiecka 1920 roku». Przebieg walki i tło międzynarodowe Materiały sesji naukowej w Instytucie historii PAN 1 — 2 października 1990. Warszawa. 1991. S. 235.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



UN COLLEGE JESUITE POUR LES RUSSES SAINT-GEORGES. De Constantinople à Meudon. 1921 — 1992. Bibliotheque Slave de Paris. 1993. 224 p. + XVI (Collection Simvol № 4).

В 1920 г. направлявшиеся в Грузию члены ордена Иисуса вынужденно остановились в Константинополе: установившаяся в Тбилиси советская власть сразу же продемонстрировала свою органическую враждебность к инославным вероисповеданиям. Между тем в город хлынули волны русских беженцев из покоренного большевиками Крыма, среди которых было множество детей, потерявших всякую возможность продолжать привычное образование. Так волею обстоятельств — или волею Божьей — отцам иезуитам выпало осуществить совсем иную миссию: приюта, воспитания и образования русских мальчиков, оказавшихся за пределами России. В 1921 г. в Константинополе был организован небольшой пансион, получивший имя святого Георгия.

Аннотируемое издание — подробная и увлекательная история уникального учебно-воспитательного учреждения и одновременно культурного центра, на протяжении всего своего существования достойно исполнявшего две в равной мере главные цели: подготовить своих воспитанников к жизни на Западе и в то же время сохранить в них любовь и преданность родной культуре. Русский язык, история и литература, фольклорные ансамбли (особый успех имели балалаечники), танцы, одежда и даже кухня — все это позволяло русским мальчикам ощущать себя в «маленькой России». Ставя поначалу цели преимущественно практические, пансион св. Георгия постепенно становился местом встречи и взаимообогащения культур России и Европы, местом диалога представителей двух христианских церквей. Авторы книги, являющиеся одновременно и активными участниками учебного процесса, особо подчеркивают, что ежедневное и многолетнее общение преподавателей-католиков и учеников-православных способствовало их взаимовлиянию и взаимообогащению. Русский язык стал языком общения также и между преподавателями, а в небольшой церкви при пансионе богослужение проходило по восточному обряду.

История пансиона св. Георгия, рассказанная в книге, — это история подвижнического труда сравнительно небольшой группы отцов иезуитов (французов, бельгийцев, итальянцев и некоторых русских — оо. Д. Кузьмина-Караваева, П. Оболенского и других), в которой было немало трудных периодов: пансион четыре раза менял свое местонахождение (Константинополь, Намур (Бельгия), Париж и Медон), пережил немецкую оккупацию и далеко не всегда встречал поддержку со стороны государственных органов Франции. Добавим, что бремя финансовых расходов в значительной мере ложилось также на плечи преподавателей и воспитателей пансиона.

Наряду с историей пансиона св. Георгия отдельные главы книги посвящены учреждениям, так или иначе с ним связанным, — пансиону для русских девочек св. Ольги и Славянской библиотеке, основанной еще русским иезуитом князем И. Гагариним, а с недавнего времени связанной с пансионом св. Георгия не только территориально и организационно, но и духовно. Многолетняя практика совместной работы католиков и православных позволяет авторам книги сделать достаточно широкие теоретические обобщения по проблеме, занимавшей многих богословов как на Западе, так и на Востоке, — о путях церковного объединения. Этой проблематике посвящен в книге специальный раздел.

Нынешнее поколение «медонцев» стремится продолжать традиции, заложенные отцами основателями, хранит о них добрую память. В разделе «Персоналии» приводятся краткие биографии пятнадцати наиболее почитаемых деятелей, отдавших пансиону многие годы своей жизни. Но не забыты и фигуры менее знаменитые: приводятся списки всех настоятелей, ведущих преподавателей и ассистентов, работавших в колледже. Имеется список подготовленных книг (в числе которых — труды И. Киревского, П. Чаадаева, В. Соловьева и других), а также основных публикаций в журнале «Символ» (№ 1 — 28), издаваемом Славянской библиотекой. Завершает книгу альбом иллюстраций, в котором читатель найдет и фотопортреты многих действующих лиц рассказанной истории, и любопытные сюжеты из повседневной жизни пансиона св. Георгия.

THE PUSHKIN JOURNAL. The Journal of the North American Pushkin Society. Пушкинский журнал. Журнал североамериканского пушкинского общества. Т. 1, № 1. University of Utah. 1993. 148 p.

Первую книгу нового журнала (планируемая периодичность — 2 раза в год) представляет его главный редактор Paul Debreczeny. Среди обстоятельств, побудивших осуществить настоящее издание именно теперь, редактор указывает на ведущуюся в США работу по переводу на английский язык Полного собрания сочинений Пушкина, которое должно

наконец открыть англоязычному читателю истинное место русского национального поэта в мировой литературе; также отмечаются новые возможности международного сотрудничества, сотрудничества российских и западных славистов (журнал издается при участии Пушкинского Дома), и одновременно — ограничение возможностей научных публикаций в России; в число актуальных задач входит републикация и перевод ранее опубликованных, но труднодоступных работ.

Раздел «Статьи» открывает работа Leslie O'Bell «В поисках «Египетских ночей». Пушкин и «Арабат» Д. М. Томаса». Здесь подробно анализируется роман, написанный в 1983 г и представляющий собой своеобразную художественную интерпретацию пушкинского произведения: тема «египетских ночей» спроецирована автором в советскую действительность предперестроечной эпохи; в текст романа вмонтирован собственно перевод импровизации пушкинского персонажа вместе с авторским вариантом его завершения. Далее публикуются статьи В. Вацура «Две заметки к пушкинским текстам» (рассматривается поэтический источник лицейской элегии «Окно» и литературная генеалогия элегии «Андрей Шенья»); В. Д. Рака «Пушкин и французский перевод «Отелло»»; С. Фомичева «Творчество Пушкина: рукопись и контекст», являющаяся введением к монографии, которая в свою очередь «представляет собою опыт аналитической пушкинской текстологии».

Следующий раздел — «Переводы из российского пушкиноведения последнего времени» — включает перевод на английский статьи М. Л. Гаспарова и В. М. Смирнова «„Евгений Онегин“ и „Домик в Коломне“: пародия и самопародия у Пушкина» (была опубликована в «Тыняновском сборнике», Рига, 1986). Раздел «Новые переводы» выносит на читательский суд 13 пушкинских стихотворений, переведенных для упомянутого собрания сочинений James Falen (перевод печатается параллельно с оригиналом).

Обширен и богат библиографический раздел журнала: Allan Urbanic собрал и представил работы о Пушкине, вышедшие на Западе в 1987 — 1991 гг.; Leslie O'Bell — обзор американской пушкинистики с 1945 г. в сопровождении избранной библиографии (131 позиция). Завершает новый журнал рецензия В. Терраса на книгу немецкого исследователя Wolf Schmid'a «Пушкинская проза в поэтическом прочтении: „Повести Белкина“» (Мюнхен, 1991).

По вопросам подписки предлагается обращаться: Charles Schlacks, Jr., Publisher, Dept. of Languages and Literature, 150 — 155 OSH, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 84112, USA.

LITERARISCHER DIALOG. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ. Festschrift für Wolfgang Kasack zum 65. Geburtstag. Юбилейный сборник к 65-летию Вольфганга Казака. Herausgegeben von Frank Göbler. Mainz, Liber Verlag, 1992. 395 S. (Deutsch-Russische Literaturbeziehungen. Forschungen und Materialien. Band 4.) (Немецко-русские литературные связи. Исследования и материалы. Том 4.)

Сборник подготовлен учениками и коллегами директора Славянского института Кёльнского университета, профессора, доктора В. Казака и включает 48 работ русских писателей и литературоведов (стихи, проза, драматические сцены, статьи). Многие тексты публикуются здесь впервые, а некоторые выполнены специально для настоящего издания. Состав участников (Г. Айги, Л. Анненский, С. Апт, К. Азадовский, В. Астафьев, М. Харитонов, Б. Хазанов, А. Ким, Л. Копелев, Н. Коржавин и другие) делает книгу представительной антологией современной русской литературы. Все тексты печатаются на русском и немецком языках.

WOLFGANG KAZACK. LEXIKON DER RUSSISCHEN LITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS. Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Ende der Sowjetära. 2, neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. München, 1992. 1508 стлб. (Словарь русской литературы XX века. От начала столетия до конца советской эры. 2-е, переработанное и существенно расширенное издание.)

Словарь существенно расширен сравнительно с первым изданием, вышедшим в 1976 г. Прошедшие с той поры перемены в политической и культурной жизни России — вплоть до начала 90-х гг., — естественно, отразились как в наборе статей (всего в словарь вошло 857 статей, из них персоналиям посвящено 747 против 495 в первом издании), так и в сопроводительном аппарате, а также в подзаголовке, зафиксировавшем конец «советской эры», и даже в оформлении: книга заключена в превосходный бело-сине-красный переплет. Предполагается, что основным пользователем словаря станет современный западный славист-филолог, однако и для отечественного исследователя издание может оказаться на ближайшие годы весьма полезным: во-первых, персональных статей удостоены писатели, еще не успевшие попасть в аналогичные отечественные справочники (Э. Лимонов, М. Поздняев, Е. Рейн, Саша Соколов, О. Чухонцев и другие); во-вторых, несмотря на лаконизм библиографические справки всегда содержат информацию о западных изданиях произведений русских писателей, изданиях, часто все еще неизвестных в России. Полиграфическое исполнение словаря, как водится в Германии, ausgezeichnet, то есть превосходное.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Том десятый. Романов — Современник. Munchen. «Verlag Otto Sagner». 1991.

«Данная книга, — читаем мы в издательском предисловии, — является единственным случайно сохранившимся экземпляром запрещенного и до сих пор считавшегося утерянным 10-го тома Литературной энциклопедии. Таким образом, этот том дополняет изданные А. В. Луначарским и др. тома — с 1-го по 9-й и 11-й этой Литературной энциклопедии (М. 1930 — 1939; переиздание — 1983) — и впервые включает в себя обширный и важный раздел «Русская литература» (колонки 88 — 397). Уникальная верстка в некоторых местах повреждена и содержит многочисленные корректурные пометки; несколько колонок (486, 487, 4 колонки, следующие за 834, 4 колонки, следующие за 846) отсутствуют, отсутствует также несколько иллюстраций».

Это краткое, но, в общем-то, исчерпывающее предисловие нуждается лишь в некоторых уточнениях. Первый том энциклопедии вышел в 1929, а не 1930 году. Ответственным редактором первых двух томов был В. М. Фриче, и только после его смерти ответственным редактором стал Луначарский. Сама же книга в особых комментариях не нуждается. Она вышла, и это замечательно Десятый том Литературной энциклопедии, как и вся энциклопедия, — это памятник советского книгоиздания 30-х годов, когда литературоведение и история литературы (как, впрочем, и иные научные дисциплины) подвергались коренному марксистскому пересмотру. Такова была принципиальная установка создателей энциклопедии. Достаточно взглянуть в предисловие к первому ее тому (1929): «Первая попытка создания марксистской Литературной энциклопедии, естественно, встречает огромные трудности. Марксистское литературоведение — наука молодая, число марксистов-литературоведов ограничено. До сих пор ряд больших областей литературы, как, например, литература народов Востока, античная литература, русское и западное средневековье, даже некоторые периоды и отдельные писатели новой литературы, не исследованы не только марксистами, но и литературоведами социологического направления. Редакция вынуждена была ограничиться изложением фактического материала тех областей литературоведения, которые недостаточно разработаны марксистами или социологами». Малое число марксистских литературоведов представлялось тогда недостатком, но именно то, что в наибольшей степени подверглось марксистской переработке, в наибольшей степени и устарело. Значительная часть оценок и концепций выглядит сегодня архаично, но в то же время многие статьи сохранили чисто информационную значимость. Создатели энциклопедии должны были в любом случае дать сумму достоверных сведений в области литературы, чтобы удовлетворить, по их выражению, «запросы нового читателя», приобщающегося к культуре. Наличие в десятом томе обширной, хотя и концептуально устаревшей статьи «Русская литература» тоже представляется приметой времени по сравнению с серединой 20-х — началом 30-х годов с их нигилистическим отношением к русской истории и культуре. Но не только этим интересен репринт десятого тома. Более поздняя Краткая литературная энциклопедия (М. 1975, т. 8) пишет, что Литературная энциклопедия Фриче — Луначарского представляла собой «первый в русской и мировой справочной литературе опыт разностороннего сочетания библиографического и терминологического словаря, а также разнесенного по рубрикам очерка истории всемирной литературы».

«Verlag Otto Sagner» (Postfach 340108 D — 8000 Munchen 34) не принадлежит к числу русских эмигрантских издательств, это германская фирма с давними и почтенными традициями; тем более примечательно, что она регулярно выпускает книги на русском языке высокого качества. Две из этих книг («Античные традиции в древнерусской литературе XI — XVI вв.» Дмитрия Н. Буланина и «Редкие книги и рукописи библиотеки Московского университета») уже аннотировались на страницах «Нового мира» (1993, № 2). О новых книгах этого издательства «Новый мир» непременно будет писать в частности, несомненный интерес представляют книга Сергея М. Сухопарова «Алексей Крученых. Судьба будетянина» (под редакцией Вольфганга Казака) и особенно — фундаментальное исследование нашего постоянного автора Евгения Добренко о культуре эпохи сталинизма, подготовленное к печати в России, но так и не нашедшее здесь издателя и только благодаря Отто Загнеру вышедшее в свет в Германии. Что же касается репринта десятого тома Литературной энциклопедии, то в этом случае можно без преувеличения говорить о большом личном вкладе Отто Загнера в процесс восстановления русской культуры во всей ее сложности и исторической полноте.

А. В.

ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ГЕРМАН АНДРЕЕВ. Обретение нормы (заметки об эмиграции),

МИХАИЛ АРДОВ. Легендарная Ордынка (воспоминания);

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Литературный сопронат: христианство и словесность;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая),

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Борьба с логосом (эссе);

БОРИС ЕКИМОВ. В дороге (очерк), Набег (рассказ);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Экологический роман;

ИЗ ДНЕВНИКА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА РОМАНОВА;

ИЗ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ К. П. ПОБЕДНОСЦЕВА;

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Ласточкино гнездо (рассказ);

АНАТОЛИЙ КИМ. Казак Давлет (рассказ);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Изгнание из Эдема (роман);

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Гоголь и современная проза;

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Д* элегии (строчки разной длины).

И. РОДНЯНСКАЯ. Гипсовый ветер (о философской интоксикации в текущей словесности),

ИРИНА СУРАТ. Пушкин как религиозная проблема;

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкальные увеселения от Ромула до наших дней;

а также новые произведения Михаила Бутова, Георгия Владимова, Даниила Гранина, Семена Липкина, Марины Палей, Доры Штурман и других авторов.

В 1994 году будет продолжен цикл публикаций «Предварительные итоги XX века: искусство, литература, гуманитарная мысль»; будут вестись традиционные рубрики «Русская книга за рубежом», «Зарубежная книга о России», «Религия и современный мир». Обновленную рубрику «Отклики и комментарии» будет вести литературный критик АЛЛА МАРЧЕНКО.

***НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ***

SUMMARY

The poetry section contains poems by Anna Nal', Igor Seleznyov, Alexander Sorokin, Renat Kharis, Leonid Zavalnyuk, Galina Gamper, Mikhail Jarmush and **Mark Lisyansky**.

Mark Kharitonov, 1992 Booker prize winner for the best Russian novel, appears in the issue with his new story «Provincial Philosophy»

«Literary Heritage» section presents a previously unknown novel by Boris Sadovsky «Wheat and Weed», in which the great Russian poet Mikhail Lermontov is pictured as a totally negative character (publication of Sergei Shumikhin)

In the «Diaries Memoirs» there are chapters from Emma Gerstein's book of memoirs, «Needless Love», about the epoch of the 30's and its people, in particular about romantic relationships of Emma Gerstein and young Lev Gumilev (to be finished in No 12)

In the section «Comments» Alla Marchenko writes about the state of things in nowadays literary criticism, Andrey Vasilevsky — about a new edition of Mark Popovsky's book «Russian Muzhiks Tell», dealing with Russian tolstovians, and Alexander Melikhow — about the book of Svetlana Alexievich about suiciders.

Alla Latynina in her essay «"Certificate of Nobility": Will Literature Give It To Capital?» examines the poverty — richness problem in Russian literature.

The authorship of the novel «Quietly Flows the Don River» is investigated by Andrey Makarov and Svetlana Makarova in the section «Publications and Reports» (begun in No 5, 6).

Literary critic Pavel Basinsky in his essay «Coming Back» discusses realism and modernism

In «Book Review» Igor Klekh reviews the prose of Bruno Shulz, Yuri Kublanovsky — a book by George Nivas about Alexander Solzhenitsyn, and Sergei Averintsev — collected essays about Nikita Struve.

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
НОВУЮ КНИГУ СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор А. О. Петров

Технический редактор А. С. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер д 1/2 Тел 200-08-29

Сдано в набор 30.07.93 г. Подписано к печати 25.09.93 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакции
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л.
(22,4 усл.-печ. л. 22,58 усл.кр.-отг.) 28,02 уч. изд. л.

Тираж 53 120 экз. Зак. 3810. Цена в России 90 р. в странах СНГ 200 р.

При участии издательства «Известия» Москва Пушкинская пл. 5

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798 Москва Пушкинская пл. 5

**ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИР»
УЧРЕДИЛА ПРЕМИЮ
ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».
ЕЮ БУДЕТ ОТМЕЧЕНО
ЛУЧШЕЕ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ В 1993 ГОДУ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ РОССИИ**

На 1993 год премия составит 500 долларов

* * *

Главный редактор «Делового мира» Юрий Александрович КИРПИЧНИКОВ говорит:

«Я уверен, что без предпринимателей-меценатов культуре не выжить сегодня. Она никогда и не существовала без их участия. «ДЕЛОВОЙ МИР» постоянно рассказывает о таких людях нового образца, надеясь увеличить число тех, кто не только на словах, но и на деле поддерживает культуру. Однако же лучше всего убеждать собственным примером, поэтому мы и учредили литературную премию для авторов журнала «НОВЫЙ МИР», с которым нашу редакцию связывают прочные деловые и дружеские отношения. «НОВЫЙ МИР» — один из бесспорных лидеров сегодняшнего литературного процесса, а значит, и всей культурной жизни страны. Наша поддержка талантливых писателей — небольшой, а все-таки вклад в дело возрождения культуры. Мы полагаем, что, будучи первыми, не окажемся единственными. Кто из предпринимателей последует нашему примеру и пополнит размер премии? «ДЕЛОВОЙ МИР» готов известить об этом читателей».